УМБЕРТО

ЭКО

БАУДОЛИНО



Баудолино
Умберто Эко

Аннотация
Умберто Эко. Баудолино
1. Баудолино пишет впервые
2. Баудолино встречает Никиту Хониата
3. Баудолино пересказывает Никите, что им написано в отрочестве
4. Баудолино разговаривает с императором и влюбляется в императрицу
5. Баудолино дает Фридриху умные советы
6. Баудолино едет в Париж
7. Баудолино пишет любовные письма за Беатрису и стихотворения за Поэта
8. Баудолино в Земном Раю
9. Баудолино ругает императора и соблазняет императрицу
10. Баудолино находит Волхвоцарей и беатифицирует Шарлеманя
11. Баудолино строит дворец пресвитеру Иоанну
12. Баудолино пишет письмо от пресвитера Иоанна
13. Баудолино видит, как зачинается город
14. Баудолино отцовой коровой спасает Алек-

сандрию
15. Баудолино в сражении под Лепъяно
16. Баудолино обманут Зосимой
17. Баудолино видит, что пресвитер пишет кому попало
18. Баудолино и Коландрина
19. Баудолино переименовывает свой город
20. Баудолино находит Зосиму
21. Баудолино и услады Византии
22. Баудолино теряет отца и находит Братину
23. Баудолино в третьем крестовом походе
24. Баудолино в замке у Ардзруни
25. Баудолино видит обе смерти императора
26. Баудолино и путь Волхвоцарей
27. Баудолино в темноте Абхазии
28. Баудолино переходит Самбатион
29. Баудолино попадает в Пндапетцим
30. Баудолино встречает диакона Иоанна
31. Баудолино ждет отправки в царство пресвитера
32. Баудолино видит даму с единорогом
33. Баудолино знакомится с Гипатией
34. Баудолино встретил настоящую любовь
35. Баудолино против белых гуннов
36. Баудолино и птицы рухх
37. Баудолино умножает сокровища Византии

38. Баудолино на разбирательстве
39. Баудолино столпник
40. Баудолино больше нет
От переводчика

Аннотация

Как и в «Имени розы», Средние века и современность здесь перекликаются и взаимоотражаются. Как и «Имя розы», «Баудолино» – исторический роман с элементами детектива. Здесь сюжет восходит к «Шести Наполеонам» Конан-Дойла, добавлены мифические истории Волхвоцарей, Туринской плащаницы, поисков Грааля, герои странствуют по вымышленным царствам и бьются с армиями фантастических существ, а завершается все триллерной двойной развязкой. Журналисты написали сразу: Баудолино – это автопортрет Эко. Неутомимый рассказчик, книжник, знаменитость и гражданин мира и в то же время знаток, а временами – участник простонародного, плотоядного, полукрестьянского быта итальянской провинции, Эко и его герой – плоть от плоти родного городка Александрия в Пьемонте. Именно эта Александрия, город, рождающийся на глазах читателя, в романе Эко изображен, при всей своей сыроватой простоте, как почти священное место, юдоль земного рая, пристанище

Грааля.

Умберто Эко
Баудолино

Публикуется по соглашению с литературным агентством ELKOST Intl.

© RCS Libri S.p.A. – Milano Bompiani, 2000

© Е.Костюкович, перевод на русский язык, 2003, 2012

© Е.Костюкович, послесловие, 2003, 2012

© ООО “Издательство Астрель”, 2012
Издательство CORPUS ®

1
Баудолино пишет впервые

Ratispone[1] Anno Dommini Domini mense decembri mclv kronica Baudolini cognomento de Aulario[2]

io Baudolino di Galiaudo de UAulari con na testa ke somilia un Hone[3], alleluja sieno rese Gratie al siniore ke mi perdoni[4]

a yo face habeo facto[5] il rubamento più grande de la mia vita cio è opreso[6]

в сундуке епископа отто кучу листов что были поди из канцелярии императора и их соскреб почти совсем кроме только слов что не со скреблись ой соскребались

---

[1] Примечания: 1
в Регенсбурге *(лат.) (Здесь и далее — прим перев.)*

[2] Примечания: 2
года Господня месяца декабря 1155 хроника Баудолино из семьи Аулариев *(искаж. лат.)*

[3] Примечания: 3
я, Баудолино сын Гальяудо из Аулариев с головой, похожей на льва *(искаж. итал.)*

[4] Примечания: 4
благодарение Господу и да помилует меня *(искаж. итал.).*

[5] Примечания: 5
я совершил *(искаж. лат.)*

[6] Примечания: 6
самое большое воровство в моей жизни, то есть я взял *(искаж. итал.)*

кроме слов что не смог соскрести сейчас имею много пергамента чтоб написать

все что угодно то есть писать мою Хронику но не могу написать латынью

как потом найдут что листы не находятся ох они устроят тут капернаум ох они решат тут лазутчик епископов римских на погибель императора федерика

но может им не надо ничего никому в канцелярии пишут себе что попало что надо и не надо зачем искать пергамены да хотели они ими подтере да видали они их в гробу

ncipit prologus de duabis civitatibus historiae AD MCXLIII conscript

saepe multumque volvendo mecum de rerum temporalium motu ancipitq[7]

это было я не сумел убрать читать не надо

найдут мои листы не узнают кто писал ни один в канцелярии не знает язык фраскеты

язык фраскеты на нем никто никогда ничего

---

[7] Примечания: 7

…чать пролог о двух царствах истории в год Господен 1143 *(лат)* …часто и подолгу размышляя о переменчивости и превратности дел земных *(изм. перев. с лат. Т. И Кузнецовой.)*

не писал

увидят листы узнают язык непонятный узнают кто писал это я писал все говорят что люди из фраскеты болбочут не по христиански надо спрятать лучше

язва в душу нудно писать ноют пальцы

это говорил мой родитель Гальяудо парню такая фортуна от богоматери Роборетской не иначе еще мальцом заслышит от кого V или X слов любую молвь запоминает повторяет и как говорят в Тердоне Тортоне и как говорят в Гави и даже как говорят в Медиолануме Милане а там сам черт ногу вообще не поймешь чего

вообще когда я встретил немчуру

вообще когда я встретил первых немцев они облежали обложили сидели осадой у Терд Тортоны все груженые пьяные в забубенные говорили rausz и min got и я через пол дня говорил raus и Maingot так точно

и они говорили Kind поищи ка нам хорошую Frouwe будем с ней fiki-fuki

я спросил что это Frouwe они в ответ domina dauna donna femina ну ферштейн и делали руками такие большие Tette а у них в лагерях с феминами просто schwach

все тортонские Frouwe сидят внутри а они снаружи и когда будет город ихний то аллее гут зер гут но покамест schlecht ни одной изловить негде добавляли такие анафемы что даже у меня мурашки по спине

вы дермовые швабы говорил я

так я и привел Frouwe дожидайтесь обходитесь в свои кулаки

мамма миа могли вообще убить

мамма миа mater теа вообще я латынь крепко знаю учился читать по латынским фолиантам понимать понятно но писать не силен когда писать какие вербумы

ну просто чума не вспомню когда он equus когда он equit а вот у нас в фраскете как скажут Конь то значит Конь а писать никогда не ошибутся потому как никто не пишет потому как никто и читать то не умеет

но тогда мне повезло алеманы меня не тронули

потому как раз явились milites кричали быстро быстро пошли опять в атаку начался такой содом мамма миа я не понял ни бельмеса луконосцы туда щитоносцы сюда трубы трубят башни вышиной в Бормидские дубы движутся колесным ходом

на башнях тех застрельщики
на башнях ядерные запасы
понизу milites катят ту башню с колесами
по тем milites бьют стрелы как град
milites кидают камни здоровенным черпаком с пружинами прямо по-над у меня над головой у меня свистят все те эякулы которые тортонцы эякулируют из города ох баталия
я тогда залег под куст и два часа повторял virgine sancta помилуй мя все успокоилось стали бежать мимо меня новые milites говоря по папийски павийски что поубили толико тортонцеврека танаро красна от крови теперь будут знать как якшаться с медиоланцами
поелику ожидались обратно алеманы кто просили найти Frouwe может не все бы воротились ибо тортонцы тоже не сидели сложа руки но все же достаточно воротилось бы на мою хххххх голову
я рассудил не расчет их дожидаться лучше мотать оттуда и попроворней
я потихоньку пошел добрался до дому под утро рассказал эту Историю мой родитель Гальяудо сказал добро же лезь во все баталии дожидайся лезь вдругорядь и получишь добрую пику в задницу что не знаешь война дело барское наше

дело крестьянское ходить за коровами мы люди серьезные не чета императору фридриху он то здесь то там не поймешь где он балмошится без ума-толку

а тортону они тогда не взяли захватили подол города а крепость как была так и стоит то есть тогда стояла как тогда была так тогда стояла

вот к концу моей Истории расскажу что получилось как отвели от них воду а тем слабо испить свою урину сказали фридрих да мы же твои верные он их выпустил а город сперва пожег потомразнес в щепу

то есть разнесли папийцы павийцы в щепу у них зуб зависть на тортонцев из старинных времен

тут у нас не то что немцы те друг друга не разлей вода любят душа в душу немцы живут тут у нас один из Гамондио встретит другого из Берголио стервенеет хуже суки

но сейчас я объясню всю Историю как я шел фраскетским лесом везде туманище выткни глаз носа не разглядеть хоть встреть видение хоть наваждение так я встретил носорога с туловом конским и с хвостом львиным и с рогом верченым так я встретил Святого Баудолина он говорил ко мне блядин ты сын проказник пойдешь прямо в ад что ты нагородил с этим носорогом

а я то что

вот как все вышло

всем ведомо поймать единорога возможно только с помощью непорченой Девы сажают Деву к дереву и носорог чуя девственный запах приходит приклонять голову ей куда надо на лоно позвал я тогда Нену из Берголью ее родитель у моего торговал комолую корову я позвал Нена идем в лесочек тут близенько поймаем носорога я усадил ее под деревом знал что она непорченая и говорю расставь-ка ляжки чтоб носорогу было куда приклонить голову она спросила а как расставить я говорю вот так сейчас попробуем давай-ка вместе давай-ка сам я расставь получше тут она засопела ровно коза когда ей придет козлиться ну тут и на меня нашло как сказать не знаю что это было апокалипсис а потом уже

а потому же она не была честная как лилия и говорит послушай мать моя Святая Богородица как же мы теперь будем ловить носорога и в ту минуту я услышал голос Небесный говорил что тем единорогом искупающим peccata mundis оказывается был сам я

и я запрыгал по поляне и закричал хип гип ии фрр фрр и был сильнее рад чем истинный бы носорог был рад когда засовывает свой длинный рог

нескверной отроковице в лоно тут я и встретил Святого Баудолина тут он и сказал мне блядин ты сын et cetera но потом смягчился простил меня и мы потом встречались в лесочке под кусточком но только в такую пору когда туманы а не когда солнце прожигает и скотину и хворостину

но когда я рассказал про Святого Баудолина мой родитель Галъяудо отсыпал мне тридцать горячих приговаривая господи ты боже мой что за чадо видения он видит а корову подоить не может расшибу ему башку нет лучше пусть его на цепь возьмут пусть водят по базарам пусть на цепи как ту Африканскую Макаку а моя милосердная матерь тут же с воплями шатун ты безумщина сохрани господь от такого за какие мне провинности этот сын он же видит святых а родитель мой Гальяудо ей в ответ да никого он не видит это же плут хуже искариота и он несет что придет в голову лишь бы только ему не работать

заведу эту Историю ибо без нее неясно что произошло в тот вечер когда стоял густой туман хоть ножом его режь подумать только был апрель но в нашем околотке туман бывает даже в августе и если кто не из нашенской округи

понятно заблукать ему недолго меж Бурмией и Фраскетой особенно если никакой святой не поведет под уздцы его лошадь

так я возвращаясь домой я увидел перед собою барона на лошади цельем из железа

железный цельем был барон а не лошадь и меч здоровый битюг что твой король арагонский

я тут обробел мамма миа вдруг это впрямь Святой Баудолин не миновать мне тогда преисподни

но он сказал мне Клейне Кинд Битте и я тут понял что это барин из алеманов в тумане заблукал у нас по лесу и не находит путь к своим а вечереет он показал Монету я не видал допрежь Монет но был зело доволен что я понимаю и говорю по алемански

я ему говорю дойч послушай дойч куда ты прешь

тебя же занесет в самые плавни как пить дать

насчет питья не знаю что он подумал пить они горазды но в общем смысле поди понял

потом я сказал я знаю что у вас у дойчей всегда весна и поди у вас у дойчей в краю цветут лимоны только у нас во Фраскетской Гати всегда туманы выколи глаз и в тех туманах погуливают удалые

люди отродие тех ещеАрабцев с которыми воевал Карл Великий илюди они недобрые как видят пилигрима то к лесу лицом дадут по шее дубцом

разденут догола так побреют что любо дорого глядеть

ergo распожалуете к нам в землянку к Галъяудо родителю моему миску то похлебки горячей точно дадим и тюфяк из соломы уложим на ночь в хлеву заутро по светлоте покажу дорогу раз у вас такая Монета grazie benedicite а мы люди хотя бедные мы люди честные

так я завел его к нам к моему родителю Галъяудо разверз уста начал кричать олух окаянный голова ты баранья почто открываешь мое имя всякому побродяге кто его знает ну как он вассал Моферратского маркиона вмиг обоброчат плати десятину de fructibus десятину от сена от овощей и плати арендные и плати прокатные и плати яремные и мы пропадем из за тебя и уже замахнулся жердиной

я в ответ барин алеманский а не монферратский родитель мне в ответ чем дальше в лес тем больше дров

но чуть только я ему сказал про Монету его будто подменили потому что у нас в Маренго все твердолобы как быки но чутки как лошадки

понял что можно что то получить и говорит ты умеешь по ихнему так скажи от меня что я тебе наказываю

item, мы люди хотя бедные мы люди честные

говорю я уже это ему без тебя говорил

не твое дело говорят так скажи ему от меня по ихнему повтори item grazie benedicite благодарствуем за Монету но мы еще не пожалеем вашему благородию и сена для коня и миску харчей с сыром с сухарем нальем чарку из праздниковой баклаги и что устроим вашей милости постель заместо твоей подле печки в теплоте а ты сам дармоед поди в сараюшку

item пусть даст поглядеть пощупать Монету я беру генуэзские сольды и пусть ни в чем себе не отказывает у нас тут в Маренго гость в дом бог в дом

тот в ответ haha вижу люди тертые у вас тут в Маренкуме однако негоция есть негоция я даю две такие Монеты а ты забудь про генуэзские сольды потому как на генуэзский сольд я способен kaufen все твое подворье и со всеми бестиями берешь две мои Монеты и молчишь сам знаешь и так не в накладе

родитель мой замолк и взял две те Монеты что тот синьор бухнул на стол

потому что у нас тут в Маренго люди твердолобы как быки однако и дюже чутки и набрюханился как волк (тот господин) точнее как два (волка) и потом когда родитель и моя матерь засобирались спать наломавши за день спины не то что я который прохлаждался себе в лесочке говорит доброе вино тут у васпосижу чуточек у печки расскажи мне что нибудь Кинд покажи на что ты горазд на моем языке

ad petitionem tuam frater Ysingrine carissime primos libros chronicae meae missur[8]

ne humane pravitate[9]

тут тоже не сумел содрать буквы читать не надо

заведу порядочно Историю как в тот вечер с алеманским бароном что хотел знать откуда мне известен его язык а я сказал это мне фортуна как апостолам и что другая мне фортуна иметь важдения что твоя божеволъная баба

---

[8] Примечания: 8

я счел необходимым, дорогой брат Изенгрим, в ответ на твою просьбу начать первую книгу Хроники *(изм перев с лат. яз. Т. И. Кузнецовой)*

[9] Примечания: 9

ни заблуждений людского рода *(лат.).*

иду по лесу и вижу особу Святого Баудолина верхом на носороге млечного колера и рог единый с завоем и растет тот рог точно там где у коня нос то есть то что у нас нос однако конь не имеет носа ибо под ним нет усов

у барона же ус знатный и борода просто загляденье колером будто медная посуда а у других немцев волос желт даже тот что торчит из ушей

барин на это говорит мне ладно значит ты видел этого носорога ты поди разумеешь Monokeros но откуда же тебе известно что существуют носороги на свете

я отвечаю из читанной книги что мне давал фраскетский пустынножитель а немец вылупивши глаза как филин так что же ты и читать умеешь

еще как говорю послушай мою Историю

значит вот теперь Историю веду слушай святой Анахорет у нас тут близко от лесу когда ему поднесут крещеные люди куру или кроля помолится за здравие о них по писаной книге и когда проходят мимо побиет себя по грудине камнем но я мыслю то не камень а то комлыга из глиняного брения не сильно вередит

и вот однажды ему поднесли два яйца он себе

читает в открытой книге я думаю добро же по христиански поделим пополам яйцо ему яйцо мне все едино он читает не видит

но он уж не знаю как сумел увидеть хотя читал в открытой книге однако сгреб меня абие за шкирку я говорю Христос учил делиться а он со смехом говорит какой шустрый мальчик ходи сюда почаще и поучись грамоте по писаному

он обучил меня по писаному не пожалел оплеух а когда мы свели лучше знакомство говорит какой ты крепкий отрок и голова рыжа ты как Felis Leo дай взглянуть а крепки ли твои руки дай пощупать здоровы ли плеча и потрогать там посередине ног благополучно ли твое здоровие тогда я понял куда Анахорет целит и лягнул его коленом в самые Testicula так что он ажно согнулся и приговаривал вот чудино семя вот пойду и расскажу народу в Маренго что тобой владеют бесы вот тебя и сожгут увидишь

иди иди я ему говорю на это

сперва я расскажу что видывал как ты ночами любишься с болотною кикиморой как ты ее со всех с троих концов поглядим кого они предпочтут сжечь сам увидишь

тогда он опять смеяться говорит погоди я пошутил

хотел проверить чтишь ли ты благие заповеди

бросим говорить об том приди заутра зачнем учиться по письменному

то едино дело чтение знай себе гляди и губами пришлепывай

ино дело писание в книге потребны и чернило и листы и перо истый знаток в чернилах крещен, пергаменом повит, концом пера вскормлен тот отшельник сам завсегда говорил как по писаному

я ж ему в ответ кто умеет читать тот научается тому чего не знал дотоле

а при писании не научаешься ничему

пишешь то что дотоле и сам знал

благотерпение! лучше все же мне остаться и поучиться ибо писать-то я охотник но не охотник подставлять задницу

пока это я рассказывал тот барон немецкий реготал как скаженный браво браво кляйне кавалер все эти старцы почитай до одного allesammt Sodomiten но скажи ты мне скажи что еще ты повидал гуляя лесом а я ему в ответ думая он один из тех кто собираются взять Тортону кто то из имперских фридриховых думая дай-ка обрадую его может выложит еще одну Монету говорю что запозавчерашнею ночью мне явился

Святой Баудолин говорил императору выйдет виктория под Тортоной потому как Фридрих се единый подлинный богоданный владыка над всей Лонгобардией включая нашу Фраскету

слыша это господин говорит Кинд ты мне послан небом я возьму тебя в имперский военный стан ты расскажешь встречу со Святым Баудолином я ему на то коль изволите скажу даже будто бы Баудолин говорил мне что в баталии поучаствуют святые Петр и Павел поведут вперед имперские войска тот на это Ach wie Wunderbar с меня хватит даже и Петра без Павла

Кинд езжай со мной и фортуна твоя свершится

illico немедля то есть почти что немедля то есть на завтрашнее утро господин говорит моему родителю забираю мальца с собой повезу где научат и письму и чтению сможет стать министериалом

а родитель мой Гальяудо без понятия о чем тот толкует разумел лишь только едоком с воза будет легче и не надо гадать где там шастает небокоптитель

разумел что вот нашелся вожатый станет показывать меня на ярмарках и базарах как Африканскую Макаку но не распустит ли этот

синьор руки известно чего можно захотеть от мальчишки но господин ему возразил и назвался великим палец-графом

и что у алеманов не бывает Sodomiten

а кто такие содомиты недоумевал родитель я объяснил емув ответ же мой родитель отвечал пускай пойдет проспится эти любители есть везде

но видя что господин тот Алеманский полез и вынул еще пятерку Монет в добавок к прежним родитель мой чуть не сомлел и говорит тогда о детище ступай же с этим человеком чтоб не перечить твоей фортуне а может быть и нашей

к тому же поелику алеманы тут все тут у нас обсели вчистую будто мухи то значит свидимся еще и в этой жизни тут я ему прости прощай прямиком к порогу но как-то вдруг затомился больно уж моя матерь выла голосила как по покойнику

так мы поехали и тот барон говорил мне веди меня туда где каструм империалов а я говорю проще пареной репы глядим на солнце и встрень ему прямехонько едем

так мы поехали завидели лагерь вдруг налетели какие-то конные с бородами и доскакавши всей ротой бухнулись на колена и опустили пики и щи-

ты а мечи воздели да что за булготня я не пойму они ну голосить Кайзер Кесарь Sanktissimus Rex ну целовать в руку моего барона а у меня челюсть отвисла и рот разину лея даром твое жерло тут только я понял что мой баронище бородища рыжа это и есть самый ихний император Фридрих а я-то ему развешивал лапшу на уши целый вечер как самому последнему ротозею

теперь он скажет отрубите ему голову так думаю и все-таки думаю ему я обошелся в целых VII Монет а что до моей головы он мог бы отрубить ее совершенно бесплатно

а он при них говорит по sent de Fespavent то есть не робей-ка все в полном порядке ты несешь Благую Весть ты малый puer был удостоен небесного Знамения расскажи же которое Видение явилось пред тобою в чаще леса тут я хлоп оземь будто у меня падучая и выпучил глаза и выпустил устами пену и вопиял что видел что io vidi и давай выкладывать заведомо что знал про Святого Баудолина яко же мне прорече

народ на это благословение Господу Богу Miraculo miraculo Gott Mit Unsстояли там же и тортонские легаты дотоле в нерешительности сдаваться иль упираться но слышав о моем Знаменъи рухнули оземь с речами ежели и святые

поворачиваются к нам задом не стоит нам бороться лучше уж сдаться по всему видно что на сей раз не обломилось

и тут я видел как выбирались тортонцы из Города мужчины старики женщины дети в слезах рыданиях а немцы их гнали ватагой как скот а те павийцы влетали гурьбою в Тортону с дубьем дрекольем с дрюками стягами жердями круша все на проходе видно рвать Тортону было для павийцев будто парить девку

к вечеру тортонский холм целиком затянулся дымом

от Тортоны как города ничего почти не осталось

такая штука война говорил мой родитель Гальяудо истинное дело говорил он война сволочная штука

однако все таки пусть лучше их

пусть их а не нас

к вечеру император довольный воротился в свою палатку и по-доброму мне съездил по затылку как родной мой родитель никогда не делал а потом позвал господина тот впоследствии оказался добрейшим каноником Рагевином и сказал что желает этого парня обучить получше письменной грамоте и арифметике на счетах и

тоже и грамматике которую тогда я не слыхал и по имени но ныне кой чему обучился родитель мой Гальяудо помыслить не мог об этом

как сладостно разбираться в науках

кем это сказано не припомню

воздадим же хвалу domini dominus в общем я хочу сказать слава богу

нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает

не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

2
Баудолино встречает Никиту Хониата

— Что это? — спросил Никита, крутя в руках пергамент и читая верхние строки.

— Первая проба моя, — ответил Баудолино. — С тех пор, когда я написал это, а было мне лет четырнадцать и я только что вышел из лесу, я ношу с собой ее как амулет. Впоследствии я исписал кучу других пергаментов. Бывало, писал каждый день. Думал, я существую только чтобы вечером рассказывать о том, что пережил днем. Позднее мне стало достаточно помесячных записей в две-три строки: я вел свою хронику главных событий. Рассчитывал, что когда я приду в должный возраст, то есть в нынешний мой, из этих пометок выстроятся «Gesta Baudolmi». Так в своих странствиях я носил на себе, куда ни шел, историю главных событий жизни. Но когда я бежал от пресвитера Иоанна…

— Пресвитера Иоанна? О нем я не слышал…

— Услышишь от меня, смотри, как бы не надоело… Так вот, когда я бежал, я потерял записи.

Будто целую жизнь потерял я.

— Расскажешь мне все, что помнишь. Я собираю обрывки фактов, лоскутья былей и тку из них повести по канве Предопределения. Ты спас меня, ты одарил тем малым будущим, которое мне осталось. А я одарю тебя прошлым, которое ты потерял.

— Но может, в моей истории и нет смысла…

— В любой истории есть смысл. Я умею найти смысл там, где не видят другие. И история становится книгой живых, как труба громогласная, та, которая вздымает из гроба лежавших во прахе многие веки. Для этого нужно только время. Обдумывать события, их увязывать, выискивать между ними сходства, даже самые незаметные. Но так как других занятий у нас все равно нет… твои генуэзцы говорят: надо пересидеть, пока ярость этих псов не утихнет…

Никита Хониат, бывший верховный оратор, Высший Судья империи, высший чиновник при Покрове Богородицы, тайный советник (логофет), а попросту, как сказали бы латиняне, государственный канцлер василевса Византийского, в то же время придворный дееписатель Комнинов и Ангелов, глядел с интересом на сидевшего перед ним. Баудолино сказал ему, что они прежде

встречались в Каллиполисе, при правлении императора Фридриха. Но Баудолино, если и был там, был затерян в толпе остальных царедворцев, а Никита, представительствовавший от василевса, был, конечно, весь на виду. Лгал ли этот латинянин? Как бы то ни было, именно он отбил Никиту от зверствовавших захватчиков, вывел в безопасное место, объединил с семьей и обещал, что поможет им выбраться из Константинополя… Разглядывая своего спасителя, Никита думал, что тот похож не на христианина, а на сарацина. Лицо опалено солнцем. Бледный шрам перетягивает щеку. Грива рыжих волос, не утративших молодого цвета, придавала ему львиный облик. Никита никогда не сказал бы, что Баудолино уже за шестьдесят. Ширококостные руки лежали на коленях, узловатые в суставах: руки простолюдина, созданные не для меча, а для орала.

Тем не менее по-гречески он изъяснялся свободно и не брызгал слюной на каждом слове, как обычно плевались иностранцы. Давеча он обратился при Никите к захватчикам на щетинистом их языке, произнося слова быстро и резко, и звучало это обидно. Потом он сказал Никите, что имеет особый дар: стоит ему послушать, как двое беседуют между собой на каком угодно наречии,

и вскорости он тоже научается говорить как эти. Поразительное качество, которым, прежде думал Никита, наделены апостолы.

Жизнь при дворе, и при каком дворе! приучила Никиту к спокойному недоверию в оценке людей. Что его насторожило в Баудолино, так это глаза: при разговоре как-то вдруг — взгляд исподлобья на собеседника, будто бы с приглашением не принимать сказанное всерьез. Этот недостаток легко извинить кому угодно, но только не свидетелю, из чьих воспоминаний ты собираешься выплести Историю. В то же время Никита был по натуре любознателен. Ему нравилось слушать рассказы, и не только о вещах ему неведомых. Даже то, что он успел увидеть собственными глазами, будучи рассказано, представлялось ему в совершенно новом виде, как будто его привели на вершину одной из иконных горок и дали увидеть местность в том ракурсе, в котором видят нагорные апостолы, а не с низкой точки зрения верующего. Кроме того, он любил беседовать с латинянами, они были совершенно не такие, как греки, взять хотя бы эти их новые языки, каждый непохож на остальные.

Никита и Баудолино сидели один против другого в комнате на вышине. На три стороны откры-

вались двойные окна. Через одно имелся вид на Золотой Рог и противоположное побережье, Перу, и Галатскую башню над сплетением закоулков. В другое был виден портовой канал, впадавший в Георгиевский пролив. И, наконец, третье окно было обращено на запад, и оттуда можно было бы наблюдать весь целиком Константинополь. Можно было бы… да несмотря на самое раннее утро, нежного цвета небеса смеркались от дыма дворцов и базилик, снедаемых огнем.

Бушевал третий пожар за последние девять месяцев. От первого погибли склады и стратегические запасы во всех хранилищах от Влахерн до Константинова вала. Вторым были уничтожены все оплоты венецианцев, амальфитанцев, пизанцев и евреев, от Перамы до самого берега. Уцелел один только генуэзский квартал у подножия Акрополя. А третий пожар бушевал прямо сейчас.

Со своей высоты они видели огненную реку. Падали на землю портики, рушились палаццо, ломались колонны, огненные шары вылетали из зарева и зажигали дальние дома, а потом огни, направляемые ветром, капризным ветром, который холил и лелеял этот пожар, влеклись обратно и дожирали, что пощадили. На вышине

клубились плотные тучи, алевшие по нижнему краю, похоже, из-за близкого зарева. Однако с изменением оттенков цвет пожара искажался то ли обманными лучами поднимающегося солнца, то ли из-за попадания в огонь специй, редкого дерева и других снадобий, придававших окраску. В прибавление к прочему, на крыльях ветра с разных окрестностей города долетали все новые ароматы: то мускатный орех, то корица, то перец, а то шафран, горчица и имбирь. Так самый великолепный на свете город хоть и сгорал, но сгорал в благовоннейшем из пожаров.

Баудолино находился спиной к окошку. Его фигура темнела на фоне рассвета и пожара. Никита слушал рассказ, но воспоминания постоянно возвращали его к тому, что происходило совсем недавно.

Утром в среду четырнадцатого апреля года от воплощения Господня 1204, или же шесть тысяч семьсот двенадцатого от основания мира, по византийскому счету времени, вот уже два дня Константинополь был окончательно захвачен варварами. Византийские секироносцы, блиставшие щитами и шеломами на парадах, и императорская гвардия, состоявшая из английских и датских наемников, вооруженных

страшными двуперыми рогатинами, еще в пятницу сопротивлялись неприятелю, отбиваясь с отвагою, а в понедельник утром дрогнули и осаждавший враг преодолел, наконец, оборонные стены города. Победа была так неожиданна, что сами нападавшие остановились, оробели и к вечеру не двинулись вперед, а, чтоб отгородиться от защитников, подпустили новый пожар. Однако утром наступающего дня, во вторник, в городе стало известно, что ночью узурпатор Алексей Дука Мурцуфл покинул Константинополь и убежал в тыл. Горожане, оставленные, побежденные, проклиная престолопохитителя, которого сами превозносили с тех пор, как он удавил предшественника и до вчерашнего вечера, не зная теперь, как им поступить (ничтожества, пугливцы и позорники, стонал Никита о стыде этой сдачи), составили великое шествие, с патриархом и всевозможными священниками в обрядовых облачениях, с монахами, бормотавшими молитвы, готовыми продаться новому хозяину, как они продавались прежнему, с крестами, с образами Лика Господня, вознесенными на высоту столь же рьяно, как возносились их вопли и стенания, и вышли навстречу завоевателям, рассчитывая умилостивить.

Безрассудство! Умилостивить варваров! Те не нуждались, чтоб противник сдался, для исполнения многомесячно вымечтанного: сровнять с землей самый огромный, самый многолюдный, самый богатый, самый благородный на земле город и поделить между собой трофеи. Великий кортеж плакальщиков вышел прямо на строй христоборцев, грозно насупленных, со свежей кровью на мечах, вышел на дикую конницу. Молитвы никого не тронули. Началось великое разграбление.

О Господи Всеблагий, о истязания, о мука, выпавшая на нашу долю! Отчего ни бурление моря, ни туск или полное затмение солнца, ни красный обмет вокруг луны, ни смещение звезд, ничто не предзнаменовало нам крайнего злоключения? Так плакал Никита вечером вторника, меряя нетвердыми шагами то, что являло столицу последних римлян, стараясь избежать орды безумных вероломцев и в то же время натыкаясь везде на новые очаги пожара, в отчаянии, ибо не находил дороги домой, и в страхе, как бы тем временем злодеи не взъярились на его семью.

Так до самого наступления ночи он не смел пересечь сады и открытые пространства между Софией и ипподромом и в конце концов оказался

перед храмом. Храм был открыт, Никита вошел, не полагая, что варвары дойдут до осквернения святого места.

Вошел и побелел от ужаса. Пространство было усеяно трупами, по ним скакали, до невероятия пьяные, всадники врага. Толпа крушила дубьем серебряную с золотом трибунную ограду. Великолепный сияющий иконостас был обмотан веревками: его выкорчевывали, к веревкам вязали мулов. Одурелая хмельная ватага погоняла, нахлестывая, скотов, но мулы оскальзывались на мозаиках пола, а грабители колотили и лупили мечами, а порой и кололи злополучных животных, которые от испуга то и дело прыскали повсюду жидким калом, многие из них валились и переламывали ноги, так что все предалтарное пространство было в слякоти из крови и навоза.

Передовые когорты Антихриста стервенели у алтарей. Никита видел: распахнули мощехранилище, вытащили утварь, разливали на пол святые умащения и ножами вылущивали из узора чаш драгоценные камни, и, упрятав наживу в одежду, бросали ручники и кадила в наваленную кучу, обреченную переплавке. Некоторые вдобавок, ухмыляясь, доставали из чересседельных сумок винные фляги, лили вино в святую посуду

и лакали, передразнивая священников. И того жутче! В глубине, на амвоне, ныне открытом всем на свете взорам, похабничала какая-то блудница, по-видимому охмеленная дурманом, плясала босиком на причастном престоле, изображая церковную службу. Мужчины вокруг хохотали и подзуживали, чтоб она сняла последние одежды. Она же, постепенно оголившись, пошла кругами у алтаря в движениях древнего умоисступленного танца кордака, вслед за тем рухнула, устало рыгнув, на патриарший трон.

Стеная обо всем увиденном, Никита заторопился в глубину храма, к тому столбу, который всенародно почитался как Потеющая колонна. И правда, при благоговейном прикасании поверхность выделяла сверхъестественную влагу. Отнюдь не по мистическим причинам торопился теперь Никита добежать до столба. Но в середине пути к колонне ему перегородили путь двое захватчиков исполинского роста и сурово прикрикнули на него. Не требовалось быть знатоком их языка, чтобы понять, что по придворному платью они решили, будто Никита набит золотом или способен сказать, где его прячет. Никита осознал, что погиб. В ужасе блуждая по улицам, он не раз видел: никто не спасался, крича, что

владеет лишь несколькими монетами, уверяя, что не прячет кладов на стороне. Обесчещенные дворяне, плачущие старики, обнищалые землевладельцы проходили через смертные пытки. От них требовали сказать, где упрятаны запасы. Кто не признавался, погибал от истязаний, а кто признавался, тех бросали как падаль, и они, изувеченные пытками, в любом случае умирали, а их палачи тем временем выворачивали камни, расшибали стены, вламывались в двойные потолки и накладывали хищные лапы на бесценные сосуды, шарили в бархате, в шелках, щупали меха, перекатывали в пальцах украшения и камни и принюхивались к специям, упакованным в коробки и мешочки.

Так в описанную минуту Никита увидел свою кончину, оплакал семью, которая его теряла, и замолил о прощении грехов. Тут в константинопольский верховный кафедральный собор Святой Софии въехал Баудолино.

Прекрасный, как Саладин, на лошади, чей чепрак был чуден, со рдяным крестом на груди, с голым мечом и с воплем: «Разъязви вас огонь в бога и в рот и в душу, в чертову мать и в печенки, христопродавцы, олухи, свиньи, паскуды, беззаконничать над добром Господа

нашего Христа Иисуса?!» — он колотил плашмя по богохульникам, как он, крестоносным, но с тем различием, что он был не пьян, как они, а взбешен. Догарцевав до патриаршего престола, где разлокотившись лежала шлюха, он перегнулся, схватил ее за гриву и начал валять по навозу, выкрикивая чудовищные вещи о матери, что ее породила. Однако вокруг него те, кого он хотел разогнать, были так полны вином, или настолько заняты выламыванием камней из любых материй, куда эти камни были вделаны, что не видели Баудолиновой горячки.

Горячась, он подскакал к двоим гигантам, начинавшим истязать Никиту, увидел схваченного, молившего о пощаде, выпустил волосы изуродованной куртизанки, та свалилась к его ногам, и проговорил на чистом греческом:

— Готов поклясться всеми двенадцатью волхвами, ты же Никита, министр тутошнего кесаря! Что я могу для тебя сделать?

— Брат во Христе, каково бы ни было твое имя, — взвопил Никита, — спаси от этих латинских варваров, желающих моей кончины, сохрани мне тело и свою душу! — Двое латинских ратников, не сильно много разобрав в чередовании восточных созвучий, требовали объяснений

от Баудолино, который казался им своим, обращаясь к нему по-провансальски. И на отменнейшем провансальском наречии Баудолино рявкнул на них, что это пленник графа Балдуина Фландрского, и по его приказу пленник разыскивается на основании arcana imperii, государственной тайны, в которой ничтожные сержанты вроде них не могут разуметь ни бельмеса. Двое остолбенели на минуту, потом решили, что задираться — терять время, когда тут можно нахватать сокровищ без счета, и удалились к головному алтарю.

Никита не пал с лобзаньем к стопам спасителя, потому что уже и так был на полу, но и не смог соблюсти достоинство, приличествующее его сану. — О мой добрый господин, благодарю тебя за помощь. Не все латиняне, значит, неистовые скоты с искривленным от зложелательства ликом. Так не ярились даже сарацины, когда завоевали Иерусалим! Там Саладин в обмен на несколько монет позволил выйти мирным горожанам! Что за позор для крещеного человечества! Идут с оружием братья против братьев, пилигримы, чьим намерением было отвоевание Господня Гроба, дали остановить себя зависти и корысти, и разрушают империю Рима! О Константинополь, Константинополь, отечество церквей, царство

вер, руководство безукоризненных суждений, вскормление наук, отдохновение красот, тебе приводится испить из руки Господней чашу гнева, и вот ты опален огнем сильнейшим, нежели тот, что ниспал древле на Пять городов! Какие жадные, неумолимые демоны излили на тебя, столица, излишества опьянения, что за шалые ненавистные женихи засветили твой свадебный факел? О мать, даве облаченная в виссон и царскую порфиру, ныне испачканная, изможденная и лишившаяся своих детищ, мы как птицы, пойманные в клетку, не находим выхода из града, бывшего нашим, не находим мужества оставаться, и в бесприютности мыкаемся, как блудные звезды!

— Говорили мне, — отвечал Баудолино, — что у вас, у греков, рассуждают длинно и о чем попало, но я не знал, что до такой невозможности. Государь Никита, тут надо думать, как унести целыми задницы из этого места. Я могу тебя пристроить на квартиру у генуэзцев. Но ты должен указать скорый и тихий путь в Неорий. Крест у меня на брюхе защищает меня, а не тебя. У тех, с кем мы будем видеться по дороге, свет разума несколько подзатемнился, и если я пойду по городу с пленным греком, им покажется, будто ты чего-то

стоишь, и тебя в момент отобьют.

— Мне известна одна дорога, но она не лежит по улицам, — сказал Никита, — и придется оставить коня.

— Ну, придется, значит, придется, — отвечал Баудолино с бесшабашностью, которая изумила Никиту, не подозревавшего, сколь малой ценой он достал себе эту лошадь.

Никита с помощью Баудолино сумел подняться, взял того за руку и, крадучись, повел к Потеющей колонне. Осторожно осмотрелся вокруг: повсюду в церкви, как мураши, пилигримы что-то усердно ковыряли, не обращая внимания на обоих. Он преклонил колени перед колонной и всунул пальцы в щель меж половых плит. — Помоги, — обратился он к Баудолино, — может быть, вдвоем осилим. — И действительно, через несколько попыток плита подалась, и открылось темное пространство. — Там ступени, — сказал Никита. — Первым я, потому что знаю, куда опираться. Ты потом закрой снова крышку.

— И что будет? — спросил Баудолино.

— Когда спустимся, — отвечал Никита, — мы нащупаем внизу нишу, в ней будут факелы, кремень и кресало.

— Хороший город этот ваш Константинополь,

везде сюрпризы, — бормотал Баудолино, спускаясь винтовой лестницей. — Жаль только, что эти свиньи в нем не оставят камня на камне.

— Какие свиньи? — переспросил Никита. — Разве ты не один из них?

— Я? — возмутился Баудолино. — Ну нет. Если ты судишь по моему наряду, я его взял взаймы. Когда они ввалились в город, я уже тут находился. Так где, говоришь, факелы?

— Не торопись, еще несколько ступеней… Кто ты, как тебя называют?

— Баудолино из Александрии. Не из египетской, а из той, которая ныне зовется Кесареей, а может быть, не зовется никак, ее могли и пожечь, как пожгут Константинополь. Из той Александрии, что лежит между северными горами и морем, возле Медиоланума. Может быть, слышал?

— Медиоланум я знаю. Его стены были однажды свалены царем алеманов. Потом наш василевс дал им денег, чтобы снова отстроить.

— Вот, я был при этом императоре алеманов и тогда, и до самой его смерти. Ты его видел, когда он шел через Пропонтиду, лет тому назад пятнадцать.

— Фредерик Рыжебородый. Величайший и знатный принцепс, сострадательный и мило-

сердный. Никогда он не поступил бы, как эти…

— Ну, положим, когда брал города, Фридрих тоже не бывал ласков.

Наконец они спустились с лестницы. Никита нашел факелы, и двое, держа их высоко над головой, преодолели длинный лаз. Взгляду Баудолино открылось черево Константинополя, где почти под основанием самого громадного собора мира стояла неведомая вторая базилика. Ее колонны мрежились во тьме как множество деревьев озерной рощи, вырастающих из воды. Не то базилика, не то аббатская церковь, но стояла она вверх ногами, потому что свет, облизывавший капители, сникающие в тени высоких сводов, шел не через розу фасада и не через стекла, а от водяного пола, отражавшего зыбучее пламя, струимое факелами пришельцев.

— Под почвой города много водохранилищ, — сказал Никита. — Сады Константинополя вовсе не дар природы, а результат искусства. Но видишь, вода теперь еле доходит до колена. Ее вычерпали на тушение пожаров. Если захватчики разгромят еще и эти акведуки, всех ожидает смерть от жажды. В обычное время тут бродом невозможно, обычно тут плавают на лодке.

— И так по воде пойдем до гавани?

— Нет, акведук оканчивается раньше. Однако есть проходы в другие галереи, к соседним водоемам, и в общем если не до Неория, то до Просфорня это подземелье доводит. Однако, — прервался он с печалью, будто припомнил одно забытое дело, — я не могу идти с тобой. Я объясню тебе дорогу, а сам вернусь. Я должен спасать свою семью, она скрывается в одном домишке около Святой Ирины. Понимаешь, — похоже было, что Никита извинялся, — мой дворец пострадал во время августовского, второго пожара…

— Никита, ты ненормальный. Сначала ты тащишь меня под землю, я бросаю коня, в то время как без тебя-то я до Неория спокойно мог бы доехать по любой дороге. Во-вторых, надеешься добраться до семьи прежде чем другая парочка сержантов, примерно таких, как те, с кем ты только что расстался, опять возьмется за тебя. Да и дойди ты целым до своего семейства, что ты затем-то намерен делать? Раньше или позже вас всех накроют. Ты собираешься вести семью… куда ты собрался?

— У меня друзья в Силимврии… — задумчиво отвечал Никита.

— Не знаю, где это, но чтобы туда добраться, вам надо пересечь город. Слушай, ты своей семье

совершенно бесполезен. Давай лучше договариваться с генуэзцами там, куда я тебя доставлю. Генуэзцы в этом городе заправляют всем чем хочешь. Они ладят и с сарацинами, и с евреями, и с монахами, и с императорскими гвардейцами, и с персидскими купцами, а теперь поладили с латинскими пилигримами. Они все ушлые, ты им скажешь, куда упрятано твое семейство, и назавтра они всех твоих домочадцев в полном порядке, не знаю как, но доставят. Они бы сделали это и ради меня, за так просто, и сделали бы за ради бога, но все-таки они генуэзцы, и если ты им еще и заплатишь, тем лучше они будут стараться. Потом мы пересидим весь шум. Грабеж города обычно за три-четыре дня кончается. Поверь, я перевидал их довольно. Затем иди себе в Силимврию, то есть иди куда хочешь.

Никита поблагодарил. Было понятно, что прав Баудолино. По дороге Никита спросил, зачем Баудолино в городе, если он не крестоносец-паломник.

— Я сюда прибыл, когда латиняне высаживались на другой берег, я был с одними людьми… которых теперь нет. Мы прибыли издалека…

— Отчего вы не покинули город, если еще успевали?

Баудолино поколебался с ответом. — Потому что… только тут я мог понять одну вещь…

— Ну и понял?

— К сожалению, понял. Но понял только сегодня.

— И еще один вопрос. Почему ты так возишься со мною?

— А как обязан поступать христианин? Но ты, откровенно говоря, прав, Никита. Я бы мог спасти тебя и отпустить, а не прилипать к тебе, как пиявка. Дело в том, что я знаю, что ты пишешь истории, как покойный фрейзингенский Оттон. Но когда я знал епископа Оттона, вплоть до самого конца его дней, я был отрок. Я не имел истории. Я только хотел узнавать истории других. Теперь я готов завести себе собственную историю. Но я не только потерял все, что написал о своем прошлом, но и не могу восстановить. В воспоминаниях запутываются мысли. Факты как раз не запутываются, но я неспособен придать смысл этим фактам. После того, что сегодня произошло со мной, я должен кому-то все рассказать. Иначе я помешаюсь.

— А что произошло с тобой сегодня? — спросил Никита, тяжко переволакивая ноги. Он был моложе Баудолино, но науки и придворная карьера

наделили его тучностью, слабосилием и ленью.

— Я убил человека. Того, кто пятнадцать лет назад был убийцей моего приемного отца, лучшего из царей, императора Фридриха.

— Фридрих же утонул в Киликии!

— Так привыкли полагать. На самом деле Фридриха убили. Никита, ты видел, как я бесился и потрясал мечом давеча в Святой Софии, однако знай, что я никого никогда не убил. Я жил под знаком мира. В первый раз мне пришлось убить сегодня. Только я мог восстановить справедливость.

— Расскажешь после. Сейчас ответь, как это ты судьбоносно попал в Софию, чтобы спасти мне жизнь.

— В час, когда пилигримы начинали грабить город, я входил в одно тайное место. Когда я вышел из этого места, уже стемнело. Это было час назад. Я оказался у Ипподрома. Меня чуть не свалила толпа греков, бежавших по улице с криками. Я прижался к воротам полусожженного дома, чтобы пропустить их, и увидел, что за греками гонятся латинские пилигримы. Тут я понял, что в городе происходит, и тогда же совершенно кристально мне представилось положение: я-то сам, конечно же, латинянин, я не грек, но пока в

этой разнице разберется озверелая банда, между мертвым мной и мертвым греком уже не будет никакой разницы. Все же как это возможно, говорил я про себя, ну неужели они собрались уничтожить величайший город христиан как раз теперь, когда его получили… На что я ответил сам себе, что когда их предки вошли в Иерусалим при Готфриде Бульонском, хоть и тогда город переходил в их владение, они все-таки убили мужчин, женщин и детей и домашних животных, и слава еще небесам, что не сожгли заодно с этим церковь и Гроб Спасителя. Правда, тогда завоеватели были христиане, а город, взятый ими, был городом неверных. Но я в своих странствиях довольно нагляделся, как и христиане христиан режут за малейшее словечко, и знаю, что наши священнослужители с вашими затеяли распрю по поводу filioque. А кроме того, когда солдаты входят во взятый город, кому там разбираться в разночтениях Нового Завета.

— И как же ты тогда поступил?

— Я вышел из подворотни и стал пробираться, прижимаясь к стене, в сторону ипподрома. На ипподроме я увидел, как краса погибает и обращается в тяжесть. С тех пор как я в этом городе, я каждый день ходил смотреть на статую девы с

точеными стопами, с руками белее снега и с алым маленьким ртом, у нее такая улыбка… такие груди, такая одежда и волосы, что точно танцуют при ветре… Глядя на деву издали, не верилось, что это бронза. Казалось, она из плоти…

— Елена Троянская. Что, что-то случилось с нею?

— Случилось. За считанные секунды я увидел, как столб, на который она опиралась, перегнулся, будто дерево, подпиленное под комель, и низринулся, поднимая облако пыли. На куски расколотилось тело, в двух шагах от меня грянулась голова. Только тогда я понял, до чего была огромна эта статуя. Голова… ее нельзя было охватить и двумя руками… наблюдала искоса за мной, как обычно глядят лежачие люди, нос ее был горизонтален, губы вертикальны, и казались они, прости меня, теми губами, что у женщин промежду ног. Из очей повыскакивали зрачки и она как будто ослепла, точно как же, господи ты боже мой! вот как эта! — Тут он отстранился с плесканием, рассевая брызги повсюду, потому что во тьме неожиданно высветилось каменное чело, величиной в десять обыкновенных. Голова держала на себе колонну, а сама была лежачей, с еще более срамным ртом, чем в рассказе Баудо-

лино, потому что этот был полуоткрыт. Вместо волос клубились змеи, и на всем облике была смертельная бледность, цвета старой слоновой кости.

Никита заулыбался: — Да она тут испокон веку. Эти головы, привезенные бог весть откуда, послужили строителям цоколями. Ты напрасно перепугался.

— Не пугался я. Просто я ее уже видел. Совершенно в другом месте.

Баудолино был до того взбудоражен, что Никита переменил разговор. — Ты рассказывал, что сбили статую Елены.

— Если б только одну ее. Все, ох, все статуи от форума до ипподрома. По крайности все те, что выкованы из металла. Забирались по столбам, обвязывали статуи чем попало. Обхватывали канатами, цепями за шею, к другому концу вязали две-три упряжки волов. Свалили на моих глазах возниц, свалили сфинкса, гиппопотама, египетского крокодила, волчицу с Ромулом и Ремом, сосавшими молоко, и Геракла. Он тоже, как обнаружилось, был до такой степени громаден, что палец его равнялся торсу обычного человека. Пал и бронзовый обелиск, изузоренный рельефами, на котором на самом верху вертелась фемина,

показывала ветер…

— Подруга ветра. Какая утрата! Многие статуи восходили к языческим ваятелям. Они были древнее Рима. Зачем их повалили, зачем же?

— На переплавку. В первую очередь, когда берутся разграблять город, переплавляют, что не могут увезти. В дни грабежа город выглядит как сплошная кузня, что вполне естественно, потому что куда ни глянешь, повсюду пожар. Все дома, пока не выгорят, — хорошие горнила. К тому же те молодчики, которых ты видел в храме, побоятся показывать добычу. Что они скажут? Что выцарапали из алтарей писиды и патены? Плавить, немедленно плавить. Брать город, — пояснял Баудолино опытным тоном, — что собирать виноград. Обязанности разделяются. Кто мнет гроздья, кто таскает муст по чанам, кто готовит еду для мяльщиков, а кто идет за праздниковым прошлогодним вином. Грабеж — работа серьезная, когда, конечно, имеется цель не оставлять камня на камне. Так было в мои времена в Медиолануме. Только с тогдашними нашими, с павийцами, никто, конечно, не потягается. Они-то умели работать так, чтобы города не стало. А этим нынешним еще учиться и учиться. Я видел: стягивают статую и усаживают-

ся на ней закусить и выпить, потом появляется кто-то, таща за волосы девчонку, орет, что она-де девственна, и те кругом засовывают в нее палец, чтобы проверить, что там за дела и стоит ли возиться с нею… Между тем при правильном разграблении надо идти по городу шаг за шагом и чистить один дом за другим домом. Развлекаться будет время попозже. Иначе первые опередят и вынесут все, что только можно. Ну ладно. Моя-то загвоздка состояла в том, что этим старателям недосуг будет слушать, что и я пришел сюда, как они, из Монферратского маркизата. Оставалось одно. Я притаился под стеной, покуда в переулок не въехал всадник, который, видно, до такой степени упился, что не знал, куда бредет его собственная лошадь. Один разок дернув за ногу, я его благополучно спешил. Снял с него шишак и уронил ему на голову приличный камень…

— Убил его?

— Да нет, хрупкий такой, парнягу только оглушило. Я был спокоен, что он живехонек, он лежал и весь заблевывался какой-то фиолетовой дрянью, так что я быстро стащил с него плащ и вязаную кольчугу, взял себе шлем, оружие, коня и поспешил вперед по улицам, пока не оказался у Святой Софии. И обнаружил, что в собор въез-

жают люди на мулах, передо мною солдатня выволокла серебряные канделябры с цепями толщиною в их руки, переговариваясь по-ломбардски. Когда я увидел все это громление, это хищение, этот глум, я прямо забыл себя, потому что глумившиеся были все-таки моими земляками, были приверженниками римского папы…

За разговором пройдя по всей дороге, почти при выгоревших факелах они вышли из подземного водоема в уже сгустившуюся ночь и по пустынным улицам достигли укрепления генуэзцев.

Поколотили в дверь, и кто-то к ним спустился, им дали войти и накормили по-армейски без разговоров. Баудолино, казалось, был накоротке с хозяевами и отрекомендовал им Никиту. Один из тех сказал: — Будет сделано. Идите в постель. — И сказал настолько уверенно, что не только Баудолино, но и Никита провели ту ночь во сне и даже в покое.

3
Баудолино пересказывает Никите, что им написано в отрочестве

Пришло утро, Баудолино позвал самых шустрых генуэзцев: Певере, Бойямондо, Грилло и Тарабурло. Никита сказал им, где находится его семья, и они ушли, вторично посоветовав не волноваться. Никита попросил вина, налил кубок Баудолино: — Не знаю, понравится ли тебе это вино, с таким копченым привкусом. Многим латинянам наше вино гадко, говорят, воняет плесенью. — Выслушав Баудолиновы заверения, что для него этот греческий нектар — отрада, Никита расположился слушать его рассказы.

Баудолино спешил выговориться, выплеснуть, что накопилось. — Вот, государь Никита, — сказал он, вытаскивая кожаную ладанку, которую носил на шее, и вынув пергамент. — Это начало моей истории.

Никита, хоть он и умел разбирать латиницу, попытался расшифровать письмо, но у него ничего не вышло.

— Что это? — спросил он тогда. — То есть на

каком языке написано?

— На каком языке, не знаю. Ладно, давай начнем сначала, государь Никита. Ты, верно, знаешь, где находится Януа, то есть Генуя, и Медиоланум, или Майланд, как зовут его тевтонцы, они же германцы, они же, по вашему выражению, алеманы. Так вот, на середине пути между этими двумя городами протекают две реки, Танаро и Бормида, а между рек обретается равнина, на которой, когда нет такой жары, что можно печь на каждом камне яйца, тогда стоит густой туман, а нет тумана, значит, лежит снег, а если нет снега, то тогда повсюду лед, а если нету льда, то все равно морозно. Там я и родился, в ланде, носящей имя Маринканской Фраскеты, на широком болоте между двух рек. Не сравнить с побережием Пропонтиды…

— Да уж я думаю.

— …но по мне, хорошее место. Там такой воздух задушевный. Я пространствовал много, государь Никита, может быть, до Великих Индий…

— Как, ты не знаешь?

— Нет, не знаю точно, до какого я добирался места. Несомненно, до рогатых людей и до тех, у которых уста на брюхе. Я неделями блуждал по бескрайним пустыням, странствовал среди лугов,

простиравшихся до самого крайнего огляда, и всегда ощущал себя в плену у чего-то, на что не хватало воображения. А вот в моих краях, когда гуляешь по лесам в тумане, ты будто все еще в животе у матери, ничего не боишься и совершенно свободен. Да и когда тумана нет… прогуливаясь, захотел попить — отломал сосульку, замерз, подышал на пальцы, на руках постоянно geloni…

— Это те… которые смешат?

— Нет, не gheloioi! В вашем языке просто нет пригодного слова. Geloni — болячки на пальцах, на костяшках кулаков, образуются они от стужи и зудят, а если расчесывать, нарывают…

— Но ты их вспоминаешь как будто с приязнью…

— Холод приятен.

— Каждому нравится место, где он родился. Рассказывай.

— Вот, там прежде обитали римляне, римляне римские, те, которые говорили на латыни, а не те римляне, которыми называете себя вы, говоря при этом по-гречески, в то время как мы вас зовем ромеи, или же greculi… полагаю, ты не обиделся. Потом империя тех римлян развалилась, и в Риме остается только папа, а по Италии распространились разные народы с разнообразными

своими языками. У нас во Фраскете говорят одним манером, а неподалеку, в Тортоне, уже другим. Путешествуя с Фридрихом по Италии, мне привелось слышать нежные языки, с которыми при сравнении наш фраскетский вообще не язык, а лаянье псов. Никто на нем ничего не пишет, у нас для письма употребляется латынь. Знаешь, марая вот этот пергамент, я, поди, вообще впервые попытался записать, как разговаривают наши люди. Потом я выучился и перешел на латынь.

— Но тут-то что все-таки написано?

— Как видишь, я, живя у книжников, даже понимал летосчисление. Я пишу, что идет декабрь года Господня 1155. Правда, сколько мне самому лет, я не знал. Отец говорил двенадцать, у матери выходило не меньше тринадцати. Видимо, от усилий, что она истратила, растив меня во страхе Божием, годы, на ее подсчет, умножились. А когда я писал это, мне и подавно близилось к четырнадцати. С апреля по декабрь я учился писать. Учился как бешеный. С той поры как император Фридрих забрал меня и мы уехали, я учился где только мог: на поле, в палатке, в любых военных развалинах. В основном я учился на табличках, редко когда на пергаментах. Я уже начинал привыкать, живя при Фридрихе, к скитальчеству.

Мы сидели на месте только несколько месяцев, да и то лишь зимой, а остальную часть года путешествовали и каждый день ночевали на новом привале.

— Да, но что же тут все-таки рассказано?

— В начале того года я еще жил при отце и матери, двух-трех скотах и наделе земли. Один отшельник в наших краях обучил меня чтению. Я бродил по болотам и лесам, воображал себя чем попало, видел в тумане единорогов и, как я утверждал, святого Баудолина…

— Ничего не знаю об этом святом. Он взаправду тебе являлся?

— Это святой местного значения, при жизни был епископом Вилла дель Форо. Взаправду являлся или нет, это особый вопрос. Видишь ли, сударь Никита, трудность моего положения состоит в том, что я никогда не проводил различий между увиденным и тем, что хотел увидеть…

— Ты не один такой…

— Да, но со мной каждый раз получалось, что стоило мне только объявить: я видел то-то, или же: я нашел письмо, гласящее то-то (а может, письмо я сам же и написал), люди как будто лишь этих моих слов и ждали. Понимаешь, если всякий раз, когда лепишь наобум что приходит тебе в

башку, люди объявляют, что это самая истинная истина, начинаешь как-то и ты верить. Я разгуливал по Фраскете, в каждой роще встречал святых и единорогов, и когда повстречал императора Фридриха, то, не зная, что он и кто он, заговорил на его родном языке и сказал ему, будто от святого Баудолина слышал, что ему суждено захватить Тортону. Я сказал это ему, одному ему в порядке любезности, но для Фридриха было полезно, чтобы я повторил это всем и каждому, прежде всего послам из Тортоны, дабы они увидели, что и святые им противятся, и для того выкупил меня у родителя. Для отца были ценны не монеты, которые дал император, а что стало одним едоком меньше. Так моя жизнь поменяла направление.

— Ты сделался его пажом?

— Скорее сыном. В те времена у Фридриха не было еще собственного потомства, и думаю, он ко мне привязался. Я говорил ему то, что другими почтительно замалчивалось. Он обращался со мной как с родным, хвалил за учебные каракули, за неумелый счет, для которого я пользовался пальцами, за то, что я умел запоминать исторические подробности, касавшиеся его отца и отца его отца… Думая, что я не смогу понять, он даже со мною откровенничал…

— Любил ли ты приемного отца больше чем родного, или тебя привлекало его могущество?

— Сударь Никита, до определенных пор я не задумывался, люблю ли своего кровного родителя Гальяудо. Я только не хотел попадать под тяжелую руку и тяжелую палку, что, полагал я, было естественно для детища. Что я любил его, я узнал только когда его не стало. До самой смерти, думаю, я ни разу не обнял отца. В объятия матери я, конечно, прибегал, чтоб выплакаться, но бедная женщина опекала столько скотины, столько птицы, что на меня ее уже не хватало. Фридрих имел превосходный рост, лицо бело-розовое, а не дубленое, как у моих деревенских родичей, волосы и бороду имел рдяно-пламенные, и длинные пальцы, и тонкие руки, ногти имел ухоженные, сам держался уверенно и внушал уверенность людям, был весел, и был решителен, и внушал решительность и веселие, был смелым и все вокруг становились смелыми… Львенком был тогда я, он был сильным львом. Он бывал и суров, но не с теми, кого любил: с теми нежен. Я любил Фридриха. Это был первый человек, который слушал, что я ему говорил.

— Выслушивал тебя как глас народа… Благ господин, не приклоняющий свой слух к одним

придворным, но любопытствующий о думах граждан…

— Да, но я не понимал, кто я и где я. С тех пор как я встретил императора, с апреля и до месяца сентября императорское войско дважды промерило маршем Италию, в первый раз от Ломбардии до Рима, второй раз в обратном направлении, по змееобразно извитому пути от Сполето на Анкону, потом в апулийские области и снова в область Романьи, затем в Верону, в Тридент, в Бозен, перевалило через горный хребет и наконец возвратилось в Германию. Двенадцать лет, проведенных в болоте между левой и правой рекою… а на тринадцатый меня вбросили в середину универса.

— По твоему тогдашнему представлению.

— Естественно! Я понимаю, сударь Никита, что центром универсума являетесь вы! Но мир гораздо шире вашей империи. Есть Ultima Thule и есть страна гибернов. Конечно, по сравнению с Константинополем Рим — лишь гора руин, а Париж — грязная деревня. Но кое-что кое-когда случается и на широких просторах, где не все говорят по-гречески. Где в одной из стран, чтобы выразить согласие, произносят: ок.

— Ок?

— Ок.

— Удивительно. Продолжай же.

— Продолжаю. Я повидал целую Италию, новые места, новые лица, облачения, не виданные мною, дамаски, вышивки, золототканые епанчи, броню, оружие, я слышал речи, которые с большим трудом воспроизводил… каждый день иные. Припоминаю довольно смутно коронование Фридриха железной короной итальянских королей в Павии, потом поход по Италии так называемой citeriore, «посюсторонней». Долгий марш по францигенской, via francigena, то есть пилигримской на гребне Апеннин дороге вплоть до Сутри, где император встретился с папой Адрианом. Коронование в Риме…

— Так где все-таки был коронован твой василевс, или император, как вам его угодно называть, — в Риме или в Павии? И зачем он короновался в Италии, если он василевс аламанов?

— Тогда мы начнем совсем с начала, сударь Никита, потому что у нас, латинян, все не так просто, как у вас тут, у ромеев. У вас кто выколет глаза очередному василевсу, сам занимает его место, все очень рады, и даже цареградский патриарх пляшет под новую монаршую дудку, в обратном случае василевс выколет очи и патриарху…

— Ну, не совсем уж так…

— Как не совсем? Когда я прибыл, мне сразу объяснили, что Алексей Третий взошел на трон, ослепив законного василевса, своего брата Исаака.

— А что, у вас правители не убирают своих предместников ради захвата их трона?

— Да, но у нас их убирают в бою, или тайной отравой, или кинжалом.

— Ну видите. Вам, варварам, неведомы щадящие методы. И вообще Исаак родной брат Алексея, а братьев нельзя убивать.

— Понятно. Можно выкалывать глаза истинно по-братски… У нас иначе. Император латинян, будь он и не латинянин… а ни один из императоров не латинянин со времен Великого Карла… император латинян — это прямой наследник римских кесарей. Римских из Рима, я имею в виду, не римских из Константинополя. Но для вящей надежности его должен короновать римский папа, потому что законы Христа теперь у нас сильнее законов лжи и неверия. Однако чтобы римский папа короновал императора, этого императора должны признать итальянские города, а у каждого города свой норов, значит, первым делом этот император должен стать королем

Италии и соответственно короноваться, но, понятно, только при одном условии: что его прежде выберут тевтонские принцепсы. Это тебе ясно?

Никите давно было ясно одно: что латиняне, хоть они и варвары, все закручивают хитрее некуда. Ничего не смысля в тонкостях и дистинкциях богословия, они доходят до невоспроизводимой казуистики, когда дело касается гражданских законоуложений. И во все те столетия, что были потрачены византийскими ромеями на жаркие разборы, в чем состоит природа Господа, безотносительно к проблеме власти (власть продолжала исходить прямо от Константина), люди Запада оставляли теологию попам из Рима, а все имеющееся время употребляли на то, чтоб травить и потрошить друг друга, выясняя, есть ли еще над ними император и кто он. С тем результатом, что настоящего императора так и не имели.

— Значит, Фридрих нуждался в римской коронации. Думаю, она проходила помпезно…

— Да не так чтобы очень. Во-первых, Святой Петр в Риме, по сравнению с вашей Святой Софией, это клетушка, причем достаточно облезлая. Во-вторых, положение в Риме в те дни было неопределенное. Папа окопался около Святого Петра и собственного замка, а по ту сторону реки

римляне во всем городе хозяйничали как хотели. В-третьих, невозможно было понять как следует, папа ли хамил императору или император хамил папе.

— В каком смысле?

— В смысле, что если послушать принцепсов и епископов государева престола, получалось, все разъярены тем, как папа обходится с императором. Коронации производят по воскресеньям, а эту назначили на субботу. Помазание на императорство делается у главного алтаря, а Фридриха помазали у бокового, и не на челе, как мазали всегда всех, а между плечами и лопатками, и не миром, а соборованным елеем… ты, может быть, не чувствуешь различия, я, честно говоря, тоже тогда не чувствовал, но при дворе все ходили угрюмые как я не знаю что. Я ожидал, что и Фридрих озлобится, но он, наоборот, умильничал перед этим папой, а бесился, судя по его поведению, сам папа, папа был зол, будто провалился какой-то план. Я спросил открыто у Фридриха, почему бароны такие кислые, а он веселый. Фридрих сказал, что если я бы разбирался в литургических символах, понимал бы, что мелкие детали прямо переворачивают суть дела. Ему, конечно, нужна была коронация, и

не какая-нибудь, а папская, но как раз без особой помпезности, чтобы не казалось, будто он становится императором благодаря этому папе, потому что он императором и сам по себе уже является по решению германских принцепсов. Я сказал ему, что это здорово подстроено, папе отвели роль обыкновенного нотариуса, заверь-ка, пожалуйста, папа, тут мой договор со Вседержителем. Фридрих наградил меня щелчком и парировал: браво, ты умеешь верно описывать положения. Потом спросил, чем я был занят все эти дни в Риме, пока он возился с церемониями и потерял меня из виду. Я ему: известно, какие вы тут разводили церемонии. А надо знать, что римлянам (римлянам римским, как ты уже, видимо, понял) не понравилось, что Фридрих коронуется в Святом Петре, потому что их римский сенат, считавший себя главнее папы, предлагал Фридриху короноваться на Капитолии. Фридрих от Капитолия отказался, потому что не хотел, чтоб говорили, что он принял коронование от народа. Тогда не только германские принцепсы, но и французский с английским короли сказали бы, хорошенькое помазание от пресвятой черни! Помазание от папы — другое дело, серьезное дело. Впрочем, и на этом заковырки не кончались, но

я это понял лишь потом. Германские принцепсы как раз начинали ссылаться на translatio imperii, то есть что они непосредственно наследуют римским кесарям. Следовательно, если Фридриха коронует папа, значит, наследование принцепсами власти кесарей утверждается викарием Христа на земле, и не имеет значения, где этот викарий живет, в Эдессе или в Регенсбурге. Если же Фридрих бы позволил увенчать себя сенату и народу римскому, это означало бы, что империя все еще имеет в Риме средоточие и ни о какой translatio нет и речи. И откушайте, как говаривал мой родитель Гальяудо. Естественно, на такое император согласиться не мог. И вот поэтому как раз во время большого коронационного пиршества разозленные римляне перебрались через Тибр и поубивали не только сколько-то там священников, что было делом вполне повседневным, но и сколько-то людей императора. Тут Фридрих не взвидел свету от бешенства и скомандовал перетопить и перерезать всех без изъятия, и в этот день в Тибре обреталось больше мертвецов, нежели рыб. Примерно к вечеру римляне поняли, кто здесь начальник, но если говорить о празднике, праздник вышел не ахти какой. От этого и нерасположение Фридриха к городам

посюсторонней Италии. От этого, когда на исходе июля он подошел под Сполето, потребовал гостеприимства и платы, а сполетские жители как-то замешкались, Фридрих сорвал на них остатки римского бешенства и устроил такой разнос, что константинопольский в сравнении с ним — детское игрище. Знаешь ли, сударь Никита, императору положено вести себя по-императорски, не распускать нюни… Я немалому научился в эти месяцы. За разгромом Сполето последовала встреча в Анконе с византийскими посланниками, потом мы вернулись в верхнюю Италию и дошли до отрогов Альп, которые Оттон называл Пиренеями, и там я впервые в жизни увидел заснеженные горные вершины. Тем временем каждый день без устали Рагевин обучал меня письму…

— Тяжелое занятие для юноши.

— Нет, не тяжелое. Конечно, ежели до меня ну просто уж совсем никак не доходило, каноник Рагевин умел поддать и кулаком по башке, но я сносил это с легкостью, после родительских затрещин. А вообще все они так и глядели мне в рот. Если я провозглашал, что увидел сирену в море, после того как император отрекомендовал меня в качестве святовидца, люди верили в эту сирену

и нахваливали меня за правдивые рассказы!

— Это научило тебя взвешивать слова.

— Наоборот, это отучило меня их взвешивать. Что бы я ни сказал, все всегда воспринималось как истина, так как было сказано мною. По пути в Рим один священнослужитель, Коррадо, описал мне чудеса этого города: рассказал про семь волшебных истуканов Капитолия, обозначавших дни недели, каждый из истуканов умел-де дивным звоном возвестить, ежели становилось неспокойно в одной из семи провинций империи… рассказал о бронзовых самодвижущихся статуях, о дворце, где заколдованные зеркала… Потом мы доехали до Рима. В день, когда на Тибре было смертоубийство, я решил уйти от этих дел подальше и пошел один по городу. Бродил, бродил, так ничего и не выбродил: видел только баранов между античных руин, видел под портиками простолюдин, переговаривавшихся по-иудейски и продававших свежую рыбу, но никаких mirabilia не обнаружил, кроме одной конной статуи на Латеране, да и та оказалась не бог весть какой красоты. Тем не менее, когда я вернулся и был всеми расспрошен, что хорошего в Риме, — как ты считаешь, можно ли было в ответ доложить, что из всех красот только и

имеется в натуре, что бараны между руин и руины между баранов? Мне бы даже не поверили. Так что я перепел все байки о чудесах, которых перед этим наслышался, и еще припел от себя, например, что в Латеранских палатах обретается мощехранилище золотое и с бриллиантами и в мощехранилище лежат пуповина и обрезанная крайняя плоть Христа Господа. Ну, народ совсем развесил уши и приговаривал: обидно, что пришлось нам все это время оставаться и резать римлян и не поглядели мы на mirabilia. Потом не проходило дня, чтоб я не слышал о mirabilia Рима, слышал в Германии, слышал в Бургундии и даже здесь… именно то, что я в свое время понапридумал для своих однополчан…

Между тем возвратились генуэзцы, переодетые монахами, и привели под колокольное бряканье табунок каких-то существ, замотанных с головой в белесую грязную рвань. Это были: беременная жена Никиты с меньшим ребенком на руках, прочие мальчики и девочки, очень красивые, а также несколько слуг и родственников. Генуэзцы провели всю компанию через город под видом прокаженников, и пилигримы с ужасом отскакивали от этого шествия.

— Ну как они могли поверить? — надсаживался

от хохота Баудолино. — Прокаженные — ладно, но уж вы-то, даже в этих балахонах, какие из вас монахи!

— Со всемерным почтением скажу, крестоносцы малость олуховаты, — отвечал Тарабурло. — Вдобавок просидевши тут изрядное время, кое-как бормотать по-гречески и мы приловчились. Шли, распевали kyrieleison pighé pighé, повторяли эти слова вроде литании, а пилигримы отскакивали, крестились, пальцами показывали рога и хватались за причинные части.

Один служитель поднес Никите шкатулку и тот удалился в другой конец комнаты, отмыкая. Вернувшись, он дал несколько золотых монет хозяевам дома, на что те рассыпались в благодарностях и провозгласили, что, сколько потребуется, истинный распорядитель под этой крышей — их гость. Большую семью расселили в квартирах по соседству, в довольно грязных переулках, куда ни одному латинянину не пришло бы в голову идти грабить.

Теперь спокойный, Никита вновь обратился к Певере, по виду — главному генуэзцу, и сказал, что и в тайнике не желает отказываться от приятных повседневных привычек. Город горит, поэтому гавань полна купеческих кораб-

лей, подходят и лодки рыбаков, полные улова, но все стоят в проливе Золотой Рог, не могут причалить к сходням и выгрузить товар на склады. Располагая деньгами, можно закупать по порядочным ценам все, что необходимо для удовлетворительной жизни. В отношении готовки, один из вызволенных домочадцев, свояк Никиты Феофил, — прекрасный кулинар. Он составит перечень припасов, которые нужны… Так все уладилось, и после полудня Никита смог угостить Баудолино едой, приличествовавшей логофету. Жирный козленок, шпигованный чесноком, а также репчатым луком и луком-пореем, под соусом из маринованной рыбы.

— Более двух столетий назад, — сказал Никита, — в Константинополь прибыл послом от вашего короля Оттона один епископ, Лиутпранд, и принимал его наш василевс Никифор. Визит был очень неудачным. Лиутпранд составил отчет о поездке, где о нас, римлянах, говорилось, что мы грязны и грубы, невежественны и в обносках. Он возненавидел смоляное вино, а также наши кушанья, залитые, как он писал, негодуя, постным маслом. Но об одном-единственном блюде он отозвался с энтузиазмом, а именно о том, которое ты сейчас ешь.

Баудолино козлятина пришлась донельзя по вкусу, и он стал отвечать на следующие вопросы логофета Никиты.

— Живя в отряде Фридриха, ты освоил науку письма. Читать был способен и до этого.

— Да, но писать труднее. Писал я по-латыни. Дело в том, что когда император орал на своих солдат, он это делал по-немецки, а когда писал папе или двоюродному брату Язомирготту, то переходил на латынь, и на латыни были все документы. Мне трудно было составлять первые слова, я переписывал слова и фразы, смысла которых не понимал, но все же к концу первого года научился уже писать. Однако Рагевин не успел к той поре поучить меня грамматике. Я умел переписывать, но был не в состоянии самостоятельно изъясняться. Поэтому я начал писать на языке Фраскеты. Хотя… вправду ли это был язык Фраскеты? Скорее мешанина моих воспоминаний о разных наречиях, которые вокруг меня звучали. О языках жителей Асти, Милана, Генуи, тех, кто нередко друг друга не понимали. Потом в той местности мы выстроили город, и обитатели сошлись туда отовсюду, и вместе возвели башню и сообщались между собою на некоем смешанном наречии. Я думаю, что в значительной мере то

было наречие, изобретенное мною.

— Ты выступил как номофет, — подвел тогда итог Никита.

— Не знаю слова «номофет», однако, вероятно, выступил. Как бы то ни было, следующие листы уже составлены на вполне сносной латыни. Я писал их в Регенсбурге, в тихом монастыре, при епископе Оттоне, и в тиши прихрамового сада жил среди множества листов, которые мною читались… Но я учился. Я не только читал. Присмотревшись, можно увидеть, что пергамент плохо счищен и через мой текст проступают чужие строки. Я был действительно канальей в юные годы. Крал материал у мастера. Двое суток отцарапывал текст, который считал античным, готовя себе писчую поверхность. Вскоре вслед за тем Оттон забеспокоился, не находя первого списка своей «Хроники», или же «Истории о двух царствах», над которой он трудился больше десятилетия. Епископ стал винить бедного Рагевина, что тот-де потерял сочинение в странствиях. Через два года он нашел силы воспроизвести заново этот труд по памяти. А я работал при нем писцом. Я не сознался, что первый список этой Оттоновой «Хроники» соскреб с пергамента я. Как видишь, есть на свете воздаяние. Ведь я тоже утерял свой

труд, свою «Хронику», но не способен воспроизвести ее. Однако знаю, что пиша вдругорядь, Оттон очень много переменил…

— Что он менял?

— Когда читаешь «Хронику» Оттона, то есть историю всего мира, замечаешь, что о мире и о живущем в мире человечестве он отзывается нелестно. Мир, по его теории, зачался, может быть, и удачно, но вслед за тем начал портиться: мир стареет, mundus senescit, и до конца остается считанное время… Но именно в тот год, в который Оттон решил снова взяться за «Хронику», император потребовал восславления его геройских свершений, и тогда Оттон начал отдельное сочинение «Деяния Фридриха», которое не закончил, поскольку умер меньше чем через год после этого, и завершал «Деяния» Рагевин. Невозможно, описывая подвиги своего монарха, не провозглашать, что с его восходом на трон началась новая эпоха, не тяготеть к historia iucunda…

— Можно писать биографии своих императоров и не отказываться от критики и объяснять, как и почему они близили собственную гибель…

— Ты, может, и можешь, государь Никита, но Оттон не мог. Я тебе хочу объяснить, как обстояло дело и почему этот достойный муж одной рукой

восстанавливал «Хронику», в которой будущее мира рисовалось грустным, а другой писал «Деяния», в которых будущее мира рисовалось светлее некуда. Думаешь, проблема только в разночтениях первого и второго текстов? Если бы только в этом… Я, увы, склонен думать, что в первом варианте «Хроники» будущее мира изображалось как совсем напрочь трагическое. Но чтобы смягчить противоречия на новом этапе писательства, Оттон во втором списке сделался гораздо снисходительнее к нашему миру. И все это на моей совести! Ведь это я сцарапал первую версию. А останься, может, первый вариант в силе, совесть не позволила бы даже и браться за «Деяния». В то же время, зная, что именно по «Деяниям» завтра будут судить, что свершил Фридрих и чего не свершил… Если б я не соскреб эту злосчастную хронику, то Фридрих, глядишь, и не свершил бы того, что мы считаем его свершениями.

— Ты, — сказал на это Никита, — вроде критянина-лжеца. Ты говоришь, что ты отъявленный лжец, и требуешь, чтоб я тебе верил. Ты убеждаешь, что налгал всем на свете, кроме одного меня. За много лет при дворе наших императоров я научился вывертываться из ловушек, расставленных обманщиками похитрее тебя. По твоим

собственным отзывам, ты уже не понимаешь, кто ты. Может быть, именно потому, что нарассказал чересчур много баек, в том числе самому себе. Теперь ты хочешь, чтобы я составил для тебя ту историю, что тебе самому не дается. Но я — не мистификатор твоего пошиба. Всю жизнь я поверял и проверял чужие рассказы, выискивая истину. Может, тебе угодно получить от меня историю, где тебе отпустится грех убиения того, кому ты мстил за гибель своего императора Фридриха? Выстраивая по кусочкам линию любви между тобой и императором, ты хочешь оправдать свое преступление-мщение? Надо еще доказать, что Фридриха убили и что убил его тот, кого затем убил ты.

Никита выглянул в окно. — Пожар уже почти на Акрополе, — сказал он.

— Я приношу несчастье всем городам, — отозвался Баудолино.

— Ты мнишь себя всемогущим. Гордыня — грех.

— Уничижение паче гордости. Всю жизнь так: стоит мне приблизиться к какому-то городу, как его разрушают. В той земле, где я рожден, всюду были мелкие сельбища и крепости. От заезжих коробейников доходили к нам рассказы о богат-

ствах urbis Mediolani,[10] но каков на самом деле должен быть город, я не ведал. Я ведь не добирался даже до Тортоны, только смотрел издалека на ее башни. А что касается Асти и Павии, то, по мне, они находились у пределов Земного Рая. Прошло время, и я стал видеть многочисленные города. И все эти города, что я видел, или доживали последние дни, или уже горели: Тортона, Сполето, Крема, Милан, Лоди, Иконий, а позднее Пндапетцим. То же происходит с Царьградом. Так не получается ли, что я по-вашему, по-гречески полиокласт, навожу сглаз помимо воли?

— Не будь каратель самого себя.

— Правильно. Был один город… мой собственный. Этот город я спас, сумев солгать. Как ты думаешь, одного случая достаточно, чтобы исключить теорию сглаза?

— Достаточно, чтоб исключить теорию рока.

Баудолино смолк. Он обернулся и кинул взгляд на то, что прежде было Константинополем. — Я все равно мучаюсь виной. Ведь все это творят венецианцы, фламандцы, а верховодят ими рыцари Шампани и Блуа, Труа, Орлеана, Суассона, не говоря уж о моих земляках монферратцах. Я

---

[10] Примечания: 10
города Милана (лат.).

предпочел бы, чтобы погромщиками Константинополя были тюрки.

— Тюрки никогда не станут разрушать Константинополь, — ответил на то Никита. — Мы с ними в дивных отношениях. Не тюрок, а христиан нам надлежит беречься. Хотя, наверно, вы — это десница Господня, и насланы на нас ради прегрешений наших.

— Gesta Dei per Francos,[11] — кончил Баудолино.

[11] Примечания: 11

Деяния Бога через франков *(лат.)*. Название хроники первого крестового похода на Иерусалим в 1095–1100 гг., составленной Гвибертом Ножанским.

4
Баудолино разговаривает с императором и влюбляется в императрицу

Утро кончилось, Баудолино стал рассказывать ровнее и глаже, Никита решил не перебивать его. Он полагал, Баудолино достигнет взрослости и перейдет наконец к существу. Он не знал, что Баудолино до существа не довзрослел еще даже к тому времени, когда ведет рассказ, и что он ведет рассказ, чтоб прийти все-таки к существу.

Фридрих определил молодого Баудолино к епископу Оттону и его помощнику канонику Рагевину. Оттон, родом из знаменитой семьи Бабенбергов, был по матери дядей императора, хотя лишь на десять лет его старее. Мудрейший муж, он обучался в Париже у великого Абеляра, потом вступил в цистерцианский монашеский орден и был возвышен в ранней молодости до сана епископа Фрейзинга. Не то чтобы благородному городу Фрейзингу было им отдано так уж много усердия, но, пояснял Баудолино Никите, в западном христианском мире отпрыски родови-

тых фамилий могли получать пост епископов без того, чтоб выезжать в «свои» города и монастыри. Достаточно было распоряжаться доходами.

Оттону было меньше пятидесяти, но с виду чуть ли не сто лет: вечная перхотина, прострелы то в плечах, то в боках, мочекаменный недуг и очи, нагноенные от беспрестанного чтения при хорошем и дурном свете. Он поминутно раздражался, что типично для подагриков. Впервые увидев Баудолино, рявкнул на того: — Чтоб втереться к нашему императору, ты наврал ему с три короба, признавайся!

— О, клянусь, это не так, — отвечал Баудолино. На что ему Оттон: — Ну разумеется. Отрицанием лжец утверждает. Иди за мной. Научу тебя всему, что мне известно.

Чем доказывается, что на самом деле Оттон был добрым человеком и с первого знакомства привязался к Баудолино, поскольку нашел в нем схватчивость и способность удерживать в памяти услышанное. Но замечал, что тот широко провозглашает не только то, чему его учат, но и что сам досочинил.

— Баудолино, — то и дело укорял Оттон. — Ты прирожденный обманщик.

— Ну с чего вы это взяли, маэстро?

— Да взял глядя на тебя. Но я тебя не попрекаю. Если ты собираешься быть автором и слагать, быть может, собственные истории, тебе нужна способность лгать, иначе истории выйдут нудные. Но лгать надлежит с умеренностью. Люди не любят тех, кто лжет по мелочам, и боготворят поэтов, которые лгут только в самом главном.

Баудолино наторел в Оттоновых учениях. Что лжецом был и сам Оттон, он понял только с течением времени, находя противоречия между «Chronica sive Historia de duabus civitatibus» и «Gesta Friderici». Тогда Баудолино решил, что если он хочет стать лжецом замечательным, нужно прислушиваться к чужим речам и следить, как людям удается друг друга убеждать в истинности тех или иных высказываний. Вот, скажем, как разговаривали друг с другом о ломбардских городах Оттон с императором Фридрихом.

— Ну откуда подобное варварство? Неслучайно у них монархи коронуются железяками! — выходил из себя Фридрих. — Никто никогда не учил их оказывать императору уважение! Баудолино, ты это слышал? Они присвоили мои regalia!

— Как? Твоих регалиолов забрали? Каких, отец? — Все засмеялись, и прежде всех Оттон, поскольку знал древнюю латынь и помнил, что

по-латыни regaliolus — птенчик.

— Regalia, regalia, iura regalia, дубовая голова, Баудолино! — рассердился Фридрих. — Права, мои неотъемлемые права назначать судей, брать пошлины с дорог, базаров и судоходных рек и право бить монету, и еще… еще… какие еще у меня права отобрали, Рейнальд?

— …изымать штрафные суммы, взимать пени, перенимать имения, не имеющие законных наследников, перенимать имения, конфискованные за преступную деятельность, или за кровосмешение, или за иные злодеяния, взыскивать долю доходов с добычи, промыслов, солеварен, рыбных садков, десятину с отысканных кладов, пребывавших до отыскания на казенной земле или в казенной земле… — сыпал словами Рейнальд Дассельский, которому скоро предстояло сделаться эрцканцлером, то есть вторым лицом в Римской империи.

— Вот, вот. И эти города захватили все мои неотъемлемые права. Вконец утратили понятия о добре и справедливости. Что за черт затуманил им головы до такого безобразия?

— О, племянник и император мой, — возразил Оттон, — для тебя Милан, Павия и Генуя все равно что Ульм и Аугсбург. Но города Германии

все основаны по велению князя, и князь для них высший авторитет с первого дня основания города. Иное дело в Италии. Города там рождаются в то время как германские императоры заняты другими заботами, и растут, пользуясь отсутствием своего властителя. Когда ты этим горожанам пытаешься навязать свои порядки, они их принимают за potestatis insolentiam, за превышение власти, и считают поборы неприемлемыми. А подчиняются они власти консулов, ими самими избираемых.

— Они не желают монаршей защиты? Имперского достоинства и имперской славы?

— Еще как желают и ни за какие блага на свете не согласились бы лишиться монаршей защиты, поскольку без защиты их захватит какой-нибудь другой монарх, византийский император или даже султан Египта. Им принцепс нужен, но только пусть этот принцепс находится от них как можно дальше. Ты окружен свитой придворных и, верно, не знаешь, что в этих городах отношения иные. Они не согласны, чтобы крупные вассалы владели лесами и полями, потому что и поля с лесами по их понятиям — собственность городов… за вычетом разве что владений Монферратской марки и двух-трех других областей. Имей в виду,

что в городах молодые люди, ремесленники, те, кого бы в твоем дворе к порогу не допустили, — распоряжаются, руководят и неоднократно возвышались до рыцарского звания…

— Значит, мир перевернулся! — крикнул император.

— Отец, — поднял палец Баудолино. — Но ведь со мной ты обходишься как с родным, хотя вчера я спал на соломе.

— С тобой я обошелся как захотел, и если захочу, сделаю тебя герцогом, сиятельством, светлостью, потому что я император и могу облагораживать кого мне заблагорассудится. Это не значит, что любой имеет право облагораживаться по собственному благоусмотрению. Как им не понятно, что если мир перевернется, они себе шеи посворачивают?

— Это, может быть, не так, Фридрих, — гнул свое епископ Оттон, — итальянские города с их особым управлением сделались источником всевозможных богатств, и купцы спешат туда изо всех концов мира, и их стены и красивее и крепче стен иных крепостей.

— Ты на их стороне, дядя? — вопил император.

— На твоей, о венценосный мой племянник, но именно поэтому обязан помочь тебе уяснить, до

чего сильны враги. Если ты будешь требовать от городов того, что дать они не желают, придется тебе всю жизнь осаждать их, побеждать, а они будут восстанавливаться и прирастать гордыней, каждые полгода ты будешь переходить Альпы, чтобы подчинить их опять, а твоя императорская планида совсем не в этом.

— В чем же моя императорская планида?

— Фридрих, я рассказывал в моей «Хронике»… той, что необъяснимым образом запропала и которую я вынужден переписывать заново… да покарает Господь каноника Рагевина, на чьей совести это злополучие… я писал, что много лет назад, в понтификат Евгения Третьего, один епископ из Сирии, из Габалы, пришедший к папе с армянскими посланниками, доложил, что на Далеком Востоке, в краях, приближенных к Земному Раю, есть царство Rex Sacerdos, пресвитера Иоанна, который точно христианин, хоть и апостол несторианской ереси, и ведет род от Волхвоцарей, от тех самых хранителей незапамятной мудрости и посетителей Иисуса Христа при рождении… Как и они, Иоанн — священник и царь…

— Ну и каким же боком я, Фридрих, император Священной и Римской империи, могу иметь

отношение к этому пресвитеру, да сбережет Господь его при царстве и при священстве на долгие времена там, где у черта на куличках он себе царствует над своими арапами?

— Видишь ли, просвещенный племянничек, в этих речах об арапах ты повторяешь то, что думают другие христианские правители… кто с тяготами охраняет Иерусалим… Почтенное занятие, не спорю. Но лучше его оставить французским королям. Тем более что в Иерусалиме всегда почему-то хозяйничают французы. Судьба мирового христианства и цель любой на свете империи, считающей себя священной и римской, располагается по ту сторону мавров. Судьба и цель располагаются в христианнейшем царстве по-за Иерусалимом и по-за краями неверных. Тот император, кто сможет объединить свое царство и это, тот превратит империю неверных и даже Византийскую империю в острова, незаметные среди великого моря его собственной глории.

— Фантазии, дядюшка! Давай мыслить практически. Возвратимся к итальянским коммунам. Объясни мне, очень прошу, пожалуйста, почему, коль их участь такая прекрасная, они любят заключать со мной союзы против остальных городов той же Италии, а не связываются вместе,

чтобы победить меня.

— Пока что… еще не связались, — осторожно добавил Рейнальд.

— Я же тебе объясняю, — сказал Оттон, — они не стремятся оборвать отношения подданничества к империи. И поэтому бегут к тебе, когда видят обиду от других городов, например, когда город Лоди видит обиду от Милана.

— Так. Но если быть отдельным городом так завидно, почему все эти города обижают своих соседей? Обижают, чтобы их захватить и чтоб стать уже не городом, а царством?

Тут вступил в разговор Баудолино опытным голосом знатока местной жизни. — Дело в том, мой отец, что не только каждый город, но и каждое село по ту сторону Альп спит и видит, как бы поставить соседа ра… ай! — (Оттон умел пребольно щипаться), — как бы поставить соседа разом в униженное положение. Так у нас заведено. Ненавидим чужих до крайней степени, но уж сверх всякой крайности ненавидим своих. Если чужой нам поможет нагадить своему, то дай Бог ему всякого здоровья.

— Отчего вы такие?

— Оттого, что человек человеку злодей по естеству, как выражался мой крестьянский родитель,

причем человек из Асти для соседа из Фраскати гораздо злейший злодей, нежели Краснобородец.

— И ты про краснобородца? — бесился император Фридрих.

— Краснобородым тебя зовут, о мой отец, за горами, по-итальянски Барбаросса. Не вижу в этом беды, поскольку борода твоя действительно красновата, и в этом ее краса. Если бы называли тебя Рудобородый, много бы изменилось? Я бы любил и почитал тебя не менее, скажем, и с черной бородой, но поскольку борода твоя рыжа, не вижу, почему бы тебе кручиниться из-за этого прозвища. Что я тебе собирался сказать… что не стоит нервничать из-за бороды и не стоит вообще нервничать, потому что они никогда, никогда не сплотятся против тебя. Им страшно, что если они против тебя сплотятся и если они победят, один из них вслед за тем сможет перепобедить всех прочих. Ну, а тогда уж лучше ты. Пока не требуешь платить чересчур много.

— Не верь Баудолиновым речам, — смеялся Оттон. — Парень лжив с колыбели.

— Ничего подобного, — возражал Фридрих Оттону. — Об Италии он судит точка в точку. Например, сейчас он предлагает, чтобы мы с итальянскими городами обходились единственным

возможным способом: разделяя и властвуя. Жалко только, что трудно понять, кто из них против нас, а кто за.

— Если наш Баудолино не врет, — хихикал на это Рейнальд из Дасселя, — то они сами определяют, «за» они или «против», в зависимости от города, которому хотят насолить в соответствующий момент.

Баудолино несколько удручался из-за того, что Фридрих, взрослый, рослый и величавый, никак не может уяснить мышление некоторых своих подчиненных. А ведь он проводит больше времени на итальянском полуострове, чем на своей родине… Фридрих, думал Баудолино, любит наших людей и не может понять, почему они предают его. Может, потому-то он готов их убивать, как ревнивый муж.

Вообще же Баудолино мало видел Фридриха. Тот готовил и сзывал рейхстаги в Регенсбурге и в Вормсе. Он пытался ублагостить двух крайне опасных родственничков: Генриха Льва, которому в конечном счете отдал Баварское герцогство, и Генриха Язомирготта, для которого пришлось изобрести не существовавшее прежде герцогство Австрию. В марте следующего года Оттон возвестил Баудолино, что в июне им всем лежит дорога

в Гербиполь (Вюрцбург), где Фридрих сочетается браком. Император уже имел одну жену и был несколько лет разведен с нею, а ныне сватал за себя Беатрису Бургундскую и за ней брал все бургундское графство до самого Прованса. При таком приданом, предполагали и Рагевин и Оттон, намечалось бракосочетание по расчету, и в подобном убеждении Баудолино, наряженный в новенькое платье в честь торжества, прибыл лицезреть приемного отца под руку с перезрелой бургундской девой, чье солидное имущество призвано было подслащивать недостаток пригожества.

— Я ревновал, скрывать тут нечего, — сознался Баудолино Никите. — В сущности, я только-только обрел себе второго отца, и его у меня вдруг оспаривала, хоть частично, какая-то мачеха.

Тут Баудолино замялся, выразил на лице замешательство, повозил пальцем по шраму и открыл ужасную истину. Едва вступив на брачный пир императора, он обнаружил, что Беатриса Бургундская имела от роду двадцать лет и красоту неслыханную, по меньшей мере так показалось ему. Увидев императорскую невесту, он был не в силах двинуть ни одним мускулом и глядел на нее во все очи. Волосы золотого отлива, лик

миловидный. Рот, небольшой и алый, напоминал спелый плод. Ее зубы были ровны и белы, поступь пряма, взгляд прост, а глаза были светлого цвета. Целомудренная и мудрая в речи, тонкая станом, она озаряла сиянием своей привлекательности всех, кто ее окружал. Она казалась (высшая добродетель для правительницы) подчиненной своему мужу, которого робела, как повелителя, но и владычествовала над ним своим супружеским влиянием, и все это настолько обходительно, что всякая ее просьба немедля выполнялась, как приказание. Те, кто хотел прославить прочие достоинства императрицы, приписывали ей дар сочинительства, музыкальный талант и нежный голос. И посему, подытожил Баудолино, Беатриса вполне оправдывала свое имя: благословенная.

Никита без труда догадался, что юноша влюбился в свою мачеху с первого взгляда, хотя, поскольку влюблялся он в первый раз, он сам не разобрал, что же с ним случилось. И без того палящей, невыносимой бывает первая влюбленность, пусть даже крестьянина в прыщеватую мужичку. Что же творилось, когда крестьянин полюбил в первый раз в жизни двадцатилетнюю императрицу, чья кожа была белой как молоко!

Баудолино мгновенно сообразил, что его чув-

ства были прямым покушением на отца, и постарался убедить себя, что мачеха, по причине юных лет, представляется ему скорее сестрой. Но и на это Баудолино, хоть он и не был обучен богословской морали, возразил сам себе: не годится любить так и сестру. С толиким трепетом, с толикой страстью, которую зрелище Беатрисы пробудило в нем. Так что он покраснел и набычился… именно к той минуте, когда Фридрих представил Беатрисе своего мальца Баудолино, забавного и смышленого лесовичка с Падуанской низменности, а Беатриса мягко протянула руку и провела сперва по Баудолиновой ланите, а затем по волосам.

Баудолино был на грани обморока, вкруг него все огни померкли и в ушах били пасхальные колокола. Вернули его к жизни подзатыльники Оттона, тот шипел сквозь зубы: «На колени, на колени, свинья!» — Баудолино осознал, что он пред лицом священной и римской императрицы, а также королевы Италии, согнул наконец колени и далее себя повел как скромнейший из воспитанных подданных, с тем отличием, что ночью не сомкнул глаз, и вместо радости о неизъяснимом озарении по пути в Дамаск рыдал из-за нестерпимо болезненной и новой для него

страсти.

Никита слушал львиноликого собеседника, оценивал изящество выражений и сдержанную риторичность его почти литературных греческих оборотов, гадая, что за существо перед ним, способное выражаться как скотопас, передавая речь односельчан, но и с королевским достоинством, пересказывая беседы с придворными и с монархом. Есть ли душа, недоумевал он, у этого субъекта, имеющего разные голоса для показа различных душ? И если в нем живут различные души, которую из них я-то сам принимаю за истинную?

5
Баудолино дает Фридриху умные советы

Наутро город был все еще объят дымной тучей. Никита сжевал несколько фруктов, неспокойно походил по комнате и спросил Баудолино, можно ли отправить генуэзцев за неким Архитой и вызвать его сюда для чистки лица.

Ну гляди ж ты, потрясался Баудолино, от города ничего не остается, людей кончают на улицах, два дня назад чуть не погибли и его родственники, а он не может жить без чистки лица. Видать, дворцовые люди в сей развращенной столице так устроены… Фридрих его давно бы вышвырнул из окна.

Пришел Архита с коробом серебряных инструментов и с притираньями в баночках. Пахли они непривычно. Умелец прежде прогрел лицо горячими компрессами, потом обмазал умягчающими кремами, потом разгладил, отчистил лицо от любого загрязнения, заштуковал морщины белилами, легонько подвел глаза, подрозоватил губы, вырвал из ушей лишние волосы… а уж над

прической и бритьем он трудился без конца и без устали. Никита, прикрыв глаза, принимал ласку этих опытных рук, убаюканный речами Баудолино, продолжавшего свои рассказы. Что же до рассказчика, он поминутно прерывался, любопытствуя, что там творит маг красоты. Зачем, к примеру, вытащив из банки живую ящерицу, он отрезает ей голову и хвост, мельчит ножом и отправляет вариться это крошево в кастрюльке масла на огонь. Как же, отвечал цирюльник, это будет мазь для укрепления тех немногих волос, что у Никиты все еще сохраняются на голове, от нее волосы обретут блеск и аромат. А в тех сосудах что? В сосудах вытяжки мускатного ореха и кардамона, в склянке — розовая вода. Каждая жидкость назначена для обработки определенного участка кожи. Медовый крем укрепляет губы, а другой, секрет которого открыть невозможно, спасает десны от размягчения.

И вот Никита предстал во всей прибранности, приличествующей судии Покрова и тайному логофету, как заново родившись, засиял собственным светом в то пожухлое утро на насупленном фоне издыхающей Византии. Баудолино было даже неловко рассказывать ему свое житье подростком в монастыре латинян, холодном,

мрачном, где он с болезненным Оттоном был вынужден делить питание, состоявшее из овощей и пустых похлебок.

Баудолино в тот год почти не бывал при дворе, а когда бывал, то преисполнялся и робости и в то же время желания встретиться с Беатрисой, и сильно страдал из-за этого. Фридрих был занят, улаживал отношения с поляками («Polanos de Polunia, — писал о них Оттон, — полуварвары, любители рукоприкладства, gens quasi barbara ad pugnandum promptissima»). В марте Фридрих провел новый сейм в Вормсе, чтобы опять идти в Италию, так как вечно задиристый Милан со своими вечными близлежащими союзниками снова смущал покой. Был проведен и сейм в Гербиполе, это было в сентябре, а в октябре — сейм в Безансоне; в общем, у Фридриха бурлила жизнь. Баудолино же сидел спокойно с Оттоном в монастыре Моримондо, брал уроки у Рагевина и продолжал записывать историю под диктовку все более немощного и хворого епископа.

Когда они подошли к части «Хроники», где говорилось о пресвитере Иоанне, Баудолино спросил, что означало: «христианин, хотя несторианин». То есть эти несториане были и христиане, и не совсем?

— Говоря по совести, сынок, этот Несторий был еретик, но мы ему благодарны. Знай же, что в Индии после проповеди апостола Фомы именно несториане насаждали христианскую религию, вплоть до самых далеких держав, от которых мы возим шелк. Несторий допустил только одну, хотя и очень грубую, ошибку по поводу Иисуса Христа нашего Владыки и пресвятейшей Его родительницы. Мы с тобой твердо верим, что имеется единое божественное естество и что тем не менее Троица в единстве этого естества составлена из трех отдельных лиц: Отца, Сына и Святого Духа. Но в то же время мы верим, что в Иисусе одно лицо (божественное) и два естества (божественное и человеческое). Несторий же учил, что в Христе и вправду сочетаются два естества, человеческое и божественное, но сочетаются и два лица. Поэтому-де Мария произвела на свет лишь человеческое лицо и не имеет оснований зваться Богоматерью, поскольку она мать Христа-человека, и она-де не Богородица, не Theotökos, а уж в крайнем случае Христородица, Christotökos.

— А это думать нельзя?

— И нельзя, и можно… — раздраженно отвечал Оттон. — Можно все равно любить Пресвятую Деву, даже если думаешь о ней то, что думал Не-

сторий. Но, конечно, почету ей при этом меньше. Кроме того, лицо есть индивидуальная субстанция рационального существа, значит, если в Христе сочетаются два лица, выходит, в Нем две индивидуальные субстанции двух рациональных существ? Куда может завести подобная логика? Получается, Христос выступает то от имени одного лица, то от имени другого? Я не хочу сказать, что тот пресвитер — вероломный еретик, но все-таки думаю, что ему не вредно было бы познакомиться с христианским императором, чтоб от него восприять истинную веру, а так как Иоанн, конечно, честный человек, он непременно ее воспримет. Замечу, однако, что если ты рано или поздно не обучишься богословию, тебе всего этого не уразуметь. Ты бойкий мальчик. Рагевин может преподать тебе чтение и письмо и, по мере его сил, подсчеты, кое-что он понимает и в грамматике, но троепутье и четверопутье дело совсем инакое. До богословия надо дозреть. Надо прежде выучить диалектику. Диалектику ты в Моримонде не выучишь. Следует отправляться в Studium, в школу, они есть только в самых больших городах.

— Но я не желаю идти в какой-то Studium, да и не знаю, что это такое.

— Не беспокойся, когда узнаешь, тебе понравится. Видишь, сын ты мой… полагают, что людское сообщество держится на трех силах: воинах, монахах и крестьянах. Может, до недавних пор так это и было. Но теперь не такие времена, и сейчас не менее важны ученые люди, даже если они не монахи. Важны те, кто разбирается в праве, философии, беге светил и во многих других материях. Те, кто не отвечает за свои действия ни пред епископами, ни даже пред королями. Эти студии постепенно учредились в Болонье и в городе Париже. Выпестовывая, передавая знания, в них ученые передают и власть. Я был выучеником Абеляра, да помилует Господь этого человека, многогрешного, но и многострадального, все искупившего. Избыв несчастие, когда по злобному мщенью его лишили мужеской силы, он постригся в монахи, стал аббатом, ушел от мира. Но быв еще в апогее славы, он преподавал в Париже, ученики его любили, а сильные мира почитали его именно за многие знания, коими он отличался.

Баудолино твердил себе, что ни за что не оставит Оттона, своего учителя. Но прежде нежели на деревьях в четвертый раз вылупилась листва со дня его и Оттона первой встречи, тот совсем

почти исчах: малярийная лихорадка, боль во всех суставах, и грудные истеканья, и, конечно, каменная болезнь. За него брались разные медики, среди них и арабы и евреи, то есть лучшее, чем христианский император мог попотчевать своего епископа. Изводили хрупкое тело непрерывными кровопусканьями, но — вслед причин, кои теми сохранниками науки не могли уразуметься, — выпустив почти всю кровь, они нашли больного хуже, чем если бы вовсе не притрагивались.

Оттон просил к своему одру Рагевина, ввел его в положение с «Деяниями Фридриха», добавив, что дело нетрудное: нужно рассказывать факты и добавлять императорские речи, взятые по кускам из старинных знаменитых произведений. Потом вызвал Баудолино. — Puer dilectissimus, о возлюбленный отрок мой, — проговорил Оттон, — я ухожу. Можно было бы сказать «возвращаюсь», но я не знаю, какими наиболее правильными словами полагается это выражать. Точно так же, как я не уверен, что правильнее: моя ли хроника двух царств, или мои же «Деяния Фридриха»... (И отметь, сударь Никита, — говорил Баудолино, — что целую молодую жизнь может перевернуть исповедь старика, не умеющего определить, в чем состоит настоящая истина). — Не то чтобы я

был доволен этим уходом, то есть возвратом, но такова Господняя воля. Я не обсуждаю Его приказов, а то вдруг возьмет и разразит на ровном месте сию минуту. Так что лучше уж использовать с толком то невеликое время, которое Господь мне еще предоставил. Послушай. Ты знаешь, что я пытался объяснить императору резоны, коим подчинена жизнь городов с той стороны Пиренейских Альп. Император ничего с ними поделать не может. Может только подчинять, и все. Но ведь и подчинять можно по-разному. Думаю, в данном случае показан какой-то другой путь, кроме захвата и избиения. Так что ты… император к тебе прислушивается… ты, дитя этих мест, приложи все возможные усилия, дабы примирить потребности нашего властелина с тем, чего требуют города. Чтоб погибало меньше людей. Ради этого учись рассуждать поубедительнее. Я просил короля отрядить тебя в Париж. Не в Болонью, где обучают только праву… а такого прохвоста, как ты, нельзя близко подпускать к пандектам, ведь закон перевирать нельзя! В Париже изучается риторика, сочинения поэтов. Риторика — искусство хорошего выражения, а истина ли выражена или ложь, это уже не так существенно. Поэты — те и подавно обязаны изобретать красивые лжи.

Полезно будет, чтобы ты поучился и богословию, но богословом не становись. Божественность несовместима с твоими фантазиями. Обучись до той степени, чтобы хорошо выглядеть при дворе, где тебя обязательно сделают министериалом. Это самое большее, на что может рассчитывать крестьянский сын. Возведешься в ранг рыцаря, будешь равен многим благородным и получишь возможность послужить своему приемному отцу. Сие твори в мое воспоминание, и да извинит меня Иисус, если я нечаянно воспользовался Его выражением.

Вслед за тем он испустил хрип и стал совсем неподвижен. Баудолино потянулся прикрыть его веки, думая, что этот вздох был Оттоновым последним, однако тот внезапно зашевелил устами и прошептал на самом крайнем умирающем дыхании: — Баудолино, помни об Иоанне, помни о пресвитере. Лишь в разыскании его царства червонопламенные крестные знамена пройдут за Византию и даже за Иерусалим. Я слышал, император доверяет твоим выдумкам. Поэтому, если у тебя о царстве не будет сведений, сочини их. Пойми, я не призываю тебя к *лжесвидетельству*. Утверждать обман — грех! Но обманно свидетельствовать о том, во что ты сам веришь,

это достойное занятие! Ты просто возместишь недостаток доказательств того, что существует или что произошло. Прошу тебя! Иоанн действительно существует по-за краями армян и персов! За Бактой, Экбатаной, Персеполем, Сузой и Арбелом! Он родом от Волхвов. Отправь императора на Восток, поскольку оттуда исходит свет, которым он озарится, великолепнейший из королей. Выведи его из гущи дрязг, удали от Милана, от Рима… Иначе он завязнет в грязи до скончания века. Уведи подальше от той земли, в которой командуют и он и папа. При папе Фридрих лишь вполовину император. Помни, Баудолино… Пресвитер Иоанн… стезя лежит к Востоку…

— Но почему, учитель, все это говорится мне? Не Рагевину?

— У Рагевина нет фантазии. Он может только рассказывать то, что видел. А иногда не может и этого, потому что не понимает, что же он видел. Ты можешь вообразить и то, чего не видал. О, ну почему все внезапно так потемнело?

Баудолино, прирожденный лжец, сказал, чтоб тот не беспокоился: ниспадает вечер. Ровно в полдень у Оттона вышел свист из пересохшего горла и глаза неподвижно уперлись в дальний предмет, залюбовались — кем? Пресловутым пре-

свитером Иоанном на троне? Баудолино закрыл Оттоновы глаза и выплакал искренние слезы.

Опечаленный кончиной епископа, Баудолино на несколько месяцев возвратился ко двору Фридриха. Спервоначалу он утешался мыслью, что, снова увидев императора, увидит императрицу. Увидел, и утешенья уж не было. Нельзя забыть, что Баудолино вскоре исполнялось шестнадцать. Коль прежде его влюбленность носила юношеский смутный характер, и сам он в ней понимал немного, ныне он сознательнее относился и к своему желанию и к своей муке.

Чтоб не грустить при дворе, он ездил за Фридрихом на поля сражений и видел вещи, которые его достаточно мало развеселили. Миланцы вторично разрушили город Лоди, точнее говоря, сначала они его разорили, свели к себе скот, снесли корм и скарб в свои склады, потом вытолкали за городской вал всех жителей Лоди и объявили, что если те немедленно не уберутся к чертям, то их туда отправят мечом и петлей, и это касалось и женщин, и стариков, и новорожденных чад. В стенах города Лоди остались только псы, а прочих погнали прочь пешком под дождем, и среди них шли господа, так как кони были отобраны, и женщины с детьми на руках, и многие падали от

усталости в придорожные рвы. Пристанище им отвели где-то меж реками Аддой и Серио, чтоб там они спали друг на друге в каких-то полуразваленных бараках.

Но этим миланцы не ограничились, они воротились в город Лоди и похватали немногих местных жителей, кто не послушался и не вышел до этого, порубили все лозы и деревья и подожгли жилые дома, а попутно истребили собак.

Ну, это уж было слишком для императорского терпения, и Фридрих снова перешел через горы в Италию во главе крупной армии, собранной из бунгундцев, лотарингцев и богемцев, венгров, свевов и франков и кого еще сумели навербовать за краткое время. Первым делом он заложил новый город Лоди в Монтеджеццоне, а потом осадил Милан, в чем ему живо помогали воины Павии и Кремоны, Пизы, Лукки, Флоренции и Сиены, Виченцы и Тревизо, Падуи, Феррары, Равенны, Модены и других городов, союзников империи для унижения Милана.

И Милан был основательно унижен. В конце лета город капитулировал, сдался, и, чтоб спасти его, горожане согласились на обряд, унизивший даже Баудолино, который, впрочем, к миланцам не имел никакого отношения. Побежденные

прошли чередой перед победителем, умоляя о пощаде, босиком и одетые в мешки, все в таком виде, не исключая епископа, а у воинов мечи болтались, подвешенные на шею. Фридрих, видя их позор, снова сделавшись великодушным, наделил униженных противников извиняющим поцелуем.

— Стоило, — говорил Баудолино, — так нахальничать, налетая на Лоди, чтобы потом спускать штаны? Стоит ли жить на этих наших землях, где все, похоже, торжественно поклялись погубить себя? Дальше, дальше отсюда. — На самом деле он стремился уйти подальше от Беатрисы, потому что прочитал, что порой отдаление лечит любовную болезнь (и еще не прочитал других книг, гласящих, что нередко именно из-за дальности разгорается, как огонь, страсть). И поэтому он пошел к Фридриху просить послать его по совету Оттона для обучения в город Париж.

Он нашел императора в гневе и грусти, тот метался по комнате, а в углу Рейнальд Дассель ожидал, пока гром утихнет. Фридрих немного замедлил шаг, посмотрел в глаза Баудолино и сказал: — Ты свидетель, мальчик мой, что я стараюсь поместить под сень единого закона итальянские города, но всякий раз обязан начинать сначала.

Неужели мой закон плох? Чем доказать, что закон мой хорош? — На это Баудолино почти не задумываясь: — Господин, начав так рассуждать, ты уже никогда не кончишь, между тем императоры потому и нужны… не потому, что у них хорошие идеи… а их идеи хороши постольку, поскольку они приходят императорам.

Фридрих смерил его взглядом, а затем обратился к Рейнальду: — Парень выражает мысли лучше, чем все вы! Если бы эта фраза была по-латыни, ей бы цены не было!

— «Quod principi plaquit legis habet vigorem»… то, что князю угодно, имеет силу закона, — произнес Рейнальд фон Дассель. — Да, звучит и решительно и мудро. Жалко только, эта фраза не из Евангелия. Как мы убедим народ принять это прекрасное воззрение?

— Мы ведь помним, в какое положение попали в Риме, — продолжал император Фридрих. — Принимать помазание от папы означало ipso facto признавать его выше себя. А схватить его за шиворот и забросить прямо в Тибр значило оказаться таким бичом Божиим, что куда покойному Аттиле… Черт возьми, где мне отыскать кого-нибудь, кто наделит меня правами, не претендуя возвышаться надо мной? Нет того, что я ищу, на

белом свете…

— Может, власти такой и нет, — сказал на это Баудолино, — но имеется такая мудрость.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Что епископ Оттон рассказывал мне про некие студии. Это общества студентов и учителей, живущие по собственным законам. Там учащиеся, прибывающие со всего мира, безразлично от каких монархов, платят за науку учителям. И учителя зависят только от студентов. Так устроено преподавание права в Болонье, так устроено обучение наукам в Париже, где сначала учителя объединились при кафедральной парижской школе, то есть были под епископом, а потом откочевали всей школой на гору Святой Женевьевы, и теперь они там ищут истину, не прислушиваясь ни к епископу, ни к королю.

— У меня бы попробовали не прислушаться… Ну и что из всего того?

— Из всего того вытекает, что издай ты указ, провозглашающий болонских преподавателей полностью независимыми от всякой мыслимой власти, в том числе от тебя и от папы и от всякого другого суверена, а зависимыми только от закона… Надели ты их подобным достоинством, не имеющим равных в мире, и увидишь: на ос-

новании здравого разума, естественного порядка и традиции они торжественно провозгласят, что единственное твердое право есть право римское и единственным его носителем является священный римский император, и что это главное правило, как тут удачно подсказывает господин Рейнальд, звучит как «Quod principi plaquit legis habet vigorem».

— С какой же стати они будут называть это главным правилом?

— Да в отплату за то, что ты даешь им право называть главные правила. Для них это очень ценно, в то же время неплохо и для тебя, в общем, по выражению моего папаши Гальяудо, ни один купец не в накладе.

— Они на это не согласятся, — бормотнул Рейнальд.

— Еще как согласятся, — отмахнулся Фридрих. — Я тебе гарантирую! Еще как согласятся! Но пусть они сначала провозглашают это правило, а потом получают независимость. Иначе кто-то может подумать, что они провозглашают правило из благодарности.

— По-моему, как ни крути, кто захочет подумать, что вы сговорились, тот подумает, — трезво подытожил Баудолино. — Однако хотел бы я

видеть, кто решится после этого сказать, что болонские доктора ничего не стоят. Те доктора, к которым даже император смиренно приходит за главным правилом. Значит, и правило-то болонское поувесистее Евангелия!

Все разыгралось точно по нотам, через несколько месяцев, в Ронкалье, где был повторно созван имперский сейм. Баудолино получил возможность поглазеть на невиданное роскошное зрелище. Рагевин заранее предупредил, что весь этот спектакль: реющие знамена, штандарты, разноцветные шатры — не бродячий цирк с купцами и гаерами, а дань символике. Это по требованию Фридриха на берегу По воспроизводился древнеримский военный лагерь. Тем демонстрировалось, что от Рима ведется его кесарийское достоинство. В центре лагеря стояла императорская палатка, подобие храма, а вокруг нее пышным кругом — палатки придворных феодалов, вассалов короля и вассалов вассалов короля. Вокруг ставки Фридриха расселились архиепископ Кельнский, епископ Бамбергский, Даниил Пражский, Конрад Аугсбургский, прочие и прочие. На другом берегу реки стали итальянцы: кардинал-легат папского престола; патриарх Аквилеи; архиепископ Милана; епископы Ту-

рина, Альбы, Ивреи, Асти, Новары, Верчелли, Тортоны, Павии, Комо, Лоди, Кремоны, Пьяченцы, Реджо, Модены, Болоньи, кто знает каких еще мест. Председательствуя на этом величественном, воистину вселенском сходе, Фридрих дал знак к началу прения.

Короче (свертывал рассказ Баудолино, чтоб не утомлять Никиту великолепием императорского, правоведческого и священнослужительного красноречия), четверо болонских докторов, самые отборные, выучившиеся от самого Ирнерия, были приглашены императором провозгласить свой безоговорочный ученый отзыв о его императорских правомочиях, и трое из них, Булгарий, Якобий и Гугон из Равеньянской Порты, выразились в желательном Фридриху духе, а именно что императорское право основывается на римском законе. Противоположного суждения держался четвертый доктор, Мартин.

— И ему Фридрих, верно, приказал выколоть очи, — вставил Никита.

— Да ни в коем разе, сударь мой Никита, — ответил Баудолино. — Это у вас, у ромеев, выкалывают очи за любую малость. Нет у вас понятия о том, что законно, а что не очень. Забыли вы своего знаменитого Юстиниана… Выслушав всех докто-

ров, Фридрих принял Constitutio Habita, в которой болонскому студиуму даровалось самоуправление, а при самоуправлении этот Мартин имел право говорить что угодно и никакой император не мог сметь его тронуть и пальцем. Посмей император тронуть его пальцем, это бы означало, что доктора не суверенны, а если они не суверенны, их мнение ничего не значит. Фридрих тотчас превратился бы в узурпатора.

Вот так штука, думал про себя на это Никита: господин Баудолино хочет мне внушить, будто империю основал не кто иной, как он. И что какую бы ни проболтал он фразу, фраза наделена такой силой, что немедленно обращается в истину. Послушаем, что еще он скажет.

Тем временем появились генуэзцы и принесли корзину фруктов, поскольку день достигал середины и пришло время Никите подкрепить силы. Грабеж, по их сообщению, продолжался, и из дому казать нос было невозможно. Баудолино продолжил свой рассказ.

Фридрих решил, что если безусым юношей, обучившимся лишь у скромного Рагевина, Баудолино умеет формулировать такие превосходные мысли, бог весть чего он сможет достичь, будучи

послан и вправду в Париж для обучения. Обнимая его с сердечностью, он просил его действительно доучиться до мудрости, учитывая, что он-то сам за заботами царства и военными тяготами никогда не имел времени обрести столько познаний, сколько следовало бы. Императрица распрощалась с Баудолино, поцеловав его в чело (Баудолино, ясно, почти сомлел), и сказала в напутствие (а она, даром что важная дама и королева, но читать и писать умела): — Пиши мне письма, рассказывай, что с тобою и как. Придворная жизнь докучлива. Твои послания мне ее скрасят.

— Клянусь, что буду, — отвечал Баудолино с такой горячностью, которая могла насторожить свидетелей. Никто не насторожился (кому есть дело до волнения мальчишки, собравшегося в Париж?), кроме разве что самой Беатрисы. И впрямь, она посмотрела на него, как будто видела впервые. На белом лике явственно проступил внезапный румянец. В то время Баудолино, отвешивая поклон, в котором лицо было пригнуто почти к самому полу, уже покидал дворцовую залу.

6
Баудолино едет в Париж

Приезд Баудолино в Париж можно назвать и запоздалым. В те школы поступали еще до четырнадцати лет, а ему было уже на два больше. Но многому он успел научиться у Оттона, поэтому позволял себе ходить не на все уроки, как будет описываться ниже.

Он выехал не один, а с рыцарским сыном из Кельна, предпочитавшим бранному поприщу свободные искусства, в огорчение отцу, но при поддержке матери, сызмальства отмечавшей в нем задатки будущего поэта; Баудолино даже не знал, или знал, да сразу забыл, его истинное имя, поскольку звался он Поэтом и так его именовали все на свете. Довольно быстро Баудолино понял, что у Поэта нет никаких стихов, он их не пишет, а только обещает написать. Поскольку Поэт бесперемежно цитировал стихи чужие, в конце концов даже отец его понял, что парню верная дорога — служение Муз, и он позволил детищу отъехать, дав на дорогу самое скудное довольствие, так как ошибочно считал, что того

немногого, что позволяло прожить в Кельне, достанет для существования в Париже.

Тотчас же по приезде Баудолино поспешил послушаться императрицыного приказа и написал ей несколько писем. Он полагал утешить жгучую боль, следуя договоренности. Но тут же понял, до чего неутешно при письме умалчивать то, что истинно ощущаешь, и составлять совершенные и любезные эпистолы с описаниями Парижа: в этом городе, полном превосходных церквей, воздух и свеж и ясен, небо пространно и светло, если не льют дожди, но дожди случаются не чаще раза-двух в день. Прибывшему из края вечного тумана то, что он видит в Париже, кажется постоянной весной. Перегибистая река с двумя островами в середине, чистая вкусная вода, а сразу под городской стеной начинается благоуханный луг, рядом с монастырем Сен-Жермен, где в послеобеденную пору так славно протекает время за игрой в мяч.

Он рассказал ей о своих первоначальных хлопотах, поисках комнаты. Комнату следовало снять напополам с товарищем и желательно не по самой разбойной цене. Та, которую они нашли, была все-таки дорогая, но зато не тесная. Там стоял стол, две скамьи, были полки для книг и

большой ларь. Еще высокая кровать с периной из страусовых перьев и другая кровать, пониже, на колесах, с периной из гуся, днем ее полагалось закатывать под большую. В письме не сообщалось, что после некоего легкого разногласия по поводу дележки кроватей было решено, что сожители ежевечерне станут решать за шахматной доской, кому достается удобное ложе (шахматы при дворе считались занятием неприличным).

Следующее письмо рассказывало: утром подъем бывает рано, так как занятия идут уже с семи и до позднего предвечернего времени. Дабы выдержать подобный день, следует запасаться доброй порцией хлеба и фляжкой красного. Учебное помещение — вроде овина, ученики сидят на соломе, и в помещении зябче чем на улице. Беатриса растрогалась и рекомендовала вино не экономить, ибо в противном случае молодой человек целый день будет ощущать себя вялым; а также нанять слугу, не единственно для ношения книг, ибо книги тяжелы и не по званию носить их самолично, но и ради закупки дров, чтобы загодя растапливалась печка в комнате и для вечера обиталище согревалось. И ввиду этих предвидимых расходов Беатриса посылала четыре десятка сузанских сольдов, что хватило

бы купить быка.

Никакой слуга не был нанят и дрова никакие не покупали, потому что двух перин им хватало вполне, сумму же использовали более толково, учитывая, что в тавернах по вечерам было натоплено и имелась возможность прийти в себя после тяжелого дня, потискав служанок за ляжки. Вдобавок в тех жизнерадостных пристанищах — «Серебряном щите», «Железном кресте» или «Трех подсвечниках» — им подавали немало чарок, а к ним солидных со свининой пирогов, куриных паштетов, жареных гусей и голубей; когда приходилось экономить, они ели баранину и рубец. Баудолино делился с вечно безденежным Поэтом, а не то — есть бы тому рубец семь дней в неделю. Но делиться с Поэтом было и накладно. К снеди ему требовались настолько обильные винные сбрызгивания, что сузанский бугай тощал на глазах.

Обойдя молчанием вышеописанное, Баудолино сосредоточивался на обрисовывании преподавателей и разномастных преподававшихся умностей. Беатриса к этим пассажам была особенно чувствительна, ими удовлетворялась ее охота к познанию и она по многу раз читала в Баудолиновом изложении пересказы наук: грам-

матики, диалектики, риторики, арифметики, геометрии, музыки и астрономии. Баудолино же стыдился все пуще, потому что утаивал, во-первых, и то наиважнейшее, чем переполнялась душа, а во-вторых, и еще кое-что, чем он порой занимался, но о чем нельзя рассказывать ни матери, ни сестре, ни императрице, ни тем более — любимой женщине.

Прежде всего, за игрой в мяч в окрестностях Сен-Жермена было в обычае задираться с местными жителями или со студентами-иностранцами. Скажем, пикардийцы атаковали нормандцев, ругая друг друга по-латыни, чтобы было понятнее и обиднее. Все это мало нравилось главному профосу, он посылал своих лучников усмирять оголтелых. Ясно, что в подобном положении студиозусы забывали о междоусобьях и объединялись между собой, чтобы мутузить лучников.

На свете не было худших взяточников, нежели лучники профоса. Поэтому, когда они ловили кого-то, всем остальным студентам приходилось развязывать кошельки и выручать однокашника. От этого парижское житье становилось еще разорительнее.

Во-вторых, студент без любовной интрижки — посмешище всех знакомых. К сожалению,

женщины составляли наименее доступную часть парижских радостей. В университете женского пола было почти не видно, и все еще рассказывались легенды о соблазнительной Элоизе, по любви к которой воздыхателю оттяпали хвост, даром что он был не бедный студент, существо дурнославное и пренебрежимое, а почтенный профессор: великий, несчастный Абеляр. Покупной любовью можно было пробавляться только время от времени, она чересчур дорого стоила, а следовательно, оставались трактирные подавальщицы или поломойки из соседнего квартала. Но и в соседнем квартале студентов было гораздо больше, чем поломоек.

Только разве фланировать с равнодушным и победительным видом по Ситэ и соблазнять дам благородного сословия. Весьма популярны были жены гревских мясников, тех, кто после славной карьеры в своем промысле уже не забивали скот, а правили всем мясным рынком и держались как господа. Будучи супругами людей, которые начинали со свежевания бычьих четвертей и чье благосостояние пришлось на поздний возраст, женушки были неравнодушны к миловидным студентам. Беда лишь, что они расфуфыривались в такие пушистые меха, в серебряные пояса и в

побрякушки, что с виду были почти неотличимы от высокопоставленных блудниц, которые, пренебрегая запретами городской управы, носили именно эти наряды, тем самым вводя студиозусов во вполне оправданное заблуждение, после чего они нещадно осмеивались сотоварищами.

Кому же все-таки везло захомутать уважаемую горожанку или невинную девицу, тот рано или поздно попадался ее отцу или мужу. Переходили на личности, на кулаки, на дубье, вплоть до смертоубийства (чаще всего отца или мужа), и все начиналось снова: в дело вступали лучники профоса. Баудолино никого не убивал. Он вообще держался подальше от стычек. Но одного такого мужа (мясника) ему не повезло миновать. Пылкий в любви, однако на поле брани осторожный, в час, когда супруг явился в спальню, вооруженный железной клюкой для подвешивания бычьих туш, Баудолино сиганул в окно. Едва помешкав на подоконнике, чтобы промерить высоту этажа, он успел получить такую царапину на щеку, что навсегда поперек лица у него остался шрам, достойное украшение воина.

С другой стороны, завоевание горожанок требовало слишком много времени, в ущерб учебе: целыми днями в засаде у окна, подстерегая про-

ходящих прелестниц… можно было одуреть, честное слово. Забывая любовную мечту, школьники лили помои на прохожих и стреляли по ним горошинами из рогатки, мяукали, видя проходящих преподавателей, а приведись иному из тех рассердиться — провожали с кошачьим концертом до самой квартиры, а там бомбардировали ему камнями окна, ибо в окончательном счете студенты платили преподавателям деньги и поэтому им дозволялись, черт побери, определенные вольности.

Баудолино рассказывал Никите то, что утаил от Беатрисы, то есть что он постепенно превращался в отпетого школяра, которых множество изучало свободные искусства в Париже, юриспруденцию в Болонье, в Салерно — медицину и магию в Толедо, однако ни в одном месте пристойному поведению не обучалось. Никита терялся, возмущаться ли, удивляться или смеяться. В Византии были известны только частные учителя для зажиточных детей, чтоб они с самого неполнолетия знали грамматику и читали божественные книги, а также главные произведения классической словесности. По достижении одиннадцати лет брались за поэзию и за риторику, воспроизводя в своих опытах образцы античности.

Терминология приветствовалась самая редкая, синтаксические конструкции — замысловатые. Чем отличнее преуспевал в этой науке юноша, тем он считался годнее для светлого будущего в имперском правительстве. Наконец, знания полагалось отшлифовать либо при некоем монастыре, либо с домашними учителями — правоведами, астрономами. К ученью относились уважительно, не то что в Париже, где студенты интересовались любыми вещами помимо науки.

Баудолино не согласился: — В Париже учились, и очень серьезно. Год на третий уже начинали участвовать в диспутах. Диспуты учат подбирать возражения и переходить к определению, а затем к окончательному решению задач. Кроме того, не следует думать, будто уроки — наиважнейшее для студента и что таверна — такое место, где студенты только теряют время. В университетах хорошо то, что многое воспринимается от преподавателей, но не меньшее от друзей, особенно от тех, кто тебя взрослее, они делятся с тобой прочитанным и ты обнаруживаешь, что на свете полно интересного. Чтобы познать все это, поскольку, по определению, объездить весь свет жизни не хватит, имеется один выход, прочитать все на свете книги.

Баудолино немало книг перечитал у Оттона, однако и помыслить не мог, что бывает их на свете столько, сколько он увидел в Париже. Они были не для всех равно доступны, но тут благое обстоятельство, вернее, благоусердное хождение в школу свело его с Абдулом.

— Чтобы пояснить, какая связь между Абдулом и библиотеками, нужно отступить на шаг назад, государь Никита. Однажды, сидючи на лекции и согревая дыханием пальцы… к прискорбию, зад дыханием не согреешь, так что он потихоньку себе отмерзал, ибо тонкая соломка была такой же ледяной, как и пол, и как весь Париж теми зимними днями, я заприметил сбоку от себя парня, на лицо вылитого сарацина, но с рыжими волосами, которых у мавров не бывает. Не знаю, слушал ли он урок или следовал своим мыслям, но, казалось, витал за сто верст. То и дело с дрожью запахивая одежонку, он то вперивался в пространство, то корябал что-то там на табличке. Я посильно вытянул шею и увидел, что половина записей выглядела как мушиный помет, а таковы письмена арабов, вторая же половина напоминала латынь, хотя и не являлась ею. Я даже уловил сходство с наречием своих родных мест. В общем, по окончании урока я с ним заговорил. Ответил

он охотно, будто не ждал иного. Мы подружились, и он, прогуливаясь около реки, поведал мне историю своей жизни.

Итак, молодой этот человек, Абдул, был и взаправду мавром, но только мать его происходила из Гибернии, и этим объясняются его пылающие патлы. Все, кто прибывает с того далекого острова, лежащего севернее Британии, обычно рыжи и пользуются славой оригиналов и фантазеров. Отец Абдула был провансалец, его семья переселилась за далекое море после захвата Иерусалима не менее как за полвека или еще прежде того. Как объяснял Абдул, благородные франки, обитающие за далеким морем, перенимают обычаи тех народов, которые завоевали: одеваются в тюркском вкусе, носят тюрбаны, изъясняются на языке басурманов и чуть ли не следуют заповедям Алькорана. По этой причине гиберниец (наполовину) с рыжими волосами был наречен Абдулом и кожу лица имел опаленную сирийским родимым солнцем. Он думал обыкновенно по-арабски, но старинные саги студеного северного моря, услышанные от матери в детстве, перелагал почему-то на провансальский язык.

Баудолино спросил его сразу, прибыл ли тот в Париж дабы сделаться правым христианином:

кормиться как принято в этих местах, выражаться как принято в этих местах — а именно по-латыни. От ответа о цели приезда Абдул уклонился. Намекнул на некую тревожную, беспокойную историю, на испытание, пережитое в раннем отрочестве. Потому-де благородные родители отослали его в Париж, оберегая от не разберешь какой мести. При рассказе Абдул мрачнел, и краснел, насколько способен покраснеть мавританец, и настолько сильно весь трясся, что Баудолино предпочел переменить тему беседы.

Юноша был очень способным: прожив три-четыре месяца в Париже, он заговорил и по-латыни, и на местном вульгарном диалекте. Жил он у своего дяди, настоятеля Сен-Викторского монастыря, где хранилось бесценное книжное собрание, крупнейшее по размерам как для того города, так и вообще для крещеного мира, по богатствам превосходившее александрийское! Вот тем-то образом благодаря Абдулу в последующие месяцы и Баудолино с Поэтом получили доступ к сокровищнице знания.

Что он там строчит во время лекций, спросил Абдула Баудолино, и услышал, что пометки по-арабски содержат смысл объяснений преподавателя, толковавшего диалектику, потому

что арабский язык несомненно удобен для философии. Все же остальное Абдул записывал по-провансальски. Он не хотел объяснять, долго уклонялся, но притом казалось: ждет, чтобы попросили. Наконец поведал, и даже перевел записи. Оказалось, что это стихи, и звучат они примерно так: «Печаль и радость тех бесед / Храню в разлуке с дамой дальней…»

— Пишешь стихи? — спросил Баудолино.

— Слагаю песни. Пою о своих чувствах. Я люблю далекую принцессу.

— Принцессу? А кто она?

— Не знаю. Я видел ее… Вернее нет, но все равно, как будто видел… Когда я был в плену в Святой Земле… Неважно, во время той истории, о которой я тебе не рассказывал. Сердце мое воспылало, и я поклялся в вечной преданности этой Даме. Я решил посвятить ей всю жизнь. Может быть, я найду ее когда-нибудь. Однако я того же и страшусь. Нет, сладостнее изнемогать от любви неутолимой…

Баудолино собрался было сказать ему: вольно дурить, по незабвенному выражению родителя Гальяудо. Но потом припомнил, что он и сам тоже изнемогает от любви неутолимой (хотя свою-то Беатрису он безусловно видел, и это видение

изнуряло его по ночам). Тогда он смягчился к несчастной участи друга Абдула.

Так начинаются настоящие дружбы. Однажды вечером Абдул заявился на квартиру Баудолино с Поэтом. Он нес какой-то инструмент, который Баудолино видел впервые, по форме — мандолину, и со многими натянутыми струнами, и, бегая перстами по этим струнам, Абдул запел:

Quan lo rius de la fontana
S'esclarzis si cum far sol,
E par la flors aiglentina
E'1 rossignoletz el ram
Volv e refraing et aplana
Son doutz chantar et afina,
Dreitz es q'ieu lo mieu refraigna…

В час, когда разлив потока
Серебром струи блестит,
И цветет шиповник скромный,
И раскаты соловья
Вдаль плывут волной широкой
По безлюдью рощи темной,
Пусть мои звучат напевы!

От тоски по вас, далекой,
Сердце бедное болит.
Утешения никчемны,
Коль не увлечет меня
В сад, во мрак его глубокий,
Или же в покой укромный
Нежный ваш призыв, – но где вы?!

Взор заманчивый и томный
Сарацинки помню я,
Взор еврейки черноокой, —
Все Далекая затмит!
В муке счастье найдено мной:
Есть для страсти одинокой
Манны сладостной посевы.

Хоть мечтою неуемной
Страсть томит, тоску струя,
И без отдыха и срока
Боль жестокую дарит,
Шип вонзая вероломный, —
Но приемлю дар жестокий

Я без жалобы и гнева.[12]

Музыка была сладкой, и аккорды возбуждали незнаемую или дремлющую страсть, и Баудолино думал о Беатрисе.

— Господи Боже, — сказал на это Поэт. — Ну почему я неспособен написать ничего такого?

— Я не хочу быть поэтом. Я для себя пою. Если хочешь, могу подарить тебе эту песню, — ответил Абдул, весь во власти своей нежности.

— Спасибо большое, — ответил Поэт. — Ты мне подаришь, я переведу на немецкий, и получится дерьмо.

Абдул стал третьим в их дружбе. Как только у Баудолино хоть на минуту выходила из головы Беатриса, тут чертов рыжий мавр щипал проклятущие струны и пел, и у Баудолино вновь разрывалось на части сердце.

Если соловушка в кроне
Нежно любовь выпевает,
Лада ему отвечает,
С ним голоса сочетает,
В каждом сливался стоне,
На травянистом уклоне,

---

[12] Примечания: 12
Перев. со старопровансk. В. А. Дынник

Радость сердце пронзает.

Дружеской песенкой тою
Душу мою утешает.
Только любви взывает,
Награды иной не чает
И не прельстится иною.
Сердце мое больное
Мудрая грусть наполняет.

Баудолино уговаривал себя: однажды он сочинит такие же песни для своей дальней императрицы, но он не знал, с чего начать эту работу, так как ни Оттон ни Рагевин никогда не говорили с ним о поэзии, разве только преподавая священные гимны. Так что он пользовался дружеством Абдула, чтобы проходить в сен-викторскую библиотеку. Там он целыми долгими днями, похищенными у занятий, беззвучно шевелил губами, впитывая повести и сказки. Прощайте учебники грамматики! Тут его ждали Плиниевы истории, «Александриада», география Солина и этимологии Исидора…

Он читал о далеких землях, тех, где обитают крокодилы (крупные водяные змеи, которые, пожрав человека, плачут, двигают лишь верх-

нею челюстью и не имеют языка). Гиппопотамы, наполовину люди и наполовину лошади. Зверь половый (беложелт, левкохр), имеющий тело осла, стегна оленя, грудь и голени львиные, копыта конские, рога раздвоенные, рот растянутый до самых ушей, кричит голосом человека, а на месте зубов у него сплошной костный мост. Он читал о людях, имеющих ногу без коленного сустава, рот без языка, огромные уши, которыми они укрываются от холода, и об исхиаподах, проворно бегающих на своей единственной ноге.

Неспособный отправить Беатрисе чужие песни (да и были бы они свои, все равно бы не отважился отправить), он решил, что как милой преподносятся цветы и драгоценности, так же можно преподнести те перлы знания, которыми он теперь обладает. И вот он стал писать о ландах, изобилующих мучными и медовыми деревьями, о горе Арарат, на вершине которой безоблачными днями видны остатки Ноева ковчега, и кто добирался до них, тот вкладывал палец в дырочку, послужившую для бегства бесу с корабля, когда Ной начал читать молитву Benedicite. Он рассказывал про Албанию, где обитатели столь белокожи, сколь никто иной на свете, и растительность имеют на теле жиже,

нежели усы у котов. В другой стране, продолжал Баудолино, люди, глядя на восток, отбрасывают тени от себя направо. Еще в другом месте живут люди злобные, кто при рождении ребенка правит горестную тризну, а если помрет их дитя — радуются. Еще стоят великие горы из золота, сторожат их муравьи, каждый величиной с собаку. Есть на свете амазонки, женщины-солдаты, их мужчины проживают в соседней державе, младенцев мужеского пола амазонки отдают отцам или убивают, а младенцам женского пола выжигают одну из грудей каленым железом: если чадо благородного рода — левую, чтобы было место щиту, а у чада низкого происхождения — правую, чтобы было место луку. Наконец, Баудолино писал о Ниле, той одной из четырех рек, чьи истоки возникают из Земного Рая, что течет в пустынях Индии, проникает в подземелие, взводится на гору Атлас и потом впадает в море, перерезав весь Египет.

Дописавшись до Индии, Баудолино готов был забыть о Беатрисе, так увлекся новыми фантазиями: даже втемяшил себе в голову, что где-то в Индии обретается царство пресвитера Иоанна, слышанное от Оттона. О том царстве Баудолино думал, надо заметить, беспрестанно. Всякий раз, читая о неведомом государстве, а в особенности

когда на пергаментах ему попадались многоцветные миниатюры странных существ, будь то рогоносцы или пигмеи, те, чья жизнь проходит в постоянной борьбе с журавлями… упорно думая о нем, Баудолино мысленно привык считать пресвитера Иоанна кем-то вроде старого знакомого. Потому обнаружить место его обитания было для Баудолино великим делом, а если место такое не обнаруживалось — надо все же было подыскать такую подходящую Индию, куда бы пресвитера определить. Ведь Баудолино считал себя связанным клятвой (клятва, по правде, никогда не была дана) любимому епископу в смертную минуту.

О пресвитере услышали от него оба товарища и, немедленно увлекшись этой игрой, стали передавать Баудолино самые несвязные, но примечательные мелочи, обнаруженные в разных манускриптах, лишь бы только от них веяло индийскими фимиамами. У Абдула промелькнула даже идея, что его далеживущая принцесса… если должна жить так уж далеко, быть может, укрывает свою красу в стране, которая далече всех дальних.

— Да, — отвечал Баудолино, — но где пролегает путь в эту Индию? Она, надо думать, где-то около Земного Рая, а следовательно, к востоку

от Востока, именно там, где кончается земля и начинается океан…

Они еще не приступили к слушанию лекций по астрономии и поэтому о форме земли имели самое туманное представление. Поэт был убежден, что земля плоская и длинная, по бокам которой воды Океана стекают вниз, одному Богу известно куда. Баудолино же был наслышан от Рагевина, хотя и отнесся к этому критически, что не только философы античности и не только Птолемей, праотец астрономии, но и святой Исидор, все утверждали, будто земля представляет собою сферу, более того, Исидор был настолько свято убежден в этом, что установил и протяженность экватора: восемьдесят тысяч стадиев. Однако, оговаривал Рагевин, не менее верно, что определенные отцы церкви, например великий Лактанций, учат, что, согласно Библии, земля имеет форму скинии и, следовательно, небеса вместе с землей представляют собой ковчег или храм с прекрасным куполом и узорным полом, в общем нечто вроде короба, но никак не шара. Рагевин, осторожный человек, придерживался представлений блаженного Августина: что, быть может, философы-язычники и не ошибались относительно круглой земли, а в Библии скиния

упоминается в переносном смысле, но знание, какова форма Земли, все равно не помогает решить то, что важнее всего правым христианам: каков путь к спасению души. А следовательно, даже полчаса, потраченные на пустые пересуды об этой форме, — напрасно потерянное время.

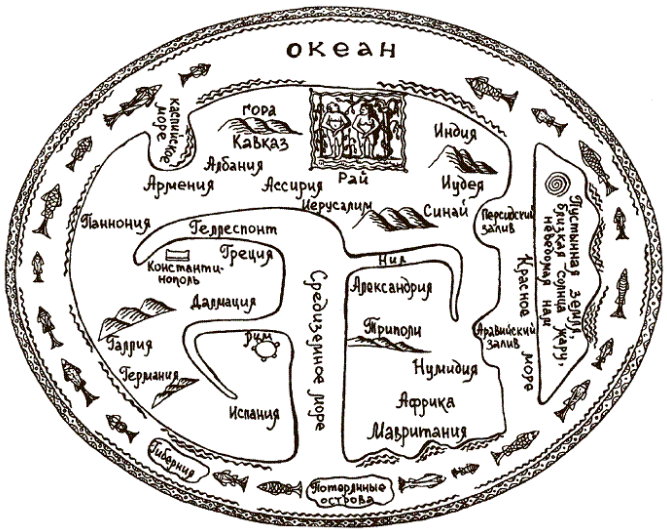
— Наверно, это так, — поддержал Поэт, торопившийся попасть в свою пивнушку. — Неосмысленно разыскивать Рай Земной, потому что будучи очаровательным висячим садом, когда по изгнании Адама некому стало подпирать стенками уступы, во время Потопа он осыпался в Океан.

Абдул, напротив, мнил, что земля шарообразна. Если бы она была широкой и плоской, доказывал он, не приемля возражений, то мой взор, обостренный силою любови, как у всех любящих на свете, сумел бы различить в далечайшей дали какой-то знак присутствия желанной дамы; только по вине закругления земли она для взгляда недостижима. Порывшись в сен-викторской библиотеке, он разыскал те карты, которые уже набрасывал по памяти для товарищей.

— Земля окружена огромным кольцом Мирового Океана и разделяется на части тремя великими потоками: Геллеспонтом, Средиземным морем, Нилом.

— Минуточку, а где тогда Восток?

— Восток тут сверху, разумеется, где находится «Азия». На самом краю Востока, там, откуда восходит солнце, обретается Земной Рай. Слева от Земного Рая гора Кавказ.



Рядом Каспийское море. Теперь смотрите внимательно. Индий существует три. Великая Индия, где очень жарко, находится она справа от Земного Рая, Северная Индия, за Каспийским морем, то есть тут у нас в верхней части слева… Там студено, так студено, что вода превращается в стекло. Именно там племена Гога и Магога были окружены по приказу Александра каменной стеной. Третья Индия — это Индия умеренная, приближенная к Африке. Африка на этой карте находится справа в нижней части, у полудня, где течет Нил, где открываются Аравийский и Персидский заливы. Они открываются в Красное море, на другом бреге которого пустое место, близкое к самому солнцу экватора, и до того прогретое, что пойти туда не дерзает никто. К западу от Африки, в близости Мавритании, лежат Счастливые острова. Их другое имя — Потерянные. Потерянные острова были открыты много столетий назад одним святым. Он был моим земляком… Дальше, тоже внизу, но на севере, располагается та часть мира, где живем мы. Вот Константинополь на Геллеспонте. Греция. Рим. А это на самом далеком севере германцы и остров Гиберния.

— Да можно ли всерьез воспринимать подоб-

ную карту, — расхохотался Поэт, — если земля нарисована на ней как плоскость, а ты сам говорил о шаре?

— Что за глупости ты мелешь, — рассердился Абдул. — Как иначе отобразить поверхность шара, если хочешь показать все, что расположено на ней? Карта служит для того, чтобы искать дорогу к цели, а дорога тянется по земле, как плоская лента. Кроме того, хотя земля и шар, но вся обратная сторона необитаема, там Океан, и только… Живи там кто-нибудь, ему бы пришлось удерживаться вверх ногами, головой вниз. По мне, чтобы передать эту обратную сторону земли, кольцевой океан вполне годится. Но хочется получше разобраться в картах. В библиотеке я встретил клирика, которому известно все о Земном Рае…

— Ну да, он гулял там, когда Ева предлагала яблоко Адаму, — сказал Поэт.

— Можно знать все о неком месте, даже и не бывавши там ни разу, — отвечал Абдул. — В противном случае моряки были бы образованней богословов.

Все это, пояснял Баудолино Никите, я тебе пересказываю, чтобы было понятно, как с первых лет в Париже, с младых ногтей наша компания увлеклась той историей, которая через несколько

лет увела ее на самые далекие рубежи обитаемого мира.

7
Баудолино пишет любовные письма за Беатрису и стихотворения за Поэта

Баудолино к весне увидел, что его обожательный недуг все крепчает, как обычно и должно быть в определенную пору года, и никак не умиротворяется за счет жалких неглубоких интрижек, того хуже — нарастает по контрасту с их убожеством, так как Беатриса, кроме вежества, ясномыслия и королевского сана, имеет дополнительное преимущество над остальными: она отсутствует. О силе отсутствия не переставал, терзая Баудолино, распевать Абдул, целыми вечерами бия по струнам и наполняя воздух стенаньями до такой степени, что Баудолино, дабы причаститься обсуждаемой теме, на ходу выучил провансальский язык:

Lanquan li jorn son lonc en mai,
M'es bels doutz chans d'auzels de loing,
E quan me sui partitz de lai,
Remembra-m d'un'amor de loing…

Длиннее дни, алей рассвет,
Нежнее пенье птицы дальней,
Май наступил, спешу я вслед
За сладостной любовью дальней.

Весною я раздавлен, смят,
И мне милее зимний хлад.[13]

Баудолино мечтал. Абдул отчаивается увидеть свою дальнюю сладостную страсть, говорил он себе. Какой Абдул счастливец! Моя пеня неистовее, потому что я-то любовь свою должен увидеть, еще как должен, я увижу ее в один распрекрасный день и не будет мне того спасения — никогда не видеть, а одно сплошное мучение — знать и кто она и какова собой. Но коль скоро Абдул находит утешение, передавая свои чувства нам, почему бы мне не утешиться, передав свои чувства ей самой? Другими словами, Баудолино предположил, что можно умерить душевное трепетание, записав все то, что чувствуешь, поскольку грешно было бы лишить любимое создание всех этих изъявлений нежности. Поэтому ночами, покуда Поэт спокойно спал, Баудолино строчил.

---

[13] Примечания: 13
Перев. со старопровансk. А. Г. Наймана

«Звездами озаряется полюс, луною ночи расцвечены. Но меня ведет одно светило, и если, по рассеянии сумерек, моя звезда подымается от Востока, разум мой отрешится от сумерек скорби. Ты моя путеводная звезда, носительница света, пришедшая рассеять ночь, а без тебя ночным мраком станет и самый свет, в то время как с тобою и ночной мрак – сплошное сияние».

И затем: *«Мой голод только одна ты насытишь, мою жажду только одна ты утолишь. О, что я говорю! Не утолишь, не насытишь, а только уймешь, никогда я насыщен и не был и не буду…»*

Далее: *«Столь несравненна твоя нежность, неизреченна твоя верность, неописуема твоя беседа, неизъяснимы грацияи краса, что невежеством была бы любая попытка рассказать это в словах. Да взгнетается пламя, которое нас гложет, да обрящет все новый подкорм, а чем больше оно скрывается, тем пылает сильнее, вводя в обман завидчиков и лукавцев. Да вечно продлевается раздумье: чья из наших двух любовей сильней, и да*

длится бесконечно наша тенцона, в которой победители – оба борца…»

Красивые получались письма. Перечитывая их, Баудолино распалялся и все больше очаровывался созданием, умевшим вдохновлять подобный жар. Дошло до того, что он не мог уже жить, не зная, что ответит Беатриса на весь этот наслади тельный напор. Он решил добиться ее ответа. Поэтому, старательно имитируя женский почерк, Баудолино начертал:

«Любови, исторгающейся из предсердия, благоухающей пуще любого знаемого аромата, та, что одна – и твое тело и душа твоя, для жаждущих цветов твоея младости, желает свежести вечного благополучия… Тебе, моя утеха, мое обаяние, преподношу свою верность, дарую тебе полную преданность всей души, покуда продолжается моя жизнь…»

«О, – рьяно отвечал Баудолино на это письмо, – *благословенна будь, ибо в тебе все мое благо, в тебе и упование и покой. Как только просыпаюсь, душа моя объемлет тебя, ибо тебя внутри себя сохраняет…»*

Она на это, вся пылая:*«С мига, когда только мы впервые увидались, я предпочла тебя всем прочим, предпочтя, тебя возжелала, возжелавши, тебя взыскала, искавши, тебя находила, найдя, тебя возлюбила, возлюбивши, тебя взалкала, взалкавши, учредила в сердце своем превыше всего… и вкусила твой мед… привет тебе, мое сердце, плоть моя, несравненное ликование…»*

Эта переписка, продлившись в общем несколько месяцев, сначала принесла облегчение измученной душе Баудолино, затем даровала ему непомерную радость и наконец переполнила его горячей гордостью, ибо любовник не мог объяснить самому себе, по какой причине любовница настолько сильно его полюбила. Наподобие всех других влюбленных, Баудолино заразился тщеславием, наподобие всех влюбленных писал, что намерен сохранять тайну вместе с возлюбленной, и при этом он ожидал, что мир узнает о его счастии и потрясется пред лицом бесконечной вожделенности той, которая его вожделеет.

Соответственно он показал переписку своим товарищам, не вдаваясь в подробности о том,

как и с кем совершался этот обмен посланиями. Он не лгал, напротив, сказал, что письма готов показывать именно потому, что они являются порождением его фантазии. Но товарищи решили, что именно в этом высказывании и запрятана ложь, и тем паче призавидовали его счастию. Абдул мысленно присвоил эти письма принцессе и заволновался, будто бы сам их получил. Поэт, который намеренно подчеркивал, что не придает никакой важности этой литературной игре (но при этом внутренне терзался, что не он написал такие прекрасные послания, вдохновляя еще более прекрасные ответы), не имея в кого бы ему влюбиться, влюбился в сами письма… В этом нет ничего странного, откомментировал с улыбкой Никита, потому что молодому возрасту свойственно влюбляться в самую любовь.

Вероятно, ища новых тем для своих мелодий, Абдул усердно переписал послания, дабы читать их в сен-викторском уединении. Однако однажды он обнаружил, что письма были кем-то неизвестным похищены, и испугался, что какой-то развратный каноник, укравший их для похотливого ночного смакованья, использовав, забросит неведомо где между тысяч библиотечных книг. Содрогнувшись, Баудолино закрыл на ключ свои

письма в сундуке и с той поры уже новых не создавал, чтобы не компрометировать далекую корреспондентку.

Как бы то ни было, любовная ярь семнадцатой весны требовала выхода и Баудолино перешел на стихи. В посланиях он повествовал о чистейшей любви. Стихи же его, напротив, представляли собою упражнения в кабацком виршеплетстве, обычном для клириков: воспевая рассеяния бездумного житья, те умели и попенять себе на пустую растрату времени…

Чтоб Никита оценил достижения его таланта, Баудолино процитировал несколько полустиший:

Feror ego veluti – sine nauta navis,

ut per vias aeris – vaga fertur avis…

Quidquit Venus imperat – labor est suavis,

quae nunquam in cordibus – habitat ignavis.

Увидев, что Никите нелегко разбирать с ходу по-латыни, Баудолино перевел:

Как ладья, что кормчего – потеряла в море,

Словно птица в воздухе – на небес про-

сторе,

Все ношусь без удержу – я себе на горе,

С непутевой братией – никогда не в ссоре…[14]

Показав эти и прочие стихи Поэту, Баудолино довел его до такой вспышки зависти и стыда, до таких слез, до признания в скудости собственного воображения, до таких проклятий творческому слабосилию, что тот криком исходил, рыдая: стократ бы лучше не мочь проникнуть в женщину, нежели подобная неспособность выразить то, что скрывается в нем самом… Выразить именно то, что Баудолино отображает столь совершенно, что кажется, будто черпал из его, из Поэтова сердца… Подумать только, сколь доволен мог бы быть его родитель, если бы узнал, что сын сочиняет такие выразительные стихи! А ведь настанет день, когда и семья и мир потребуют от него отчета за лестное прозвище Поэта, за напрасную лживую кличку! Истинно ему должно быть имя poeta gloriosus, то есть мнимый поэт, бахвал, присваивающий постороннюю почесть!

Баудолино, зря друга в таком помрачении, дал

---

[14] Примечания: 14
Перев. с лат. О. Б. Румера

ему в руки пергамент, подарил свои стихи, дабы тот отныне мог показывать их как собственные. Ценный подарок, поскольку при этом Баудолино, желая порадовать чем-то новеньким свою Беатрису, послал ей в письме стихи и сообщил, что автор — его товарищ. Беатриса прочла стихи Фридриху, Рейнальд из Дасселя слышал это чтение и, будучи любителем словесности, даром что прежде всего виртуозом дворцовых интриг, сказал, что ему приятно бы было видеть Поэта среди своих доверенных сотрудников.

Рейнальду именно в тот год выпала честь сподобиться титула архиепископа Кельнского. Поэту же перспектива стать придворным стихотворцем архиепископа, а следовательно (отчасти шутя и отчасти красуясь провозглашал он), сделаться Архипиитой, была весьма приятна; отчасти потому, что учиться ему очень мало хотелось, отцовых денег на парижские расходы никак не доставало, а придворному поэту, как предчувствовал он (и вполне справедливо), полагалось вкусно есть и много пить и не заботиться ни о каком другом деле.

Разве только о писании стихов. Баудолино обещал снабдить его не менее чем дюжиной, но не советовал публиковать все сразу. — Видишь

ли, — произнес он такую проповедь, — не всегда у стихотворцев понос. Бывают и запоры, и как раз у самых великих. Пусть все вокруг поймут, что Музы тебя истерзывают. Что ты способен порождать не более двух-трех полустиший за раз. С моим запасом ты сумеешь продержаться несколько месяцев. Но мне тоже потребно некоторое время, ведь и у меня понос бывает не всякий день. Так что погоди ехать, для начала отправь Рейнальду парочку стихов, чтоб подогреть его симпатию. Для этой цели самое уместное — стихотворное послание, воспевающее благодетеля.

Баудолино просидел всю ночь и составил в честь Рейнальда следующее:

Presul discretissime – veniam te pecor,

morte bona morior – dulci nece necor,

meum pectum sauciat – puellarum decor,

et quas tacto nequeo – saltern chorde mechor…

Мне, владыка, грешному – ты даруй прощенье:

Сладостна мне смерть моя, – сладко умерщвленье;

Ранит сердце чудное – девушек цвете-

нье, —

Я целую каждую – хоть в воображенье...[15]

Никита заметил, что латинские епископы развлекались не самыми благолюбивыми акафистами, но Баудолино ответил, что прежде всего следует знать, что такое являют собой латинские епископы. От них вовсе не ждут святого образа жизни, в особенности если ими исполняется еще и должность имперского эрцканцлера. Кроме того, невредно бы еще и иметь в виду, что за личность являл собою этот Рейнальд. От епископа в нем было крайне мало, от эрцканцлера — крайне много. Любовь к поэзии, разумеется, ему была свойственна, но в гораздо большей степени было свойственно стремление использовать таланты на своей службе, в том числе и поэтические. Использовать в чисто политических целях, как он впоследствии и продемонстрировал.

— И так Поэт прославился твоими стихами.

— Вот именно. В течение почти целого года Поэт посылал Рейнальду потоки изъявлений преданности, напичканные стихами, которые я ему передавал, в результате чего Рейнальд кате-

---

[15] Примечания: 15
Перев. с лат. О. Б. Румера

горически потребовал, чтобы необыкновенное дарование во что бы то ни стало прибыло пред его очи. Поэт отправился с хорошим запасом стихов, которые ему надлежало растянуть на год, постоянно жалуясь на запоры. Его превознесли… Я так и не уяснил, как можно тщеславиться лаврами, полученными в виде милостыни, но Поэта, похоже, удовлетворяло все как есть.

— А я не уяснил другого: какая тебе-то радость была с того, что твои творения приписали другому человеку? И не ужасно ли, что отец отдает кому-то ради милостыни детищ от собственных чресел?

— Удел кабацкого творчества — быть на устах у всех, не принадлежа одному. Главная радость, когда твою песню поют. По-моему, эгоизм — исполнять ее только, чтоб преумножилась твоя собственная слава.

— Нет, я не думаю, чтоб ты был столь прост. Тебе сладостно ощущать себя Князем Лукавства. Ты этим гордишься. Ты мечтаешь, как вдруг найдется твоя любовная переписка в рукописном отделе библиотеки Сен-Виктора. И как ее атрибутируют поди угадай кому…

— Я и не прикидываюсь простым. Я люблю видеть: совершается нечто и только мне известно,

что это дело моих рук.

— Чем дальше, тем круче, милый мой, — протянул Никита. — Я величаю тебя Князем Лукавства, а ты в ответ, что тебе хотелось бы быть Господом Богом.

8
Баудолино в Земном Раю

Баудолино хоть и был поглощен парижской учебой, однако успевал следить за тем, что происходило в Италии и в Германии. Рагевин, по завещанию Оттона, продолжил за него «Деяния Фридриха», но ныне, завершив четвертую книгу, остановился. Счел богохульством превосходить число святых Евангелий. И, распрощавшись с двором, в сознании исполненного долга, он скучал ныне в далеком баварском монастыре. Баудолино написал ему, что имеет доступ к безбрежной библиотеке Сен-Виктора, и Рагевин попросил его перечислить какие-либо редкие трактаты, дабы дать ему возможность обогатить свою ученость.

Баудолино, разделяя мнение Оттона относительно бедной фантазии скромного каноника, счел за благо предложить ему неожиданную умственную пищу и поэтому, сообщив несколько названий тех томов, что действительно он видел, присовокупил и ряд других, которые тут же сам на месте выдумал, например «De optimitate triparum» («О превосходных качествах требу-

хи»[16]) Достопочтенного Беды, а также трактаты «Ars honeste petandi» («О благопристойном ветров выпускании»), «De modo cacandi» («О способах испражнения»), «De castramentandis crinibus» («О постое гарнизонов в волосах»[17]) и даже «De patria diabolorum» («Отечество дьявола»). Эти труды изумили и даже ошеломили доброго каноника, который поспешил затребовать списки сих несусветных таилищ знания. Баудолино с удовольствием оказал бы ему эту услугу, чтоб искупить вину за пергаменты Оттона, в давнем прошлом им соскобленные, но не знал, откуда бы списать эти сочинения. Поэтому он отговорился: сочинения-де и вправду содержатся при Сен-Викторе, но они почти еретические и каноники не выдают их читателям. — Через некоторое время, — сообщил Никите по ходу рассказа Баудолино, — я узнал, что Рагевин написал одному парижскому ученому с просьбой получить для него запрещенные тома у сен-викторцев, на что те ответили, натурально, что не находят запрашиваемых книг на полках. Обвинили библиотекаря в халатности. Тот божился, что он, бедняга, даже

[16] Примечания: 16
Перев. с лат. Н. М. Любимова.

[17] Примечания: 17
Перев. с лат. Н. М. Любимова.

названий этих не видел. Надо думать, в конечном итоге какой-нибудь каноник, желая привести дела в порядок, взял да и написал эти сочинения… Надеюсь, что они когда-нибудь обнаружатся ко всенародной радости…

Поэт тем временем рассказывал ему последние новости о деяниях императора. Итальянские города не собирались соблюдать соглашения, достигнутые на имперском сейме в Ронкалье. Согласно этим пактам, непокорным городам полагалось разобрать военные машины и порушить оборонные укрепления, но вместо этого горожане вяло притворялись, будто закидывают рвы вокруг городов, а на самом деле рвы оставались, да еще какие. Фридрих отправил императорских посланников в Крему сказать кремаскам, чтоб пошевеливались, но насельники Кремы посулили поубивать имперских легатов, и если б те не спаслись своевременным бегством, они бы их действительно убили. Вследствие этого в Милан были посланы лично канцлер Рейнальд и один пфальцграф, с поручением назначить градоначальников, потому что не могли же миланцы на словах признавать имперские прерогативы, а на деле — самовольно выбирать собственных консулов. Там опять приехавшим воеводам чуть не

привелось поплатиться жизнью, а ведь дело шло не о каких-то поверенных, а об имперском канцлере и одном из графов монаршего двора! Мало этого, миланцы обложили осадой замок Треццо и заковали в цепи гарнизон. В довершение они вторично налетели на город Лоди, а император, когда трогали его Лоди, окончательно терял кротость. В общем, чтобы показать им, где раки зимуют, Фридрих подошел под Крему с осадой.

Сначала эта осада велась как заведено между правыми христианами. С помощью миланских жителей обитатели Кремы совершали молодецкие вылазки и брали в плен немало имперских воинов. Те осадчики, что происходили из Кремоны (они от ненависти к жителям Кремы присоединились к войскам императора вместе с павийцами и с ополчением из города Лоди), строили мощнейшие осадные машины, которые были опаснее для атаковавших, чем для атакуемых, но это уже частности. Стычки состоялись знатные, с удовольствием повествовал Поэт, и всем запомнилось, какую хитрость выдумал лично император: из Лоди подвезли ему двести порожних бочек, он их велел набить землей и кинуть в ров, потом на бочки навалили землю и доски, тоже подвезенные лодийским ополче-

нием (более двух тысяч телег), и после этого по рву свободно проходили кошки, чтобы лупить тараном в стену.

Но как они пошли на приступ с самой здоровенной деревянной башней, произведением кремонцев, а изнутри города стали швырять из катапульт тяжеленные камни и башню чуть было не свалили, император от гнева сделался буен. Он вывел тех военнопленных, что были родом из Кремы и Милана, и дал приказ их привязать впереди башни и по ее бокам. Он думал, что когда осажденные увидят перед собой своих братьев, сыновей, родителей и свояков, они перестанут кидать камни. Император не учел, до чего дошли в своей ярости обитатели Кремы — и те, что сражались внутри крепости, и те, что болтались снаружи. Именно эти последние и вызывали на себя канонаду из крепости, убеждая родичей никого не жалеть, и те на стенах осажденного города, стиснув зубы, не вытирая слез, не дрогнув перед казнью родных, стреляли по мощной башне, и девять военнопленных в тот день потеряли жизнь.

Студенты, прибывшие учиться в Париж из Милана, уверяли Баудолино, что на башне были привязаны даже маленькие дети, но Поэт клят-

венно опровергал это сообщение. Как бы то ни было, даже император был поражен, и всех прочих пленных с башни отвязали. Однако жители Милана и Кремы, остервенелые после всего, что было сделано с их товарищами, вывели из города пленных германцев и лодийцев и на крепостном валу зарезали всех до одного прямо на глазах у Фридриха. Тот велел доставить под стену Кремы двух пленных граждан, прямо на плацу устроил над ними суд, обвинив в разбое и отступничестве, и подвел под смертный приговор. Жители Кремы дали знать: если-де наших повесят, мы перевешаем всех ваших, что сидят тут у нас в заложниках! Фридрих сказал на это, что пусть только попробуют, и лишил жизни двоих осужденных. В ответ кремаски повесили всех имевшихся заложников coram populo (по выражению древних римлян, «в присутствии народа, сената и патрициев»).

Фридрих от гнева так ошалел, что велел взять всех кремасков, кто только у него еще остался, выстроил вереницу виселиц перед чертой города и начал вешать всех по очереди. Епископы и аббаты ринулись на место казни, умоляя, дабы тот, кто призван быть источником милосердия, не состязался с противником в злодействе. Фридрих был тронут их заступничеством, но не мог

забрать назад ужасные посулы и поэтому потребовал уничтожить хотя бы девять человек из тех несчастных.

Слушая эти истории, Баудолино плакал. И не по одному своему врожденному миролюбию, а более от мысли, что его приемный отец запятнался столькими грехотворствами. Эта мысль подвела его и к решению остаться в Париже и продолжить учебу, и, нечувствительно для него самого, как-то сняла с души камень, вселив в него чувство, что не столь уж предосудительно любить императрицу. Он снова начал писать письма, чем дальше, тем более страстные, и такие ответы, от которых пробрало бы и скитника. Только на этот раз он не стал их показывать другим студиозусам.

Все же ощущая некую виноватость, он решил сотворить что-нибудь во славу монарха. Оттон оставил ему святую задачу: вывести на божий свет предание о пресвитере Иоанне. Баудолино и взялся искать этого безвестного священника, который, по свидетельству Оттона, в своей безвестности был очень и даже очень известен.

Поскольку Баудолино и Абдул, успешно преодолев троепутье и четверопутье, ныне готовились к диспуту, они взялись за разработку вопроса: существует ли на самом деле пресвитер? Но взялись

они за эту разработку при таких обстоятельствах, о которых Баудолино несколько стеснялся рассказывать Никите.

После отбытия Поэта Абдул переселился к Баудолино. Однажды, воротясь, Баудолино застал Абдула за одиноким пеньем. Тот исполнял одну из своих самых дивных песен и бредил, будто повстречался с принцессой, недостижимой и далекой, но всякий раз, как только он подходил к принцессе вплотную, ему казалось, ноги относят его обратно. Баудолино, сам не зная, силой ли музыки или силой слов, но будто донесся до своей любимой Беатрисы, она предстала перед ним при звуках песни, но уклонялась и ускользала от взора. Абдул все пел, и никогда еще его голос не источал такого соблазна.

Закончив песню, Абдул поник, изнуренный. Баудолино было испугался, не сомлел ли тот, и наклонился, но Абдул, чтоб успокоить, махнул рукой и засмеялся неведомо чему, без всякой причины. Весь сотрясался от одинокого смеха. Он в лихорадке, подумал про себя Баудолино. Абдул, не прекращая хохотать, просил оставить его в покое: само пройдет. Ему известно, в чем объяснение припадка… В конце концов, уступив Баудолиновому любопытству, он согласился вы-

дать секрет.

— Слушай же, коли так, мой друг. Я сейчас принял зеленого меда. Небольшую толику. Мне известно — это дьявольское искушение, но порой очень помогает петь. Слушай и не осуждай меня. С самого раннего детства у себя в Святой Земле я узнал былины восхитительные и жуткие. В тех былинах говорилось, что поблизости от города Антиохии проживают сарацины, у которых на скале построено укрепление, неприступное ни для кого, кроме орлов. Господин их носит имя Алоадин и внушает величайшее опасение и сарацинским владыкам, и христианским. У него в твердыне, сказывали, обретается волшебный сад, полный плодов и злаков, там текут и ручьи из вина, молока, меда и воды, а вокруг пляшут и поют девы невысказуемого пригожества. В том саду поселяют юношей, которых по приказу Алоадина похищают из разных мест, их селят в саду и там они приучаются ко всемерным наслаждениям. Говорю про наслаждения, потому что взрослые перешептывались (а я совестился и краснел), будто девы щедры, ласковы и одаряют молодых гостей таким вниманием, что и услаждает и размучивает. И, конечно, попадающие в тот сад не желают покидать его.

— Очень милое место создал твой Алоадин или как его там звали, — улыбнулся Баудолино, обтирая лоб своего друга мокрым полотенцем.

— Ты послушай дальше, — перебил его Абдул. — Узнаешь, что это было на самом деле. Вдруг такой юноша просыпается на загаженном дворе, под палящим солнцем, на руках и на ногах оковы. Промучивши несколько дней его этой пыткой, юношу ведут перед очи Алоадина. Юноша, кинувшись владыке в ноги, с угрозами лишить себя жизни молит восстановить его в радостях и негах. Без них он уже себя не мыслит. Алоадин в ответ сообщает, что на юношу пало неудовольствие пророка и он сможет возвратить себе пророкову благосклонность только через геройский подвиг. Ему дают золотой кинжал и отправляют в далекое странствие, с задачей попасть ко двору некоего князя, врага Алоадина, и этого князя убить. Так он заслужит возвращение к желанному образу жизни. Если же он погибнет, выполняя свой долг, то в награду будет впущен в рай, полностью одинаковый с тем местом, которое он покинул только что, и даже в чем-то еще получше. Поэтому Алоадин обладал величайшим могуществом и устрашал соседей, как ближних, так и дальних, мавров и христиан, всех

без изъятия, потому что его посланцы не имели никакого страха.

— Если так, — отвечал Баудолино, — предпочту какой-нибудь из наших кабаков в Париже, с нашими девушками, за них не берется такой серьезный выкуп… Но ты-то как замешан в эту историю?

— Я замешан, потому что десяти лет от роду был похищен слугами Алоадина. И пять лет жил у него.

— И в десятилетнем возрасте ублажился этими девицами, о которых ты рассказываешь? А потом тебя отправили на смертное задание? Что ты, Абдул, несешь? — взволновался Баудолино.

— Я был чересчур мал, не мог приобщаться к сонму блаженных юношей. Меня сделали прислужником дворцового евнуха, заведующего их наслаждениями. Послушай, что я обнаружил. За все пять лет я не видел сада. Юношей постоянно держали в оковах на том залитом солнцем, загаженном дворе. Каждое утро евнух брал из шкафа серебряный горшок, в котором была густая, будто мед, каша, зелено-желтого цвета, и проходил между лежащих, давая каждому по ложке зелья. Те, проглотив, начинали рассказывать вслух себе и окружающим про те радости, что обещала

легенда. Понимаешь? Вот так они проводили день с открытыми глазами, с блаженной улыбкой, а к вечеру уставали, и так проходил каждый вечер: хихикают, хохочут, и так все тихо переходят ко сну. Я же, потихоньку взрослея, понимал обманные ходы Алоадина. Они жили в цепях, полагая себя в кущах Рая, и чтоб не терять тот Рай, становились орудием властелина. Если им выпадало счастье возвратиться живыми с заданий, их опять заковывали, и они снова видели и слышали то, что вызывалось зеленым медом.

— А ты?

— А я однажды ночью, пока остальные спали, пробрался туда, где стояли серебряные горшки с золотисто-зеленым медом, и попробовал немножко… То есть не просто попробовал… Я проглотил хороших две ложки и внезапно начал видеть удивительные вещи…

— Попал в тот райский сад?

— Нет, может быть, остальным тот сад мерещился, потому что при их прибытии Алоадин им рассказывал про сад. Думаю, зеленый мед вызывает те видения, что уже заложены в душу. Я внезапно попал в пустыню, пустыня была вокруг, я видел ее из оазиса, я видел цепочку верблюдов, изукрашенных перьями, вереницу разноцветных

тюрбанов, тюрбаны были на маврах, мавры били в тамбуры, мерно позвякивали кимвалы. В конце каравана под балдахином, что был на плечах четырех великанов, плыла та далекая принцесса. Я не могу описать ее внешность. Она была… как сказать это… так блестяща, что я запомнил только яркость, только это слепящее сияние…

— Но какова она лицом, красива?

— Лица я не видел, оно было скрыто покрывалом.

— В кого же ты тогда успел влюбиться?

— В нее. Потому что я ее не видел. Прямо в душу, понимаешь, прямо в сердце мне вошла бесконечная благостыня… истома, не унявшаяся до сего дня… Караван уходил себе вдаль по дюнам, и я знал, что призрак никогда не вернется… Я твердил, что должен настигать восхитительную деву, однако под утро на меня напал странный хохот, я подумал, что это знак счастья. Между тем это морок от зеленого меда, когда действие его проходит. Я проснулся, солнце было высоко на небе и евнух едва не застукал меня у шкафа. С той поры я приучился думать, что мой путь — побег, а затем поиски прекрасной принцессы.

— Но ты ведь знаешь, что она морок от зеленого меда…

— Да, видение было мороком. Но то чувство, которое внутри меня поселилось, было подлинной настоящей страстью. Страсть, которая поселяется в сердце, это уже не морок, она живая.

— Но твоя страсть — к мороку.

— Однако я хотел бы сохранить эту страсть. Ее достаточно, чтобы ей посвятить жизнь.

Короче, Абдулу удалось бежать и вернуться в семью, где он считался без вести пропавшим. Отец, опасаясь мщения Алоадина, отправил Абдула из Святой Земли в Париж. Абдул, покидая Алоадинов замок, вынес с собой кувшин зеленого меда, однако, заметил он, ни разу не отведывал зелья, боясь, как бы проклятая отрава не завлекла его обратно в оазис, чтобы там вечно сокрушаться в экстазе. Он не знал, сможет ли совладать с волненьем. А принцесса, та отныне состояла при нем навеки, никому не удалось бы отдалить ее от Абдула. Лучше было мечтать о ней как о цели, нежели владеть ею в ложном воспоминании.

Позднее, нуждаясь в энергии для песен, в которых он встречался с принцессой, присущей, невзирая на дальность, порою Абдул дерзал отведывать меда, но самую крошку, на кончике ложки, чтоб только ощутился вкус. Экстаз наступал, он бывал недолог. Вот и сегодня вечером

тоже.

Рассказ Абдула увлек Баудолино. Его соблазняла возможность воспользоваться видением, даже кратким, чтоб повидаться с императрицей. Абдул не смог отказать, дал крошку меда. Баудолино почувствовал только легкую одурь да сильный позыв рассмеяться. Но разум его воспрял. Поразительно! Мысли летели не к Беатрисе, а к пресвитеру Иоанну! Он даже подумал: не является ли истинным предметом желания неприступное государство? Вовсе не дама, владеющая сердцем? Так случилось, в достопамятный вечер, что Абдул, уже избывший действие меда, и слегка отуманенный Баудолино снова стали рассуждать о пресвитере: он существует? Поскольку под воздействием зеленого меда никогда не виденное становилось явным, друзья пришли к заключению о существовании пресвитера.

Существует, провозгласил Баудолино. Ибо нет причин, противостоящих его существованию! Существует, согласился Абдул: ибо он слышал от какого-то клирика, что за страной мидийцев и персов христианские цари сражаются с язычниками.

— А как зовут этого клирика? — спросил Баудолино, волнуясь.

— Борон, — отвечал Абдул.

На следующий день друзья разыскали Борона.

Тот оказался клириком из Монбельяра, вагантом, каких в Париже было немало, завсегдатаем Сен-Виктора. Сегодня здесь, назавтра он мог перебраться в любое неведомое место, поскольку, похоже, был занят какими-то поисками, а что искал — помалкивал. Вечно всклокоченная голова, глаза, воспаленные постоянным чтением при тусклом свете, — настоящий кладезь премудрости. Он очаровал их с самой первой встречи, происходившей, разумеется, в таверне, поскольку предлагал столь заковыристые темы, на которые их учителям понадобились бы бесчетные дни диспутов: можно ли замораживать сперму? может ли зачать проститутка? более ли зловонен пот головы, нежели пот всех остальных органов тела? краснеют ли уши от стыда? печалится ли более человек от смерти возлюбленной или же от ее замужества? должны ли благороднорожденные иметь висячие уши? ухудшается ли сумасшествие от полнолуния? Более же всего занимало Борона существование пустоты, о каковом предмете он был начитан лучше всякого другого философа.

— Пустота, — разглагольствовал Борон, на-

пихивая рот разной снедью, — не существует, поскольку природа ее страшится. Что пустоты не существует, видно в силу философских причин, ибо существуй она, ей бы надлежало быть или субстанцией, или акциденцией. Материальной субстанцией она не является, поскольку тогда была бы телом и занимала пространство. Бестелесной субстанцией она не является, потому что тогда, подобно ангелам, она имела бы интеллект. Она не является акциденцией, поскольку акциденции существуют лишь в качестве атрибутов субстанций. Кроме того, пустота не существует в силу и физических причин. Возьмем цилиндрическую вазу…

— Но для чего, — перебивал его Баудолино, — тебе так нужно доказывать, что пустоты не существует? Далась тебе эта пустота!

— Значит, далась. Повторяю: пустота может являться средоместной, то есть быть в середине между одним и другим телом подлунного мира, или же пространной, то есть быть вне видимого нами универса, замкнутого в огромной сфере небесных тел. В этом случае там могут обретаться, в пространной пустоте, иные миры. Но если доказуемо, что средоместной пустоты не бывает, тем более не может быть пустоты пространной…

— Ну, а иные-то миры на что тебе дались?

— Значит, дались. Если бы они существовали, Иисус Христос должен был бы принести себя в жертву в каждом из оных и в каждом из оных пресуществить хлеб и вино. Выходило бы: предвечная вещь, доказующая и подтверждающая таинство, — не единственна, а бытует в нескольких экземплярах. Какую тогда ценность имела бы вся моя жизнь, не будь я убежден, что где-то имеется единственная предвечная сущность и я эту единственную сущность разыскиваю?

— А какую ты разыскиваешь предвечную сущность?

В ответ Борон отрезал, как отрубил: — Не ваше дело. Не обо всем приличествует знать профанам. Поговорим на другую тему… Если бы миров было много, было бы много и первых людей, Адамов и Ев, совершавших свой первородный грех. Следовательно, много Земных Раев. Ну, сами подумайте: настолько выспренних мест, как выспренний Земной Рай, разве может их быть на свете много? Много может быть обыкновенных городов, вроде вот этого, Парижа, с обыкновенной рекой и с обычным холмом, скажем, Святой Женевьевы. Но Земной-то Рай, он на свете только один, в отдаленной области, за мидянами, за

персами…

Так разговор подошел к интересующей их теме. Друзья тотчас выложили Борону все свои рассуждения о пресвитере. Да, Борон уже об этом что-то слышал от какого-то монаха… о восточном христианском правителе… Он читал в одной книге странствий, что много лет назад к папе Каликсту Второму приезжал патриарх всех Индий. Похоже на то, что он и папа почти друг друга не разумели, в силу разности языков. Патриарх описывал город Хулну, где течет одна из рек, вытекающих из Земного Рая, это река Физон, которая именуется еще и Ганг, и где на горе за стенами города построена часовня, в той часовне выставлено тело Фомы-апостола. Доступ на гору невозможен, так как она возвышается в середине озера, но на восемь дней каждый год воды озера расступаются, и самые богобоязненные из тамошних жителей поклоняются останкам апостола, нетленным, будто бы он не умирал. Напротив, по свидетельству патриарха, его лик сиятелен, как звезда, волосы рыжи, длиной они достигают плеч, есть борода, а одежду будто бы сегодня сшили.

— Но ниоткуда не следует, что этот патриарх был пресвитером Иоанном, — осторожно закончил Борон.

— Ниоткуда, — ответил Баудолино, — но по всему ясно, что уже много лет мир изобилует слухами о крайсветном царстве, блаженном и неведомом. Смотри сам. В своей «Истории о двух царствах» мой учитель епископ Оттон сообщает, что некий Гугон Габальский говорил, будто Иоанн после победы над персами предлагал помощь христианам Святой Земли, но ему пришлось остановиться, когда он подошел к берегу Тигра, потому что не было судов, чтоб переправить войско. Так что Иоанн обитает на том, противоположном берегу Тигра. Видишь? Но еще интереснее, что о том было известно, кажется, и до Гугона. Перечитаем Оттонову летопись. В ней, я знаю, ничто не случайно. С какой стати этот Гугон докладывает папе причины, по которым у Иоанна ничего не вышло из затеи помогать святоземельным христианам? Иоанн как будто оправдывается? Из этого явно, что в Риме кто-то на него рассчитывал! Далее, Оттон говорит, что в речи Гугона употреблено имя «Иоанн», «sic enim eum nominare soient», «как его именуют в обиходе». Кто именует? Ясное дело, не один Гугон, раз глагол «именуют» во множественном числе! Оттон пишет, что Гугон утверждает, будто Иоанн, по следам Волхвов, чей он последователь,

отправился было в Иерусалим, и тут же Оттон использует слово «fertur» (считается), а другие глаголы опять же стоят во множественном числе: asserunt (утверждают)… Утверждают, что Иоанн не помог христианам… В университете преподаватели нас учили, что лучшим доказательством истинности, — подвел итог Баудолино, — является прецедент.

Абдул шепнул на ухо Баудолино, что поди-ведай, не случалось ли Оттону жевануть зеленого меда, но Баудолино в ответ двинул его локтем под ребро.

— Я, честно говоря, пока не понял, зачем вам занадобился этот пресвитер, — сказал Борон. — Но если вы хотите искать его, вам, думаю, дорога не к реке, вытекающей из Земного Рая, а прямо-прямехонько в этот Рай. Ну, о Рае я мог бы рассказывать сколько угодно…

Баудолино и Абдул попробовали выудить из Борона побольше подробностей на этот счет, но Борон так основательно надышался винными парами «Трех подсвечников», что утверждал, будто ничего не помнит. Не сговариваясь, друзья подхватили Борона под мышки и потащили в свою квартиру. Там Абдул осторожно с кончика ложки угостил Борона снадобьем, и по полпор-

ции друзья приняли сами. Борон, ошарашенно мотая головой, оглядывался и пытался понять, где он, но куда бы он ни глядел, повсюду оказывался Земной Рай.

Он стал рассказывать о каком-то Тугдале, который, кажется, бывал в Аду и в Раю. Об Аде говорить не стоило, а вот Рай — это средоточие милосердия, утехи, отрады, красоты, святости, согласия, единства, бесконечности и вечности. За его золотыми стенами расположены скамейки с драгоценными инкрустациями, и на скамьях мужи и жены, юные и пожилые, одетые в аксамитовые мантии, с лицами яркими как свет и волосами чистого золота, и все поют аллилуйю, читая книгу с золотыми буквами.

— Так вот, — рассудительно повествовал Борон, — в Ад может сойти кто угодно, захоти он только, и нередко тот, кто сходит, потом возвращается обратно и способен припоминать узнанное, причем видит себя то инкубом, то суккубом, полагая, будто ему приснился тяжелый сон. Но можно ли всерьез полагать, будто о Рае расскажет тот, кто в самом деле его увидел? Если бы кто-то и попал туда, то не нашел бы в себе потом бесстыдства рассказывать узнанное, ибо есть тайны такого рода, что честный и скромный

человек предпочтет их держать при себе.

— Да не допустят небеса родиться на нашей земле такому тщеславцу, — продолжил в тон ему Баудолино, — который обманет доверие, оказанное Господом Богом.

— Между тем, — отвечал Борон, — вы помните случай из жизни Александра Великого, как он оказался на берегу Ганга и пустился плыть по реке, и вдоль реки тянулась какая-то стена, и в ней не было ворот, и через три дня плаванья он увидел в стене окошечко, откуда выглянул старик. Путники спросили старика, платит ли город законные налоги Александру, царю царей, но старик отвечал, что это город праведников. Поскольку мы не можем предположить, что Александр (великий царь, но нехристь) был допущен до Небесного Града, делаем вывод, что виденное и им и Тугдалом являлось именно Земным Раем. То, что я вижу перед собою ныне…

— Где?

— Вон там, — он показывал на дальний угол. — Вижу место, где колышутся сочные зеленые травы, луг душист, полон цветов, и повсюду веют благовония, и, вдыхая ароматы, я не испытываю никакой потребности в еде или питье. Среди этих благих мурав четыре мужа препочтенного вида,

в золотых коронах, в руках у них пальмовые ветви… Слышу пение, чую запахи бальзама. О мой Бог, во рту у меня медовая сласть… Вижу храм из хрусталя, в нем алтарь, из коего из середины бьет струя, белая как молоко. Эта церковь с полночной стороны подобна драгоценному камню, с полуденной — ала как кровь, на западе бела как снег, и над нею светятся несчетные звезды, звезды ярче всех тех, что поддаются наблюдению на нашем с вами небосводе. Вижу мужа, власы белые как снег, весь он в птичьем оперении, очи его нет возможности разглядеть, они закрыты бровями чистоты голубиной. Муж указывает мне дерево, которое не стареется, и в тени его кто сел, тот может вылечиться от болезней, он указывает и дерево с радужными листьями… Как я все это сумел увидеть сейчас вот?

— Ты, верно, начитался об этих образах, а вино привело их на самый порог твоего сознания, — отвечал Абдул. — Один добродетельный муж, живший на моем острове, святой Брандан, доплыл по морю до последних пределов земли. Он нашел остров, полный спелого винограда, голубые лозы, лиловые лозы, белые лозы, семь волшебных фонтанов и семь церквей: первая хрустальная, вторая гранатовая, третья сапфировая,

четвертая топазовая, пятая рубиновая, шестая смарагдовая, седьмая коралловая, в каждой семь алтарей и семь лампад. Перед церквами, посередине площади, высился столп халцедоновый, увенчанный вертящимся колесом, а на колесе бубенчики.

— Нет, нет, у меня это не остров, — горячо запротестовал Борон. — Это страна около Индии. Я ее вижу. У ее жителей огромные уши и по два языка, чтобы говорить одновременно с двумя собеседниками. Какое тут всеплодие! Деревья ломятся от плодов, на полях урожаи…

— Разумеется, — вторил Баудолино. — Мы ведь и помним, что в Исходе говорится: земля обетованная, «где течет молоко и мед».

— Только не надо путать, — вставил Абдул. — В Исходе описана земля, обетованная после грехопадения, а Земной Рай, наоборот, это усадьба наших праотцев, где они проживали, пока грехопадения еще не было.

— Абдул, мы сейчас не на disputatio. Наша цель не в том, чтобы выбрать, кому куда идти, а в том, чтоб выяснить, каковы характеристики идеального места, куда любому хотелось бы попасть. Очевидно, что если сказанные диковины существовали и до сих пор существуют не только

в области Земного Рая, но и на островах, куда Адам и Ева ни разу в жизни не казали носа… владение Иоанна должно быть примерно таково же по внешнему облику! Попробуем же понять, как устроено царство изобилия и добродетели, в котором нет ни лжи, ни алчбы, ни развратности. Иначе с чего бы нам влечься в это царство как в совершеннейшее воплощение христианской добродетельности?

— Только без переборов, — здраво предостерег Абдул. — Иначе никто нам не поверит. В смысле, что никто не поверит, что возможна такая дальняя поездка.

Опять это слово «дальний»… Баудолино надеялся было, что, воображая Земной Рай, Абдул забудет, пусть хоть на один вечер, о своей недостижной страсти. Но нет. Он о ней не переставал думать. Видя Земной Рай, он старался разглядеть в нем принцессу. То и дело бормотал, постепенно оправляясь от зеленого меда: — Может быть, когда-нибудь и поедем мы туда… Май наступил, спешу я вслед/За сладостной любовью дальней…

Борон начинал тихонечко смеяться.

— Вот так, любезный государь Никита, — кончил Баудолино, — ночами я или предавался соблазнам нашего мира, или выдумывал новые

миры. Бывало — под вино, бывало — под толику зеленого меда. Нет ничего приятней, чем выдумывать новые миры. Забываешь, до чего непригляден тот, в котором мы все живем. По крайней мере мне в то время так представлялось. Не понимал я, что выдумывание новых миров в конечном счете приводит к изменению нашего.

— Так постараемся себе жить спокойно в этом нашем, где обрелись мы по Божией воле, — отвечал Никита. — Гляди, вот твои замечательные генуэзцы наготовили местных яств. Попробуй. Рагу из нескольких сортов рыбы, морской и пресноводной вперемешку. Не исключаю, что и в ваших краях есть недурная рыба, но думаю, от холодного воздуха она не нагуливает такую сочность, как у нас в Пропонтиде. Заправляется это рагу луком, обжаренным в оливковом масле, корнем аниса, душистыми травами, парой стаканов сухого вина. Рагу накладываем на ломоть хлеба, сверху добавляем авголемон — желтки, взбитые с лимонным соком, прогретые с каплей бульона. Думаю, что именно в Земном Раю у Адама и Евы употреблялась такая еда. Разумеется, до грехопадения. А после грехопадения им пришлось переходить на требуху, как вам в Париже.

9
Баудолино ругает императора и соблазняет императрицу

Баудолино, учась понемножку и богато фантазируя на темы эдемского сада, почти незаметно провел целых четыре зимы в Париже. Он соскучился и по Фридриху, и уж тем более по Беатрисе, которая в своем призрачно измененном виде давно утратила какие бы то ни было земные качества и превратилась в обитательницу парадизного сада, подобно недостижимой Абдуловой принцессе.

Однажды Рейнальд потребовал от Поэта оду в честь императора. Поэт, придя в полный ужас, старался тянуть время и внушал своему начальнику, что обязан дождаться вдохновения, — а сам отправил к Баудолино мольбу о помощи. Баудолино написал замечательное стихотворение «Salve mundi domine»,[18] где Фридрих был вознесен превыше всех других царей, а иго царствования его, говорилось, было сладчайшее. Но не желая

---

[18] Примечания: 18
Славься, миром правящий! *(лат.)*

доверять стихи случайному посланцу, решил отправиться в Италию, где за то время произошло немало событий, которые он, по их количеству, затруднялся пересказать для Никиты.

— Рейнальд жизнь свою положил на прославление императора в облике повелителя всего света, мирного господина, прообраза законов, не подчиненного никаким законам, rex и sacerdos в едином лице, нового Мельхиседека, а следовательно, ему не миновать было ссоры с папой. И впрямь, приблизительно когда осаждали Кремону, скончался папа Адриан, тот самый, что короновал Фридриха в Риме, и больше половины кардиналов проголосовало за кардинала Бандинелли, чтоб он стал папой Александром Третьим. Рейнальду это было очень и очень некстати, поскольку они с Бандинелли ругались хуже кошки с собакой, и тот за превосходство пап над императорами ратовал с пеной у рта. Не знаю, как уж там интриговал Рейнальд, но ему удалось добиться, чтоб остальные кардиналы и члены сената выбрали совсем другого папу, Виктора Четвертого: им-то Рейнальд и Фридрих могли вертеть как угодно. Конечно же, Александр Третий моментально отлучил от церкви и Фридриха и Виктора… Тут уже не сошла бы обычная

отговорка, что этот-де Александр не настоящий папа, и отлученье, им объявленное, несерьезно… Как на грех, французский с английским короли подумывали, не признать ли им Александра. А итальянские города, разумеется, восприняли такого папу как большой подарок: он объявил, что император еретик, а следовательно, императору совсем не обязательно подчиняться. В довершение всего доносились дальние слухи, что Александр столковывается с вашим василевсом Мануилом, ища для опоры империю еще покрупнее священноримской. Ежели Рейнальду требовалось, чтоб Фридрих выглядел единственным наследником римских кесарей, необходимо было выставить наглядное доказательство их прямого преемства. Вот зачем он усадил за работу всех, в том числе Поэта…

Никите трудно было следить за запутанной хроникой Баудолино. У него не только было чувство, что и рассказчик не уверен в очередности фактов; он еще и поражался, до чего одинаковы все поступки Фридриха, совершенные в различные годы. Толком не уяснив, Никита терялся, в каком году миланцы успели заново вооружиться, в каком году они опять объявили войну Лоди, в каком году император начал очередной итальян-

ский поход. Была бы это летопись, — рассуждал он сам с собою, — можно было бы открывать ее наугад. На каждой странице рассказывалось бы одно и то же. Будто во сне, когда повторяется одна сцена и все не удается пробудиться.

Никита понял только одно, что в последующие два года миланцы снова умудрились насолить императору своими наскоками и нападками, и, потеряв терпенье, Фридрих, вкупе с Новарой, и с Асти, и с Верчелли, и с монферратским маркизом, с маркизом Маласпина, с графом Бьяндрате, с ополчениями Комо, Лоди, Бергамо, Кремоны, Павии и еще с какими-то союзниками, обложил осадою Милан. Одним весенним и приятным утром Баудолино, достигший возраста двадцати лет, везя с собой на груди «Salve mundi domine» для Поэта и переписку с Беатрисой (боязно было оставлять ее в Париже в распоряжении домовых воров), предстал под стенами этого города.

— Надеюсь, что под Миланом император проявил себя лучше, чем под Кремой, — вставил свое Никита.

— Он проявил себя хуже, как я узнал по приезде. Велел вырвать глаза шести военнопленным из Мельцо и Ронка-те, а пленному миланцу — вырвать только один, чтобы он повел всех

остальных в Милан за собою, но для равности ему отрезали нос. Когда ловили тех, кто пытался провезти в Милан провизию, им отрубали руки.

— Ага, вот видишь, глаза и у вас выкалывают!

— Простонародью! Но не синьорам же, как у вас! Вдобавок они были враги, а не братья родные.

— Ты его оправдываешь?

— Сейчас да, тогда нет. Тогда я негодовал. Не хотел даже с ним здороваться. Но потом пришлось идти с приветствием. Не было иного выхода.

Император, его встречая после долгой разлуки, весело раскрыл объятия, но Баудолино не сумел сдержаться. Он отстранился с плачем, говоря, что тот-де злой человек, напрасно притязающий быть прообразом закона, поскольку ведет себя беззаконно, и ему-де стыдно именоваться сыном человека, не гнушающегося мясничать над людьми.

Любому, кто посмел бы адресовать к нему такие речи, было бы велено вырвать не только глаза и нос, но и уши. Однако, слыша это от Баудолино, Фридрих был потрясен и даже попробовал оправдаться. — Они сопротивлялись, сопротивлялись закону, Баудолино, а ты мне первый сказал, что закон — это я сам. Не могу простить их. Не могу быть добрым с ними. Долг вынудил меня к неми-

лосердию. Думаешь, мне так уж приятно?

— А если тебе неприятно это, отец, почто истребил этих пленных в позапрошлом году под Кремой, почто изувечил миланцев, и не в бою, а на холодную голову, ради принципа, ради мести, бесчестя себя самого?

— А, так ты следил за моими действиями? Как Рагевин? Ну знай же: не для принципа, а в целях примера. Это единственный способ побороть непокорное отродье! Думаешь, Цезарь или Август были добрее? А война, Баудолино, думаешь, тебе известно, что есть война? Ты прохлаждаешься с книжечками в Париже, но когда ты вернешься, знаешь, кем я тебя назначу? Министериалом, а вполне возможно, и рыцарем! Собираешься скакать в свите святоримского императора и не запачкивать рук? Ты гнушаешься крови? Ну, сознайся! Я тебя отправлю к монахам. Но тогда придется блюсти целомудрие, заруби себе, а мне тут рассказывали про твои такие парижские выходки, что куда там в монахи… Как, скажи, ты схлопотал шрам на роже? Удивительно еще, что на роже, не на заднице!

— Ты посылал за мной шпионов в Париж, а мне без всяких шпионов на всех углах докладывали, что ты вытворял в Адрианополе. Лучше уж мои

игры с парижскими мужьями, чем твои с византийскими монахами.

Фридрих остолбенел, бледнея. Он прекрасно понял, о чем говорит Баудолино (слышавший этот эпизод от Оттона). Будучи еще свевским герцогом, Фридрих принял крест и участие во втором заморском походе: оказывал помощь христианскому царю Иерусалима. Вот, пока крещеное воинство с трудностями пробивалось вперед, где-то под Адрианополем кто-то из ближних дворян, отбившийся от эшелона, был ограблен и убит — вероятно, местными бандитами. Отношения латинян с византийцами к тому времени были уже очень испорчены, так что Фридрих принял происшествие как вызов. Что было в Креме, то и здесь, ярость его оказалась безудержной, армия ворвалась в первый попавшийся монастырь и перебила всех монахов в монастыре.

Этим было запятнано доброе имя Фридриха. Все делали вид, будто забыли мрачный случай, даже Оттон в «Gesta Federici» обошел его молчанием, описавши вместо этого, как юный герцог чудом спасся от сильного наводнения у Константинополя, и подчеркнув: это был знак, что провидение не отказало ему в сопутствии. Но не забывал сам Барбаросса. Что царапина на душе от позорного

поступка не заживилась, было ясно по его ответу. Император побелел, заалел, поднял бронзовый подсвечник и ринулся на Баудолино, будто хотел убить. С трудом на последнем шаге удержался, опустил канделябр, отпустил схваченного Баудолино и произнес сквозь сжатые зубы: — Во имя всех дьяволов ада, ты больше никогда не повторишь того, что сказал сейчас. — Он пошел из шатра, на пороге обернулся: — Повидайся с императрицей, потом можешь бабиться со своими парижскими студентами.

— Я тебе дам бабиться… покажу, с кем имеешь дело, — бормотал Баудолино, отъезжая из лагеря, хотя не сильно понимал и сам, с кем имеет дело Фридрих, только чувствуя, что ненавидит приемного отца и что хотел бы отомстить ему.

Все еще в бешенстве, он пришел в апартаменты Беатрисы. Приложился к подолу ее платья, лобызнул императрице руку, она с удивлением увидела шрам, озабоченно спросила, откуда. Баудолино небрежно отвечал, что перемолвился с разбойниками на дороге, дело житейское в путешествии… Беатриса глянула на него с восторгом, и надо сказать, что, двадцатилетний и львиноликий, он выглядел еще мужественнее благодаря шраму и вообще стал что называется

«видный кавалер». Императрица пригласила его садиться и рассказать, где он был, что видел. Тем временем она с улыбкой вышивала, севши под грациозным балдахином. Он, примостившись у ее подножья, рассказывал, сам не соображая, что говорит, и силясь утишить задор. Но покуда текли воспоминания, он залюбовался, взглядывая от низу, ее наклоненным лицом, бесконечно миловидным, и почувствовал в душе все те же страсти, что томили его на протяжении лет. Нет, не те же, другие! В сто раз сильнее. Тут Беатриса сказала, прибавив соблазнительнейшую из улыбок: — Но ты не сдержал своего слова, не писал писем, как я наказала. Как мне хотелось.

Может быть, в ее речах была обычная сестринская забота, может, она хотела только оживить разговор, но для Баудолино любые слова Беатрисы были настоящий бальзам пополам с ядом. И тогда он трясущимися руками вынул из-за пазухи свои к ней письма и ее к нему и, протягивая, прошептал: — Я писал, писал немало, и ты, о Госпожа, часто отвечала мне.

Беатриса не могла понять, приняла листы, начала читать тихо вслух, пытаясь уяснить перекличку этих двух почерков. Баудолино в двух шагах от нее ломал руки, обливался потом, созна-

вая, что это безумие, что сейчас его вытолкают вон, вызовут стражников, сожалея, что при нем нет ножа, нечем пронзить себе сердце. Беатриса продолжала читать, ее щеки становились алее, голос вздрагивал, когда она произносила огненные словеса, будто служа богохульную мессу; она встала, дважды качнулась, дважды оттолкнув Баудолино, подскочившего, чтоб поддержать ее, а потом сказала почти без голоса: — Мальчик, мальчик, что же ты наделал, а?

Баудолино приник к ней опять, чтоб отнять листы, объятый трепетом, и вся в трепете она протянула руку, лаская его волосы, он повернулся вбок, заглядывая ей в глаза, она кончиками пальцев провела по его шраму. Чтоб не обжечься от этих пальцев, он снова решительно вывернул шею, но Беатриса оказалась слишком близко, они столкнулись буквально нос к носу. Баудолино завел за спину руки, чтоб избежать объятия, но губы его прикоснулись к ее губам, а прикоснувшись, и приоткрылись, так лишь на миг, на один только самый короткий миг был поцелуй приоткрытыми губами, между которыми сблизились и приласкались один к другому также их языки.

По истечении мимолетной вечности императрица отшатнулась, бледная, будто в болезнен-

ном приступе, и, глядя Баудолино в лицо, четко и жестко произнесла: — Во имя всех ангелов рая, ты больше никогда не повторишь того, что сделал сейчас.

Она сказала это без гнева, почти без чувства, в забытьи. Потом ее очи наполнились влагой и она добавила тихо: — Пожалуйста!

Баудолино отвесил поклон, почти что ударивши лбом о камни пола, и вышел прочь, не понимая, куда несут ноги. Позднее он осознал, что в краткий миг совершил четыре преступления: оскорбил величество императрицы; прелюбодействовал; предал доверие отца; и вдобавок ко всему поддался подлому искушению — жажде мести.

— В мести ли дело? — спрашивал он себя, пытаясь понять. — Если бы Фридрих не осквернился кровопролитием, если бы он не обидел меня и если бы я не ощутил в сердце позыв ко мщению, сделал бы я то, что сделано? — Предпочитая не отвечать себе, он понимал, что выйди ответ тем самым ответом, которого он боится, значит, он совершил и пятый, и самый ужасный, грех: несмываемо опорочил добродетель своего идола из-за раздражения. То, что являлось постоянным смыслом его жизни, он использовал, выходит,

вместо орудия зла.

— Государь мой Никита, это сомнение продолжало терзать меня год от году, хотя я не забывал душераздирающую прелесть тех минут. Все отъявленнее влюбленный, но теперь уже без надежды, даже без упованья на грезу, я жил, зная, что когда я обрету прощение, ее образу суждено исчезнуть даже из снов. В общем, говорил я себе в часы частых долгих бессонниц, ты уже имел все; большего ты не можешь желать.

Ночь сходила на Константинополь, небо не краснело. Огонь, надо думать, утих, лишь на некоторых далеких холмах замечались не языки пламен, а отсветы пожарищ. Никита приказал подать два кубка медового вина. Баудолино отхлебнул, глаза его блуждали в непроницаемой дали.

— Фасосское вино. Внутрь амфоры кладется мучное тесто, замешенное с медом. После брожения крепкое, душистое вино подливают к более тонкому. Правда же, приятная сладость?

— Приятная, — ответил Баудолино, все еще думая о своем. Он поставил чашу.

— Тем же самым вечером, — кончил он свой рассказ, — я на всю остальную жизнь зарекся

осуждать Фридриха, потому что я был виновнее его. Преступнее отсекать пленным носы или целовать в губы жену своего благодавца?

После ночи Баудолино просил прощения у приемного отца за те речи, которые наговорил накануне, и полыхнул от стыда, увидав, что Фридрих сам раскаивается. Император приобнял Баудолино, извинился за вчерашний приступ ярости и сказал, что предпочитает тысяче придворных льстецов такого сына, что способен указать отцу на неверный шаг. — Мне боится намекнуть на это даже духовник, — сказал с улыбкой Фридрих. — Ты единственный, кому я доверяю.

Баудолино начал платить пеню за свой грех, умирая от срама.

10
Баудолино находит Волхвоцарей и беатифицирует Шарлеманя

Баудолино оказался под Миланом к моменту, когда миланцы уже не имели сил бороться, измученные осадой и своими частными междоусобицами. В конце концов они выслали переговорщиков условиться о сдаче на тех же основаниях, что и в пору Ронкальи, четыре года назад. То есть по прошествии четырех лет, после стольких убитых, после толикой разрухи, все повторялось капля в каплю. Точнее говоря, эта сдача была еще позорнее предыдущей. Фридрих собрался было вновь дать прощенье, но Рейнальд, не зная жалости, разжигал страсти: задать урок, чтобы крепко запомнили, дать сатисфакцию городам, сражавшимся на стороне императора не столько из любви к нему, сколько из ненависти к Милану.

— Баудолино, — сказал император приемному сыну. — Ты на сей раз меня не виновать. Бывает, что император вынужден уступать своим подчиненным. — И добавил, понижая голос: — Этого

Рейнальда я боюсь хуже, чем миланцев.

Так вышло приказание стереть город Милан с лица земли, предварительно выведя из города обитателей обоего пола.

Низменности около города были теперь усыпаны миланцами. Кто бродил, не имея цели, кто расходился по ближайшим городам, кто сидел и глядел на стены, ожидая, что император смилуется, разрешит вернуться. Моросило, беженцы тряслись от холода ночью, дети заболевали, женщины плакали, мужчины, ныне без оружия, скопившись у обочин дорог, возносили проклятия небу, сжав кулаки, ибо спокойней было хулить Всевышнего, нежели императора: у императора были люди везде и на слишком горячие жалобы эти люди могли потребовать объяснений.

Фридрих собирался было уничтожить враждебный город поджогом, но потом передумал и решил предоставить свободу действия итальянцам, которые ненавидели Милан значительно больше, чем он. Солдатам из Лоди было сказано заняться районом у восточных ворот, так называемых Порта Ренца. Кремонцам предстояло снести Порта Романа. Дело павийцев было — не оставить камня на камне от Порта Тичинезе; насчет Порта

Верчеллина должны были позаботиться ребята из Новары, комаски — сокрушить Порта Комачина, а ополченцы из Сеприо и Мартезаны — испепелить Порта Нуова. Такие задания пришлись по нраву посланцам итальянских городов, они немало денег вложили в экспедицию императора именно для того, чтобы ныне воспользоваться наконец-то правом свести свои давешние счеты с бессильным, изувеченным Миланом.

Наутро в день начала погрома Баудолино заехал в середину города. Окинув ее взглядом, он не сумел разглядеть ничего, только тучи пыли. Лишь с трудом можно было различить: фасады зданий обхватывались крепкими канатами, и с гиканьем их шатали, объединяя усилия, пока фасады не подавались, а дальше опытные каменщики молотили своими кирками по подстенкам, они же карабкались на церкви и, подбивая, сносили купола, сшибали стены сваебитными бабами, а чтобы повалить столбы, меткими ударами кувалд вгоняли под цоколь клинья.

Баудолино ходил несколько дней по развороченным улицам, он видел, как рушилась колокольня главного собора, столь величественного, столь мощного, что не имел равных в других городах Италии. Усерднее всех показывали себя

жители Лоди. Ими двигала только месть. Они ранее других разнесли в щебень свои кварталы города и помчались пособничать кремонцам, разорявшим Порта Романа. А павийцы, те были всех мастеровитее, долбасили не куда попало, а с расстановкой, умело сдерживая запал; выковыривали сухой строительный раствор из щелей между камнями, подводили подкопы под стены, и здание падало само.

В общем, неподготовленному человеку город мог показаться веселым цехом, где всякий рабочий энергично с Господнею помощью выполняет свой урок. Вот только время странным образом двигалось в том цеху вспять: впору бы выстраиваться из разнообразных припасов цельному городу, а между тем, наоборот, старинный город на глазах у глядящих становился пылью, обломками, взрытой землей. Во власти подобных размышлений Баудолино пасхальным утром, в то время как император с великой помпою в Павии праздновал Воскресение Христа, спешил хотя бы одним глазом взглянуть на mirabilia urbis Mediolani, прежде чем Милан вообще перестанет быть. Так-то он и очутился на паперти перед дивной базиликой, покамест неповрежденной, и стал глядеть, как на той же площади павийцы

крушат какой-то дворец и так стараются, как будто им за это платят. Они же сообщили ему название базилики: Святого Евсторгия, и что на следующий день у них дойдут руки до нее. «Больно уж ладная церковь, никак оставить не можно», — привел самый дюжий громила убедительный довод в пользу своего замысла.

Баудолино вошел в главный неф базилики, прохладной, пустой и тихой. Кто-то уже успел разгромить и алтарь, и капеллы в притворах. Вдобавок собаки, неведомо как пробравшиеся внутрь, нашли это место для себя пригодным, устроили лежбище, а у подножия колонн оставили немалые лужи. У головного алтаря мыкалась приблудная корова. Скотина была крепкая, здоровая, и Баудолино задумался о том, какая же ненависть должна была владеть разрушителями города, если даже и столь завидное имущество для них ничто в сравнении с основной страстью: страстью уничтожения.

В боковой капелле рядом с высеченным из камня саркофагом старый священник жалобно всхлипывал, вернее повизгивал, как раненое животное. Лицо его было белее глазного белка, а тощая фигура сотрясалась при каждом рыдании. Баудолино, чтоб его успокоить, поднес свою флягу

с водой. — Благодарю тебя, христианин, — отвечал ему старый. — Но мне теперь осталось только дождаться смерти.

— Тебя они не тронут, — утешал священника Баудолино. — Осада снята, подписан мир, эта толпа снаружи собирается развалить твою церковь, но тебе-то жизнь сохранят.

— О, что жизнь без этой церкви? Но небо меня по грехам карает. По честолюбию, много лет назад, чтоб этот собор стал прекраснее и знаменитее прочих, я совершил такой грех…

Какой грех мог быть на совести почтенного старца? Баудолино спросил его.

— Очень давно один путешественник с Востока мне предложил купить самые ценные мощи христианского мира, нетленные останки троих Волхвов-Царей…

— Все троих? Волхвов? Целые?

— Всех троих, Волхвов, целые. Будто живые, то есть, я имею в виду, будто вчера умершие. Я знал, что это не может быть… ибо о Царях-Волхвах говорится только в одном Евангелии, в Евангелии от Матфея, и говорится крайне скупо. Только одно: они достигли Иерусалима, шествуя путем звезды. Ни один христианин не знает, откуда они приходили, куда вернулись. Как могло отыскаться их

погребение? Поэтому я не осмелился объявить миланцам, что я держатель святыни. Боялся, как бы ради алчности не начали приваживать сюда верующих со всей Италии, зарабатывать на псевдореликвиях…

— А значит, ты не грешил.

— Я согрешил, схоронив покупку в освященном месте. Надеялся, что будет знамение небес, но знамения я не дождался. Теперь не хочу, чтоб святыня досталась этим вандалам. Чтобы они поделили между собой останки в надежде увеличить славу своих родных городов, которые разрывают нас на части. Прошу тебя, уничтожь следы моей старой слабости. Приди с кем-нибудь до вечера и забери эти псевдореликвии, уничтожь их. Нетяжелой работой заслужи себе рай, плоха ли награда?

— И тут я припомнил, государь мой Никита, что о Волхвоцарях упоминал и Оттон в связи с царством пресвитера. Конечно, если бы тот старичок вытащил Волхвов ни с того ни с сего, никто бы не поверил. Тут, впрочем, встает один побочный вопрос. Чтобы быть подлинными, обязательно ли мощам восходить либо к святому, либо к какому-то проявлению святости?

— Совершенно не обязательно. Многие мощи,

которые хранятся тут у нас в Константинополе, весьма сомнительного происхождения. Богомольцы же, прикладываясь к мощам, обоняют точимые многочудесные благовония. Их вера придает мощам подлинность, а не мощи придают подлинность их вере.

— Именно. Вот и я подумал, что реликвия получает смысл, когда она находит правильное место в подлинной истории. Вне истории пресвитера Иоанна Волхвоцари, подсунутые бродячим продавцом ковров, не имели значения. А вот в составе истории пресвитера они превращаются в подлинное доказательство. Дверь не дверь, если вокруг двери нет дома. Она просто дыра, да и даже не дыра, потому что пустота, если вокруг нее нет полноты, это даже не пустота. Тогда я понял, что располагаю историей, в составе которой Волхвы могут что-то означать. Я подумал, что если должен рассказывать об Иоанне, дабы открыть императору Фридриху врата Востока, то подтверждение в виде Волхвоцарей, которые именно с Востока и приехали, укрепляет мои позиции. Эти бедные Цари почиют в своем саркофаге, позволяя павийцам с лодийцами разорять город, несознательно их приютивший. Они, ничем не обязанные Милану, попавшие

туда проездом, спят себе как в гостинице, в предвкушении новых перепутий… У них довольно авантюрные характеры. Ведь отправились же они в свое время за тридевять земель по знаку какой-то там звезды? Теперь троим бродягам требовался новый Вифлеем.

Баудолино понимал, что порядочные мощи могут изменить статус города, сделать из него цель бессчетных паломничеств, преобразить приходскую церковь в мавзолей. Кому нужнее всего Волхвоцари? Он немедленно подумал о Рейнальде. Рейнальду было вверено кельнское архиепископство, но он все еще не доехал туда, а следовательно, официально не поставился. Вступить в епархию, внеся нетленные мощи Волхвоцарей, вот это въезд для иерарха! Рейнальд отыскивает символы священноимператорской власти? Так вот ему даже не один, а целых три Царя, бывших одновременно и священниками!

Он попросил показать Царей. Вдвоем они еле свернули с саркофага крышку, открылась рака, подспудное поместилище останков.

Возни было немало, но дело того стоило. Какое чудо! Тела троих Волхвов выглядели совершенно свежими, хотя их кожа высохла и заскорузла. Но она не покоричневела, как, бывает, коричневеют

лица и руки мумий. Двое мертвых Волхвов имели лица млечного цвета, у одного большая белая борода сходила до середины груди, в полной сохранности, немного затверделая — сахарная вата. Соседний Царь был безбород, а третий — эбенового цвета, не по причине времени, а вероятнее всего потому, что был при жизни чернокож. Он походил на деревянную статую, даже с трещиной на левой щеке. У него была короткая борода и мясистые губы. Губы задрались, обнажая два хищных белоснежных клыка. Все трое глядели вытаращенными глазами, большими, изумленными, сияющими как стекла, и были в накидках: первый в белой, второй в зеленой, третий в пурпурно-красной. Из-под накидок выглядывали штаны, какие в заводе у варваров, но из камчатного шелка, вышитого жемчужинами.

Баудолино со всех ног полетел в бивак императора, прямиком к Рейнальду. Канцлер мгновенно оценил масштаб Баудолиновой находки. — Действуем быстро и тихо. Нельзя выносить раку, сразу бросится в глаза. Всяк захочет отобрать наше найденное и препроводить в свой город. Находим три обычных гроба из некрашеной сосны, ночью выносим гробы за стены, на вопросы отвечаем, что это герои, сложившие голову в битве. В

деле участвуете только ты плюс Поэт плюс мой доверенный слуга. Потом гроба останутся в условленном месте. Пусть подождут, особой спешки не вижу. Прежде чем въезжать с ними в город Кельн, требуется, чтобы о происхождении мощей, да и о самих Волхвоцарях были собраны подлинные свидетельства. Завтра ты возвращаешься в Париж, там ученых друзей у тебя предостаточно, подберешь что возможно по истории Волхвов.

Ночью всех троих Царей перенесли в крипту церкви Святого Георгия на Выселках. Рейнальд пожелал видеть мощи, а увидав, разразился такими ругательствами, что даже и невместны иерею: — В штанах? И в этих колпаках? Что они, шуты гороховые?

— Мессир Рейнальд, таковы, надо полагать, были старинные обычаи мудрецов Востока. Много лет назад, будучи в Равенне, я лицезрел мозаики. На одеянии императрицы Феодоры Волхвоцари наряжены приблизительно так.

— Вот-вот, это может сойти разве для каких-то византийских greculi. Ты подумал, что начнется, если я притащу в Кельн Волхвоцарей, расфуфыренных как фигляры? Переодеть.

— Во что? — спросил Поэт.

— Ах, во что? Я кормлю и пою тебя как барина

за твои два-три стишка в год, а ты не можешь мне тут нарядить святоподвижников, первыми удостоившихся лицезреть Господа нашего Иисуса Христа? Переодеть показистее, предложить народу то, что он ожидает от Волхвоцарей! Переодеть в епископов, в пап, в архимандритов, это ваше дело, а не мое!

— Только что разграбили головной собор и епископат. Может, удастся там подобрать порядочные ризы. Займусь этим, — пролепетал Поэт.

Это была кошмарная ночь. Ризы были подысканы, и найдено даже что-то вроде трех тиар, но главной трудностью оказалось переодевание мумий. Головы сохраняли свежесть, а вот тела почти полностью, кроме рук (руки были иссохшие и твердые), оказались простыми каркасами из прутьев и соломы и разваливались при малейшей попытке стащить с них одежду. — Не имеет значения, — отмахнулся Рейнальд. — После вноса мощей в Кельн раку открывать никто не станет. Ну воткните пару спиц, найдите способ собрать их на палку… по системе вороньих пугал… С полным уважением, уж пожалуйста!

— Боже милостивый, — причитал Поэт, — и в самой страшной пьянке я не мог бы вообразить, что сподоблюсь вставлять святейшим Волхвам

нечто в задницу…

— Тихо и давай натягивай, — отвечал Баудолино. — Работаем на благо государства. — Поэт изрыгал неповторимые проклятия, и скоро Волхвоцари закрасовались в облачении кардиналов святоримской церкви.

Через день Баудолино тронулся в путь. В Париже Абдул, знаток восточных редкостей, познакомил его с одним сен-викторским каноником, который знал еще больше его.

— Волхвоцари, ага! — сказал тот. — В преданиях они упоминаются постоянно, многие отцы церкви о них говорят, но вот в Евангелиях, во всех, кроме одного, молчание. Цитаты из Исайи и других пророков звучат двусмысленно: кое-кто толкует их как указание на Волхвов, однако, может быть, в указанных местах говорится совсем не про это. Кто были Волхвы, и как их по-настоящему звали? Я встречал в одном источнике: Гормиц из Селевкии, бывший царем Персии, Яздегард, царь савский, и Пероц, царь себский. В другом месте приводятся: Гор, Басандер, Карундас. Еще у одного автора, очень уважаемого, Волхвы названы Мелкон, Гаспар и Балтазар, или же Мельк, Каспар и Фадиццард. Еще встречаются Магалат, Галгалат и Сарацин. А также Аппелиус,

Амерус и Дамаск…

— Аппелиус и Дамаск… прелестно, это мне напоминает дальние земли, — вставил Абдул, устремив неведомо куда взгляд.

— А Карундас не напоминает? — рыкнул Баудолино. — Нам нужны не три имени, которые нравятся тебе, а три подлинных имени.

Каноник продолжал бубнить свое: — По-моему, лучшим из решений могут быть Витизарей, Мельхиор и Гатасфа, первый из них был царем годольским и савским, второй нубийским и аравийским, третий фарсисским и царем острова Эгризоула. Были ли они знакомы между собой перед событием? Нет, все они встретились в Иерусалиме и чудотворным образом друг друга признали. Есть, правда, мнение, что они обитали на горе Победной, она еще называется гора Ваус, с вершины которой наблюдаются знамения неба, и на Победную гору они вернулись обратно после посещения Христа, а позднее вместе с епископом Фомою просветительствовали в Индиях, но по этой теории Волхвов было не три, а двенадцать.

— Двенадцать Волхвоцарей? Не слишком ли?

— Вот и Иоанн Златоуст так говорит… Имена их Цхрвндд, Хврмзд, Австсп, Арск, Црвнд, Арыхв, Артхсыст, Астнбвзн, Мхрвк, Ахсрс, Нсрдых, а

также Мрвдк. Однако требуется хорошенько разобраться… Согласно Оригену, их было трое, по числу сыновей Ноя, и трое по числу Индий, из которых они происходили…

— Даже пускай их бы было и двенадцать, — изрек Баудолино, — но мы в Милане нашли их три, значит, именно для трех следует подобрать подходящую историю. Пусть они зовутся Балтазар, Мельхиор и Гаспар, что мне кажется удобнее для произношения, нежели те чихательные созвучия, которые мы имели честь тут слышать от нашего уважаемого учителя. Теперь понять бы, каким путем они попали в Милан.

— Да понять-то в сущности нетрудно, — отвечал каноник. — Труднее было им попасть. Но в этом смысле уже все в порядке. Думаю, что захоронение Волхвов было найдено на Победной горе императрицей Еленой, матерью Константина. Женщина, сумевшая обрести подлинный крест, на котором распяли Христа, вполне могла без труда откопать и подлинных Волхвов. Потом Елена перенесла их тела в Константинополь в собор Святой Софии…

— Ну нет, в этом случае восточноримский император потребует их обратно, — тут же возразил Абдул.

— Не робей, — успокоил его каноник. — Если они оказались в базилике Святого Евсторгия, то не иначе как сей добродетельный подвижник, из Византии, в правление василевса Маврикия, то есть задолго до нашего Великого Карла, переведенный в Милан, дабы он занял здесь епископскую кафедру, их доставил в свой миланский приход. И не крал же он этих Волхвов, Евсторгий, а как всякому понятно, получил их в дар лично от василевса Восточной империи Римской!

С такой крепко закрученной историей Баудолино к концу года воротился к Рейнальду и напомнил архиепископу, что по версии Оттона эти Волхвоцари должны были быть предвосхитителями пресвитера Иоанна, и от них он унаследовал и достоинство и жизненную миссию. На этом основана власть пресвитера Иоанна над тремя Индиями, по крайней мере над одной из них.

Рейнальд совершенно не помнил этих рассуждений Оттона, но заслышав о священнике, который управлял империей, то есть о царе в священническом сане, папе и монархе одновременно, он уверился, что теперь сможет немало попортить крови папе Александру Третьему. Волхвы были царями и притом священниками,

пресвитер — царь и притом священник! Что за бесценные прообразы, аллегории, прорицания, пророчества, провозвестия того императорского богоименитства, которое Рейнальд по кусочкам выстраивал вокруг фигуры Фридриха!

— Баудолино, — отрезал он, — Волхвоцарями займусь я сам, ты бери на себя пресвитера. Судя по твоим рассказам, в настоящий момент мы имеем только косвенные отзывы. Этого мало. Требуется текст, доказывающий его существование. Из текста должно быть ясно, кто он, где живет и чем дышит.

— Где же взять такой текст?

— Если негде, сам создай его. Император дал тебе образование, наступил момент пустить знания в дело. Хочешь заслужить рыцарскую инвеституру? Кончай свое ученье, оно уж и так подзатянулось.

— Понимаешь теперь, сударь Никита? — продолжил Баудолино. — Оказывается, пресвитер Иоанн из игры для меня превращался в повинность. Оказывается, я просто-таки обязан был искать его! И уже не из почтения к памяти Оттона, а по заданию Рейнальда! Как говорил мой родитель Гальяудо, я настолько упрям, что и в ступе пестом не утолчешь. Любое принуждение

напрочь отбивает у меня охоту. Выслушав Рейнальда, я действительно поехал в Париж, но по другой причине: не хотел снова встретиться с императрицей. Абдул в мое отсутствие написал немало песен. Я наведался в его зеленый мед: в горшке осталось не больше половины. Я пытался свернуть в разговоре на Волхвов, но он снова брался за струны:

Хоть радует меня весна,
Но эта радость не полна,
Коль испытать мне не дано
Любви возвышенной услад.

Забавы вешние влекут
Детишек или пастухов, —
Ко мне же радости нейдут:
Напрасно жду любви даров…[19]

Мне расхотелось обсуждать с Абдулом свои прожекты, и по части пресвитера я целый год ровно ничего не делал.

— А что сталось с Волхвами?

— Рейнальд перевез их мощи в Кельн. Два года спустя. Но как человек не жадный, памятуя, что

---

[19] Примечания: 19
Перев. со старопровансk. В. А. Дынник.

некогда он был настоятелем в Гильдесгейме, перед тем как закупорить Волхвоцарей в кельнской раке, он отрезал у каждого по пальцу и направил в дар своему бывшему приходу… Да. В описываемый мной период Рейнальду приходилось разбирать и другие вопросы, причем отнюдь не простые. В точности за два месяца перед тем как ему триумфально въехать в Кельн, скончался антипапа Виктор. Почти все вздохнули с облегчением: это означало, что конфликт улаживается сам собою и что, может, Фридрих замирится с папой Александром. Но Рейнальд-то с этого конфликта кормился! При двоих папах он сам стоил значительно больше, нежели при одном папе! И он спешно соорудил нового антипапу, Пасхалия Третьего, проведя какой-то смехотворный конклав из десятка священников, набранных чуть ли не на улице. Фридрих сильно сомневался в правильности этих мер… Фридрих даже говорил мне…

— Так ты возвращался к Фридриху?

Баудолино отвечал со вздохом: — Возвращался на несколько дней. В том году, когда императрица родила Фридриху сына.

— Что ты ощутил?

— Я понял, что должен полностью ее забыть.

Пропостился семь дней, потребляя одну только воду, потому что я вычитал где-то, что тем можно очистить свой дух и в конце срока — иметь видения.

— Так и было?

— Так и было. Я имел видения, а в них — императрицу. Я решил, что мне следует посмотреть на дитя, чтоб прочувствовать разницу между мечтой и видением. И вернулся ко двору. Миновало более двух лет с давнего, памятного, дивного, ужасного дня. За два года мы не виделись ни разу. Беатриса не сводила глаз со своего мальчика и, казалось, мое появление ее ничуть не взволновало. Тогда я решил: не умея принять Беатрису как мать, я попробую любить этого ребенка будто брата. В то же время я глядел на колыбель и не мог отогнать мысль о том, что если бы дело повернулось по-другому, он бы мог быть моим сыном. Как ни крути, помыслы были греховодные.

Фридрих между тем беспокоился по совершенно иным поводам. Он пенял Рейнальду, что ополовиненный папа гарантирует его права крайне нетвердо. Что Волхвоцари дело хорошее, но одних Волхвоцарей маловато, потому что даже пусть кто-то нашел мумии, он тем самым не стал их потомком по прямой линии. Папе-то

хорошо, он считается продолжителем святого Петра, а тот был назначен лично Иисусом, но святоримскому-то кесарю как было быть? Возводить свое происхождение к Цезарю, который в любом случае язычник?

Баудолино брякнул первое, что пришло на сей предмет ему в голову:

— Расчудесно можно возвести происхождение к Великому Карлу! — Но Шарлемань был помазан папой римским, круг замыкается, — парировал Фридрих.

— Да? А если ты его канонизуешь? — возразил Баудолино. Фридрих посоветовал ему думать хоть минуту, прежде чем говорить глупости. — Никакие не глупости, — отвечал Баудолино, который в эту минуту не так чтобы думал, а скорее въяве воображал ту сцену, которая из этой идеи могла получиться. — Значит, так: ты едешь в Аахен, где погребены останки императора Великого Карла. Ты велишь их откопать. Перекладываешь в драгоценный ящик, ставишь в Палатинской капелле, прямо посередине. И тогда же в твоем присутствии, при процессии преданных епископов, возглавляемой высокопреосвященным Рейнальдом, который как архиепископ Кельна является, в частности, митрополитом Аахенской

провинции, на основании буллы Пасхалия, на то тебя уполномочивающей, провозглашаешь Карла Великого святым. Понял? Если провозгласить святым основателя святоримской империи, тогда он станет главнее римского папы, а ты, как его законный правопреемник, произойдешь из рода святых, то есть не будешь зависеть ни от чьего авторитета, в частности от тех, кто намеревается отлучить тебя.

— Бородою Шарлеманя, — произнес на это Фридрих, в то время как все пряди его собственной бороды от возбуждения вздыбливались, — клянусь, ты ведь слышал, Рейнальд? Парень, как обычно, вроде говорит дело!

Так и вышло, хотя и только к окончанию следующего года, потому что некоторые вещи требуется прежде подготовить, а потом делать.

Никита заявил, что идея была безумной. Баудолино отвечал: — Но ведь сработала? — и поглядел на Никиту горделиво. Ну и ну, думал про себя Никита. Твое тщеславие безгранично: ты беатифицировал Великого Карла. Баудолино мог преподнести любой сюрприз. — Что же дальше? — задал вопрос Никита и стал ждать рассказ.

— Покуда Фридрих с Рейнальдом готовились

канонизовать Шарлеманя, я постепенно понимал, что и его, и этих Волхвов все-таки не хватает. Все они вчетвером обретаются в Раю, Волхвоцари — это точно, хочется полагать, что и Карл Великий тоже с ними, потому что в противном случае наш аахенский замысел обернулся бы аферой… Но по-прежнему не было опоры, принадлежащей к нашему миру, в таком месте, на котором император мог бы стать и провозгласить: «На сем стою и на сем основываю мою державу». Единственное, что императору могло бы сгодиться в этом мире, было все-таки царство пресвитера Иоанна.

11
Баудолино строит дворец пресвитеру Иоанну

Наутро пятничного дня трое генуэзцев, Певере, Бойямондо и Грилло, поднялись сообщить то, что и так было понятно даже сверху. Пожар догорел сам собой, никто гасить его не трудился. Но это не значило, что по Константинополю можно было разгуливать свободно. Напротив, теперь, получив лучший доступ на улицы и площади, пилигримы ужесточили охоту за имущими горожанами, и меж дымящихся развалин они разбирали по кусочкам то немногое, что еще оставалось цело, тщательно ища сокровища, утаившиеся от первых налетов. Никита тягостно вздохнул и заказал самосского вина. Попросил также чтобы ему поджарили в небольшом количестве оливкового масла кунжутное семя: медленно пережевывать, посасывать между глотками вина. Попросил еще орехов и фисташек, чтобы веселее было слушать рассказ, который он пригласил Баудолино продолжить.

Вышло так, что Поэта послали по какой-то

Рейнальдовой надобе в Париж: отличный повод снова причаститься упоений кабачной вольницы с Баудолино и Абдулом. Поэт свел знакомство и с Бороном, чьи фантастические толки о Земном Рае, похоже, на него не произвели впечатления. Годы, прожитые при дворе, переменили Поэта, сказал себе Баудолино. Он очерствел душой; не переставая пил, но оставался трезвым; был начеку, будто бы в засаде, словно готовился врасплох напасть.

— Баудолино, — сказал Поэт однажды. — Вы теряете время. Чему было учиться в Париже, все уже усвоено. Уверен, любой из здешних докторов просто обделается, если на диспуте я выйду против него в парадном облачении, с мечом министериала. При дворе я узнал четыре правила: рядом с великими возвеличиваешься; великие в жизни мелки; власть — все; власть может стать моей. Хотя бы частично. Нужно, конечно, уметь ждать. Но не упускать хороший случай!

Едва заслышав, что его друзья продолжают толковать о пресвитере, Поэт навострил уши. Когда он прощался с ними четыре года назад в Париже, эта тема была просто забавой библиотечных юношей. Однако в Милане, Поэт сам слышал, Баудолино преподносил ее Рейнальду

как возможный путь к обретению наглядных символов императорской власти, не менее ценных, нежели находка Волхвов. При подобном повороте, тема заинтересовала Поэта. Он принял в ней участие, как участвуют в сборке военной машины. Постепенно вступив в обсуждение чужого плана, он, казалось, преображал державу Иоанна в некое подобие Иерусалима земного, из цели мистического паломничества делал цель военного захвата.

Он обратился к своим товарищам с такой речью. После истории с Волхвами значение пресвитера повышается. Пресвитер становится высшим выражением идеи священника-царя. В качестве царя царей он должен иметь такие хоромы, в сравнении с которыми местожительство любого христианского властителя, даже дворец константинопольского еретического василевса, — хлев. В качестве священнопредседателя он должен располагать таким собором, в сравнении с которым все папские церкви — конуры. Выстроим же для него достойную резиденцию.

— Да в общем-то, — ответил Борон, — его дом как Иерусалим Небесный, описанный в Апокалипсисе. Он имеет большую и высокую стену и двенадцать ворот по числу колен Израилевых. С

востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот…

— Воображаю, — хихикнул Поэт. — Пресвитер заходит в одни, выходит в другие, а во время грозы хлопают все одновременно. Не говорю уж о сквозняках. Я в подобном дворце не поселился бы ни за какие…

— Дай продолжить. Основания стен украшены драгоценными камнями. Это яспис, сапфир, халцедон, смарагд, сардоникс, сердолик, хризолит, берилл, топаз, хризопраз, гиацинт и аметист, а двенадцать ворот — двенадцать жемчужин, а площадь перед воротами из чистого золота, прозрачного, как стекло.

— Недурно, — отозвался Абдул. — Хотя я думаю, что самый правильный образец — Храм Иерусалимский. Существует описание Храма у пророка Иезекииля. Пойдемте завтра со мной в аббатство. Один из каноников, ученейший Ришар Сен-Викторский, занимается реконструкцией плана Дома Господня, который, честно сказать, в пересказе пророка вырисовывается не слишком-то четко.

— Государь Никита, — сказал Баудолино, — не знаю, занимался ли ты когда-либо измерениями Храма.

— До сих пор никогда…

— Вот и не занимайся. От этого с ума сойти недолго. В Книге Царств говорится, что Храм, который построил царь Соломон Господу, был длиной в шестьдесят локтей, высотой в тридцать и шириной в двадцать. Притвор перед храмом был в двадцать локтей длины и глубиной в десять. В Паралипоменоне, однако, сообщается, что этот притвор, шириной в двадцать локтей, был вышиною во сто двадцать. Ширина двадцать, глубина десять и высота сто двадцать… То есть не только притвор в четыре раза выше остального Храма, но он еще и настолько плоский и тонкий, что его опрокинет первый же порыв ветра. Но самое неприятное начинается, когда открываешь видение Иезекииля. Ни одно измерение не совпадает. Не случайно принято считать, что Иезекииль имел именно видение, попросту говоря — выпил лишнего и ему примерещилось… Ничего стыдного, бедный Иезекииль, думаю, имел полное право расслабиться…

Но Ришар Сен-Викторский настаивал, что любое слово Писания, любая цифра, любая черточка имеют глубокий духовный смысл, и необходимо понять, что же там говорится в буквальном смысле, потому что для духовного смысла не однозначно, что именно и буквально проставлено

в тексте — «длина три локтя» или «длина была — девять», поелику эти цифры имеют различные мистические соответствия. Не могу описать всю сцену, как мы сели слушать лекцию этого Ришара… Перед ним лежала Книга Иезекииля, а в руках он держал веревочку, чтоб откладывать расстояния. Сначала он рисовал чертежи помещений, описываемых Иезекиилем, потом брал деревянные палки, бруски и с помощью ассистентов их обламывал и укладывал на чертеж… В дело шли гвозди и клей. Ришар воссоздавал по Книге Храм, пропорционально сокращая расстояния, где у Иезекииля сказано «локоть», наш оратор откладывал палец. Его постройка разваливалась каждые две минуты. Ришар сердился на ассистентов, утверждая, что они плохо держат, или кладут мало клея, а те отговаривались, что это он дает неверные указания. Учитель исправлял расчет, соображая: пожалуй, в данном случае вместо «локоть с двумя ладонями» подразумевалась «ладонь с двумя локтями», потому что в противном случае двери в храм могут выйти шире самого храма… Постоянно меняя выкладки, Ришар внезапно заявлял, что концы с концами не сходятся из-за того, что пророк имел в виду порой целый храм во всем объеме, а порой одну только

его часть. Или что словом «локоть» обозначается геометрический локоть, равный шести обыкновенным локтям. В общем, это было упоительно. Несколько дней каждое утро мы приходили наблюдать за кувырканиями достойного мудреца и помирали со смеху всякий раз, когда храм разваливался. Чтобы скрыть приступы хохота, мы перегибались до пола, якобы подбирая упавшие детали. Потом каноник заметил, что детали падают слишком часто, и прогнал нас.

Прошло еще два-три дня и Абдул внес предложение: так как Иезекииль все-таки принадлежит к народу Израиля, чтоб разобраться, думается, надо потолковать с его единоверцами. Собеседники были шокированы: как можно при чтении Библии просить наставлений у иудеев! Известно, что это вредное племя искажает слова Священного Писания, чтоб истребить любое провозвестие пришествия Христа! Абдул же отвечал, что нередко крупные парижские ученые прибегают, пускай и скрытно, к великомудрию раввинов, хотя бы для толкования тех мест, где не затрагивается вопрос о приходе Мессии. Нельзя более кстати, именно теперь сен-викторские каноники пригласили для консультации одного такого раввина, достаточно молодого, но знаменитого,

Соломона из Героны.

Соломон, разумеется, не гостил в аббатстве. Каноники сняли ему зловонную комнатенку на самой скверной улице Парижа. Соломон был действительно молод, хотя лицо имел изможденное от многих мыслей и ученья. Он говорил прилично по-латыни, но понимать его было трудно из-за странной особенности: у него не было ни единого зуба на левой половине рта, от срединного резца и до края, ни на верхней челюсти, ни на нижней. Зубы правой половины все были целы. Невзирая на утренний час, в темной комнатке горел фонарь, освещая книгу. При появлении гостей Соломон загородил руками свиток, как бы пряча читаемое от посторонних. Безнадобный труд, учитывая, что свиток был по-еврейски. Раввин начал оправдываться: эта книга вполне заслуженно ненавидима христианами. Это зловредная «Толедот Иешу» («Родословие Иисуса»), утверждающая, будто Иисус был рожден от куртизанки и наемного солдата по имени Пантер. Однако не кто иные, как сен-викторские каноники заказали ему перевод нескольких страниц, дабы уяснить, до каких пределов доходит иудейское сквернодейство. Он же, со своей стороны, выполняет их задание охотно, так как и сам считает эту

книгу непомерно критичной по отношению к Христу, который был в общем человеком вполне благовидным, хотя и мнил себя (необоснованно) Мессией. Но, вероятно, Христос был просто сбит с толку Князем Тьмы, который, судя по Евангелиям, настойчиво соблазнял его.

Ему задали вопрос: какую форму, согласно Иезекиилю, имеет Храм.

— Самые внимательные толкователи священных книг не могут понять, как именно выглядел Храм. Даже великий раввин Соломон бен Исаак признавал, что буквальное прочтение текста не дает определить, где находятся боковые комнаты, обращенные к северу, где они на западе начинаются и где кончаются на востоке, и так далее. Вам, крещеным, непонятно, что святые книги родятся от Гласа Божия. Господь (Га-Кадош барух Гу, Святой Творец, благословен Он), говоря со своими пророками, дает им слышать звуки, но не показывает изображения, не то что вы в ваших разрисованных книгах. Глас Божий напечатлевает изображения в сердце пророка. Но эти образы не неподвижны. Они текучи, они меняют форму в согласии с мелодией Божия Гласа, а если вы хотите свести слова Господа, благословенного Его, Святого Творца, к изображению, вы

замораживаете Господен Глас. Так прохладная вода замораживается в лед и не утоляет жажду, а оковывает члены организма смертным хладом. Каноник Ришар, желая уяснить духовный смысл каждой из частей Храма, пытается выстроить его. Но он не преуспеет никогда. Его задача не для ученого, а для каменщика. Видение же принадлежит сну, в нем вещи постоянно преображаются, не то что в ваших разрисованных церквах, где вещи вечно сами себе равны…

Потом рабби Соломон спросил, для чего нужно посетителям знать, какой формы Храм. Те в ответ рассказали о поиске царства пресвитера. Раввин, по виду судя, очень заинтересовался. — Вы, может быть, не знаете, — сказал он, — что и в наших книгах рассказывается о таинственном царстве на отдаленном Востоке, где продолжают жить потерявшиеся десять колен Израиля.

— Я уже слышал о десяти коленах, — сказал Баудолино, — но знаю о них мало.

— Все написано в священных книгах. Когда умер Соломон, между двенадцатью коленами, на которые разделялся Израиль, возникли противоречия. Только два из них, Иудино и Вениаминово, не отложились от дома Давида. Десять остальных колен удалились на север, где их потом победили

и поработили ассирийцы. Что случилось с ними затем, мы вообще не знаем. Ездра говорит, что они ушли в земли, где никогда не обитали люди, в край, именуемый Арсарет. Другие пророки обещают, что в некое время эти колена будут найдены. Смотрите дальше. Один из наших братьев, Эльдад из колена Данова, более сотни лет назад пришел в Кайруан в Африке, где имеется община Избранного Народа, и сказал, что он оттуда, где обитают десять потерянных колен, в земле благословленной небесами, где жизнь исполнена мира и не оскверняется никакими преступлениями и где реки на самом деле текут медом и молоком. Эти земли отделены от всех остальных земных областей рекою Самбатион, она шириной в полет стрелы из самого мощного лука. Но река эта неводна, в ней текут одни лишь камни и песок с таким ужасным звуком, он слышится за полдня пути от той реки. Это мертвое вещество так проворно перетекает, что любой, кто замыслит перейти реку, неминуемо ею увлечется. Каменный поток замирает только в начале субботнего дня. Реку можно переходить только в субботу. Но из сыновей Израиля ни один не нарушит святой субботний отдых.

— А христиане могут переходить? — спросил

Абдул.

— Нет, потому что в субботу полоса огня делает неприступными берега той реки.

— Ну тогда как же этот Эльдад выбрался в Африку? — спросил Поэт.

— Этого я не знаю, но кто я такой, чтоб оспаривать назидания Господа? Творец Святой, Он благословен! Маловерные вы люди! Как выбрался, как перебрался! Ну, скажем, его перенес ангел. Совсем другим вопросом задаются все наши раввины от Вавилона до Испании. Они сразу бросились обсуждать рассказ Эльдада: если десять пропавших колен жили по закону Божию, значит, это должен был быть закон Израиля, а между тем в описании Эльдада налицо многие отличия в законе.

— Но если государство в рассказе Эльдада — это царство пресвитера, — перебил Баудолино, — значит, законы там никак не должны походить на ваши, они должны быть вроде наших законов, только гораздо лучше!

— Вот тут-то и отличаемся мы от вас, от язычников, — парировал рабби Соломон. — Вы свободны в соблюдении вашего закона, из-за этого испортился закон, и теперь вы ищете то место, где блюдется «ваш закон, но только лучше». Мы же

сохранили наш закон в неприкосновенности, поскольку в блюстительстве закона не свободны… В общем, имей в виду: я тоже желаю отыскать это царство, потому что не исключаю, что в нем десять наших пропащих колен и язычники живут мирно между собой, каждый на воле исполняет собственные законы, и само существование этого поразительного царства может стать примером для всех сынов Всевышнего, благословенного Его, Творца Святого. Кроме того, скажу тебе, что желаю отыскать это царство и еще по одной причине. По свидетельству Эльдада, там бытует святой язык, тот исконный язык, который был Всевышним, Творцом Святым, благословен Он, дарован Адаму и который утерялся после возведения Вавилонской башни.

— С ума сойти, — пробормотал Абдул. — Мать мне нередко говорила, что язык Адама сумели восстановить на ее родном острове и что это язык гэльский. В гэльском девять частей речи — столько же, сколько использовалось материалов для строительства башни в Вавилоне. Глина, вода, шерсть и кровь, дерево и известь, деготь, лен и битум… Семьдесят два мудреца из школы Фениуса создали гэльский язык из элементов всех семидесяти двух наречий, возникших после

вавилонского смешения языков. Поэтому в гэльском содержится все лучшее, что только имелось в каждом языке, и, подобно адамическому языку, он воспроизводит формы мира сотворенного таким образом, что каждое существительное этого языка передает сущность именуемого предмета…

Рабби Соломон снисходительно улыбнулся. — Многие народы думают, что адамический язык — это их собственный. Но они забывают, что Адам мог выражаться исключительно на языке Торы. Он ведь не мог употреблять язык тех книг, где описаны лживые и ложные боги! В семидесяти двух возникших после столпотворения языках отсутствуют самые важные буквы. К примеру, язычникам неизвестна Гет. У арабов нет Пех. Поэтому их языки звучат как свиное похрюкивание, как кваканье жаб, как карк журавлей, ибо они — собственность народов, отринувших честное поведение в жизни. В то же время первородная Тора в миг творения находилась перед Всевышним, благословенным Творцом, Им Святым, написанная черным огнем по белому огню. Однако буквы в первородной Торе были составлены в порядке, который отличается от порядка письменной Торы, читаемой нами сейчас. Порядок

букв в нашей Торе стал таким только после грехопадения Адама. Поэтому я каждую ночь час за часом прилежно переставляю буквы и слоги, их смешиваю и перетряхиваю смесь, поворачиваю как мельничные колеса, чтобы в бесформенной мешанине проступило первоначальное устроение извечной Торы. Оно, предшествовавшее Творению, было передано ангелами Всевышнему, Святому Творцу, Он благословен. Если бы я знал, что существует далекое царство, где сохранился первичный порядок букв и тот язык, на котором Адам говорил с Создателем до грехопадения, я бы охотно посвятил жизнь его поискам.

При этих словах лицо Соломона озарилось таким светом, что друзья сказали себе: позовемка его на наши собрания. Самые решительные аргументы «за» выдвинул Поэт. Если этот иудей полагает, что в царстве пресвитера Иоанна употребляется его древний язык и живут его десять колен, нам-то что? Пресвитер Иоанн настолько мощен, что может управлять, в частности, даже и десятью потерянными коленами, и может говорить, в частности, и на адамовом языке. Нас волнует сейчас само царство, которое предстоит построить, для какового дела иудей годится не хуже христианина.

Поскольку дело с дворцом не продвигалось, чтоб решить задачу, компания ночами впятером стала заседать в комнате у Баудолино. Подстрекаемый гением места Абдул открыл своим новым друзьям секрет зеленого меда. Мед призван был помочь им всем просто увидеть, без всяких вычислений, непосредственно, перед собой резиденцию пресвитера.

Рабби Соломон моментально возразил, что ему известны гораздо более мистичные способы обретать видения. Нужно просто ночью сесть и произносить многочисленные комбинации букв тайного Имени Господа, перекатывая их на языке, как свиток, и без какого бы то ни было отдыха, и рокочущий водоворот мыслей и образов увлечет тебя в блаженную прострацию.

Поэт отнесся к идее меда с подозрением, но все-таки решил попробовать… в целях сравнения достоинств меда с пьянящими свойствами вина. Но под конец он утратил самообладание и пошел заговариваться почище остальных.

Основательно захмелев, Поэт редкими нечеткими линиями прямо по столу пальцем, обмакнутым в вино, вычерчивал свой план. Следовало реконструировать помещение, которое святой апостол Фома построил для индийского царя

Гондофора. Потолки и балки из кипрского дерева, крыша эбеновая, а наверху на куполе два золотых шара, на каждом из которых сверкают два карбункула. Золото лучится днем на солнце, ночью драгоценные камни отражают лунный свет… Дальше Поэт творил уже не опираясь ни на собственную память, ни на авторитет Фомы. Так что пошли сардониксовые ворота с рогаткой сверху из рогов гадюки, благодаря которым никакие яды не могут быть пронесены внутрь дворца… пошли окна из хрусталя, золотые столы на витых ногах слоновой кости, светильники на бальзаме вместо масла, кровать пресвитера из сапфира, для охранения непорочности, потому что, настаивал Поэт, монарх-то он монарх, однако при этом и священник, так что без никаких женщин.

— По мне, красиво, — сказал Баудолино. — Но для царя, владычествующего таким широким пространством, я бы поставил по залам особые автоматы, которые, говорят, стояли в Риме и извещали, лишь чуть со стороны провинций надо было ожидать бунта.

— Не думаю, чтобы в царствии пресвитера, — отозвался Абдул, — надо было ожидать бунтов, ибо там миролюбие и гармония. — И все же он был не против автоматов: известно, что у вели-

ких императоров, будь они мавританские или крещеные, имеются автоматы при дворе. И он увидел автоматы воочию, и посредством тонкой гипотипозы воспроизвел их для друзей: — Дворец находится на взгорье. И это взгорье все из оникса. Вершина взгорья так отполирована, что посылает лучи, как луна. Храм круглый, купол золотой. Стены тоже золотые, усыпанные самоцветами, столь светоносными, что они согревают зимой, а летом дают прохладу. Потолок инкрустирован сапфирами, отображающими небо. На месте звезд стоят карбункулы. Золотое солнце, серебряная луна, вот вам ваши автоматы. Они обтекают небосвод. Механические птицы целый день поют, а в углах четыре ангела из позолоченной бронзы вторят птицам, создавая трубный звук. Дворец стоит на потаенном колодце. Там спрятаны четверки лошадей. Они вращают мельничное колесо, подвигая созвездия сообразно коловращению времен года. Поэтому дворец уподоблен космосу. Под хрустальным полом плавают рыбы и чудесные морские создания. Но я слышал и рассказы о зеркалах, позволяющих наблюдать все, что совершается. Это было бы удобно для пресвитера, он бы видел самые далекие пределы государства.

Поэт, видимо, очень увлекся архитектурой

и стал рисовать на столе зеркало, приговаривая: — Стоит оно очень высоко, ведут к нему сто и двадцать порфировых ступеней…

— …также алебастровых… — подхватил Борон, который до этих слов в полном молчании проникался парами зеленого меда.

— …подпустим алебастровых. Но самые последние ступени пусть будут: янтарь и пантерий глаз.

— Какой пантерий, в честь Пантера, Христова родителя? — спросил Баудолино.

— Не говори чушь. Камень пантерий глаз, он есть у Плиния… Вернемся к зеркалу. Зеркало опирается на колонну. То есть погоди. На колонне стоит подножье, на которое опираются две колонны, а на них стоит подножье, на которое опираются четыре колонны, и их число паки удваивается, покуда на некоем серединном подножии не оказываются шестьдесят четыре колонны. На них стоит еще одно подножие, которое держит тридцать две колонны, которые поддерживают подножие, на котором шестнадцать колонн, и так они паки уполовиниваются, пока не кончается дело единственной колонной, и вот на нее-то и опирается зеркало.

— Слушай, — ответил на все это рабби Соло-

мон, — оно таки опирается, но вся постройка рухнет немедленно и вместе с зеркалом.

— Ты помолчи, лживое отродье, душа Иуды. Ваш Иезекииль вообще описывает так, что не поймешь, что он толкует. Но пусть только мастер из крещеных укажет вам на непонятицу, вы ему ответите, что Иезекииль слушал голоса и не обращал внимания на фигуры. А я, выходит, тебе обязан выдавать такие зеркала, которые держатся и не падают? Тогда я поставлю двенадцать тысяч оружных воинов на поддержку этого зеркала, всех вокруг нижнего столба, и это уже их дело — держать, чтоб постройка не грохнулась. Понятно?

— Понятно, непонятно, ставь куда хочешь свое зеркало… — беззлобно проворчал рабби Соломон.

Абдул с улыбкой выслушивал их беседу, глаза его вперивались в пустоту, и Баудолино понимал, что он мечтает в том зеркале увидеть хотя бы тень дальней принцессы.

— В течение следующих дней работа наша просто кипела. Поэт собирался уезжать, но не мог позволить, чтобы мы заканчивали без него, — подытожил для Никиты Баудолино. — Теперь, когда мы уже были на верном пути…

— На верном пути? Но ведь этот же ваш пресвитер был, по-моему, гораздо невероятнее Волхвоцарей, переодетых кардиналами, и Шарле маня среди ангельских когорт…

— Пресвитер стал гораздо вероятнее с тех пор как он написал императору Фридриху собственноручное письмо.

12
Баудолино пишет письмо от пресвитера Иоанна

Решение написать письмо от пресвитера Иоанна родилось под влиянием рассказа, который рабби Соломон вывез из Испании, где слышал от арабов. Один мореход, Синдбад, живший при халифе Гаруне аль-Рашиде, однажды кораблекрушением был выброшен на остров в океане на линии равноденствия, где день и ночь всегда продолжаются по двенадцать часов. Синдбад рассказывает, что нашел на том острове множество индийцев. Значит, остров был поблизости от Индии. Индийцы привели его пред лицо князя Сарандиба. Этот князь передвигался всегда на троне, установленном на слоне, высотой две сажени, а по сторонам сдвоенными шеренгами маршировали его ленники и министры. Вел это шествие герольд с золотым копьем, за ним шел еще один с золотой булавой, увенчанной огромным изумрудом. Когда князь спускался с трона, чтобы пересесть на лошадь, за ним следовала тысяча всадников в шелках и парчовых одеж-

дах. Еще один глашатай выступал перед строем, возвещая, что се грядет некий царь, обладатель такой короны, которой не обладал и Соломон. Князь соизволил принять Синдбада и задал ему много вопросов о царстве, из коего он прибыл к ним. В конце приема он попросил передать Гаруну аль-Рашиду послание, написанное на пергаменте ягнячьей кожи ультрамариновыми чернилами, где говорилось: *«Я шлю тебе привет мира, я Сарандибский князь, передо мной стоит тысяча слонов и на дворце моем зубцы стен выложены из сокровищ. Обращаясь к тебе как к брату, просим передать нам ответ. И просим принять от нас скромный подарок».* Скромным подарком была огромная чаша из яхонта, в середине усыпанная жемчугами. Этот дар и это послание еще сильнее прославили в сарацинском мире имя величайшего Гаруна аль-Рашида.

— Этот твой моряк не иначе как побывал в царстве пресвитера Иоанна, — сказал на это Баудолино. — Просто на арабском языке имя его звучит несколько иначе. Но он солгал, утверждая, будто пресвитер посылал дары и письма халифу, поскольку Иоанн — христианин, хотя и несторианского толка, и если уж собрался бы посылать письмо, то слал бы прямо императору Фридриху.

— Ну так давайте напишем это письмо императору Фридриху, — сказал Поэт.

Подыскивая материалы для устроения пресвитерова царства, друзья познакомились с Гийотом. Это был молодой человек из шампанского семейства, он только что возвратился из путешествия по Бретани, в его душе еще роились рассказы о странствующих рыцарях, заклинаниях, феях и волшбе, которые обитатели тех земель обычно рассказывают друг другу холодными вечерами у жаркой печки. Стоило Баудолино коснуться в разговоре чудес пресвитерова обиталища, тот завопил: — Конечно, мне в Бретани рассказали о таком, о похожем замке! И в нем оберегается Братина!

— А что ты знаешь о Братине? — спросил Борон, насторожившись, будто Гийот затронул его личное имущество.

— А ты-то что о ней знаешь? — отозвался Гийот, насторожившись не меньше.

— Однако, — сказал друзьям Баудолино, — похоже, эта Братина вам обоим небезразлична. Что же она такое? Если я правильно понимаю, слово «братина» означает какую-то кружку.

— Кружку, чашку… — снисходительно улыбнулся Борон. — Кубок, скорее. — Потом он решил

все-таки выложить свой секрет. — Удивительно, однако, что вы об этом ничего не слыхали. Это самая наиценная реликвия крещеного мира. Чаша, в которой Иисус освятил вино Тайной Вечери и куда Иосиф Аримафейский сцедил кровь из ребра Христа распятого. Есть традиция называть эту чашу святой Градалью, Граалью, или же Сангреалью (sang real — «царская кровь»), потому что, владея ею, рыцарь приобщается к семени избранничества, равно как и к семени Давида и к семени нашего Господа.

— Градаль, Грааль, Сангреаль, Бретань, так отчего же вы зовете ее Братиной? — спросил Поэт, внимательный ко всему, что можно было впоследствии доложить начальникам.

— Не знаю, — ответил Гийот. — Это принято. Еще говорят: Гразаль, Граальц… Какое из названий выбрать? «Братина» означает просто «чаша». Хоть, впрочем, не доказано, что форма священносподвижнического предмета — чашевидная. Те, кто видел Братину, не помнят ее формы. Знают только, что она наделена исключительными качествами.

— А ее кто-то видел? Кто? — спросил Поэт.

— Ну, конечно. Те братья-рыцари, которые охраняли ее в Броселианде. Но и о них не дошло

прямых свидетельств. Я знаком был только с теми, кто рассказывал о них…

— Лучше бы о Братине поменьше рассказывали, да побольше узнавали, — сказал Борон. — Этот парень только что побывал в Бретани, слышал далекий звон, и вот он уже косится на меня, как будто я украл у него что-то. То, чего у него нет. И не один он такой. Все судачат о Братине.

Каждый думает, что именно ему повезет этой Братиной завладеть. А я провел в Бретани, и даже на тех островах, что от Бретани лежат через море, провел целых пять лет… и ни о чем не судачил, а только искал усердно…

— И нашел? — спросил Гийот.

— Не нашел. Надо искать не саму Братину, а тех братьев-рыцарей, которые о ней знают. Я скитался, я спрашивал… Никого из них я не встретил. Наверное, я не принадлежу к избранным. Теперь сижу тут, копаюсь в пергаментах, надеюсь обнаружить хотя бы след того, что от меня сокрылось, пока я блуждал в лесах…

— Но зачем нам эта Братина, — прервал его Баудолино, — и эта Бретань со всеми братьями? Они же нас не интересуют, поскольку не имеют отношения к пресвитеру Иоанну?

— Братья не обязательно в Бретани, — возразил

на это Гийот. — Где на самом деле находятся и замок, и сокрытая в нем Несоглядаемая тайна, никогда не было известно. Среди слышанных мной рассказов был один, в котором рыцарь Фейрефиц находит святой сосуд и передает своему сыну, священнику, которому предстояло потом сделаться царем в Индии.

— С ума сойти! — сказал на это Борон. — Так я все эти годы ищу Братину в неправильном месте? Да кто же тебе рассказал об этом Фейрефице?

— Любая история может сгодиться для дела, — сказал Поэт. — Если ты прислушаешься к словам Гийота, может быть, отыщешь свою Братину. Но нам в данную минуту не столь желательно отыскать ее, сколь желательно понять, не увязать ли эту Братину с пресвитером. Дорогой мой Борон, мы ищем не сам предмет, а тех, кто говорит о предмете. — И обратился к Баудолино: — Как тебе кажется? Иоанн — хозяин Братины, которая облекает его величайшим достоинством. Вот он возьмет и преподнесет это достоинство Фридриху! Дарует ему Братину!

— Которая вдобавок окажется тою самою яхонтовой чашей, которую князь Сарандиба преподнес Гаруну аль-Рашиду, — поддакнул Соломон, шипя от возбуждения беззубой стороной

рта. — Сарацины чтут Иисуса как великого пророка, они сначала нашли эту чашу, потом Гарун преподнес ее пресвитеру…

— Чудненько, — сказал Поэт. — Чаша выступит провозвестием грядущего отвоевания тех стран, кои у мавров обретаются в несправедливом владении. Готова мотивировка для захвата Иерусалима!

Было решено разрабатывать именно эту линию. Абдул сумел вынести под покровом ночи из скриптория Сен-Викторского аббатства ценный пергамент, ни разу не чищенный. Дело стояло только за печатью, которая придала бы письму вполне царский вид. В комнате, рассчитанной на двоих, около шаткого стола сгрудились шестеро, и Баудолино, прикрывая глаза, как под наитием, диктовал. Абдул писал под его диктовку. Почерк Абдула, приобретенный им в заморских христианских землях, мог сойти за манеру пишущего латиницей восточного мудреца. Прежде чем приступить к работе, желая пуще изощрить изобретательность и ум участников, он предложил было прикончить имевшийся в посудине зеленый мед. Но Баудолино отсек это предложение. При подобном деле, сказал Баудолино, требуется трезвость.

Прежде всего встал вопрос, не пристал ли пресвитеру адамический язык, или уж на худой конец греческий, однако было принято решение, что такой монарх, как Иоанн, имеет обширную секретарскую службу, в которую входят специалисты по всем языкам, и, затевая переписку с Фридрихом, они избирают для него язык латинский. Еще и потому, ввернул Баудолино, что письмо призвано удивить и убедить римского папу и всех венценосцев крещеного мира, а следовательно, должно звучать как можно доходчивее для них.

Начали писать.

«Пресвитер Иоанн, всемогуществом Божиим и властью Владыки нашего Иисуса Христа царь царей, владыка владык, желает Фридриху, Святому и Римскому императору, здравствовать и благоденствовать силой крестною, Божией милостию и помощью…

…Было возвещено нашему величеству, что ты сильно уважаешь наше превосходительство и что достигло до тебя известие о нашей славе. Также узнали мы от наших спровед-чиков, что ты желал

направить нам нечто приятное и занимательное, на забаву нашего миролюбия. Благосклонно примем твой дар, и посредством нашего поверенного посылаем тебе знак наших щедрот, желая знать, есть ли у тебя общая с нами истинная вера и придерживаешься ли ты во всех делах Иисуса Христа? От широты нашей милостыни: изъяви, что тебе в удовольствие, изъяви нам, в знак принятия нашего дара и в знак твоего благорасположения. Прими от нас…»

— Погодите, — сказал Абдул. — Вот тут-то пресвитер и подарит Фридриху Братину!

— Да! — ответил Баудолино. — Но эти два разгильдяя, Борон с Гийотом, никак не могут объяснить нам, что она такое!

— Слишком много слышали, слишком много видели, всего не упомнят… Я же говорил, что полезно было бы им принять медку. Порастрясти мысли…

Абдул был явно прав. Диктующий Баудолино и пишущий Абдул, конечно, могли подогреваться только вином. Но вот что касается свидетелей (они же источники откровений), в их-то случае

зеленый мед мог только поспособствовать процессу. Поэтому через несколько минут Борон, Гийот (ошарашенный новыми для себя ощущениями) и Поэт, который к зеленому меду за эти дни основательно приохотился, сидели на полу со слабоумными улыбками, застывшими на лицах, и бредили, подобно юношам-затворникам Алоадина.

— О да, — грезил Гийот, — громаднейшая зала, факелы освещают эту залу неописуемым блистаньем. О да, паж несет копье белизны невыразимой, и белая поверхность отражает пламя очага. С острия копья стекает капля крови, опускается пажу на руку… Являются двое других пажей с подсвечниками червонного золота, на каждом подсвечнике горит не менее десяти свечей. Пажи прекрасны… О, вот и дева, входит дева, несущая Братину, по залу расплывается бесподобная лучезарность. Свечи тускнеют, как луна, как звезды при восхождении солнца. Братина состоит из чистейшего золота на свете, изузоренного самыми редкими в природе перлами, богатейшими из всех сущих и под водами и в земле… Входит еще одна дева, эта с серебряным подносом…

— Ну а злополучная Братина, опишешь ты ее, в конце концов? — простонал Поэт.

— Я ее не вижу. Вижу лишь испускаемое ею сияние…

— Ты видишь испускаемое сияние, — вмешался Борон, — а я вижу кое-что вдобавок. Факелы озаряют зал… Да. Но вот раздается сильный гром, ужасное содрогание, как будто рушится весь замок. Нисходит непроглядная темень… Да. Но вот сейчас луч солнца освещает палату, он светит всемеро сильнее, нежели все предыдущие свечи. Это вносят святую Братину под белобархатной оболокой, и при ее вносе палата проникается благовониями всех известных зелий. Обнося той Братиною стол, рыцари видят, что в обычных посудах, пребывавших на столе, появились многоразличные кушанья…

— Да как же она выглядит, проклятущая? — выходил из себя Поэт.

— Не богохульствуй. Братина как братина.

— А откуда это известно? Она же накрыта белым бархатом?

— Откуда надо, оттуда известно, — огрызнулся Борон. — Мне так рассказывали.

— Да пропади ты пропадом на вечные времена и провались ты к чертовой матери! Тебе организуют видение, а ты-то в ответ на это! Мямлишь, что тебе когда-то рассказывали, вместо того

чтобы видеть образы! Ты хуже этого придурка Иезекииля, который не умел описать, что увидел! Ты как жиды, которые никогда не обращают внимания на то, что видят! У жидов принято обращать внимание только на слова, и все тут!

— Прошу тебя, сквернослов, — вскричал тут Соломон, — опамятуйся, если не ради меня, то ради Библии, она свята и для вас, ненавистные святогоны!

— Замолчите, прошу вас обоих, — успокаивал Баудолино. — Слушай лучше меня, Борон. Думается, Братина — это стакан, в котором Господь освящал вино. Потому что как мог Иосиф Аримафейский сцеживать туда подреберную кровь с распятия, ежели после снятия с креста наш Спаситель был уже не жив, а мертв, а мертвецы, как известно, крови не источают?

— Даже и по смерти Христос был вполне способен явить чудо.

— Братина не простой стакан, — упирался Гийот, — ибо тот, кто рассказал мне повесть о Фейрефице, добавил, что речь шла о камне, свалившемся с неба, lapis ex coelis, то есть Братину выточили на земле из этого небесного камня.

— Почему тогда не из наконечника копья, которым было прободено ребро Спасителя? —

упирался Поэт. — Разве не от тебя мы слышали, что паж внес напоенное кровью копье? Вот и я вижу не одного, а даже троих пажей с копьем, изливающим потоки священной крови… Вижу мужа, одетого прелатом, с крестом в руке, несомого на седалище четырьмя ангелами, ангелы восставляют седалище пред серебряным столом, на который возложено копье… Входит пара дев, пара несет поднос, там отрубленная голова мужчины, голова залита кровью. Прелат служит над копьем, вынимает просфору, и в просфоре проявляется образ младенца! Копье — колдовская вещь, и оно знак власти, потому что символ силы!

— Нет, нет, с копья стекают капли крови и попадают именно в Братину, в подверждение чуда, которое я вам описывал, — протестовал Борон. — Все так несложно… — Но тут им овладела улыбчивость.

— Удовлетворимся этим, — безутешно качнул головой Баудолино. — Бог с ней, с Братиной. Займемся остальными вопросами.

— Друзья мои, — рабби Соломон говорил небрежно, с равнодушием иудея, которого святая реликвия никак не впечатляла. — С какой бы стати пресвитер вдруг начал дарить незнакомым людям такие ценные вещи? По-моему,

это неправдоподобно. Вдобавок, читая письмо, адресат может попросить гонца предъявить ему волшебный подарок. Наконец, не исключено, что рассказы Гийота и Борона бытуют где-нибудь себе независимо от нас, а следовательно, достаточно намека… имеющие уши услышат! Не пишите «Братина», не пишите «Грааль», не пишите «Сангреаль», употребите какое-нибудь промежуточное слово. В Торе никогда наиважнейшие понятия не именуются буквально. Они всегда обозначаются опосредованным тайным образом, предоставляя читателю постепенно расшифровывать то, что Всевышний, благословенный Святой, Он Творец, предрасположил открыться только перед самым скончанием времян.

Баудолино тогда сказал: — Ладно, пусть посылает какой-нибудь ларчик, сундучок, коробку, ковчег, напишем: accipe istam veram arcam, прими сие вместилище истины…

— Недурно, — оценил рабби Соломон. — Такая фраза и скрывает и в то же время приоткрывает… приоткрывает бездну возможных толкований…

Вернулись к прерванному сочинению.

«Буде возжаждешь прийти в наши вотчины, возвысим и удостоим тебя пред

нашим и двором и домом и дадим насладиться нашими роскошами. Из оных, изобилующих в нашей собственности, сможешь почерпнуть для себя, пожелай ты воротиться в собственную державу. Памятуй о Новейших, николиже не согреши».

После этого богонравного напутствия, пресвитер переходил к описанию своего имущества.

— Без ложной скромности! — скомандовал Абдул. — Положение пресвитера до того высокое, что некоторое бахвальство, я сказал бы, даже оправданно.

Какая уж тут скромность! Баудолино вроде с цепи сорвался. Его dominus dominatium превосходил могуществом всех властителей земли и его достаток не имел равных в целом свете. Семьдесят два царя выплачивали ему дань. Семьдесят две провинции лежали под его рукой, и не беда, что не все провинции были христианскими. Дабы удовлетворить рабби Соломона, в царство пресвитера подселили потерявшиеся Израилевы колена. Суверенное владычество прелата простиралось на три Индии и земли его досягали до самых отдаленных пустынь, вплоть до Вавилон-

ской башни. Каждый месяц за столом пресвитера прислуживают семь царей, шестьдесят два герцога и триста шестьдесят пять графов, и каждый день садятся за его стол двенадцать архиепископов, десять епископов, патриарх Святого Фомы, митрополит Самарканда и архидиакон Сузы.

— А не перебор? — спросил на это Соломон.

— Нет, нет, — отмахнулся Поэт. — Надо так, чтобы довести до родимчика и папу, и византийского василевса. Подбавь вот что… Пресвитер-де дал обет посетить Гроб Господен с великим воинством, чтоб разбить неприятелей Христа. Этим подтверждается, что было сказано Оттоном, и затыкается рот папе, если он часом возразит, что пресвитер так и не перешел Ганг! Иоанн еще перейдет Ганг, он дал обет! Потому-то имеет смысл разыскать Иоанна и заключить с ним союз.

— Теперь подскажите мне, кем населить его владения, — распорядился Баудолино. — Там будут жить слоны, дромадеры, верблюды, гиппопотамы, пантеры, онагры, львы белые и красные, безголосые цикады, грифоны, тигры, ламии, гиены, все звери, которых у нас тут никогда не водилось и которые в качестве трофеев могут привлечь наших охотников туда. А также невиданные на свете люди, о которых рассказывают

книги о природе вещей и природе вселенной…

— Стрельцы, рогачи, фавны, сатиры, пигмеи, псиглавцы, гиганты высотой в сорок локтей, одноглазки… — перечислял Гийот.

— Отлично, отлично, пиши, Абдул, пиши, — поторапливал Баудолино.

В общем, работа состояла в том, чтобы собрать все выдуманное и рассказанное в прошлые встречи, слегка приукрасив в описаниях. Земля пресвитера сочится медом, преет молоком… тут рабби Соломон с удовольствием отмечал отсылки к Книгам Исход, Левит и Второзаконие… В той земле не живут ни аспиды, ни скорпии. Там течет Июдон-река, чьи истоки в Земном Раю. — В той реке обретаются… камни и песок, — предлагал Гийот. — Нет, нет! — протестовал рабби Соломон, — камни и песок обретаются в Самбатионе. — А что, Самбатион мы так и не вставим? — Вставим, но чуть попозже. — Июдон течет прямо из Земного Рая и поэтому там обретаются… изумруды, топазы, карбункулы, сапфиры, хризолиты, ониксы, бериллы, лалы, алабандины, аметисты, — азартно выкрикивал Гийот.

Он недавно попал в их компанию и поэтому не в состоянии был понять, отчего все остальные изобразили рвотные позывы, а Баудолино

завопил: — Еще хоть один топаз, и я его проглочу, а когда он захочет выйти, высуну задницу в окошко!

После всех счастливых островов и раев, оприходованных в ходе их подготовки, от драгоценных камней им просто становилось дурно.

Абдул тогда предложил, учитывая, что царство пресвитера расположено на Востоке, припомнить редкие растения. Пускай там растет перец. Борон добавил, что пускай этот перец растет на деревьях, охраняемых змеями, и когда он поспевает, пусть это дерево поджигают, змеи убираются в свои норы, тогда к дереву подходят и трясут его, перец опадает с веток вниз и его стряпают. По неведомому рецепту.

— Теперь вставим, может, Самбатион? — спросил Соломон.

— Валяй, вставляй, — отвечал Поэт, — пусть всем будет ясно, что десять потерявшихся колен живут за этой противной рекой. Даже следует особо это оговорить. И Фридрих может их отыскивать, если жаждет подвигов.

Абдул согласился со всеми, что Самбатион приходится кстати. Будучи неодолимой преградой, он распаляет упрямство и обостряет интерес, почти любовное Ревнование. Кто-то несмело

предложил приписать еще и подземный поток, несущий ценные камни. Баудолино сказал, что пусть Абдул пишет себе что хочет, но он лично на время затыкает уши, чтобы не услышать снова про топазы. В честь Исидора и Плиния было решено поселить в той земле еще и саламандр: четверолапых змей, обитающих только в открытом огне. — Все, что существует на свете истинного, годится в наше дело, — подытожил Баудолино. — Главное — никаких выдумок и отсебятины.

В письме еще расписывались достохвальные нравы, царящие в державе Иоанна. Там каждого странника принимают с гостеприимством, там нет бедняков, воров, попрошаек, угождателей и скупцов. Пресвитер нечувствительно добавлял к этому сказанному, что по его сведениям, не существует в земных пределах монарха столь же богатого и избыточествующего подданными. В доказательство роскошеств, приводившееся, впрочем, уже и Синдбадом в рассказе о Сарандибе, пресвитер описывал свой великий выезд на войну против недругов: перед строем воинов движутся тринадцать крестов, усыпанных ярким жемчугом, каждый крест вывозится на отдельной колеснице, каждую колесницу сопровождают де-

сять тысяч конников и сто тысяч пеших. Когда же пресвитер выезжает в мирное время, перед ним деревянный крест, в память Страсти Господней, и златой сосуд, полный праха, дабы памятовать всем и себе, что из праха все созданы и в прах же уйдем. Однако, желая памятовать в то же время, что выезжающий все-таки — царь царей, возят рядом с тем сосудом иной, серебряный, полный злата.

— Попробуй только подсыпать в него топазы и я разобью этот сосуд о твою башку, — предупредил Баудолино.

Абдул, по крайней мере на этот раз, от топазов воздержался.

— Припиши еще, что у них не бывает прелюбодеев и что никто не смеет лгать, а кто лгал, тот умер на месте, то есть я хочу сказать, все равно что умер, потому что был изгнан и все перестали с ним знаться.

— Но я ведь уже писал, что там нет пороков и злостяжателей.

— Ну, ничего страшного, повторишь… Царство пресвитера Иоанна должно быть таким местом, где христиане действительно соблюдают заповеди Господни. В то время как папе не удается этого добиться от своей паствы. Вдобавок сам

папа лжет, и даже лжет хуже остальных прочих. Кроме того, если мы особо подчеркнем, что в той державе никто не обманывает, — значит, неоспоримо, что все, рассказываемое Иоанном, чистая правда.

Пресвитер Иоанн поддавал жару. Каждый год он с великой воинской силой посещает надгробие пророка Даниила в Вавилонской пустыне. В его стране ловится рыба, из крови которой добывают пурпур. Его господство простирается над Амазонами и над Брахманами. При упоминании Брахманов заметно оживился Борон, потому что этих Брахманов видел в свое время Александр Македонский, когда заступил настолько далеко на Восток, насколько только можно вообразить. Следовательно, Брахманы доказывали, что пресвитерова держава вмещает в себя даже и империю Александра.

Ну, оставалось только описать дворец пресвитера и магическое зеркало. То самое, о котором Поэт докладывал компании за несколько вечеров до того. Правда, сейчас, при повторении, он снизил голос и нашептывал Абдулу прямо в ухо, чтобы громко не прозвучали слова «топазы» и «бериллы», без которых, как ни крути, обойтись было невозможно.

— Думаю, что при чтении этого письма, — сказал рабби Соломон, — возникнет вопрос: по какой причине столь мощный властитель называет себя всего лишь только пресвитером.

— Вот-вот! И это помогает нам закруглиться, — ответил Баудолино. — Абдул, пиши!

«О велелюбезнейший Фридрих, отчего наше превосходительство не льстится именованием более возвышенным, нежели пресвитер, сей вопрос делает честь твоей мудрости. Всеконечно, при нашем дворе мы содержим министериалов, облеченных достоинством и именами гораздо более высокими, в переводе на иерархию духовенства… Дворецким у нас служит примас и царь, чашником архиепископ и царь, камергером у нас царь и епископ, сенешалем царь и архимандрит, кухмейстером царь и аббат. Таким образом наше величество, не приемля титлов, к прочим особам применимых, и не взыскуя почестей, коими тешатся наши придворные сановники, ради смирения постановило благоузаконить самонаималейшее к себе самому обращение. В

сию пору достаточно тебе знать, что вотчина наша простирается в одну сторону – на четыре месяца пути, а в другую сторону, никому неведомо, докуда она простирается. Если бы ты был способен сосчитать все звезды на небе и все песчинки на дне моря, только тогда ты бы сподобился уяснить размеры наших владений и измерение нашей власти».

Почти светало. Сочинители закончили письмо. Те, кто потреблял мед, все еще пребывали в улыбчивом отупении. Те, кто пил вино, были просто навеселе, Поэт, приложившийся и к тому и к другому, еле держался на ногах. Горланя песни, они брели по переулкам и площадям Парижа, то и дело пощупывая драгоценный пергамент, с ощущением, как будто он только что прибыл почтой из державы пресвитера Иоанна.

— И ты тогда же отослал его Рейнальду? — спросил Никита.

— Нет. После отъезда Поэта месяц за месяцем мы его перечитывали, и передумывали, и переделывали, сцарапывали текст и вписывали мелкие поправки. Всем нравилось предлагать добавления, улучшения…

— Но Рейнальд торопился получить это письмо, если я верно понял…

— Штука в том, что за это время Фридрих отстранил Рейнальда от обязанностей имперского канцлера и назначил канцлером Христиана фон Буха. Безусловно, Рейнальд оставался архиепископом Кельнским, а следовательно, эрц-канцлером Италии, то есть он оставался в большой силе, и, скажем, именно он организовывал канонизацию Великого Карла, однако замена его Христианом фон Бухом означала, по крайней мере на мой взгляд, что Фридриху начало казаться, что Рейнальда становится немножко слишком много. Как же тогда подать Фридриху письмо, по сути дела заказанное Рейнальдом? В тот год проводилась канонизация. И еще я забыл сказать, что Беатриса в тот год родила второго ребенка. Поэтому у императора были другие заботы, в частности из-за того, что, по слухам, первый сын постоянно болел. Так за всякими делами год незаметно и кончился. За ним кончился другой.

— И Рейнальд ни разу не напомнил тебе?

— Сперва и у него были другие заботы. А потом он умер. В то время как Фридрих в Риме сгонял с престола Александра Третьего и заменял его антипапой, началось чумное поветрие. Чума не

разбирает, кто богат, а кто нищ. Так погиб и Рейнальд. Я удручился. Я, конечно, никогда не любил Рейнальда. Он был высокомерен, злопамятен… но все-таки он был смелый человек и до последней минуты сражался за своего господина. Пухом ему земля… Ну, он умер, и к чему было теперь наше письмо? У Рейнальда у единственного хватило бы ума как следует разыграть эту карту. Уж он-то сумел бы заинтересовать имперские канцелярии всего христианского мира…

Баудолино выдержал паузу. — И вдобавок тогда начиналась вся история с моим городом.

— Какой город, ты рожден на болоте!

— Да… Извини, я тороплюсь, тебе трудно следить. Мы с тобой еще не построили город?

— А что, был город, который строился, а не разрушался?

— Да, — сказал Баудолино. — В первый и единственный раз в моей жизни я увидел, как город не погибает, а зачинается.

13
Баудолино видит, как зачинается город

Баудолино был в Париже уже десять лет. Он уже прочитал все, что только было можно прочесть. Он выучил греческий от одной византийской проститутки, написал много стихов и любовных писем от чужого имени, фактически выстроил державу, в которой никто не ориентировался лучше, чем он и друзья. Но курса в университете не кончил. Для утешения он внушал себе, что и само по себе парижское учение было великим делом, памятуя, что отроду ему сулилось пасти коров… Однако сам себе же и возражал, что учеными как раз и становятся такие, вроде него, голодранцы, не господские же сынки, те учатся бою, не желают знать чтение и письмо… В общем, Баудолино не слишком гордился собой. Внезапно он осознал, что ему уже исполняется (ошибка могла быть в какие-то месяцы) приблизительно двадцать шесть лет. Из дому он уехал в тринадцать. И ровно столько же лет не был дома. Тогда в нем поселилось чувство, которое мы определи-

ли бы как ностальгию, тоску по родному дому, хотя он, никогда не сталкивавшийся с этим, не понимал, в чем дело. Поэтому он подумал, что хочет видеть приемного отца, и решил ехать к тому в Базель, где Фридрих остановился после очередного возвращения из Италии.

Фридриха он не видел с тех пор как у того родился первый сын. Пока Баудолино писал и переписывал пресвитерово послание, Фридрих работал без передышки, мотался то с севера на юг, то с юга на север, ел и спал в седле, как его прадеды-скитальцы. Королевскими палатами становились палатки в чистом поле, всякий раз на новом месте. В Италию он за эти годы вступал дважды. Во второй раз, на обратном марше, он потерпел афронт под Сузой, там горожане взбунтовались, он был принужден удрать тайно, переодетым. Они держали заложницей Беатрису. Потом ее отпустили, не причинив вреда, но император не забыл бесчестья и занес сузанцев в черный список. А когда он переваливал через Альпы на север, снова не было отдыха и покоя, приходилось улещивать и держать в узде германских князей и владетельных герцогов.

Баудолино приехал к императору. Тот был мрачен, темнолик. С одной стороны, Фридриха

все сильнее беспокоило здоровье старшего сына (его тоже звали Фридрихом), а с другой стороны — положение дел в Ломбардии. — Они имеют все основания, — объяснял он. — Между нами, основания они имеют. Мои сборщики податей, да и мои управители дерут с них всемеро больше должного. С каждого очага каждый год по три сольда в старых деньгах. Двадцать четыре динария старыми за каждую мельницу на судоходном месте. У рыбарей изымают треть улова. Конфискуют наследство бездетных. Мне бы следовало обращать больше внимания на жалобы, они плачутся-то по делу… Но я все время ужасно занят. А теперь, похоже, ломбардские коммуны стакнулись и основали лигу, союз против императора. Понимаешь? И какое у них первое дело, а? Заново возвести стены Милана!

Итальянские города, это ясно, всегда были строптивы и ненадежны. Но тут-то! Они простотаки учреждали новую res publica! Конечно, вряд ли на долгие годы, учитывая, как ненавидели друг друга все города в Италии. Вряд ли на долгие годы… и все же налицо имелось оскорбление империи — vulnus.

Кто же вошел в состав лиги? По слухам, в какой-то монастырь неподалеку от Милана съехались

представители Кремоны, Мантуи, Бергамо, может быть, еще и Пьяченцы и Пармы, но на этот счет не было доказательств… И все же слухи были очень тревожны: к союзу продолжали примыкать все новые города. Кажется, Венеция, Верона, Падуя, Виченца, Тревизо, Мантуя, Феррара, Болонья…

— Болонья! Представляешь себе? — выкрикивал Фридрих, бегая взад и вперед перед Баудолино. — Ну ты же помнишь, как было дело, правда? Лишь только благодаря мне ихние профессора стали огребать сколько хотят денег со своих распроклятых студентов, не давая отчет ни мне, ни папе! И все-таки они лезут в эту лигу! Ну есть у них совесть? Есть у них стыд? Еще бы Павия туда подалась, совершенно был бы конец света!

— Или Лоди, — поддакнул Баудолино, приведя невозможный пример.

— Лоди?! Лоди! — зашелся криком Барбаросса, такой пунцовый, что казалось, его сейчас хватит удар. — Да если доверять слухам, если верить, что мне тут доносят, город Лоди уже готов! Примкнул к их комплоту! Ты помнишь, как я харкал кровью, чтобы их защищать, баранов! Если б не я, миланцы бы топтали их каждую неделю! А теперь они снюхиваются со своими палачами и гадят благодетелю!

— Но, отец, — переспросил Баудолино, — как это «если верить слухам» и «может быть»? У тебя что, нет точных сведений?

— Точных сведений! Быстро вы забываете в своем Париже, как устроен белый свет! Где тайный союз, там конспирация, а где конспирация, там предатели, предателями стали мои прежние верники, и рассказывают все наоборот! Знают, что там делается, но нарочно врут и запутывают! Поэтому меньше всего точных сведений именно у императора! Вроде рогоносцев-мужей, о ком знает весь околоток, кто угодно, за исключением их самих!

Трудно было подобрать худшее сравнение для этой минуты, потому что именно тогда в комнату вступала Беатриса, до которой донесли весть о приезде милого Баудолино. Баудолино преклонил колени поцеловать ей руку, не взглядывая на лицо. Беатриса будто замерла в нерешительности. Может быть, ей казалось, что если не выказать благорасположение и нежность, она выдаст свое смущение. Поэтому свободной рукой она по-матерински приласкала и взъерошила его волосы… забывая, что тридцатилетняя женщина не должна так обходиться со взрослым мужчиной, совсем ненамного моложе себя. Фридриху

все это показалось естественным, он был отец, Беатриса мать, хотя и приемная. Кто почувствовал себя хуже всех — это Баудолино. Двойное соприкосновение, близость этой женщины, запах ее одежды… он был как запах тела… голос, так близко звучащий… Великое Баудолиново счастье, что в том положении он не глядел ей в глаза, иначе побелеть бы ему лицом и рухнуть на землю уже совершенно без чувств… Его переполняло невыносимое блаженство, отравленное мыслью, что и в обычном приветном поклоне он ухитряется снова предать своего отца.

И не ведать бы ему, как выпутываться, если бы император не обратился к нему с просьбой или с приказанием… разницы не было. Чтобы разобраться в итальянской ситуации, не доверяя ни официальным послам, ни посланным офицерам, Фридрих отправлял в Италию несколько человек из самых надежных, из тех, кто знал Италию, но при этом по виду не напоминал императорских приближенных. Задание было — выведать, чем пахнет. Собрать информацию из первых рук, а не от двурушных чужих клевретов.

Баудолино был рад уйти от неловкости, которую испытывал при дворе. Вдобавок он чувствовал, что ему действительно охота видеть родные ме-

ста. Поразмыслив, он понял, что именно по этой причине в свое время решил выехать из Парижа и тронуться в дальний путь.

Перевидав множество городов, проскакав множество верст, вернее, протащившись верхом на мулице, так как Баудолино притворялся мирным негоциантом, едущим с базара на базар, в некий прекрасный день он увидел с вершины горы ту равнину, за которой, после доброго перегона пути, лежал брод через Танаро, а по другую сторону Танаро среди топких суглинков, болот и каменистых гатей — его родимое селение Фраскета.

Хотя расставания с домом в те времена совершались так, что никто не рассчитывал вернуться, у Баудолино все же побежали мурашки по телу. Ему страшно захотелось узнать, живы ли еще старики.

И не только. Вдруг, по волшебству, перед его глазами возникли лица разных парней из околотка: Мазулу с хутора Паницца, с кем на пару ходили ставить силки на зайцев… Порчелли по прозвищу Гино (а может, Гини по прозвищу Порчелло?). С этим при всякой встрече они швыряли друг в друга камнями. Алерамо Скаккабароцци, чье прозвище было неприлично, и Куттика с хутора Кварньенто, втроем часто рыбачили на

Бормиде… — Боже милостивый, — пробормотал он, — ино моя душа занадобилась кому-то? Говорят, что раннее детство вспоминается в таких мелочах лишь перед тем как расстаешься с жизнью.

Дело было в сочельник, только Баудолино этого не ведал, потому что в своих путешествиях утерял счет дням. Холод пробирал его, мулицу тоже, кажется, знобило, но небо было ясное в разгаре заката, закат был такой чистый, как бывает, когда собирается снег и вовсю уже начинает пахнуть этим снегом. Он узнал всю местность, будто проходил по ней вчера. Он явственно вспомнил, как однажды на эти горы с отцом он загонял троих мулов, надо было взбираться на откосы, а откосы сами по себе были такие, чтоб обезножел даже мальчишка, можно представить себе — чего стоило загнать скотину, которая идти вверх не хотела. А вот обратный путь им был, наоборот, приятен, они увидели равнину с высоты и пустились вниз легкими ногами. Баудолино припомнил, что почти вблизи реки эта равнина ненадолго вхолмливалась и с вершины взгорья он в тот раз сумел разглядеть среди млечного тумана торчащие колокольни городишек вдоль по течению притока реки, звавшегося Бергольо. Дальше видно было

Роборето и совсем уже неблизко — Гамондио, Маренго, Палея, места топистые, с гравийными пролысинами, по которым пробирались к тому перелеску, где на окраине лепилась лачуга его родителя Гальяудо.

Но теперь, одолевши взгорье, Баудолино увидел совсем другую картину: всюду, на горах, на горбах и в долинах, воздух стоял прозрачный, как промытый, и только над распростиравшейся перед Баудолино равниной воздух кое-где отуманивался мокрыми парами, клубами сероватого цвета, они порой встречаются на пути и обволакивают идущего, и он совсем ничего не видит, а потом кончаются, путник выныривает из этих полос и будто вовсе их не бывало… так что Баудолино пробормотал: ну вот поди ж ты, на дворе хоть январь, хоть август, только в нашей Фраскете целый божий год лежит туман, как снега лежат целый божий год на макушках Альп Пиренейских… Он, впрочем, на это не подумал роптать, потому что кто родился в тумане, тот как раз внутри тумана и чувствует себя как дома.

Однако, подъезжая ближе к речке, он заметил, что пары были вовсе не мокрые. И вообще это были не пары, а клубы дыма, отлетавшие от костров. Между дымами и кострами Баудолино

удалось разглядеть, что на другом берегу реки, вокруг того, что прежде именовалось Роборето, городские дома надвигаются на село, и повсюду, как гнезда опят, налепляются друг на друга постройки, каменные, деревянные, многие были еще не докончены, с западной стороны различались первые куски городской стены… да никакой стены там в прежнее время не было! На всех кострах кипели котлы, по всей вероятности, с водой; котлы подтаскивали к стройке, вливали воду в строительный раствор. Баудолино когда-то ходил смотреть на закладку нового городского собора в Париже на острове посреди реки, поэтому он знал, как выглядят строительные машины, как ставится опалубка, как работают каменщики-мастера. Если он правильно понимал, сейчас на его глазах люди строили себе город прямо на голом месте, и это было зрелище, которое — если повезет — удается увидеть не более одного раза в жизни. — Одуреть от них можно, — сказал он почти вслух. — Отвернешься на минуту, и вот пожалуйста. — И лягнул шпорой мулицу, чтобы она попроворнее дотрусила вниз в долину. Через реку он переправился на плоту, возившем камень всевозможных сортов и размеров, и высадился как раз на месте, где какие-то работники

на ненадежных строительных подмостках выводили высокую стенку, а другие с земли лебедкой подымали для них на подмостки решета, наполненные щебнем. Лебедкой, впрочем, назвать эту дикарскую конструкцию можно было с большой натяжкой, она состояла из хилых жердей, а не из основательных мачт, колыхалась во все стороны, а те двое, которые на земле крутили колесо, похоже, не столько его крутили, сколько силились удержать всю эту шаткую связку реек. Баудолино сразу сказал себе: — Ну вот оно и видно, наши уж если возьмутся за что, то выходит или погано, или кошмарно… ну гляди ж ты, разве же так работают, будь я хозяин, давно наподдал бы им под заднее место так, чтобы долетели до середины Танаро!

Потом он увидел дальше кучу мужиков, пытавшихся сладить галерейку; они клали плохо обтесанные камни на плохо обструганные балки, а что до колонн и особенно до капителей, было похоже, будто их высекали рогами быки и козы. Для поднятия тяжестей эти тоже использовали какой-то ворот. Баудолино подумал, что в сравнении с этими новыми те предыдущие работяги — просто несравненные мастера, какими славится приозерный город Комо.

Скоро он перестал сравнивать одних олухов с другими, потому что, идя по площадке, видел, что иные строители были и того нелепей: в точности малые дети, что играют в куличики. Вот последнее творение их рук (хотелось бы сказать — ног): глинобитная халупа, нет, не одна, а целых четыре, прилепившиеся плотно друг к другу. Крыши были из плохо спрессованной соломы. Видимо, замышлялась целая улица халуп, строители которых как будто соревновались, кто скорее подведет дома под крышу, без наималейшей оглядки на правила ремесла.

Углубившись, однако, в меандры этого незавершенного муравейника, Баудолино находил порой и хорошо провешенные фундаменты, и ровные стены, и фасады с добрым фахверком, и бастионы, которые даже в полудоделанном виде уже смотрелись очень крепко и надежно. Оставалось заключить, что среди работников, сооружающих город, есть как местные, так и приезжие, как растяпы, так и искусники. Местным, ясное дело, любое зодчество было внове. Местные люди кто? Вахлаки! И городские дома возводят в точности так, как навыкли сколачивать скотские загоны. Но соседние постройки были созданы умелыми руками, руками опытных людей, обученных

мастерству.

Опознаваясь с многоразличными видами работ, Баудолино одновременно опознавался и с многообразными диалектами, звучавшими на каждом новомуглу. Куча каких-то косых хаток, бесспорно, являлась творением мужичья из Солеро. Кривоватая, но высокая башня возводилась монферратскими ребятами. Дальше на него чуть не вылили кипятковый раствор из котла, он еле отпрыгнул. Лившие, судя по их гомону, были павийцами. В стороне кто-то обстругивал матицу так, что хотелось руки ему перебить; впрочем, эти руки, что с них возьмешь, приспособились за свою жизнь только рубить дрова в лесах вокруг Палеи… И куда ни сунься, среди прочих строек, стоило заслышать осмысленные команды, стоило завидеть артель, работающую с умом и толком, всякий раз было понятно: эти говорят погенуэзски. — Ну, я попал прямо на вавилонское столпотворение, — констатировал Баудолино. — А может, в Гиберию, где, сказывал наш Абдул, семьдесят два мудреца восстанавливали Адамов язык, перемешивая все известные языки на свете, как для построек в ведерках перемешивают воду и глину, вар и битум… Но здесь еще до Адамова языка, пожалуй, не домешались. Здесь пока еще

все семьдесят два языка в чистом виде, каждый в полной красе. Глянь-ка, экая прорва народов, и в обычное время все они между собой перестреливаются! А сейчас потеют вместе, да и в охотку! Ты гляди на них! Мир да любовь! Ну и дела!

Он подошел ближе к артели, которая споро выводила сложный навес с узорными балясинами, не иначе как с расчетом на будущую аббатскую церковь. У них был налажен и прекрасный подъемный ворот, крупный и мощный, приводившийся в движение не вручную, а припряженной лошадью. Конь у них был в шорной сбруе. Вместо грубого деревянного дышла, которое употребляли здешние деревенские, сдавливая при этом лошади шею, на их коне была удобная шлея вперехват на плечах. Все, что выкрикивали работники, звучало столь определенно по-генуэзски, что Баудолино счел возможным обратиться к ним на их родном наречии, хотя и не смог так похоже его воспроизвести, чтобы сойти за своего.

— Что это вы строите? — спросил он для завязки разговора. Один из генуэзцев, покосившись по-песьи, ответил: хотим построить машину, чтоб чесать себе дрын. Так как вся ватага заржала и было совершенно ясно, что смеются над ним, Баудолино (которому уже достаточно обрыдло

прикидываться смирным купцом и таскаться на чахлой мулице, в то время как в переметном тюке у него таился, аккуратно замотанный в штуку сукна, меч имперского министериала) без промедления уведомил его, изъясняясь на диалекте Фраскеты, который вдруг — после стольких-то лет отвычки! — сам слетел с его уст, что ему-де лично не требуются для этой надо бы машины, потому что он привык, чтобы дрын, который, кстати, у приличных людей называется членом, ему чесали ваши потаскухи, ваши мамаши! Генуэзцы не полностью прочувствовали точный смысл его слов, но общую идею уловили. Они побросали свои занятия и, подбирая с земли кто камень, кто кривой кол, начали группироваться полукругом около мулицы. К великому счастью, именно в это время и в это место пожаловала некая кавалькада, в которой один из всадников имел вид благородного рыцаря, и они на франкском языке, перемешанном с латынью, с провансальским и еще черт знает с каким, заявили генуэзцам, что этот-де паломник говорит как один из местных, и следовательно, те не имеют права задерживать его на его собственной земле. Генуэзцы заспорили, закричали, что этот молодчик расспрашивает и выведывает, и он шпион. Рыцарь ответил, что

если император засылает сюда шпионов, то это к лучшему, пускай узнает, что в здешних краях закладывается город именно в пику императору. И обратился к Баудолино: — Вроде я тебя прежде не видел, но, чать, ты здесь не впервые. Почто вернулся? Подсоблять на стройке?

— Твоя светлость, — почтительно отвечал Баудолино, — я урожденный из Фраскеты, но много лет как уехал отсюда и не ведаю ничего о делах, что затеваются тут. Меня звать Баудолино, я сын Гальяудо из семьи Аулари…

Он не успел договорить фразу, как из группы этих новых проезжих какой-то дед, седовласый и с сивою бородою, угрожающе взметнул палку и взвизжал: — Подлый ты и бессовестный обманщик, да падет тебе стрела на голову, как ты смеешь поганить имя сына моего Баудолино, бедного отрока, я ведь и есть тот Гальяудо и вдобавок из Аулари, как и он, то есть сын мой, его свели из дому множество лет назад, забрал какой-то барин алеманский, загорский, заморский, шут знает, небось из тех, кто таскает ученых обезьян по базарам, потому что о несчастном моем парне я с тех пор не имел ни известия, ни привета, и прошло столько уж лет, что пора уж ему было скончаться, и вот мы с болезной моей хозяйкой

уже тридцать лет проливаем по нем слезы, о горькое бездолье моей жизни! А и без того я мыкался в нужде в вековечной! Но что стоит потерять родимую кровину, никому нету моготы понять, коль самому не доводилось!

В ответ Баудолино завопил: — Отец, так это ты и есть! — и тут голос его почему-то осекся и слезы залили глаза, но льющиеся слезы не способны были скрыть великую радость. И добавил, овладев голосом: — И никакие не тридцать лет вы проливаете слезы, потому что я уехал ровнешенько тому назад тринадцать, и ты должен быть доволен, потому что я провел их с толком и вышел в люди. — Дедок подлез под самую морду мулицы, чутко вперился Баудолино в лицо и проговорил: — Да и ты, однако, ты и есть! Хотя и миновало тридцать лет, но твоя лукавая харя все такая же, как была! Ну, скажу тебе со всей прямотою: хоть и вышел ты вроде, как рассказываешь тут, в люди, но с родителем своим ты не моги сметь спорить, и если я говорю, что тридцать, значит, мне они за тридцать показались, и за эти тридцать лет мог бы, бездельник, хоть какую-нибудь весточку послать, этакая ты каналья, погубление всего нашего рода, слазь сюда с твоей лядащей скотины, ведь она, поди, краденая, дай

я тебе влуплю за это батогом по хребту! — И он схватил Баудолино за сапог, стягивая с мулицы, однако в этот миг встрял тот, кто казался над ними всеми воеводой. — Ты что, Гальяудо, ты смекни, встречаешь сына через тридцать лет…

— Тринадцать, — поправил Баудолино.

— А ты заткнись, у меня с тобой разговор особый! Однако смекни, папаша, встречаешь через тридцать лет, тут по порядку надо вам обниматься и возносить благодарение Господу, черти вас побери совсем и к дьяволу!

Баудолино тем временем действительно спешился и готовился бросаться в объятия Гальяудо, который, стоя перед ним, заплакал, но тот же главный, который казался воеводой, снова влез в середину и ухватил Баудолино за шиворот. — А вот если у кого и найдутся к тебе старые счеты, то учти, что у меня.

— Кто ж ты такой? — спросил Баудолино.

— Я Оберто из Форо, хотя ты об этом не знаешь и не помнишь ничего. Когда мне было десять лет, мой родитель оказал вам честь, заехал к вам на двор посмотреть бычков, торговал он бычков у твоего папаши… Я был одет как подобает сыну рыцаря, и отец не разрешал мне входить в ваш хлев, чтоб не запачкался. Я ждал его около дома,

свернул за угол, а там ты терся, грязный, вонючий, прямо из кучи назема. Ты подошел ко мне, присмотрелся и спросил: играть будешь? Я как дурак сказал: буду. Ты мне дал пинка и я улетел в свиное корыто. Отец за перепачканный новый наряд вечером меня выдрал…

— Понятно, — сказал Баудолино. — Но прошло тридцать лет…

— Во-первых, тринадцать, а во-вторых, я с того дня все жду случая поквитаться, потому что никогда меня так не унижали. Пока рос, я каждый день обещал себе, что вот попадется мне сынок того Гальяудо и я прикончу его.

— И теперь ты меня прикончишь?

— Теперь нет. То есть теперь уже нет. Потому что мы здесь занимаемся важным делом, строим город, чтобы воевать против императора, пускай-ка он снова сунется на наше место… так что подумай сам, можно ли мне терять время, тебя приканчивать! Подумай! Целых тридцать лет…

— Тринадцать.

— Целых тринадцать лет я носил эту занозу в сердце, и тут в самый интересный момент, когда я наконец тебя нашел, злоба прошла.

— Вот так со мной поговоришь, ан глядь…

— Ладно, кончай зубоскалить, обнимись с от-

цом. Потом, если ты извиняешься за ту историю со свиным корытом, то тогда, тут рядом обмывают окончание одной постройки, и в этих случаях берется бочка вина, настоящего праздникового, и, как говаривали наши пращуры, все упиваются в гогу-магогу.

Через какие-то минуты Баудолино сидел в трактире и давался диву: еще и города толком нет, а кабак у них уже налажен. Стоят столы и скамьи на улице под красивым навесом. Ясно, в эту холодень, по справедливости, все пошли во внутреннюю залу, всю обставленную бочками, и с длинными деревянными столами, а на столах было наставлено добрых кружек, на блюдах наложено колбас из ослятины, которые (объяснял Баудолино ужасавшемуся Никите) поначалу смахивают на такие раздутые бурдючки, ты их — пших! — протыкаешь ножичком и кидаешь в котел с чесночным маслом, и выходит невозможно описать какой смак. Поэтому все участники застолья лучатся довольством, воняют чесноком и не вяжут лыка. Оберто из Форо торжественно объявил о возвращении сына Гальяудо Аулари, и большинство присутствующих начали лупить Баудолино по плечам что есть силы, а тот сперва таращился на них, силясь припомнить

имя, а потом, с ответным хлопанием, узнавал и выкрикивал, как зовут то того, то этого, и тут конца-краю не предвиделось. — О Господи, ты же Скаккабароцци, а ты Куттика из Кварньенто, а ты, погоди, не надо говорить, я сам хочу вспомнить, да ты же Скварчафики! А ты, выходит, Гини? Или Порчелли?

— Нет, вон он Порчелли, вон тот самый, с кем вы всегда кидаетесь камнями! А я был другой, я был Гино Гини, и, по правде говоря, им же до сих пор и остался. Мы с тобой зимой удили в проруби, помнишь?

— Господи Иисусе, а ведь и правда, ты Гини. И ты, как я помню, был великий дока продавать! Мог продать что угодно! Даже козье дерьмо! Ты ведь всучил кизяк одному паломнику, будто это мощи святого Баудолина?

— А как же. Да я и стал купцом: с планидой не поспоришь. Тогда скажи еще, кто вон тот, видишь, вон я показываю…

— Ну, ясное дело, Мерло! Мерло, что я тебе всегда говорил?

— Ты говорил: везет тебе, Мерло, ты такой глупый, никто тебя не лупит… Но, по правде, несмотря на глупость, мне все-таки влупили, — и он поднял правую руку с культей вместо ки-

сти. — Во время осады Милана, десять лет тому назад. — Вот то-то же, я и хотел спросить! Сельчане Гамондио, Бергольо и Маренго, вы и тогда под Миланом, и всегда вообще сражались за императора! Как же случилось, что вы теперь строите город ему в пику?

Ну, тут все бросились втолковывать, и единственное, что Баудолино раскумекал в безумном оре, было: в окрестностях старого замка и церкви Святой Роборетской Марии возводится вот этот город, который заложили обитатели ближайших селений, тех самых Гамондио, Бергольо и Маренго. К ним присоединились выходцы из других мест с чадами и домочадцами, целые выводки из Ривальты Бормиды, из Бассиньяна, из Пьовера, и стали строить дома для будущей своей жизни. Дошло до того, что в месяце мае трое из них: Родольфо Небия, Алерамо ди Маренго и Оберто дель Форо, приехали в собрание представителей городов, которое проходило в Лоди, и заявили о присоединении их нового города к уже объединившимся коммунам. Даром что этот город существовал, по положению на май месяц, скорее в их намерениях, нежели на берегу реки Танаро. Однако народ провкалывал диким образом все лето, всю осень, и ныне город, можно считать, по-

чти готов. Готов остановить армию императора, когда бы ни вознамерился тот, по своему дурному обыкновению, заявиться опять в Италию.

Да какое там остановить, да что за идеи, скептически возражал Баудолино, стоит ему обойти вас стороною… Э, нет, кричали в ответ, не знаешь ты императора. (Куда уж мне, думал Баудолино.) Город, если он строится без его соизволения, это смертная обида, смывается кровью, ему придется осадить этот город. (Вообще-то они точно просекли характер императора, думал Баудолино.) И потому нужны упорные стены и такое устройство улиц, которое лучше всего подходит для защищенья. Для этих-то надоб нам затребовались генуэзцы. Они, ясное дело, люди морские, но в далеких краях, доплыв туда, возводят города и потому досконально знают, как это делается.

Да ведь генуэзцы и шага не ступят за так за просто, спросил Баудолино. Кто же им платит, генуэзцам? Наоборот, генуэзцы платят, ответили ему! Они уже выдали нам в долг тысячу генуэзских сольдов, и еще тысяча обещана на будущий год! А что за устройство улиц особо подходит для защищенья? Пусть ему объяснит Эммануэле Тротти, это его идея, говори, наш ты полиоркет драгоценный!

— Какой еще полиорхрен?

— Цыц, Бойди, молчи, дай сказать Тротти.

Тут Тротти, который, как и Оберто, выглядел вполне по-господски и, похоже, был вассалом вассала достаточно высокого ранга: — Город должен так противиться врагу, чтобы тот не взял приступом стены. Но если все же противник берет приступом стены, город должен суметь принять его в штыки и переломить хребет. Если враг, преодолев крепостные защиты, попадает в переулки и имеет возможность в них затеряться, его уничтожить непросто, врагов приходится вычищать по одному, и через некоторое время сами защитники оказываются в мышеловке. Если же враг, прорвавшись за стены, попадает на широкое пространство и если время, потребное на пересечение пространства, достаточно для расстрела противника из окон и из-за всех углов, вражеская сила, взломав оборону города, в уличных боях теряет половину состава.

(Вот-вот, бормотнул еле слышно Никита, так следовало оборонять Константинополь! А у нас-то прямо от защитных стен идет такая путанина переулков… Ох, чуть было не парировал ему на это Баудолино, да ведь прежде всего народ требуется пожилистее, вроде наших деревенских

быков. А не ваши мозгляки, трусы, бабы. Так называемые воины императорской гвардии… Но он сдержался, чтоб не ущемить собеседника, и вдобавок придержал того: погоди, не перебивай оратора Тротти, не мешай мне рассказывать!)

Тротти пел своим чередом: — Если же неприятель преодолевает открытое пространство и вступает на улицы, следует позаботиться, дабы оные не имели прямого и единого направления, и не вдохновляться древнеримскими канонами городов, напоминающими решетку. В вытянутой и прямой улице нападающий предугадывает, с чем он столкнется впереди! Пусть же улицы будут перегибисты и поворотисты, или, если предпочитаете, коленчаты. Защитники укрываются за выступами, на уровне земли или на высоте крыш, и могут отслеживать любые действия нападающих. Ибо соседняя крыша (что прямо за углом) занята другими защитниками, которые посредством знаков передадут сообщения тем первым, чье поле зрения перекрыто. Неприятель же, не угадывая, чего ему следует ждать, будет вынужден продвигаться крайне медленно. Вот почему порядочному городу приличествуют улицы неровные. Дома на них должны плясать, как зубы у старой бабки. Пусть это не так прельсти-

тельно с виду, однако крайне полезно. И наконец, в городе необходим фальшивый подкоп.

— Этого мы еще от тебя не слышали, — перебил его все тот же Бойди.

— Еще бы, я сам только что узнал от генуэзца, который узнал о нем от грека, а само изобретение восходит к Велизарию, генералу императора Юстиниана. Каков замысел осадчика? Прокопать подземный ход в середину осаждаемого города. Какова его мечта? Обнаружить уже готовый подземный ход, почему-то неизвестный защитникам. Ну так надо приготовить для неприятелей подкоп посолиднее, начинающийся возле наружного края крепостной стены, хорошенько замаскированный валунами и кустарниками. Но не слишком уж засекреченный. Надо, чтобы осадчики рано или поздно все же на него наткнулись. На противоположном конце подкопа, в середине города, должен иметься узкий выход, куда солдатам возможно просовываться лишь по одному, ну на худой конец по паре. В конце выхода пусть имеется закрытая калитка, через щели в которой первый лазутчик разглядит городскую площадь, ну не знаю там, угол какой-нибудь церкви… в общем, такие приметы, которые убедят его, что подкоп точно привел в центр города. При калитке

же мы поставим сменных часовых. Когда враг, разведав через лазутчиков дорогу, наконец припожалует настоящей военной силой, им придется выходить по одному… и по одному переходить прямо на тот свет.

— Потому что наш враг такой малоумный, что продолжает выходить по одному, не замечая, что шедшие впереди уже покойники, — сострил неуемный Бойди.

— А что, есть гарантия, что наш враг очень многоумный? Ну в общем… Может, этот прием надо еще усовершенствовать, но в принципе — богатая идея.

Баудолино отвел в сторону пошептаться Гини, который был теперь негоциантом и, следовательно, лицом рассудительным, осторожным… Не то что важные рыцари, феодальная знать, во имя военной славы готовая всунуться в опасную авантюру. — Слушай сюда, Гинен… налей мне еще вина и скажи-ка… Вот мне сдается, выходит складно. Строите вы, значит, город. Барбаросса вынужден брать его осадой, чтобы сохранить лицо. Благодаря этому ребята из Лиги получают время, чтобы взять императора за задницу. А зубы он сам себе обломает на вашей осаде. Но ведь при таком раскладе придется идти в расход чуть

ли не всем горожанам? И ты станешь убеждать меня, что у нас в деревне народ добровольно расстанется с нажитым и с кровным и пойдет на голгофу, только чтоб подсобить латникам из Павии? Станешь убеждать меня, будто генуэзцы, о коих известно, что они не дадут дырявого сольда, чтобы вызволить собственную матушку от сарацинских пиратов… будто они добровольно дарят вам и деньги, и работу ради того, чтоб возвелся город, потребный разве что миланским заправилам? — Баудолино, — отвечал ему рассудительный Гини, — эта штука хитрее. Смотри, где тут мы. — Умакнув палец в вино, он стал чертить на столе. — Вот Генуя, да? Здесь вот Тортона, тут Павия, дальше Милан. Богатые города. А что есть Генуя? Генуя есть порт. Значит, Генуя нуждается в сообщении с ломбардскими богатыми городами. Понятно? Пути сообщения проходят по перевалу Лемме, по перевалу Орбы, по долине Бормиды и по ущелью Скривии. Это четыре балки, это четыре горные реки, и все они втекают в Танаро приблизительно возле нас. Кому принадлежит мост через Танаро, тому и открыта дорога, купецкие пути в земли Монферратского маркиона, а оттуда вообще куда хошь. Так вот. Покуда Генуя с Павией еще умели договариваться, эти долины,

по умолчанию, могли оставаться и ничьими, то есть принадлежали то Гави, то Маренго… Это устраивало всех. Но как наслался на нашу голову нынешний император, и Павия его поддержала, и монферратцы его поддержали, вот тогда Геную подпихнули под бока и справа и слева. А примкни она, в свою очередь, к Фридриху, то прощай богатая миланская торговля… Вот почему Генуя заигрывала с Тортоной и с Нови. Это ей давало проходы по долине Скривии и по долине Бормиды. Но потом ты знаешь, как повернулось дело. Император сровнял Тортону с землей, Павия захватила тортонские вотчины до апеннинских отрогов. А мы, то есть наши селения, отошли к императору. И черт разрази, могли ли мы при нашей малости кобениться? Поэтому генуэзцы, чтобы нас перевести на свою сторону, обязаны были сделать такое предложение… обещать нам что-то такое… о чем мы не могли и мечтать… И нам пообещали город. С консулами, с солдатами, с епископом и с городскими стенами. Город, способный взимать мыт и брать ввозное и вывозное. Ты понимаешь, Баудолино, чего сколько принесет один только мост через Танаро! Сидишь спокойно себе тихо у мосточка, берешь с одного денежку, с другого куренка, а с некоторых целого

быка. А что они могут поделать? Хотят проехать, дают монету. Не город, а страна Кукана. Знаешь, какие это были богачи прежде, тортонцы, по сравнению с нашими, с мужичьем из Палеи? Город на этом месте нужен и нам, и ломбардской Лиге, и генуэзцам. Пусть самый захудалый… Но он застрянет, как кость поперек горла, у всех у прочих. Он не позволит хозяйничать в наших краях ни Павии, ни императору, ни маркиону Монферрато…

— Но вдруг нагрянет, неровен час, Барбаросса? И размозжит вас как жаб? Оставит мокрое место?

— Ну-ну. Так уж и размозжит! Главное, что когда нагрянет Барбаросса, город будет уже готов. Потом… Ты знаешь как устроена жизнь… осаждать дело долгое, дорогое… Мы ему уважительно поклонимся, он и удовлетворится. Такие, как Фридрих, больше всего ценят, чтобы их уважали. Удовлетворится и пойдет себе восвояси без разбирательств.

— Ну, а ребята из Лиги вместе с генуэзцами? Гроханули экие деньжищи на строительство вашего города, а вы их спокойно так пошлете к крещеной матери?

— Ну… Все зависит от того, когда Барбаросса

заявится. Ты ведь знаешь, города за три-четыре месяца успевают переменить союзников как нечего делать. Подождем. Кто их знает? Вдруг ко времени осады Лига будет другом императора?

(Государь ты мой Никита, — не находил себе места Баудолино, — лопни глаз, так оно и получилось! Через шесть лет, когда мы этот город штурмовали боем, в армии Фридриха состояли генуэзские бомбардиры! Ты подумай, те же самые генуэзцы, что заправляли его постройкой!) — А коль выйдет не по-нашему, — продолжал говорить Гини, — выдержим осаду. Анафемское семя! Грудь в крестах иль голова в кустах! Давай я лучше тебе покажу город.

Он взял Баудолино за руку и вывел из остерии. Вечер уже овладел землей, и сильно похолодало. От маленькой площади, нетрудно угадать, должна была расходиться тройка улиц. Но пока что имелось только два готовых угла, да и те об одном этаже и под соломенными крышами. Свет на площадь поступал только из нескольких окошек да от двух или трех жаровен, которыми обогревались остатние бродячие торговцы, продолжавшие зазывать: слушайте, спешите, бабы, наступает святая ночь, не оставляйте ваших мужиков без закусок… В самой той точке, на

которую попадал третий, еще не построенный угол, разместился точильщик. Лезвия скрежетали о его колесо, обливаемое водою. Подальше от них лотошница с гороховыми пирогами, стручками, смоквами. За нею пастух в овчинном тулупе торговал творогом из корзинки. Два дома находились один от другого на отдалении, и в этом пустом пространстве мужики рядились из-за кабанчика. Прошли еще несколько шагов. Две девицы развязно подпирали косяк недопостроенных ворот. Выбивая зубами дробь, но не запахивая шальку над выставленными напоказ грудями, одна задела боком Баудолино: «Красивый, пойдем попразднуем сочельник, поиграем в зверюшечку о восьми ногах?»

Свернули за угол. Шерстяник вопил, что самое время набивать тюфяки оческами или хоть соломой, чтоб не морозиться во сне, как иисусик… Вопил и водонос. Так, проходя по переулкам, едва размеченным, не обустроенным, они миновали то лавку столяра, возившего рубанком по грубой плахе, то кузню, где отлетала окалина от наковальни, а то пекарню с пылающею печью, приоткрытой для вытаскивания буханок и напоминавшей своим видом ад. Залетные купцы, подманенные этим новым многообещающим

сбытом, мешались с теми, кто отродясь не выбирался из тутошних чащоб: с угольщиками, с искателями дикого меда и с заготовщиками золы на поташ для портомоен, со сборщиками лыка для веревок, коры для дубления кож и с продавцами заячьих шкурок, да и с отъявленными висельниками, спешившими на поживу в отстраиваемый город, где, глядишь, что-то могло бы и им обломиться. Там отирались убогие, паршивые, слепые, кривые, косые. Людские заторы на улицах города, толпы по церковным праздникам им, конечно, сулили более значительный улов, нежели пустые поселковые тракты.

Небо начинало ронять первые снежные хлопья. Густея, они забелили и землю и новорожденные крыши, которым предстояло доказать, сумеют ли они выдержать вес. Внезапно Баудолино, припомнив собственную находку, собственную хитрость в захваченном Милане, как будто взбредил, и ему привиделось, что три купца, въезжавшие в полукруг крепостных ворот на своих мулах, были Волхвоцарями, в окружении челяди, груженной сосудами и узорочными тканями. А следом за ними, по ту сторону Танаро, ему виделось, как стада овец стекают с курганов в долы, и всхолмия гор серебрятся, и осчастливленные пастыри

играют на дудках и на волынках, а следом караваны восточных верблюдов движутся к городу, ведомые важными арапами в многополосных разноцветно изукрашенных тюрбанах. На всхолмии редкие огоньки затухали, скрывались за промельком учащавшихся хлопьев, и Баудолино примстилось, будто громадная и хвостатая звездина протянулась по небосклону в направлении испускавшего первые крики города.

— Понял ты, в чем смысл города? — втолковывал Гини. — Он ведь уже готов, хотя не готов еще и наполовину! Понял ты, к чему дело идет? Оно идет к совершенно другой жизни. Каждый день видеть новые лица! Для купцов, понимаешь, это грандиозней Небесного Иерусалима. Что до рыцарей, то император не позволял им продавать участки, чтоб не дробить феоды, и они сдыхали с голоду в деревне. А теперь командуют ротами лучников, выезжают верхами на парад, повелевают тут, повелевают там... И не единственно для господ с купцами от этого строительства великая польза. Это истый подарок судьбы и для таких, как твой собственный родитель. Угодий у него негусто, зато есть кой-какая скотина, а в города ходят за скотиной покупщики и платят за скотину настоящей монетой. Теперь начинаем

торговать за монеты, а не в обмен. Сам смекаешь, какая это разница. Менявши курей на кролей, всякий обязан в конце концов этих кроликов съесть, покуда они не состарились и не сдохли. А деньги можно заныкать там, где спишь, они не состарятся и за десять лет. Если повезет, перетаятся даже и от дурных людей в твоем жилище. Кроме того… что получилось в Милане, то получилось и в Лоди, то получилось и в Павии. И может получиться тут! Нам, из простых, из семьи Гини, из Аулари, никто не затыкает больше рот. Нами не командуют разные Гуаско и Тротти. Теперь мы все принимаем решения. Открыта дорога и тем, кто был не знатен. Вот чем прекрасен город. Прекрасен в первую очередь для тех, кто не родился в знати. Для тех, кто согласится и жизнь свою отдать (хоть лучше пусть до этого дело не доходит) ради того, чтоб сыновья могли спокойно говорить: меня по отцу прозывают Гини, а ты, пускай ты и зовешься по отцу Тротти, а вот по-моему, ты дерьмец. Естественно, Никита, дослушав до оных пор, решил узнать у Баудолино, как назывался достойный город. Так вот (Баудолино рассказывал искусно: до нужного момента не открывал удивительное), так вот, город имени не имел. Ну разве что Civitas Nova, что определяло его как

genus, а не как individuum. Выбор имени был связан еще с одною проблемой, с проблемой совсем не маленькой. Требовалось его узаконить. Как обретает законное право на жизнь совершенно новый город, не имеющий истории, не имеющий знати? Видимо, путем имперской инвеституры. Назнаменовывает же император собственной волей рыцарей и баронов. Однако дело шло о городе, рождавшемся вопреки императорской воле! Так что же следовало делать? Баудолино с Гини возвратились в таверну, а там как раз общество было увлечено именно этой темой.

— Если наш город незаконнорожденный, легитимировать его возможно через некий иной закон, не менее крепкий и старинный, чем императорский.

— Где ж найти такой?

— В Constitutum Costantini. Существует донация, которую император Константин предоставил церкви. Церковь получила право управлять своими волостями и областями. Преподнесем же наш город папе. Учитывая, что в настоящий момент пап существует двое, подарим город тому папе, который дружит с Лигой, а именно Александру Третьему. Как мы уже и обещали несколько месяцев тому назад в Лоди, город будет называться

Александрия и входить в папскую область.

— Начнем с того, что в Лоди тебе надлежало держать язык за зубами, поскольку мы еще ничего не решили, — оборвал его Бойди. — Но и не только в этом загвоздка. Имя как имя, не хуже иных. Что мне противно, так это видеть, как мы уродовались, громоздили город, и для чего? Чтобы отдать почему-то папе, у которого их и так множество. Теперь станем платить папе и подушные и прочие подати… Хотели тратить наши денежки, могли бы их отдать и императору.

— Бойди, ну не заводись, как обычно, — утихомиривал его Куттика. — Во-первых, императору город не нужен даже если мы его ему подарим… а если бы он был императору нужен, то строить его не следовало! Во-вторых, одно дело недоплачивать подушные императору, который за это наезжает на тебя верховыми и пешими и крошит тебя на куски, как это было сделано с Миланом… И совсем другое дело — недоплачивать подушные папе, он-то от нас за тыщу верст и кругом в неприятностях. Вряд ли он нашлет на нас военную управу, выбивать свою пару грошей.

— В-третьих, — вступил тогда в беседу Баудолино, — если позволите, я вообще-то обучался в Париже и по части записей и рескриптов имею

кой-какой опыт… Даренье дарению рознь! Изготовьте документ о том, что закладывается город Александрия в честь теперешнего папы Александра и посвящается, ну предположим, Петру. В доказательство необходимо построить собор Святого Петра на аллодиальном участке, то есть свободном от ленных повинностей. Построить на добровольные пожертвования граждан вашего города. Когда кончите строить, подарите этот собор папе, со всеми грамотами, которые будут составлены вашими нотариусами в самых достоученых и торжественных выражениях. Все это как следует приправьте верноподданническими клятвами, заверениями в добропочтении, в общем, по полной программе. Отвезите пергамент папе и поимейте все надлежащие благословения. Кому бы в будущем ни засвербело проверять как следует документы, любой удостоверится, что в конечном итоге вы подарили только собор, а вовсе даже не целый построенный город! Но хотел бы я посмотреть, сумеет ли папа приехать сюда, забрать собор и перевезти его с собою на свою квартиру в Рим!

— По-моему, толково, — сказал Оберто, и все закивали в знак согласия. — Будем делать, как советует Баудолино, который изрядно ловок

и, я надеюсь, останется тут с нами, давать нам добрые советы, если уж он такой распроученый из Парижа.

И тут наступил черед Баудолино выпутываться из самого щекотливого положения за весь этот необычный день. То есть открыть, и присутствующие не имели никакого права осудить его, поелику сами до вчерашнего дня поддерживали императора, что он работает министериалом при Фридрихе, к которому вдобавок питает сыновнюю привязанность, и рассказать, как повернулась его жизнь в протекшие тринадцать лет, и такие диковины, что Гальяудо только покрякивал: «Ни в жизнь не поверил бы!» И: «Поди ж ты!» И: «Подумать, отъявленный голошмыга, потаскун, баклушник, подфартило же проходимцу!»

— Нет худа без добра, — провозгласил Бойди. — Александрия не достроена еще, а уже имеется наш человек при главной имперской управе! Знаешь, Баудолино, негоже тебе предавать императора, которого ты вдобавок так сильно обожаешь, а он обожает тебя. Но, состоя при императоре, ты будешь радеть за нашу часть во всяком случае, когда возникает нужда. Это твоя родная часть, твое отечество. И не в упрек, если

ты потщишься защищать ее. В пределах честной службы, знамое дело.

— Однако нынче вечером поди-ка проведай родимую матушку и заночуй во Фраскете, — добавил деликатно Оберто. — А завтра поезжай себе. Не надо смотреть, как размечены улицы и чем укрепляются стены. Мы убеждены, что из любви к природному своему отцу, узнав, что все мы оказались в большой опасности, ты известишь нас. Но если ты настолько и прям и честен, тем паче вероятно, что из любви к приемному родителю ты и его известишь о нашей, например, какой-то очень уж бедственной для него ухватке. Поэтому чем меньше тебе ведомо, тем лучше.

— Вот-вот, сын мой, — поддакнул Гальяудо, — хоть что-нибудь порядочное сотвори, за все обиды, что ты навлек на мою голову. Мне уходить нельзя, сам понимаешь, тут говорят о делах умных. Коль так, хоть ты посиди с матерью, пусть с ней хоть кто-то побудет в рождественскую ночь. А твоя-то матерь, авось, на радостях и не заметит, что я задержался. Так что ступай. И вот что. Заодно, пожалуй, давай я тебя благословлю. Кто знает, когда опять нас сведет судьба.

— Ну и дела, — сказал на все это Баудолино. — Чуть только завелся у меня свой родной город, и

вот меня уже выгнали оттуда, и все за один день! Разъядрени моя душа, лихобой в печенки! Да понимаете ли вы, что если я снова захочу увидеть отца родного, то мне придется брать его измором со всеми с горожанами?

В точности это, разъяснил Баудолино Никите, и состоялось позже. С другой стороны, иного решения для ситуации не существовало. Из чего видно, насколько жесткие стояли времена.

— Ну и?… — спросил Никита.

— Ну и я двинулся к родной хате. Дорога была в снегу, глубоком, выше колена. Пурга такая, что вышибала зенки из глазниц и выхлестывала дух из брюха. Огни Нового Города моментально померкли, метелило сверху, метелило снизу, и я не разбирал, где плетусь. Я вроде по старой памяти должен был знать тамошние тропы. Но какие тропы, когда под ногами все было завалено и неизвестно, где болото, где кряж. Вдобавок под стройку, надо думать, они свели целые рощи. И я не находил знакомых деревьев, которыми прежде метился путь. Я заплутал, ну в точности как император Фридрих в ту памятную ночь, когда мы с ним впервые повстречались. Да хуже: он-то блукал по туману, а я в снегу. Будь туман,

я бы еще, может, хоть как-то дорогу нашел. Поздравляю, Баудолино, сказал я, ты заблудился в трех соснах. Права была, видать, матушка, когда говорила: грамотные дурее простых. Что же мне теперь делать, горемыке? Буду жить в болоте, съем мулицу. Хотя какое там жить! Да тут к утру, когда поднимется солнце, растает сугроб, тут-то я и обнаружусь, отдубленный, как заячья шкурка, которую вывесили проморозить на суровую февральскую ночь.

Так как Баудолино был вполне жив и вел рассказ, выходило, что он не погиб, а спасся, но спасся благодаря чуду. Расставаясь с надеждой, он задрал лицо и закатил глаза к небу и вдруг на том небе снова высветлилась давешняя звезда, бледная, однако явно видимая, и он пошел на звезду, и было ему невдомек, что она сияет на небе лишь потому, что самого его угораздило завалиться в глубокую лощину, а чем выше он вылезал, чем вернее он вылезал из ямы, тем крупнее, ярче и ближе разгорался перед ним огонь. Наконец он понял, что звездою показался ему свет очага, разложенного в каких-то яслях, под навесом, покрывающим крестьянский скотный двор. В том дворе, в открытом хлеву стояли осел и корова, осел испуганно кричал, а посередине

какая-то женщина, засунув руки по локти между ног овцы, помогала ей объягниться, а овца голосила во всю глотку.

Тогда он, подождавши на пороге, пока ягненок полностью не выйдет, и отшвырнув осла в сторону ногой, кинулся к женщине и зарыл свою голову ей в колени, с криком: — Благословенная матушка! — Та же, сначала не понимая ничего, повернула его лицо к огню, заглянула в глаза и заплакала, продолжая трепать ему волосы рукою, выговаривая между всхлипываньями: — О Господи, милостивая воля. Два приплода за одну ночь. То родилось, а то прибрело в родимое стойло… ой, где только носили тебя черти столько лет… Вот мне посылает Господь и Рождество и Пасху. Не выдержу я такой радости, Господи. Держите меня, помираю. Ладно тебе, Баудолино, поднеси воду, вон стоит котел на огне. Я как раз нагрела воду, чтоб помыть эту тварь. Да ты же весь извозился в крови. Откуда у тебя такое платье! Никак господское! Неровен час, ты украл его, шаромыжник?

Баудолино казалось, что это поют ангелы.

14
Баудолино отцовой коровой спасает Александрию

— И чтобы снова перевидаться с отцом, ты его взял измором, — завел опять разговор Никита под вечер, после того как они угостились фигурным, в форме цветов, растений, вещиц, печеньем из дрожжевого теста.

— Примерно так. Но не сразу. Через шесть лет. Когда на моих глазах народился город, я приехал ко двору Фридриха и рассказал ему, что и как видел. Не дослушав, он уже исходил злобой. Он рычал, что города родятся лишь по манию императора, а какой родится без мания, быть ему стерту с лица земли еще до завершения строительства. Иначе всякий нагородит что хочет и как хочет, в поношение nomen imperii. Откричав, император угомонился, но я знал его характер: это не означало, что простил. Просто после этого шесть лет он был плотно занят другими заботами. Я выполнял разнообразные придворные комиссии. Мне было поручено, в частности, узнавать настроения александрийцев. Поэтому я дважды

ездил от императора в Александрию, чтобы разведать, намереваются ли мои сограждане идти на уступки. Они на уступки были вполне согласны. Беда лишь, что Фридрих от них не хотел уступок. Он хотел одного: чтоб город исчез, как его не бывало на земле прежде. Ну а александрийцы в ответ… Стесняюсь повторить тебе те слова, которые они передавали через меня императору… На меня же разъезды действовали как спасение, чтобы как можно меньше присутствовать при дворе, меньше видеться с императрицей, меньше страдать, выполняя обет…

— Который ты соблюл, — сказал Никита почти утвердительно.

— Который я соблюл навсегда. Сударь Никита, пусть я поддельщик пергаментных грамот, но честью не поступлюсь. Но и Беатриса мне как могла помогала. Материнство преобразило ее. По крайней мере, она умела выглядеть преображенной. Я так и не смог уяснить, какие чувства она ко мне питала. Я мучился и все же был благодарен ей за помощь, которую она оказывала, чтобы мне удавалось вести себя достойно.

Баудолино перевалило за тридцать. Послание пресвитера Иоанна покоилось в памяти, как студенческое проказничанье, экзерсис эписто-

лярной риторики, jocus, ludibrium.[20] Но стоило ему встретиться с Поэтом… Тот, когда умер Рейнальд, лишился покровителя, а известно, что в таких случаях происходит во мнении света: человек перестает хотя бы что-либо значить, и начинают поговаривать, что и стихи-то, по существу, стоили немногого. Снедаемый злобой и унижением, он несколько лет прозябал в Павии в великой распущенности, предаваясь единственному, что у него выходило отлично: напивался и читал вслух сочинения Баудолино (и среди прочих то пророческое стихотворение, где с сомнением вопрошалось: «Quis Papie demorans castus habeatur» — «Сыщутся в Павии ли чистоты примеры?»[21]). Баудолино перетащил его из Павии заново ко двору, держал при себе, там Поэт снова закрасовался членом Фридрихова ареопага. Умер его отец, получилось кой-какое наследство, и теперь даже враги приснопамятного Рейнальда уже считали его не параситом, а военным министериалом, «miles», и не более завзятым винопийцей, чем принято было быть среди прочих.

---

[20] Примечания: 20
игра, шутка *(лат.).*

[21] Примечания: 21
Изм. перев. с лат. М. Л. Гаспарова

Перебирая приметы прежнего житья, они вспомнили о письме и осыпали друг друга комплиментами по поводу былого остроумства. Игра игрой, да все-таки оставлять ее было жалко. Баудолино временами грустил по милому государству, которого никогда не видел, и, бывало, мысленно обкатывал на языке выражения и фразы, совершенствуя их.

— Ну, я никак не мог отделаться от мыслей о письме Иоанна… сие подтверждено и тем, что я уговорил Фридриха взять ко двору моих парижских товарищей. Всю ораву. Нашел предлог: дескать, нужно для императорской канцелярии иметь людей, хорошо знающих дальние страны, языки и обычаи. На самом деле, поскольку Фридрих de facto возвел меня в ранг поверенного для особых поручений, я устраивал себе малый двор. При мне состояли Поэт, Абдул, Борон, Гийот и рабби Соломон.

— Не хочешь же ты сказать, будто император принял ко двору иудея?

— А что такого? Его не приглашали на праздники, он не посещал мессу с императором и архиепископами. У князей всей Европы, даже и у папы состоят иудеи в медиках. Почему бы не завести еврея, сведущего в жизни испанских мав-

ров и в обычаях восточных земель? Еще добавлю для твоего сведения, что германские принцепсы очень толерантны к евреям. Толерантнее других христианских кесарей. Как мне рассказывал Оттон, когда Эдессу захватили неверные и христианские князи в большинстве взяли на рамена крест, следуя проповеди Бернарда Клервоского (в тот раз и Фридрих принял со всеми крест), некий монах Радольф подбил паломников уничтожать всех евреев в городах, находившихся на пути. Это была кровавая бойня. И только евреи, прибегшие под защиту германского императора, сумели спасти свою жизнь: он поселил их в городе Нюрнберге.

В общем, Баудолино удалось снова сплотить компанию. Честно говоря, при том дворе забот у компании почитай что не было. Соломон, въезжая с Фридрихом в каждый новый город, наводил мосты к своим единоверцам, которые обнаруживались повсеместно (как репейники, язвительно замечал Поэт). Абдул убедился с радостью, что провансальские звуки его песен находят лучший отклик в Италии, чем в Париже. Борон с Гийотом изнуряли друг друга диалектическими голопрениями. Борон защищал теорию, что несуществование пустоты есть решающий

довод в пользу единственности Братины, а Гийот упирался на своем, что-де Братина представляет собой свалившийся с неба камень, lapis ex coelis, и по его разумению, вполне могла прилететь из иного мира, преодолев пространства пустот.

Прощая друг другу несущественные слабости, они часто объединялись потолковать о письме пресвитера. Друзья подзуживали Баудолино: отчего он не втравит Фридриха в дальнее путешествие, которое ими так замечательно подготовлено? Всякий раз Баудолино отговаривался, что в последнее время у Фридриха чересчур много серьезных проблем как в Ломбардии, так и в Германии. Поэт как-то взял и брякнул, что, может быть, на разыскание царства имеет смысл отправляться без Фридриха, собственной силой, не вынуждая императора к решению: — Императору, скажу я, от этого похода не столь уж бесспорная польза. Предположим, что он дойдет до уделов Иоанна, но не сумеет с Иоанном договориться. Возвращаться несолоно хлебавши? Выйдет, мы подсуропили ему вред вместо пользы. А поезжай мы своим почином, как бы дело ни пошло, но из богатого и чудесно изобильного края что-нибудь хорошее привезем…

— Верно, — вторил ему Абдул. — Оставим коле-

бания, уедем, отправимся в край дальний…

— Эх, государь Никита, сознаюсь, я очень приуныл, увидев, что всем им приходится по вкусу идея Поэта. Вот что меня гнело. Борон с Гийотом искали обиталище Иоанна, чтоб завладеть Братиной. Они рассчитывали поиметь от этого славу и власть в северных государствах, где этот предмет искали многие. Рабби Соломон мечтал наконец обнаружить свои потерянные колена, после чего он сделался бы великим и высокочтимым не только среди раввинов Испании, но и средь всего Израилева потомства. Об Абдуле ясно было одно: бог весть сколько времени назад он отождествил владения Иоанна с местожительством своей зазнобы, и за это время, возрастая в годах и опыте, он затяготился дальностью, возжелал, с благословения божества любовников, дотронуться до своей принцессы хоть пальцем… А Поэт… кто поймет, что он там себе вымечтал в павийский период! Ныне, располагая собственными средствами, он, похоже, собирался покорять царствие Иоанна не для Фридриха, а для себя лично. Вот, теперь тебе понятно, по какой причине, раздраженный, я в течение нескольких лет ничего не говорил Фридриху о том царстве. Ведь оно задумывалось как игра, мыслил я, и пускай бы игрой оставалось, не

подвластное алчности тех, кто не умеет ценить мистическое величие догадки. Таким образом письмо пресвитера превратилось у меня в голове будто в мой собственный сказочный сон, в который мне никого не хотелось впускать. Я спасался этим сном от мучений несчастливой любви. В будущем, полагал я, мне удастся забыть любовь… когда я повлекусь в дивное странствие к Иоанну… Но давай, однако, возвратимся к ситуации в Ломбардии.

В год рождения Александрии Фридрих грустно сказал, что не хватало лишь любимой Павии в сомкнутых рядах его врагов. Он как в воду глядел: прошло менее двух лет, и Павия сделалась частью антиимператорского заговора. Мощный удар для Фридриха. Он ответил на удар не сразу. Миновало еще несколько лет, крамола в Италии усугубилась, император принял решение употребить силу на местах, был назначен поход, и стало понятно, что основной мишенью намечена Александрия.

— Ты меня извини, — перебил Никита. — Какой поход это был? Третий?

— Четвертый… Нет, погоди… Наверно, пятый. Походы были разные. Некоторые длились, напри-

мер, года по четыре, как в тот раз, когда осаждали Крему или когда громили Милан. А между Кремой и Миланом возвращался ли он в Италию? Не помню. Он в Италии бывал чаще, нежели у себя дома. Хотя вопрос, что считать его домом. Неустанно путешествуя, я подметил, император чувствовал себя хорошо только в близости рек; великолепный пловец, он не боялся ни холодной, ни бурной стихии, ни водоворотов. Он бросался, плавал, как рыба, будто прямо в воде родился… Ладно, о чем это мы? В тот раз, намечая поход, император был в такой ярости, что стало ясно: будет сильная война. С ним же выступили монферратский маркион, Альба, Акви, Павия и Комо…

— Ты же только что сказал: Павия примкнула к антиимператорской Лиге…

— К Лиге? А, перед тем, действительно! Но за это время Павия возвратилась к императору.

— Фу ты господи. У нас, конечно, императоры выкалывают друг другу очи, но пока их очи целы, всем известно, за кого быть.

— Это просто у вас фантазии не хватает… Бог с ним со всем. В сентябре указанного года Фридрих перешел через Мончинизио и стал под Сузой. Он прекрасно помнил, какой афронт потерпел от них семь лет назад, и предал город огню и желе-

зу. Город Асти сложил оружие сразу, пропустил армию, и, не теряя времени, император направился во Фраскету, стал на берегу Бормиды, а свои войска рассредоточил по всей области, захватив и оба берега Танаро. Пробил час квитаться с Александрией. Я получал от Поэта письма о ходе экспедиции: Фридрих, меча громы и молнии, был весь как воплощение Божьего суда.

— Как, тебя не было с Фридрихом?

— Видишь теперь, до чего он был в сущности добр. Он понимал, как меня удручит зрелище казни людей из моей земли. Поэтому он занимал меня другими делами, держал на отдалении, покуда Роборето окончательно не превратится в горстку праха. Роборето! Он не признавал ни имени Александрия, ни имени Civitas Nova, поскольку новый город без его соизволения не мог появиться. Он имел дело просто со старым сельбищем Роборето. Ну разве что чуть-чуть разросшимся.

Это в начале ноября. Но весь ноябрь на той равнине был сплошной ливень. Дождь шел, дождь не переставал, засеянные поля размокли, будто болота. Монферратский маркиз уверял было императора, что новопостроенные стены — земляные и что за ними засели недобитки,

готовые уделаться от одного императорского окрика. Недобитки, однако, оказались дошлыми защитниками, а стены — такими крепкими, что и кошки и тараны имперцев переломали себе рога, пытаясь просадить их. Кони и ратники оскальзывались на разжиженной грязи. Осажденные подумали-подумали и своротили русло реки Бормида, вследствие чего кавалерия алеманов ввязла в перегной по самое горло.

Александрийцы вошли во вкус и запустили военную машину, которая уже применялась бойцами в Креме. Это был деревянный сруб, намертво пригнанный к эскарпу. Поверх наружной куртины от него отходил широкий и очень длинный плоский трап, слегка наклоненный книзу. По трапу осажденные принялись скатывать бочки, набитые щепой, пропитанные маслом, салом, жиром и смолою. Перед выкатом бочки поджигали; те весело вылетали на голову осадчикам и грохались на имперские стенобитные машины или на землю, причем на земле они продолжали вращаться, подобно огненным шарам, покуда не находили себе упор в виде машины или скарба и не поджигали этот упор.

На этой стадии главным занятием осадчиков стал поднос воды для тушения пожаров. Воды,

конечно, им хватало, если учесть все местные речки и болота, а также всю влагу, которая падала на них с неба. Но если всем воинам таскать воду, кому тогда убивать врагов?

Император отвел всю зиму на поправку войска. Да и вообще нелегко осаждать крепости, шлепаясь на льду или проваливаясь в сугробы. К несчастью, зима оказалась долгой, февраль тоже был невыносимо морозен, армия падала духом, император тем паче. Тот самый Фридрих, который в свое время растоптал и Тортону, и Крему, и даже Милан, древнейшие, боеспособнейшие города, пасовал перед кучкой развалюх, которые и городом назвать-то неприлично, с их обитателями, которые бог знает откуда сбрелись и отчего так держатся за свои бастионы… вдобавок, до вчерашнего дня не имев с этими бастионами никакой общности…

Баудолино до тех пор околачивался подальше, чтобы не видеть пагубы близких и родных. Теперь же он решил ехать прямо в ставку, опасаясь, как бы родные и близкие не загубили императора.

И вот он снова озирал долину, окладывавшую город, при рождении которого ему выпало присутствовать. Город щетинился древками, на древках веяли стяги (белое поле, алый крест):

новорожденная Александрия, подбадривая сама себя, выставляла напоказ старинные благородные гербовые знаки. Перед стенами, как грибы, торчали свиньи, катапульты, баллисты, и упряжки лошадей вкупе с пешими толкачами подвигали к крепости три колесных замка, на верху которых ратники кулаками грозили городу, с выражением: «Ужо всем вам!!»

Среди верховых, сопровождавших подвоз колесных замков, был Поэт, он гарцевал со спесивым видом. — Кто эти головорезы на верху башен? — спросил Баудолино. — Генуэзские бомбардиры, — отвечал Поэт. — Самые грозные из всех осадчиков, любители окружать по правилам искусства.

— Генуэзские? — изумился Баудолино. — Да они же строили город! — Поэт расхохотался и ответил, что в те четыре-пять месяцев, что приходится тут торчать, переметчиков-городов он перевидал без счету. Тортонцы в октябре еще поддерживали города-коммуны. Потом им показалось, что Александрия чересчур ретиво противостоит войску императора, а следовательно, может опасно усилиться. Поэтому в Тортоне сейчас шатание и разброд, большинство городских властей настаивает на том, что следует перейти на сторону

Фридриха. Кремона во время сдачи Милана поддерживала императора, в последующий период присоединилась к антиимперской Лиге, а сейчас в силу необъяснимых причин снова заигрывает с имперцами. — А как дела с осадой?

— Плохи дела с осадой. То ли ребята там внутри действительно здорово дерутся, то ли мы разучились атаковать. По-моему, на этот раз Фридрих понабрал каких-то квелых наемников. Ненадежные люди, раскисают от каждой трудности. За зиму не стало половины. И поудирали, вообрази, просто от холода, хотя сами-то фламандцы. Поди не из Африки, о коей пишут на географических картах «hie sunt leones».[22] Кроме того… и в нашем лагере люди мрут, как мухи, от тысячи болезней, и у осажденных положение не краше. Надо думать, у них кончаются припасы.

Баудолино наконец явился к императору. — Я приехал, отец, — сказал он, — потому что знаю эти места и могу тебе пригодиться.

— Да, — ответил Барбаросса. — Но ты знаешь этих людей и не захочешь им вредить.

— Однако и ты знаешь меня. Не доверяй моему сердцу, но речам-то моим ты можешь поверить.

---

[22] Примечания: 22

Здесь львы *(лат)* — формула, предупреждающая о запретности места.

Я не стану вредить моим землякам, но не обману и тебя.

— Еще как обманешь! Вот вредить, это правда, ты и мне не станешь. А обмануть — о-го-го! Ну а я притворюсь, будто верю. Ибо твои обманы всегда во имя добра.

— Неотесанный, в сущности, человек, — поделился Баудолино с Никитой, — но способный на такую тонкость мысли… Представляешь мое настроение? Я не хотел дать ему уничтожить город. Но я любил Фридриха и хотел, чтобы Фридрих увенчался славой.

— Стоило только убедить его, — ответил Никита, — что славой увенчается он как раз в том случае, если пощадит город.

— Благослови тебя Бог, сударь Никита, ты читаешь в моих тогдашних мыслях… Именно с этой идеей я и носился от лагеря к крепости, от крепости к лагерю. Я обсудил с Фридрихом, и мы решили: ясно, что мне необходимо пустить в ход мои связи с местными. Учредить негласное посредничество. Но, конечно, ясно было это не всем. И отнюдь не всем я казался фигурой вне подозрения. Кое-кто при дворе завидовал моей близости к императору. Например, Шпейерский епископ и при нем некий граф Дитпольд, про-

званный «епископшей». Может, только за то, что был светловолос и тонкокож, как девица. Неизвестно, правдой ли были сплетни о них. Тем более что Дитпольд постоянно упоминал о какой-то своей Текле, остававшейся в северном краю. Кто их там разберет… Он был красавчик. Красавчик и, к счастию, дурачок. Именно эти двое, прямо там, в полевых условиях, прицепили ко мне шпионов и наушничали императору, что меня ночью выследили около крепостных стен и что я переговаривался с осажденными. Император, слава Господу, посылал их по известному адресу, потому что знал, что я под крепостными стенами в основном торчу днем, а вовсе даже не ночью.

Да, Баудолино торчал под стенами, а иногда и ходил за стены. В первый раз это было рискованно. Он галопом подлетел к воротам и сейчас же услышал посвист посланного камня: знак, что в городе начинали экономить стрелы и пускали в ход рогатки, орудие, со времен Давида зарекомендовавшее себя как удивительно действенное и совершенно не затратное. Баудолино пришлось орать на самом коренном фраскетском диалекте и разводить безоружными руками, и счастье еще, что он попался на глаза Тротти.

— Эй, Баудолино, — проорал ему в ответ Тротти

сверху. — Ты к нам насовсем, что ли?

— Не разыгрывай дурочку, Тротти, знаешь ведь, я из другой компании. Но я и не с худыми намерениями. Дай войти поздороваться с родителем. Пресвятая Дева, не расскажу ни словечка о том, что увижу.

— Поверим. Откройте ворота. Слышите вы там, внизу, или осоловели головами? Это наш друг. Почти друг. Он из тех ихних, которые наши. То есть из наших, которые у них. В общем, откроете вы ворота или нет? Или я вам повышибаю все зубы!

— Ладно, ладно, — отозвались очумелые вояки. — Где нам разбирать, какие наши и какие ихние. Вчера выпускали одного, вроде из наших, но переодет был павийцем…

— Заткни рот, тупица! — взревел Тротти. — Хаха, — веселился входящий Баудолино. — Запустили, значит, лазутчика в наш несчастный лагерь… Ладно, сказал же — ничего не вижу, ничего не слышу.

Дальше мы видим, как Баудолино опять обнимает своего родителя Гальяудо — тот все такой же жилистый, поджарый, и даже стал жилистее, видно, от недоеда, — возле колодца на площади у стены; и как Баудолино встречается с Гини, со Скаккабароцци прямо на улице

у собора; и как он потом в остерии спрашивает известий о Скварчафики, и все остальные плачут и объясняют ему, что Скварчафики получил в глотку генуэзский дрот в самом конце последнего боя; со всеми плачет и Баудолино, который никогда не любил войну, а в последнее время и того меньше, и у него на сердце неспокойно за престарелого отца; Баудолино на центральной площади, статной, широкой, светлой, залитой мартовским солнцем, смотрит, как даже дети подносят корзины с камнями на стены для солдат-оборонщиков, подтаскивают воду часовым, и радуется на неукротимый и стойкий дух всех защитников; Баудолино недоумевает, откуда взялось столько народу в Александрии, добро бы на свадьбу, а товарищи объясняют ему, что в этом-то и несчастье, потому что от страха перед имперскими солдатами сюда сошлись орды беженцев из всех окрестных деревень, и в городе, безусловно, набралось немало работников, но и немало едоков; Баудолино любуется новым кафедральным собором, не слишком крупным, но удачно сработанным, и приговаривает: черт побери, да вы тут и тимпан привесили, и горбуна посадили на троне, а другие хором ему: хо-хо, будто желая сказать: мы еще не на то горазды, од-

нако, извини, это не горбун, а наш Иисус Христос Спаситель, может, не очень похоже вышло, но прийти бы Фридриху твоему на месяц позднее, мы бы влепили в тимпан еще и Страшный суд со всеми старцами Апокалипсиса; Баудолино просит угоститься хоть стаканчиком праздникового, и все смотрят на него, будто он прибыл из лагеря императора Фридриха; разве не ясно, что любое вино, как праздниковое, так и буднишнее, выбрано до капли, это ведь лекарство для раненых воинов, успокоение для сирот, когда они теряют родственников; Баудолино замечает, какие истощенные у всех кругом лица, и спрашивает, на сколько времени у них может еще хватить сил держаться; те вместо ответа пожимают плечами и заводят глаза, имея в виду: а это лишь небесам известно; вот Баудолино встречается с Ансельмом Медиком, командующим ста пятьюдесятью пьячентинскими латниками, пришедшими в Новый Город для усиления его обороны, каковое проявление союзничества восхищает Баудолино; на это товарищи — Гуаско, Тротти, Бойди и Оберто дель Форо — растолковывают ему, что Ансельм Медик действительно в военном деле великий дока, но только пьячентинцы одни и пришли, Лига подзуживала нас взбунтоваться,

но потом повернулась к нам полной задницей, итальянские коммуны — лучше не спрашивай, если мы живыми выйдем из передряги, на всю жизнь, на веки веков ничего и никому за спасение не обязаны, пускай бывшие союзники сами разбираются с императором, спасибо, конечно, им всем наперед за науку.

— А генуэзцы-то как оказались в противном лагере, если сами помогали вам поднять город, даже давали деньги?

— Генуэзцы своего не упустят, за них не волнуйся. Они сегодня при императоре, потому что так им выгодней. Им известно, что город, уж если он создан, никуда не девается, даже когда его с землей сровняют, например, Лоди или Милан. Генуэзцы выждут сколько надо, а потом подберут, что останется от этого города, и с пользой для себя употребят. Например, для контроля за торговлей и за дорогами. Может, они еще и денег приплатят сколько-то, чтобы им дали подобрать разрушенный город. В любом случае деньги к денежкам льнут. И где можно заработать, там генуэзцы и оказываются.

— Баудолино, — обратился к нему Гини, — ты только прибыл, ты не можешь сравнивать, какие были в октябре атаки, а какие пошли в последнее

время. Они взялись молотить как следует, честное слово. Мало было генуэзских бомбардиров, так еще взялись на нашу задницу эти богемцы, белые усы, если уж прицепят лестницу и залезут, то чтоб отбросить их, приходится помахать руками… Правда, я все-таки думаю, что ихних перегибло больше, чем наших. Потому что хотя они с черепахами и с кошками, но кирпичей мы им на голову накидали, не покажется мало. Но в общем, грубо говоря, приходится туго, и жрать у нас почитай что нечего.

— Мы получили сообщение, — продолжил Тротти, — что армии Лиги приведены в движение и забираются императору за спину. Ты не слышал?

— Мы тоже что-то об этом слышали, по каковой причине Фридрих сильно торопится принудить вас к сдаче. Вы… — и Баудолино сделал хитрое лицо, показывая, что сам не верит в успех формальной пропозиции, — соглашаетесь сдать город победителю аль, часом, нет?

— Да какое соглашаемся! Здесь у каждого лоб еще тверже, чем хвост. А хвост стоит морковкой.

Так-то несколько недель, после каждой заварушки, Баудолино наведывался домой, в основном чтоб вести грустный счет убитых (как,

еще и Паницца? Эх, Паницца, замечательный был парень), а потом выезжал обратно и докладывал императору Фридриху, что о сдаче нет и речи. Фридрих больше не лютовал, только спрашивал: «Ну, а я что могу сделать?» Было ясно, что он совершенно не рад, попав в эту переделку. Войско разбалтывалось, крестьяне прятали зерно от солдат, отгоняли в леса скотину, или хуже того, в болота, невозможно было шагу ступить ни на восток, ни на север. Там погуливали передовые отряды армий Лиги. Коротко говоря, не то чтобы эти мужланы воевали лучше кремасков, но когда не везет, то не везет. Однако снять осаду было невозможно, не потеряв лицо отныне и навеки.

О спасении лица Баудолино помнил еще из старых времен, по намеку, который слышал от императора в день, когда Баудолино предстал перед ним со своим детским пророчеством, вынудившим тортонцев к сдаче. Эх, если бы вот… небесное бы знамение… Самое завалящее, лишь бы оповестить всех urbi et orbi, что само небо потребовало поворота армии к миру… Уж он бы не упустил случая… только бы знамение…

Как-то раз Баудолино говорил с осажденными и услышал от Гальяудо: — Если ты такой умный и читал книжки, где все сказано по уму, почему

не придумаешь, как устроить, чтобы и нам и вам идти по домам? Мы уж тут поубивали всех коров, кроме одной нашей последней! Матерь твоя сидит взаперти в городе, бедолага, задыхается!

Вот тогда Баудолино и сообразил одну новую возможность и мгновенно спросил: а была ли построена та фальшивая галерея, о которой говорили с Тротти несколькими годами прежде? Та, в которую врагам предлагалось поверить и зайти в центр города, а в центре попасть в ловушку? — Как же нет, — ответствовал Тротти. — Покажу, влезай на стену. Вон прямо за валом. Начало подкопа там в кустах. На глаз, двести шагов от стен. Вход под межевым камнем, который, вид у него такой, будто торчит там тыщу лет, а между тем мы его недавно прикатили из имения дель Форо. А выход из подкопа вот здесь, за этою решеткой, откуда можно видеть только кабак и ничего больше.

— Противники по одному высовываются, и вы их по одному кончаете.

— Да незадача-то… подземный ход такой узкий. Чтоб пропустить всех осадчиков, потребуется не один день… А неприятели чем посылать всю армию, отправят разведывательный отряд, с заданием откупорить изнутри ворота. Ну… не го-

воря уж о том, что непонятно, как нам оповестить имперцев про подкоп… Но даже не говоря об этом, сам посуди, забить десяток, ну два десятка бедолаг — стоило ли разводить этакую работу? Бессмысленное, да и злое дело.

— Конечно, если их вправду убивать. Но вот если они останутся целы и увидят такую картину, которую я сейчас будто вижу наяву… Представьте! Вылезая поодиночке, слышат вдруг мелодии райских труб и при десятке факелов появляется из-за угла чистейший старец с великой белой бородой и в белом исподнем, и на белой лошади, имея белый крест в руке, и возвещает: «О пробудитесь! О пробудитесь! Тревога!» Тут как раз, пока лазутчики будут стоять рты разиня, выскочат наши из всех домов и с крыш, как ты в свое время описывал. Крутят руки лазутчикам, бухаются оземь, поют, что старец, явившийся горожанам, это святой Петр, покровитель и небесный заступник города, а потом запихивают имперцев заново под землю и говорят: благодарите святого, что мы вам сохранили вашенские жизни, ступайте же и расскажите в лагере Барбароссы, что Новый Город папы Александра находится под личным наблюдением Петра святого…

— Так Барбаросса и поверит в эту ахинею.

— Он не поверит. Не такой дурак. Но именно потому что не дурак, он притворится, будто верит. Он хочет кончить эту войну не менее чем вы.

— Ну предположим. Кто наведет их на подкоп?

— Я.

— И найдется мудрец, который на это клюнет?

— Я уже нашел его. Он настолько мудроват, что обязательно клюнет, и настолько дерьмоват, что его не жалко. Хотя, чур, мы договорились, что никого не убиваем!

Баудолино имел в виду надутого графа Дитпольда. Чтоб привести Дитпольда в действие, достаточно было ему намекнуть, что есть шанс подгадить Баудолино. Когда Дитпольд узнает про подземный ход, да еще удостоверится, что Баудолино хранит ход в тайне… А откуда узнает Дитпольд? Да от собственных шпионов, которых он приставил к Баудолино.

Темною ночью, возвращаясь в императорский лагерь, Баудолино сначала выехал на луг, потом въехал в рощу, стал как вкопанный, немного выждал, развернул коня и успел заметить при свете луны фигуру, кравшуюся почти ползком по чистому полю. Это был приставленный к нему Дитпольдом соглядатай. Баудолино за деревом дождался, пока шпион почти что подполз к нему

вплотную, выскочил, упер тому меч в грудь и сказал по-фламандски заикающемуся от ужаса: — Знаю тебя. Ты из брабантского гарнизона. Зачем убежал из лагеря? Отвечай министериалу императора!

Тот заблеял что-то о женщинах, вышло даже почти убедительно. — Хорошо, — заключил Баудолино. — В любом случае ты попался мне кстати. Идем вместе. Требуется охранник. Ты прикроешь меня с тылу. Сгодишься на случай отхода.

Ну, фламандец, понятно, возликовал. Его не только не рассекретили, но и пригласили идти рука об руку прямо на дело! Баудолино направлялся к кустам, которые с крепости указывал Тротти. Дальше в общем без всякого притворства ему пришлось немало провозиться, отыскивая межевой знак. Обдирая руки о колючки, он сердито бормотал что-то насчет доноса, полученного от одного спроведчика. Наконец нашелся валун, который, по виду судя, рос там от сотворения мира вместе с кустарником. Баудолино пошарил вокруг валуна, выдрал траву из земли, и в конце концов откопалась решетка. Вдвоем с брабантцем они своротили колосник. Обнаружили три ступеньки. — Вот что, слушай, — приказал Баудолино брабантцу. — Полезай вниз. Иди вперед.

Иди до конца подземного хода. Там, где кончится ход, будут огни. Гляди в оба, запоминай крепко. Потом все расскажешь, что видел. Я тут постою, тебя прикрою.

На взгляд соглядатая, получалось натурально, хотя и нерадостно для него, что важный господин прежде зазвал его прикрывать тыл, а потом сам предпочел стоять на стреме, а его отправлял рисковать башкой. Но поскольку меч в руке Баудолино подрагивал очень убедительно (видно, готовый для прикрытия тыла, но ведь с важными господами наперед не знаешь…), то лазутчик осенился крестом и нырнул в яму. Задыхаясь, он вернулся через двадцать минут и поведал то, что Баудолино было отлично известно. Подземный ход кончается решеткой. Отвернуть ее должно быть нетрудно. За решеткой видна пустынная пьяцца. Видимо, ход ведет в самый городской центр.

Баудолино спросил: — Повороты были, или все по прямой? — По прямой, — отвечал лазутчик. Баудолино тогда себе под нос: — Значит, выход в нескольких десятках шагов от стен. Прав был этот продажный наушник… — И брабантцу снова: — Вот, ты видишь, что мы с тобой открыли. Как приблизится штурм, отряд храбрецов сумеет про-

никнуть в город, пробиться к воротам, открыть их, впустить нашу армию внутрь. О, вот она, моя фортуна! Ты же смотри не рассказывай никому, что видел! Неровен час кто-то перехватит мою идею! — И со щедрым видом дал брабантцу одну монету. Цена молчания выглядела настолько жалкой, что если не из верности Дитпольду, то хотя бы из законной обиды шпион, несомненно, помчится и выложит все.

Не нужно сильного воображения, домыслить прочее. Полагая, что Баудолино утаивает открытие и пособничает согражданам, Дитпольд отправился к императору и нашептал ему, что драгоценный приемный сын разузнал секретный проход в город, но никому не докладывает про это. Император закатил глаза, как бы со словами: бедолага, и его можно понять… Вслед за чем сказал Дитпольду: пожалуйста, предлагаю тебе славу! Когда солнце станет садиться, выведу тебе нападающую роту к головной заставе; к тем кустарникам подкатим пару онагров и четыре-пять черепах; как ты пойдешь лезть в подземный ход, а полезешь ты с твоими ребятами, солнце уже зайдет и никто тебя не сможет замечать; ты уж мне пройди от норы до головных ворот, ты уж мне открой только изнутри ворота, и я на следующий

день обязательно отблагодарю тебя по-геройски.

Епископ Шпейерский настаивал, чтобы ему дали командование над атакующей заставу ротой, потому что, пояснил он, Дитпольд ему как сын (у них, стало быть, это имеет такое название).

Поэтому когда вечером в Страстную пятницу Тротти завидел, что имперцы кучкуются вблизи от ворот, а тем временем солнце собирается закатываться, он смекнул, что это отводной маневр — отвлекают внимание. Поди, что-то затеял Баудолино… По каковому случаю, обсудив положение только с Гуаско, с Бойди и с Оберто дель Форо, он занялся подысканием подходящего святого Петра. Один из проконсулов, Родольфо Небия, был согласен и наружностью гож. Потеряли, правда, битый час в споре, следует ли святому представляться с крестом в руке или со знаменитыми ключами. Сошлись на кресте, крест четче прорисовывался в полусумраке.

Баудолино ожидал подле ворот, убежденный, что боя никакого не будет и что вскорости кто-то выскочит из подземного хода, вопия о вышнем богознамении. И действительно, не успел он прочитать три отченаша, авемарию и глорию, как из-за стен послышался адский гомон, и глас, казавшийся истинно неземным, провозгласил:

«О спасайтесь, мои верные александрийцы!» — а хор земных голосов в ответ горланил: «Свят, свят, это святой Петр, чудо, чудо!»

Тут-то оно и пошло наперекосяк. А уж что началось дальше… Как потом рассказали Баудолино, Дитпольда с товарищами скрутили, насели на них, пытаясь втолковать, что вот вам является сам святой Петр. Вояки купились было на эту байку. Но не купился предводитель! Дитпольд припомнил, от кого поступила весть о подземном ходе, и сообразил, что Баудолино его обжулил. Тогда он вывернулся из хватки поимщиков, прыгнул в переулок, изрыгая такую непонятицу, что в смутном вечернем свете местные думали, он один из них. Однако, вскарабкавшись на стену, он продолжал горланить. Стало понятно, что он обращается к осаждавшим, предупреждая о какой-то опасности. Хотя неизвестно с которой стати, потому что если им заставу не открывали, то они и в город попасть не могли, следовательно, ровно ничем не рисковали. Но невзирая на это, Дитпольд, именно по своей безмозглости, не ощущал страха и вытанцовывал меж зубцов, размахивая мечом и вызывая на смерть александрийцев. Александрийцы, по этикету осады, не могли дозволить врагу залезать на крепостные

стены, будь то снаружи, будь изнутри. И вдобавок мало кто понимал смысл происшедшего… Большинство вдруг заметило, что алеман гуляет по их дому, будто это так и должно быть. В результате не упомнишь уж кто взял пику и засунул ее Дитпольду в спину, тем столкнувши наружу с бастиона.

Видя, как его ганимеда в бездыханном виде сваливают к подножию башни, шпейерский епископ не взвидел света и скомандовал в атаку. В нормальной обстановке александрийцы действовали бы по привычке, постреливая со стенки в подходящих. Но сейчас, когда враги начали разносить заставу, а городовая рать прослышала, что святой Петр лично защищает город от обиды, возглавляя военные когорты… На фоне всего этого содома Тротти решил выжать максимальную пользу из ошибки и снарядил лжесвятого Лже-Петра во главе боевых колонн воевать с алеманами.

В общем, Баудолинова брехня, призванная замутить головы тем, кто был снаружи, в результате ударила по мозгам тех, кто сидел внутри. Александрийцы в мистическом экстазе бросились, как тигры, на имперских солдат. Да вдобавок настолько бестолково, противореча любым правилам

военного искусства, что шпейерский епископ и его вышколенные всадники, растерянные, запятились и с ними отступали толкачи, побросав колесные башни, набитые генуэзцами, в полной неподвижности, в нескольких пядях от входа в подкоп. Александрийцы восприняли это как приглашение на праздник. Немедленно Ансельм Медик со своими дружными пьячентинцами ринулся в галерею, тут-то она и сгодилась по-настоящему, и выскочил за спиной у генуэзцев, а у воинов Ансельмова отряда у каждого имелось длинное копье, а на копье — комок горящего вара. Генуэзские башни запылали, как поленья в камине. Бомбардиры пытались спрыгивать, александрийцы их глушили по головам дубинами. Одна из башен наклонилась, рухнула, огонь ошпарил всадников епископа, испуганные кони вздыбились, ряды имперской кавалерии дрогнули. Те, кто был пеш, усугубляли несуразицу, они метались между рядами конников и вопили, что грядет явление святого Петра, святого Павла, а некоторые добавляли еще и святого Себастьяна со святым Тарсицием. В общем, весь христианский Олимп, как оказалось, ратует за судьбу этого занюханного городишки.

Ночью к императорским палаткам, где царил

траур, принесли труп шпейерского прелата, убитого между лопаток при бегстве. Фридрих вызвал к себе Баудолино и потребовал объяснений: какова его роль в этой истории и что ему вообще известно… Баудолино предпочел бы провалиться сквозь землю. Ведь тою ночью были убиты великолепные военачальники, и даже Ансельм Медик из Пьяченцы, а также многие храбрые сержанты, и многие бедные пехотинцы, и все благодаря его замечательному плану, который был затеян, чтоб разрешить все проблемы сразу и чтоб никто никого и пальцем не тронул! Баудолино кинулся императору Фридриху в ноги и поведал все как на духу: что он подстраивал достоверный предлог с целью свернуть эту дурацкую осаду, а вышла осечка, все повернулось именно так, как повернулось.

— Я несчастнейший из людей, отец, — говорил он императору. — Мне противно зрелище крови, я мечтал сохранить чистые руки, я мечтал предотвратить новые смерти, а устроил погляди какую бойню. Все убитые на моей совести!

— О проклятье. И тебе, и тому, кто сорвал твой хитрый план, — ответил император Фридрих. Он был подавлен, даже не взбешен. — Потому что… не говори никому… но этот твой достоверный

предлог мне был бы очень и очень кстати. Получились свежие сведения. Лига изготовилась к бою. Может, даже и завтра против нас откроется второй фронт. Твой святой Петр был именно то, что надо, чтобы переубедить мою армию. Но теперь слишком много у нас убитых, и бароны требуют мести. Они ходят и выкрикивают, что настал момент задать трепку осажденным. Кстати, мои люди хорошо рассмотрели защитников. Они все худее нас. Поди, для них это было чуть не последнее усилие!

Наступило утро Страстной субботы. Воздух прогревался. Луга запестрели цветами. Листва зашуршала на деревьях. Настроение и в городе, и в лагере было самое отвратное. У имперцев потому, что вроде следовало штурмовать, но ужасно не хотелось. У александрийцев — потому, что после памятной атаки, хотя гонору у всех прибавилось, животы подвело уже совсем до крайней степени.

В плодоносной голове Баудолино снова закипели идеи.

Он опять подскакал к подножью стен. Тротти, Гуаско и прочие коменданты были мрачнее тучи. Они тоже слышали, что приближается Лига, но из верных источников знали, что разные коммуны имеют самые разные намерения и что многие

из них еще раздумывают, стоит ли им атаковать императора.

— Потому что, ты только вникни, сударь Никита… здесь все так заверчено, что не знаю, достанет ли у византийцев тонкости понять… есть разница между обороной от императора и нападением на императора по своей воле. Если отец бьет тебя ремнем, ты хватаешь ремень, вырываешь у него из руки. Это защита. Но вздумай только поднять руку на отца! Отцеубийство! Вдобавок, если будет окончательно подорвано почитание святоримского императора, что останется общего у итальянских коммун? Понимаешь, сударь Никита, они дружно лупили Фридриховых наймитов, но продолжали признавать Фридриха за основного хозяина. То есть они не желали, чтоб Фридрих торчал у них перед носом, но боже упаси его насовсем утратить. В этом случае коммуны переубивали бы друг друга, даже не зная, кто из них прав, кто виноват. Ибо критерии вины и правды определяет, в конечном счете, император.

— Значит, — сказал тогда Гуаско, — лучше всего бы Фридриху быстро уходить от Александрии. Голову прозакладываю, что и коммуны тогда его пропустят и он доберется до своей Павии. Но как

устроить, чтоб уйти ему было не стыдно? Небесное знамение уже отработано и уже провалилось. Александрийцы, конечно, получили удовлетворение, но дело не продвинулось ни на йоту…

— Наверно, эта мистерия с Петром вышла какой-то слишком вычурной, — уныло произнес Баудолино. — Кроме того, видение или, как его там, небесное знамение… это такая штука: сегодня вроде явился, а завтра поди докажи, являлся кто-то или нет. И за каким чертом мне понадобился этот святой! Наемная солдатня — они же не верят и в Отца Небесного! Они верят только в две вещи: в набитое пузо и в хвост торчком.

— Ну а если, — вступил тогда в разговор Гальяудо, исполнившись, непонятно с чего, дивного здравомыслия, которое, как известно, Господь ниспосылает только простецам, — а если к имперцам вдруг попадет наша корова, и обнаружится, что у нее пузо набито… и почитай что лопается? Тогда и Барбаросса и его дружина решат, что у нас жратвы немереное изобилие, и хватит на… как это… «векивеков», sculasculorum… Господа и солдаты тогда скажут: дуем-ка восвояси, а не то придется нам встречать на этой луже и следующую Пасху…

— Никогда не слыхал ничего глупее, — выпа-

лил Гуаско, и воевода Тротти с ним согласился, для пущей наглядности крутнув пальцем у виска: выжил-де из ума старичок. — И вообще, будь у нас хотя бы одна корова, мы бы съели ее живой, — добавил помалкивавший Бойди.

— Не оттого, что мысль предлагается моим родителем… но, черт побери, она показалась мне полезной, — перебил Баудолино. — Может быть, вы запамятовали. Одна-то коровка еще имеется. Это Розина Гальяудо. Вопрос только, если вымести по сусекам и амбарам все, что есть в городе, наберем ли мы столько зерна, чтобы набить брюхо этой скотине.

— Ты получи сперва, скотина, эту скотину! — кинулся на него Гальяудо. — Чтобы узнать, сколько зерна у Розины в брюхе, имперцам следует не только полонить беднягу, но и выпотрошить, а мы Розину не забивали, именно оттого, что для меня и для твоей матери она все одно что дочка, которую Господь нам не судил. И я к Розине не дам никому прикоснуться. Уж предпочту, чтоб выпотрошили тебя, поскольку вот уже тридцать лет не вижу от тебя в хозяйстве проку, ну а Розина-то без фанаберии служит нам день и ночь верой и правдой.

Гуаско с товарищами минуту назад полагали,

что затея с коровой — бред сумасшедшего. Но стоило Гальяудо заартачиться, как им эта затея начала казаться чистым золотом, и не жалея гортаней все принялись убеждать крестьянина, что ради спасения города можно пожертвовать даже коровой, и что невместно предлагать вместо коровы Баудолино, Баудолино потрошить никто не захочет, а вспотрошив корову, Рыжебородый, того глядишь, и повернет оглобли. Что до зерна, то в городе его не сильно много осталось, но если со тщанием поискать, то разок накормить Розину найдется. Не обязательно чистым зерном! Когда оно в пузе, кто станет разбирать, где отруби, где пшеница. Опять же не станем отсевать корм от мучных тараканов. Все в дело пойдет. Война на дворе. От нашего хлеба тараканов не отсевают…

— Баудолино, Баудолино, — перебил его Никита. — Не говори только, что эта забубённая идея могла иметь успех.

— Не только успех у нас, — парировал Баудолино, — но и, как ты увидишь впоследствии, успех у императора.

Дело происходило так. Примерно к третьему часу в Страстную субботу все консулы и вся городская верхушка Александрии сошлись под

портиками главной площади, где лежала самая исчахшая, самая болезненная корова, какую только может вообразить человеческое сознание. Облезшая целой шкурой, откинувшая ноги-жердины; вымя, похожее на уши, уши, похожие на сосцы; глаза закачены полностью… вся ее тощая туша как бы размякла, казались мягкими даже рога. Это был уже не полутруп. Сплошной скелет. Призрак буренки, лубок «Пляска Смерти»… Поклоняясь этому священному говяду, припадала к ее голове мать Баудолино, гладя умирающую по макушке, приговаривая и утешая, что, наверно, так Богу угодно, послать скончание мукам. Да еще после сытного обеда; значит, лучшая смерть, нежели сулится ее владельцам.

Под портики постоянно прибывали мешки с пшеницей и иными семенами, все, что наметали в пустых сусеках. Гальяудо подпихивал мешки к морде угнетенной твари, чтоб она занялась едой. Но корова уже взирала на мир с трагической отрешенностью, и совсем не умела припомнить, как производится жевание. Кончилось тем, что одни помощники ухватили корову за ноги, другие за голову, широко растянули ей рот и, в то время как она протестовала бессильным мычанием, стали впихивать зерно ей в глотку. Так закарм-

ливают гусынь на печень. Раз засыпали, два засыпали… может, по жизненному инстинкту, или вдруг припомнив старые времена, бессловесная страдалица тяжко шевельнула языком и втянула, облизывая, в рот добрую порцию непривычного корма. По своей ли воле или с помощью доброжелателей, но Розина постепенно начала принимать пищу.

Это была нерадостная пирушка, и не раз казалось, что Розина вот-вот отдаст небесам скотинину душу. Она ела будто рожала, надсаживаясь криками от муки. Тем не менее воля к жизни постепенно брала свое, и корова потихоньку поднялась на ноги и сама продолжила есть, просовываясь мордой точно в отверстия мешков, расставлявшихся перед ней. В итоге взорам присутствующих предстала очень странная корова, унылая и жутко тощая, кожа с костями, особенно со спины, там, где мослы почти протыкали шкуру. Однако при этом у коровы имелся круглый барабанный живот, до того раздутый, будто она была стельна целою дюжиной.

— Нет, не годится, никак не годится, — покачал головой Бойди, разглядев это мрачное чудо. — Любому дураку ясно, что это не жирная скотина, а просто коровья шкура, в которую забили всякую

дрянь…

— Да и поверь они, будто корова жирна, — вторил ему Гуаско, — что они подумают? Зачем хозяин выпасает ее снаружи, под стенами, с риском потерять на этом и жизнь, и добро?

— Друзья, — отвечал им Баудолино, — не забывайте, что кто бы ни увидел корову, он от голода не станет задумываться, с какого боку она жирна, с какого — тоща.

Баудолино как в воду глядел. Примерно в девятом часу Гальяудо протиснулся в городские ворота и сделал первые шаги в сторону луга, что находился в полулье от стены. Тут же мигом из лесочка вывалилась ватага богемцев, ходивших, несомненно, ловить птиц, если, конечно, еще оставалась хоть одна живая птица в округе. Они, увидев корову, не веря своим жадным глазам, ринулись на Гальяудо. Тот сразу поднял руки, и его с коровой потащили к палаткам лагеря. Довольно скоро вокруг столпились десятки воинов. У всех были впалые щеки, глаза вылезали из орбит, и бедная Розина мгновенно пала под ножом мужичка из Комо, который знал свою работу, поскольку покойница Розина, быстрее чем выговоришь «аминь», вот глядь — жила, а вот глядь — умерла. Гальяудо лил искренние слезы,

поэтому происшествие смотрелось — достоверней не бывает.

Когда забитой вспарывали живот, случилось то, чему было назначено случиться. Весь ею заглотанный впопыхах корм пополз из кишок на землю, ничто не успело перевариться, и перед народом неопровержимо открылось, что в брюхе коровы полно зерна. Изумление оказалось сильнее аппетита, или во всяком случае даже голод не лишил этих военных элементарной способности мыслить. Чтобы в оцепленном городе даже коровы так жировали… Это противоречило всем законам божьим и человечьим. Один из них был сержант, и он сумел успокоить прожорливых соратников, укротить собственную алчбу и отдал приказ: непонятную убоину следует показать командованию. Как молния, новость об открытии долетела до императора, при котором находился Баудолино. С виду воплощение равнодушия, в душе напряженный как струна, он трепетал в ожидании развязки.

Розинину тушу, холщовый потник, на котором перекатывалось подобранное зерно из брюха, и Гальяудо в оковах доставили пред светлы очи Фридриха Барбароссы. Мертвая, рассеченная пополам корова уже не выглядела ни худой, ни

толстой, видно было только, какая куча добра у нее содержалась в брюхе и была из него добыта. Фридрих оценил по достоинству эту картину, поэтому он резко спросил у мужика: — Кто таков? Откуда? Чья корова? — Гальяудо же, не поняв ни единого слова, понес на самом простолюдном наречии Палеи, как полагается: не знаю, не был, не припомню, я мимо проходил, корову впервые вижу, да и впервые слышу от тебя, что это корова. Конечно, и Фридриху непостижимы были эти речи, и он позвал Баудолино: — Ты знаешь язык этих тварей? Что он мелет?

Гальяудо перед Баудолино, Баудолино перед Гальяудо. Ответ в переводе: — Он говорит, что эта корова ему незнакома, богатый человек из города велел ее выпасти, иного не знает. — Понятно. К чертям «велел выпасти». Почему у ней брюхо набито?

— Он говорит, у коров, после того как они поели, но еда еще не сварилась, брюхо набито едой, которую они поели.

— Скажи, пусть кончает дурить. Его вздернут на первой осине. В этом их сельбище, в этом их бандитском… вроде бы городе… что, всем коровам засыпают в кормушку по пуду зерна?

Гальяудо: — Per mancansa d'fen e per mancansa

d'paja, a mantunuma er bestii con dra granaja… E d'iarbion…

Баудолино: — Он говорит, обычно нет, только сейчас, когда недостает сена из-за этой осады. И еще кроме зерна они часто используют сухой горох.

— Ради всех дьяволов! Я сейчас отдам его на растерзание соколам, на растерзание псам! Пусть скажет, как может быть в городе недостача сена, при том что полно гороха и зерна?

— Он говорит, что в город согнан рогатый скот со всей округи и горожанам, знать, судьба жевать бифштексы отныне и до конца света… но на пропитание коров и быков ушло все сено. Когда имеется вдоволь мяса, никто не ест ни хлеб, ни уж тем более сухой горох. Так что зерновые закрома остались нетронутыми. Часть зерна оттуда теперь стали давать коровам. Он говорит, у них дела не то, что тут у нас, что мы-то можем роскошествовать, как угодно. А у них выбор очень ограничен: ведь они осажденные. Он говорит, что из-за этого неудобства ему и дали выпасти корову, чтоб пощипала хоть немного зеленого. Если коров кормить одним зерном, кончится тем, что у них могут завестись глисты.

— Баудолино, ты-то веришь россказням этого

негодяя?

— Я перевожу, что слышу. Насколько помнится мне с детства, коровы зерно едят не слишком охотно. Но эта бурена! Она была зерном набита! Как можно опровергать явную очевидность?

Фридрих разгладил бороду, сузил глаза и внимательно посмотрел на Гальяудо. — Баудолино, — сказал он, — где-то я этого человека уже видел. Правда, давно. А ты его знаешь?

— О, отец! Мне-то здешних как не знать! Но сейчас вопрос не в том, что это за человек, а правда ли, что у осажденных столько коров и столько зерна. Потому что если тебя интересует мое искреннее мнение, не исключено, что они тебя обманывают — накормили последнюю корову последним зерном.

— Удачная мысль, Баудолино! Мне она не приходила в голову!

— Ваше святое величество, — вмешался монферратский маркиз. — Не будем приписывать мужланам ум, которым они не обладают. Думается, перед нами явное доказательство, что у горожан больше припасов, нежели мы тут считаем.

— О да, о да, — забубнили в голос остальные вельможи. Баудолино оценил ситуацию: редко

когда столько людей хитрило одновременно, превосходно зная, что и другие хитрят не меньше. Знать, осада представлялась невыносимой просто-таки всем нападавшим.

— Думается, что и мне должно именно так думаться, — дипломатично подвел итог Фридрих. — Нам уже дышат в спину. Ну, захватим мы это Роборето. Тут на нас кинется свежая армия. Тоже и невозможно захватить город и сразу засесть в его стенах. Они так дурно сработаны! Это ниже нашего достоинства. Исходя из вышеприведенных доводов, господа, мы повелеваем: оставить это жалкое поселение его неотесанным обитателям и приготовиться к настоящей войне. Отдать соответствующие команды. — А потом, покидая палатку, Баудолино: — Гони старца в шею. Он, конечно, брехун, но если бы я вешал всех брехунов, тебя уж давно бы не было в живых.

— Чеши домой, папаша, тебе крупно повезло, — прошипел Баудолино сквозь зубы, сбивая колодки с Гальяудо. — И передай Тротти, что я его буду ждать сегодня вечером в условленном месте.

Фридрих свернул операцию молниеносно. Надо было только смотать в скатки ветхое тряпье, в которое давно превратились палатки осадчиков.

Император велел строиться в колонну и поджечь все, что валяется. Приблизительно к полуночи авангард имперского войска маршировал уже по полям Маренго. Вдалеке, у подножия тортонских холмов, помаргивали огоньки на биваках. Это поджидала своего часа военная сила Лиги.

Отпросившись у императора, Баудолино ускакал в направлении Сале. На перекрестке уже были Тротти и двое кремонских консулов. Вместе проехали милю и оказались в расположении аванпостов Лиги. Там Тротти представил Баудолино двоим начальникам объединенной армии коммун: Эццелино из Романо и Ансельмо из Довара. Последовали скорые переговоры, скрепленные рукопожатием. Обняв напоследок Тротти (да, будет что вспомнить, тебе спасибо, да что ты, спасибо тебе), Баудолино пришпорил коня и бросился догонять Фридриха. Тот ждал его на просеке. — Договорились, отец. Они не атакуют. У них нет ни желания, ни запала. Они нас пропустят и отдадут тебе императорские почести.

— До следующей стычки… — бормотнул Фридрих. — Но я тут с усталой армией. Чем раньше расселимся на квартиры в Павии, тем лучше будет для всех. Поехали.

Шла пасхальная ночь. Издалека, оборотив-

шись, Фридрих мог бы еще разглядеть высокие огни у стен Александрии. Обернувшись, поглядел и Баудолино. Он знал, что это догорает военная техника и шалаши солдат. Но предпочел вообразить, будто александрийцы поют и танцуют между освещенных зубцов стен, ликуют о победе и празднуют начало мирных времен.

В миле пути им повстречались передовые разъезды Лиги. Строй рыцарей расступился, образовав два нарядных крыла, и в середине возник проход для людей императора. Только не ясно было, отодвинулись ли они, чтобы оказать почести, или от недоверия: подальше от имперцев. Какие-то солдаты Лиги подняли вверх оружие. Можно было истолковать это в смысле: отдают почести. А может быть, жест бессилия, или даже угрозы? Император, насупившись, предпочел не осматриваться по сторонам.

— Не знаю, — сказал он, — я тут бегу от них, а они меня величают. Баудолино, я делаю как надо?

— Ты делаешь как надо, отец. Капитулируешь не больше, чем они. Они не атакуют тебя в открытом поле из уважения к статусу. И ты должен быть благодарен им за уважение.

— Уважение с них причитается, — упрямство-

вал Барбаросса.

— Ну, если причитается, будь доволен, что ты его получил. Чего тут нос воротить?

— Не с чего, не с чего. Ты, как обычно, прав.

Примерно к рассвету они увидели далекую равнину и на первых холмах — бессчетные рати противника. Строй воинов сливался с туманом, и снова возникало сомнение: отошли из осторожности от императорской армии? Почтительно приветствуют? Или готовы сомкнуться и смять продвигающиеся отряды? Мелкие пикеты коммунарного войска отъезжали от мест, гарцевали возле проходящей имперской колонны, взъезжали на холмы и глазели с высоток, как армия проходит, и даже бывало, что как будто от армии удирали. Молчание стояло такое, что слышались только конские копыта и топанье латников. С каких-то вершин холмов еще подымались, в бледном освещении утра, тонкие дымы, похожие на сигналы, что передавали весть часовым на замковых башнях, выглядывавших из зелени на дальних горах.

На этот раз Фридрих решил оформить рискованный прорыв как парад победы. Развернули штандарты и орифламмы, пошли в триумфе как Цезарь Август, возобладавший над варварами.

Проходил Фридрих Барбаросса, отец всех строптивых городских коммун, которые в ту ночь имели полную возможность уничтожить его.

Наконец на павийской дороге, он подозвал Баудолино. — Ты, несомненно, фигляр отпетый, — сказал он, — но из этой выгребной ямы надо было как-то вылезать. Так что я тебя прощаю.

— Да за что же, отец?

— Известно за что. Но не думай, что я прощу этот безымянный город.

— Имя у него есть.

— Имени у него нет. Потому что именами наделяю я. Раньше или позже я его сомну.

— Пожалуйста, не сразу…

— Нет, не сразу. За то время, думаю, ты сумеешь изобрести еще какой-нибудь хитрый фокус. Эх, понять бы мне в ту давнюю ночь, что веду себе в дом проходимца… Кстати, я ведь припомнил, где и когда я видел этого деда, чья корова!

Вот только лошадь под Баудолино вдруг заиграла. Пришлось натянуть поводья и поотстать от императора. Так Фридриху и не случилось поделиться с ним внезапным воспоминанием.

15
Баудолино в сражении под Лепъяно

После конца осады Фридрих сперва воспрял, расквартировался в Павии, но вскоре настроение испортилось. Последовал неудачный год. Двоюродный брат Генрих Лев подстраивал гадости в Германии. Итальянские города огрызались все свирепее, а всякий раз, когда император заводил речь о разгоне Александрии, коммунам будто уши закладывало. В распоряжении Фридриха было мало людей, подкрепления не поступали, а которые поступали, тех тоже было мало.

Баудолино несколько виноватился из-за истории с коровой. Конечно, он не обманул императора, император открыто подыграл ему, но теперь и он, и Фридрих немножко стеснялись встречаться глазами. В точности два шалуна: напрокудили и самим друг друга стыдно. Баудолино растрогивался, видя почти мальчишеское смущение Фридриха, тем более что император уже начинал седеть, и именно из его прекрасной рыжей бороды в первую очередь стали исчезать

львиные отливы.

Баудолино все сильнее любил этого отца, бьющегося, чтобы воплотить свою идею империи, при явном риске потерять заальпийские земли во имя сохранения Италии, а та разлезалась из-под рук. Однажды Баудолино сказал себе, что в нынешнем положении Барбароссы письмо пресвитера, глядишь, позволило бы ему с честью уйти из ломбардского болота, не поступившись репутацией. Письмо пресвитера могло сработать как отцова корова. Тогда он попробовал завести разговор на тему. Но император был значительно не в духе и отвечал, что имеет более серьезные поводы к размышлениям, нежели старческие бредни покойного Оттона. Потом он отослал Баудолино на какие-то другие комиссии, и тот промотался вверх и вниз по Альпам почти без перерыва двенадцать месяцев.

В конце мая года Господня 1176 Баудолино узнал, что Фридрих сейчас на постое в Комо, и решил проведать его в том городе. По мере продвижения от встречных он узнавал, что имперская армия на ходу и направляется в Павию; тогда и он поворотил в южную сторону в расчете пересечься с войском на марше посередине перехода.

Он пересекся с ними возле Олоны, недалеко от крепости Леньяно, где несколькими часами раньше имперская армия и войско Лиги налетели друг на друга по чистой ошибке. Ни тем, ни другим не хотелось вступать в баталию, и стычка оказалась вынужденной: единственно для соблюдения приличия.

Лишь только доскакав до края поля боя, Баудолино увидел, как ему наперерез бежит солдат с огромной пикой. Ударив шпорой, Баудолино пустил коня прямо на того, рассчитывая напугать. Тот испугался и рухнул, задрав обе ноги вверх, отпустив пику. Баудолино слез с коня и подобрал пику солдата, но тот внезапно стал орать, что вот сейчас начнет его бить как следует, поднялся на ноги и вытащил из ножен палаш. Тут выяснилось, что кричит он на диалекте Лоди. Баудолино привык думать, что Лоди поддерживает императора. Удерживая беснующегося парня пикой на расстоянии, Баудолино увещевал его: — Тебе чего, моча в голову? Я же свой, я имперский! — А тот в ответ: — Вот именно, сейчас я тебя зарублю за это! — Баудолино сообразил тогда, что Лоди перешел в распоряжение Лиги. Тут он задал себе вопрос: «Что делать? Убить его лишь потому, что длина пики больше длины палаша? Я никогда не

убивал человека!»

Тогда он его двинул древком этой пики меж ног, причем тот снова повалился, и приставил ему острие прямо к глотке. — Не убивай меня, dominus, у меня семеро детей и как меня не станет, всем им подохнуть с голоду за несколько дней, — хрипел поверженный лодижанин. — Ох, отпусти, я не страшен для твоих имперцев, ты же сам видел, что я воюю как козел.

— Что ты козел, это видно за четыре перехода отсюда. Но если я тебя отпущу в полном комплекте, ты сможешь кому-то навредить. Спускай штаны.

— Как штаны?

— Вот так, штаны, я оставляю тебе жизнь, но пущу в гологузом виде… Посмотрим, вернешься ли ты воевать или дунешь домой к своим недокормышам.

Противник стащил штаны, повернулся и бросился наутек, перескакивая изгороди, не столько от стыдливости, сколь опасаясь, что благородный рыцарь увидит его с задней стороны, а так как ягодицы показывают в знак презрения, озлится и засадит ему куда надо кол, как делают в Турции.

Баудолино был очень рад, что ему не привелось убивать неприятеля, но тут еще один наскакал

прямо на него, и по французскому платью было понятно, что это не ломбардец. Баудолино решил дорого продать свой живот и взялся за меч. Однако конник пролетел мимо, выкрикивая: «Ты где торчишь, болван, разве не видишь, что ваших имперцев поимели как пару пальцев, чеши домой, коли шкура дорога!» — и умчался, не затевая потасовки.

Баудолино поднялся опять в седло, недоумевая, куда ему теперь держать свой путь, поскольку в этой баталии нельзя было понять ничего. До тех пор он имел только опыт осадной войны, а при осадах обычно понятно, кто воюет за наших, а кто за тех.

Он объехал по краю жидкую рощу и увидел равнину, а в ее середине некое диво, прежде никогда не виденное. Широкая ровная телега, покрашенная в красный и белый цвет, на телеге торчал столб, на столбе стяги, рядом алтарь и около него — вооруженные люди с трубами вроде ангельских. Видимо, это сооружение служило для поднятия боевого духа. Баудолино не удержался от любимого в его краях: «Ну уж уволь!». По виду телега могла спокойно прикатиться от пресвитера Иоанна, откуда-нибудь из Сарандиба, где на войну запрягали боевых слонов. В раскрашен-

ный воз, однако, были впряжены пошлейшие волы. Тем не менее на возу красовались какие-то парни в вельможеских одеяниях. Окрест телеги, как ни крути головой, нельзя было найти ни единого идущего на подвиг бойца. Детины с трубами время от времени дудели, но то и дело останавливались, будто раздумывая, следует ли им продолжать. Некоторые указывали пальцем на скопление людей около речки, те все еще убивали друг друга с воплями, коих хватило бы и для оживления усопших. Кто-то у телеги пытался сдвинуть с места волов, а те, по характеру упрямые, ныне уперлись не на шутку: легко понять, хотелось ли им приближаться к громкоголосому побоищу.

«Что же все-таки делать, — недоумевал Баудолино. — Кидаться в гущу этих оглашенных и послушать, что они выкрикивают, а то никак не разберу, кто свой, кто чужой? Но пока я буду разбирать, не прикончат ли они меня?»

Так он мешкал, покуда не наскакал на него очередной конник. Это был знакомый министериал. Разглядев, кто перед ним стоит, он воскликнул: — Баудолино, мы потеряли императора!

— Как это потеряли, исусгосподь?

— Его видели в бою. Он отбивался как лев. На

него наседала ватага пеших, и они теснили его коня в лесок, потом все исчезли за деревьями. Мы отправились в лесок, но там уже никого не было. Наверное, он попытался бежать в каком-то направлении, однако точно не возвратился туда, где находился цвет нашего рыцарства…

— А где находится цвет нашего рыцарства?

— Ах, вот оно-то и беда, что не только император не вернулся к цвету нашего рыцарства, но и цвета нашего рыцарства больше нет. Это была такая бойня… Растрепроклятый день. Вначале Фридрих со своею конницей понесся на врагов, видя перед собой одних пеших, столпившихся у этого катафалка. Но пешие сильно отбивались, потом внезапно, откуда — не поймешь, вылетела кавалерия ломбардцев, и наших приняли прямо в клещи.

— И, значит, вы потеряли святого римского императора?! И ты об этом так мне просто говоришь, господа в матушку!

— А ты, сдается мне, только что пожаловал сюда и не представляешь, как нам тут всем досталось! Кто-то видел даже, что император упал, что его тащил конь, потому что нога зацепилась в стремени!

— Что же делают наши теперь?

— Удирают. Оборотись-ка на речку. Видишь, прячутся за деревьями, лезут в воду. Разнеслось уже известие, что убит император Фридрих. Каждый надеется, что ему повезет добраться до Павии.

— О подонки! И никто не разыскивает господина нашего?

— Опускается темнота. Даже те, кто еще сражался, кончают битву. Как тут можно найти тело в этой катавасии? И откуда начинать?

— О подонки, — повторил опять Баудолино. Он не был военным, но он не был и трусом. Двинул лошадь и понесся, помавая мечом, туда, где валялось на земле больше всего трупов, выкрикивая в голос имя приемного родителя. Искать на этой равнине мертвеца, в кучах других мертвецов, умоляя криком мертвеца откликнуться, — было дело настолько гиблое, что последние отряды ломбардской армии, обнаруживая его, пропускали не останавливая, думая, вероятно, что это из рая какой-то святой выбежал сортировать мертвых. Они даже его радостно приветствовали.

Там, где схватка, судя по положению тел, была самой жестокой, Баудолино стал копаться в телах, лежавших лицами вниз, и надеясь и страшась опознать в брезжившем сумерковом свете

одного из покойников — дорогого отца и господина. Он рыдал. Он блуждал, не разбирая дороги, пересмотрел все тела, покинул лес и наткнулся на украшенную телегу, она медленно волочилась по полю, усеянному мертвецами. — Вы не видели императора? — задал он через слезы вопрос, лишенный и смысла, и осторожности. Там сидевшие заржали и ответили: — А как же, он лежал вон в тех кусточках и драл твою мамашу! — Один вдобавок издевательски подал звук в дудку, чтобы она произвела неприличный треск.

Цена их сообщению была понятна. Но Баудолино пошел в те кусты. Там на земле грудилась еще одна куча трупов. Три ничком, самый нижний навзничь. Он откинул те, что ничком, и под ними увидел с красной бородой, красной от крови, императора Фридриха. Он мгновенно догадался, что тот жив, потому что из приоткрытого рта неслось легкое хрипение. Верхняя губа рассечена, из нее вытекала кровь. Широкая царапина на лбу, доходившая до левого глаза, но не задевавшая его. Руки до сих пор сжимали два кинжала. На самом пределе потери чувств Фридрих умудрился заколоть всех троих ничтожеств, которые налетели на него, чтоб его прикончить.

Баудолино, сунув руку ему под голову, обтер

кровь и окликнул его, на что Фридрих открыл глаза и спросил, где находится. Баудолино ощупывал императора, чтобы понять, нет ли других ран. От прикосновения к ступне тот взвизгнул от боли; верно, значит, сказали, что конь тащил его по земле, вывихивая застрявшую в стремени лодыжку. Продолжая говорить, рассказывать Фридриху, где он находится и что с ним, Баудолино поставил его на ноги. Наконец-то тот узнал его и обнял Баудолино.

— Господин и родитель мой, — говорил Баудолино. — Ты теперь полезай на мою лошадь и старайся не напрягать силы. Нужно будет проявить осторожность. Хотя ночь уже наступила, но повсюду караульщики Лиги. Наша единственная надежда, что и они разбредутся по пьянкам, обмывать победу, поелику, надеюсь, ты не обидишься, если я скажу, что победа осталась за ними. Но отдельные ломбардцы вполне могут бродить и тут, например, обирая убитых… Мы будем двигаться лесами и оврагами, обходя стороной дороги. Так до самой Павии, куда твои вояки, полагаю, уже все добежали. Подремли в седле, я посторожу, чтобы ты не свалился.

— А ты сам не уснешь на ходу? — пошутил Фридрих с перекошенной челюстью. И потом

сказал: — Смеяться очень больно.

— Вижу, что тебе и правда лучше, — ответил Баудолино.

Так они плелись до рассвета всю ночь, то и дело спотыкаясь. Спотыкался и бедный конь. Всюду корни, кусты, колючки. Только раз издалека они завидели огонь и дали изрядный круг, от огня подальше. По пути, чтоб и вправду не уснуть, Баудолино разглагольствовал, а император не засыпал, чтобы не уснул Баудолино.

— Кончено, — говорил император Барбаросса. — Я не вынесу позора. Это нестерпимое бесчестье…

— Это несущественная заварушка, отец. Вдобавок все уже уверовали, что ты погиб. Тут ты явишься, прямо как воскресший Лазарь. Кто будет помнить поражение? Все на радостях запоют Te Deum.

На самом деле Баудолино просто силился как мог утешить раненого, униженного старика. Этот день подорвал весь престиж империи. Плакала святая священная власть… Фридрих мог снова выйти на сцену лишь в ореоле какой-то новообретенной славы. Тут Баудолино опять не сумел отогнать призрак своего давнего замысла. Он вернулся к предсказаниям Оттона и к посланию

пресвитера.

— Дело в том, дорогой отец, — сказал он, — что из происшедшего тебе следует кой-чему научиться.

— И чему я должен у тебя учиться, кладезь мудрости?

— Нет, не у меня, избави Господь. Учиться у судьбы. Оцени по совести то, что говорил покойный Оттон. В этой здешней Италии вытащишь хвост — нос завязнет. Невозможно императорствовать, имея у себя на шее папу. Над этими городами тебе одержать верх не удастся, поскольку ты хочешь упорядочить их согласно политическому искусству. А они хотят жить в беспорядке согласно природному складу. Или, как сказали бы парижские философы, сохранять состояние hyle, первобытного хаоса. Лучше обратись-ка на Восток, далеко за Византию, водрузи знамена своего правления над христианскими землями, которые простираются вдали по ту сторону обиталищ нечестивых. Объединись с единственным и истинным rex et sacerdos, владычествующим над теми областями со времен Волхвоцарей. Только когда ваш союз заключится и скрепится, или он принесет тебе клятву служения, ты сможешь поехать в Рим и обойтись

с папой как с конюхом, а короли Франции и Англии будут у тебя на посылках. Только тогда твои сегодняшние победители привыкнут снова опасаться тебя.

Фридрих не помнил почти ничего из предвещаний Оттона и Баудолино пришлось пересказывать ему все сначала. — Что это за пресвитер? — допытывался император. — Он существует? И где живет? И как я могу отправляться с войском, не ведая дороги? Меня переименуют в Фридриха Глупого и под таким именем ославят на веки веков.

— Вряд ли, если в канцеляриях всех христианских правителей, в том числе и в византийской, появится письмо, в котором этот Иоанн пресвитер пишет к тебе, прямо к тебе, тебя единственного готов признать себе равным, и приглашает тебя объединить царства и власть.

И тут Баудолино, помня письмо наизусть, во тьме ночи принялся декламировать послание пресвитера Иоанна, и пояснил, какой смысл имела самая драгоценная реликвия мира, которую пресвитер посылал ему, Фридриху, в некой шкатулке.

— Как? И где это письмо? У тебя есть копия? Ты случайно не сам его настрочил?

— Я переписал его на доброй латыни. Я соединил разрозненные члены, издавна знакомые ученым мудрецам, к которым никто не прислушивался. Однако все, о чем говорится в этом письме, истинно, как Евангелие. Если уж совсем начистоту, от себя я прибавил только адресата. Вышло, что письмо адресовано лично тебе.

— И тот поп мог бы отдать мне эту, как там ее называют, Братину, содержавшую кровь Иисуса? Вот это точно бы было помазанием крайним и совершенным… — бормотал еле слышно в седле император Фридрих.

Так во тьме этой ночи решились и доля Баудолино, и доля императора. Хоть ни один из них не сознавал, на какое дело они нацелились.

Загадывая, воображая себе вожделенное царство, к рассвету у какой-то канавы они обротали коня, ушедшего с поля боя и не знавшего, куда брести. Теперь оба были верхами. Хотя и по проселочным трактам, путь в Павию все же сильно ускорился. Тем же путем брели остатки разбитой армии. Солдаты узнавали императора и радостно, приветно кричали. Поскольку войско грабило деревни, по которым проходило, нашлось и императору с Баудолино чем подкрепиться и поправить силы. Солдаты перебегали вперед,

передавали радостную новость впереди идущим, через два дня, у врат Павии, Фридриха дожидалась вся городская верхушка и все его ближние сановники, разубранные in pompa magna[23] и все еще не верящие собственным глазам. Была с ними и Беатриса, уже одетая в скорбный траур, поскольку ее оповестили, что муж погиб. Она держала за руки детей: Фридриха, ему исполнялось уже двенадцать, хоть выглядел он не старше шести, по прирожденной слабости здоровья, и Генриха, который унаследовал всю мощь отца, но в этот день буквально заливался слезами и спрашивал, что произошло. Беатриса издали узнала Фридриха на коне, с рыданьями подбежала к нему и страстно прижалась. Когда муж сказал ей, что остался в живых только благодаря Баудолино, она наконец заметила, что и Баудолино тут, вся покраснела, вся побелела, опять заплакала и наконец протянула руку, коснувшись груди Баудолино, и обратилась к небу, умоляя вознаградить Баудолино за все, за все, называя его то сыном, то другом, то братом.

— И именно в это мгновение, сударь Никита, — сказал Баудолино, — я понял: тем, что спас жизнь

---

[23] Примечания: 23
в торжественных облачениях *(лат.).*

владетеля, я расплатился с ним по долгу. Именно потому я не имел больше права любить Беатрису. И тут же, кстати, я обнаружил, что я ее больше не люблю. Рана зарубцевалась. Ее лицо вызывало в моей душе благодарные воспоминания, но не вызывало трепет. Я осознал, что мог бы теперь находиться рядом с нею и не страдать, и мог бы удалиться от нее и не страдать тоже. Наверное, я окончательно повзрослел, юношеская горячка остыла. Мне даже не было жаль, только немного взгрустнулось. Как голубь: беззаветно токовал — больше не токует. Закончилась пора любви. Пора мне было в путь за далекое море.

— Из голубя ты преобразился в ласточку.

— Да уж скорей в журавля.

16
Баудолино обманут Зосимой

В субботу утром пришли Певере и Грилло и объявили, что постепенно в Константинополе восстанавливается порядок. Не то чтобы утолилась алчность пилигримов-мародеров. Но их предводители наконец сообразили, что идет разграбление ценных реликвий. Можно было закрывать глаза на какие-то кадила и бархатные покровы, но вот мощи разбазаривать было недопустимо. Поэтому дож Дандоло приказал, чтобы все сокровища, разобранные военными в городе, были снова принесены в Святую Софию. Там состоится честное распределение. Прежде всего идея была в том, что их поделят между пилигримами и венецианцами, которые до сих пор не получили договоренную плату за перевоз паломников на кораблях. Затем надлежало установить цену каждой вещи и выразить в серебряных марках. Рыцарям будет выдано по четыре части, конным сержантам по две, пешим сержантам по одной. Представим себе, как это восприняла солдатня, которой по программе не

причиталось ничего.

Поплыли слухи, что Дандоловы люди уже стащили четырех золоченых коней, украшение Ипподрома, и перевозят статуи в Венецию. У всех испортилось настроение. В ответ Дандоло велел обыскивать тех, кто в военном снаряжении. Он также приказал прочесать все снятые для постоя квартиры в Пере. У одного из рыцарей графа де Сен-Поль нашлась какая-то бутылка. Он утверждал, что там лечебный настой, от времени засохший. Но ее встряхнули, и от тепла ладоней порошок снова приобрел жидкую природу, и по алому цвету все узнали, что это кровь из ребра Господа нашего Иисуса. Рыцарь кричал, что честно сторговал бутылку у монаха еще до погрома. Но для порядка и примера его повесили на месте, с щитом и с родовым гербом, навязанными на шею.

— Эк страх, растянули как треску, — рассказывал о виденном Грилло.

Никита принимал эти сведения с тихой грустью, а Баудолино переполошился, будто сам был в чем-то виноват. Он резко переменил разговор: не настала ли уже пора покидать город?

— Да там такой содом, — ответил Певере, — лучше поостеречься. Куда тебе идти, сударь Никита?

— В Силимврию. В Силимврии надежные друзья… Они приютят нас…

— Силимврия — это мудреновато, — произнес Певере. — Идти на запад… Это прямо недалеко от Долгих Стен… Даже на мулах выходит три дня дороги, а может, и больше, так как едет беременная женщина. Что же до этих мулов… Пересекать сейчас город с тягловой силой значит объявить, что у вас кое-что есть. Пилигримы налетят на вас как мухи.

Решили, что разумнее приготовить мулов, чтоб ждали за стенами, а через город снова идти пешком. Надо было попасть за Константинов вал и ни в коем случае не приближаться к берегу, где толпы слишком буйные. Обойти вокруг храма Святого Мокия и через Пигийские ворота выбраться за Феодосиевы стены.

— Вряд ли все так сойдет с рук, чтобы вас не остановили, — мотал головой Певере.

— Ох, — вторил ему Грилло. — Попадете как кур в ощип. На этих ваших бабенок у пилигримов слюни потекут. Кто вас сможет выпутать?

Чтоб подготовить молодых женщин, требовались добрые сутки. Решили не повторять маневр с проказой, поскольку пилигримы, несомненно, уже должны были просечь, что в городе прока-

женных не бывает. Надо было наляпать им на лица болячки и коросту, чтобы женщины обрели наружность больных чесоткой: чесоточную кто хочет? Кроме того, три дня пути — значит, на три дня припасов. В дороге есть-то надо было. Пустой мешок на ногах не держится. Генуэзцы наготовили корзин с тонкими хлебами — скрипилитами. Эти знаменитые лепешки готовились из бобовой муки, заправлялись оливковым маслом и резались на продолговатые ломти. Переложенные листьями салата, они всегда были под рукой: оставалось только посыпать перцем, и получалась дивная еда, сытная — хоть корми львов! лучше бифштекса! Лежали в корзинах и булки с маслом, с шалфеем, с сыром, с жареным луком.

Никите эта варварская пища показалась непривлекательной, но поскольку выход был намечен не ранее чем через сутки, он рассудил, что останется еще время и для последних изысканных лакомств, которые успеет состряпать Феофил, и для последних рассказов Баудолино, ибо жаль было расставаться на интересном месте, так и не узнав, чем заканчивается его повесть.

— Ну, моя повесть еще не скоро заканчивается, — буркнул Баудолино. — В любом случае, я отправляюсь с вами. В Константинополе мне

вовсе нечего делать. На каждом углу тяжкие воспоминания… Ты стал моим пергаментом, сударь Никита. Я на тебе пишу то, что полагал позабытым. Будто рука скользит по листу. Думаю, что рассказчику самое нужное — слушатель. Тогда истории выходят из забытья. Можно рассказывать, конечно, и самому себе. Но… Помнишь, как я писал письма императрице? Которые к ней не попадали? Если я и сдурил, прочитал их товарищам, — это потому, что в противном случае письма не имели бы смысла. А вот когда с императрицей состоялось дивное событие, поцелуй, то про этот поцелуй рассказать я никому не был волен. Я носил его в себе, в своей памяти, долгие годы, то и дело смаковал, как ваше сладкое вино с медом… жил с этим ядом во рту… Вот сейчас я рассказал о поцелуе — и освободился.

— А почему ты именно сейчас смог рассказать о поцелуе?

— Потому что именно сейчас, прямо перед нашей встречей с тобою, не осталось в живых никого из тех, кто участвовал в моей истории. Остаюсь в живых только я. Ты мне необходим теперь, как воздух. Я пойду с вами до Силимврии.

Не успев отойти от ран, полученных под Леньяно, Фридрих вызвал Баудолино вместе с

имперским канцлером Христианом фон Бухом. Если решаем принять всерьез грамоту Иоанна, следует действовать немедленно. Христиан прочитал пергамент, поданный Баудолино, и, предусмотрительный царедворец, сделал несколько замечаний. Прежде всего: почерк не писарский, не канцелярский. А ведь письму надлежало обращаться в кругу папского двора и при дворах Франции, Англии, византийского василевса. Пусть же оно примет вид, положенный важным документам в мировом христианском обиходе. Затем он добавил, что требуется некоторое время, чтоб изготовить печати, действительно похожие на печати. Чтобы работать серьезно, надо работать спокойно.

Как запустить письмо по всем этим городам и весям? Разослать прямо из имперской канцелярии… Неправдоподобно. Вот еще! пресвитер Иоанн обратился лично к тебе, пригласил в гости в неизведанные страны, а ты станешь разглашать это на семи ветрах, lippis et tonsoribus,[24] чтобы кто-то перебежал тебе дорогу? Нет, необходимо организовать тихий ток сведений. Пусть блуждают призрачные слухи. Это нужно не только

[24] Примечания: 24

всем и каждому *(лат).* Дословно: «и золотушным и цирюльникам» Гораций, Сатиры, I, 7, 3

чтоб узаконить намеченный поход, но и чтобы изумить весь крещеный мир. Но пусть это произойдет исподволь, вскроется тайная тайных.

Баудолино предложил употребить своих друзей. Из них выйдут агенты выше всяких подозрений. Выученики парижской школы, это вам не Фридриховы птенцы. Абдул обнародует письмо в государствах Святой Земли. Борон распространит текст по Англии, Гийот по Франции. А рабби Соломон пустит его через евреев, проживающих на территории Византийской империи.

Так все следующие месяцы были посвящены хитроумным подставам, и Баудолино в сущности руководил скрипторием, где трудились его однокашники. Фридрих время от времени требовал докладов. Он настаивал, в частности, на том, чтобы статью насчет Братины прописали поотчетливее. Баудолино объяснил ему, по каким причинам эту тему лучше бы оставить под завесой тумана. Но он увидел, что царский и священнический символ, судя по всему, волнует императора.

План прорабатывался. Однако Фридрих то и дело отвлекался на инородные дела. Требовалось во что бы то ни стало замиряться с папой Александром Третьим, ибо императорских ан-

типап, как обнаружилось, никто в мире всерьез не принимал. Император согласился отдать честь Александру и признать его единственным и истинным римским понтификом (и это был крупный шаг). Но за это папу обязывали, чтоб он полностью прекратил поддержку ломбардских городов-коммун (а это был уже шаг просто-таки гигантский). Стоило ли, задумались тогда и Фридрих и его канцлер Христиан фон Бух, одной рукой плести тонкую интригу с папой, а другой — подрывать эту связь, снова вытаскивая теорию совмещения sacerdotium и imperium? Баудолино от этих императорских колебаний исходил желчью, но, конечно, не мог слова сказать поперек его воли.

Дальше — хуже. Фридрих вовсе перестал планировать что-то вместе с Баудолино. Вместо этого Баудолино был направлен с деликатным поручением в апреле 1177 года в Венецию. Нужно было искусно подготовить разные аспекты намеченной на июль встречи папы и императора. Церемония примирения должна быть продумана в подробностях, исключая наималейшие опасности срыва.

— В особенности Христиана волновало, не подстроит ли ваш василевс какую-нибудь козню или

же бунт, чтобы испортить обстановку встречи. Помнишь, ведь именно тогда Мануил Комнин заигрывал с папой. Примирение Фридриха с Александром сильно портило планы василевса.

— Не то слово! В корне подрывало эти планы! Мануил потратил десять лет, чтобы убедить папу объединить наши церкви. Он был готов признать папу по церковной иерархии выше себя. А в мирской державе он хотел получить от папы титулование единственного истинного римского императора, как Западного, так и Восточного. Однако Александру даже при такой договоренности не предоставляли полной власти в Константинополе. И к тому же кто бы избавил его от Фридриха в Италии? Новым пактом, вдобавок, папа рисковал восстановить против себя других монархов Европы. Поэтому он выбирал, какой союз сулит ему больше разнообразных выгод.

— Все же твой василевс наслал в Венецию шпионов. Переодетых в монахов…

— Вероятно, они монахами и были. В нашей империи люди церкви довольно часто работают на василевса, а не копают под него. Насколько я могу понять… но учти, что в тот период я еще не состоял в высшей власти… тогда никого из наших не посылали разжигать бунты. Мануил смирился

с неизбежностью. Может, он хотел просто получше знать о том, что происходило у ваших.

— Государь Никита, ты, конечно, знаешь, раз был логофетом невесть каких келейностей… что когда шпионы двух противостоящих держав действуют на одном месте, самое естественное для них — дружить и обоюдно обмениваться секретами. Тогда они не волнуются, что у них украдут секреты, и вдобавок предстают во всей красоте перед начальством. Примерно это произошло и между нами и вашими монахами. Мы сразу оповестили друг друга, с каким намерением были там. Они — чтобы шпионить за нами, а мы — чтобы шпионить за ними! И, объяснившись, во взаимопонимании пречудесно проводили время.

— Подобную ситуацию предусмотрительный правитель всегда предвидит. Она неотвратима. Если он захочет обратиться напрямую к иностранным шпионам, которых он, в частности, не знает, они ему ничего не скажут. Поэтому он отправляет своих шпионов, снабженных не слишком важными секретами… теми, которыми правитель готов поступиться… и через них он узнает то, что ему необходимо. И что, как правило, уже известно всем, кроме этого прави-

теля, — сказал Никита.

— Среди монахов состоял некий Зосима из Халкедонии. Меня поразил его облик, испитое лицо, горящие и вращающиеся вверх и вниз глаза… Сверкающим взором будто освещались большая черная борода и длинные космы. Беседа его была… будто он обращался к распятому, повешенному истекать кровью в двух пядях от его лица.

— Да, знаю эту породу, у нас в монастырях их сколько угодно. Обычно умирают молодыми от изнурения плоти…

— Ну, это не тот случай. В жизни не встречался мне подобный сладострастник. Однажды я привел его к двум венецианским куртизанкам, а те, как знаешь, слывут сильнейшими из тружениц достопочтенного ремесла, старого, как мир. В три часа ночи я основательно напился и предпочел пойти домой, а Зосима оставался. Впоследствии одна из девушек мне сказала, что ей ни разу еще не приводилось выдерживать такого сатанинского наскока.

— Да, знаю эту породу, у нас в монастырях их сколько угодно. Обычно умирают молодыми от изнурения плоти.

Баудолино и Зосима не то чтоб стали друзьями,

но много кутили вместе. Это началось довольно необычно. После первой и обильной попойки Зосима изрыгнул невоспроизводимое ругательство и сказал, что этой ночью он обменяет всех зарезанных библейских младенцев на одну деву несуровых обычаев. На вопрос, тому ли учат в византийских монашеских школах, Зосима отвечал: — Рече святый Василий, двое суть демоны, гораздые прельщать ум. Первый есть блуд, второй богохульство. Однако действие второго недолго, а первый, если не сопровождается страстностью, безвреден для ума и не мешает созерцанию Бога. — Они тут же отправились отдать должное, не сопровождая страстностью, демону блуда. Баудолино с восхищением отметил, что у Зосимы всегда имеется в запасе некая сентенция отца церкви или святого угодника, помогающая восстанавливать при каждом случае мир душевный.

В другой раз они опять вместе пили. Зосима восславлял чудеса Константинополя. Баудолино было стыдно, что он мог рассказать лишь о переулках Парижа, загаженных калом, который выкидывали жители из окошек. Еще он мог описать насупленные воды Танаро, которым было далеко до золотистых течений Пропонтиды. Гово-

рить о mirabilia urbis Mediolani было невозможно, поскольку Фридрих в Милане все разгромил. Он не знал, чем отвечать Зосиме, и, чтоб поразить его, показал ему письмо пресвитера Иоанна. Будто хотел показать, что существует на земле земля, по сравнению с которой Зосимова Византия — жалкая пустошь.

Не успел Зосима впериться в первую строку, как он уже недоверчиво спрашивал: — Presbyter Johannes? Кто это?

— Ты не знаешь?

— Благ, еже достиг предела знаний, иже не прейдеши.

— Прейдеши, прейдеши. Прочитай до конца.

Тот прочитал, горящие очи загорелись еще сильнее. Отложил пергамент и равнодушно промолвил: — А, пресвитер Иоанн. Ясное дело. В моем монастыре хранится куча путевых записок о странствиях в его царство.

— Да ты ведь только что не знал как его зовут!

— Журавли слагают письмена на лету, хоть не знают азбук. Эта грамота празднословит о пресвитере Иоанне и лжет. Но царство, о котором она рассказывает, неложно. Я читал о нем в путевых записках. Правит царством Господин Великих Индий.

Баудолино прозакладывал бы голову, что лукавец просто хочет вытянуть из него сведения. Но Зосима не оставлял ему времени для сомнений.

— Господь трижды обетовал в крещеном человеке: душу правой вере, язык прямоте, плоть воздержанью. Это твое послание не мог сочинить Господин Великих Индий. Слишком много неувязок. Например, описываются чудные твари, бытующие в той земле, однако не охвачены… дай подумать… к примеру, не охвачены метацыпленарии, финсиреты и каметететерны.

— Чего, чего?

— То есть как! Первым делом всякий, кто попадает во владения попа Иоанна, видит перед собой финсирету. И если он не готовился к этой встрече… Хрясть! Финсирета его сожрет и не поморщится. Э-э, милый, в таких местах не прогуливаются запросто, как в Иерусалиме, где уж в самом крайнем случае натолкнешься на верблюда, крокодила, на парочку слонов… ничего особенного… Продолжаю. Твоя грамота кажется мне подозрительной еще и по той причине, что адресуется к вашему императору, а не к нашему василевсу, хотя именно наша империя расположена ближе к земле Иоанна, нежели империя латинян.

— Ты так уверенно говоришь, будто знаешь, где она.

— Точно-то знать и я не знаю, но могу представить себе, как добираться, потому что кому ведома цель, тому ведом и путь.

— А тогда почему никто из вас, ромеев, туда не хаживал?

— Ас чего ты взял, что не хаживал? Я мог бы сказать: василевс Мануил затем и ходил на Иконий во владениях султана, чтобы разведать дорогу в царство Господина Великих Индий.

— Мог бы сказать… но не говоришь!

— Не говорю, ибо наши доблестные вояки были разбиты именно в тех краях, при Мириокефале, два года тому назад. Поэтому нашему василевсу, прежде чем снова идти, нужно как следует собраться. Но если бы у меня были деньги и вооруженные люди, готовые к трудностям, я с моим знанием пути выступил бы хоть сию минуту. В дороге узнал бы еще больше… спрашивал местных жителей… Опознавался по знакам: например, когда начнут попадаться деревья, цветущие только в искомых землях. Или когда обнаружатся звери, обитающие только там… метацыпленарии…

— Многая лета метацыпленариям! — вскричал Баудолино и поднял кубок. Зосима предложил

здравицу за царство попа Иоанна. Следующим предложением было — за Мануила, и Баудолино ответил, что ладно, если тот согласится выпить и за Фридриха Барбароссу. Потом они пили за папу, за Венецию, за двух куртизанок, с которыми позавчера познакомились, и наконец Баудолино рухнул, сраженный количеством выпитого, головой на столешницу, напоследок услышав бормотание Зосимы: — Жизнь монашеская такова: чуждайся любопытству, не споспешествуй неправедному, не покушайся руками…

На следующее утро Баудолино, еле ворочая заскорузлым языком, сказал: — Зосима, ты прощелыга. Ты не имеешь ни малейшего понятия, где обретается Господин Великих Индий. Ты надумал выйти на перекресток, расспросить народ, и как только тебе укажут, что вон в той стороне могут пастись метацыпленарии, — побежать скорее, отыскать дворец из ценных каменьев, во дворце найти попа и сказать ему: добрый день, пресвитер Иоанн, приятное знакомство! Прибереги этот бред для василевса! А со мной уж лучше воздержись.

— Ну, а если у меня хорошая карта… — промычал Зосима, силясь разлепить кислые веки.

Баудолино возразил, что даже и с хорошей кар-

той путь совсем не так уж прост. Ориентироваться по картам трудно. Как известно, карты неточны, в особенности карты тех мест, в которых, говоря начистоту, побывал только Александр Великий, да и тот лишь по слухам, а уж после него не был никто. И он постарался как мог изобразить карту, предложенную Абдулом.

Зосима стал хохотать. Ничего себе! Баудолино исповедует еретическую извращенную теорию, будто земля кругла, как шар! С этим и из дому выходить не следует!

— Или ты вверишься Святому Писанию, или ты басурман, до сих пор веришь в те идеи, что существовали до Александра… который, кстати, не сумел даже оставить приличную карту! Писание гласит, что не только земля, но и весь универс созданы в форме скинии! Моисей устроил скинию в виде точной копии универса, от тверди земной до тверди небесной!

— Однако античные философы…

— Однако античные философы не были просвещены словом Господа! Выдумали каких-то Антиподов! В то время как в Деяниях Апостолов сказано, что Господь вывел от одного человека все потомство, живущее на лице Земли. На лице! Заметь, затылка Земле не причитается. В Еванге-

лии от Луки сказано, что Господь дал апостолам силу ходить по гадам и скорпиям. Ходить — это значит по чему-то, а не снизу чего-то. Да и будь взаправду Земля сферична и виси она в пустоте, тогда нельзя было бы разобрать верха от низа, никто не разбирал бы путь, не разбирался бы, что такое путь. Кому вообще пришло в голову, что небо может быть шарообразно? Это пришло грехотворникам-халдеям, возлезателям на шпиц столпа Вавилонского, которым они пронзили устрашавшие их небеса! Кто из Пифагоров, Аристотелей сумел провозвестить воскресение из мертвых? Никто не сумел! Как же они при толиком невежестве потщились определять форму Земли! Ты думаешь, шаровидная Земля позволила бы предсказывать восходы и заходы солнца и дату Пасхи? То есть смогли бы простые люди, не изучавшие философии, астрономии, предугадывать, когда взойдет солнце, когда оно сядет, сообразно времени года? Смогли бы рассчитывать день Пасхи, не ошибившись? Каких геометрических знаний можно требовать от плотника, кроме самых примитивных? Какой астрономической науки, кроме исконной, можно ожидать от землепашца? А ведь ему известно и время сева и время жатвы! И вообще, о ком

из античных философов ты говоришь мне? Что знаете вы, латиняне, о Ксенофане Колофонском, который, полагая, что земля бесконечна, отрицал ее сферичность? Невежда на это возразил бы, что если считать универс подобным скинии, невозможно объяснить затмения и равноденствия. Ну что ж, в нашей римской империи несколько веков назад жил великий ученый Космa Индикоплов. Он пропутешествовал до самого края земли и в своей «Христианской топографии» безукоризненно продемонстрировал, что у земли действительно форма стола, и что лишь через это объясняются самые смутные явления. Ты что, считаешь, что наихристианнейший из всех царей, Иоанн, может руководиться не самой христианской из топографии? Может руководиться иной топографией, кроме той, что у Космы? Кроме той, которая изложена в Священном Писании?

— А я тебе скажу, что мой пресвитер Иоанн не знает топографию твоего Космы.

— Как ты сам отметил недавно, Иоанн — несторианин. Несториане вели научный спор с другими еретиками, с моно-физитами. Монофизиты утверждали, будто земля имеет форму шара. Несториане — что форму скинии, имея в виду запертый короб. Известно, что и Космa — несториа-

нин, во всяком случае последователь Несториева учителя, Феодора Мопсуестийского. Известно, что всю жизнь он выступал против монофизитской ереси Иоанна Филопона Александрийского, следовавшего таким философам-язычникам, как Аристотель. Космa — несторианин! Пресвитер Иоанн — несторианин! Оба они считают землю запертой коробкой!

— Минуточку. И твой Космa и мой пресвитер Иоанн несториане. Об этом никто не спорит. Но ведь несториане, как я помню, умственно блуждают относительно Иисуса и Иисусовой матери? Вероятно, могут заблуждаться и насчет формы универса?

— Тут вводится тончайшая аргументация! Я докажу, что… если ты действительно хочешь найти пресвитера Иоанна… тебе в любом случае следует придерживаться теории Космы, а не языческих топографии. Предположим для простоты, что Космa выражает действительно неправые воззрения. И тем не менее воззрения эти выработаны на основании убеждений народов Востока, которые Космa посетил. Иначе откуда бы он взял эти убеждения? Это убеждения народов, обитающих по дороге в царство пресвитера Иоанна. Значит, несомненно, что обитатели царства представля-

ют себе мир коробкой. И измеряют расстояния, границы, течение рек, протяжение морей, берега и заливы, не говоря уж о горных кручах, в зависимости от божественного коробовидного плана.

— Опять-таки этот довод нехорош, — отвечал Баудолино. — Пусть они думают, что живут в коробке, это не значит, что они в ней живут.

— Дай мне закончить умозаключение. Если ты спросишь меня, как проехать в Халкедонию, то есть в мое родное место, я тебе все подробно объясню. Может статься, что моя мера дней дороги отличается от твоей. Может, я стану называть «правым» то, что ты называешь «левым». Все возможно на свете: я слышал, сарацины на картах размещают юг вверху, север внизу, солнце всходит с левой стороны от изображаемого ими пространства. Но если ты примешь способ, которым я передаю бег солнца и форму земли, то получишь пользу от моих указаний и, конечно, дойдешь именно туда, куда я тебя веду. В то же время никуда ты не дойдешь, если будешь настаивать на собственном способе и держаться за собственные карты. Следовательно, — триумфально провозгласил Зосима, — если ты вправду хочешь достичь пресвитера Иоанна, бери именно ту карту, которая создана в его земле. Свою же

карту не бери, будь она хоть и трижды разумнее, нежели та, о которой я тебе рассказываю.

Баудолино был сражен тонким и острым аргументом и попросил Зосиму пояснить ему, в каком же виде Космa, а следовательно и Иоанн, отображают вселенную. — Ну уж нет! — отказался Зосима. — Я, разумеется, знаю, где взять карту, но с какой же стати я должен дарить ее тебе и твоему императору?

— Пусть лучше он тебе даст столько золота, чтоб хватило снарядиться с группой хорошо вооруженных людей…

— Именно!

С этой минуты Зосима ни словечком не обмолвился относительно карты Космы. Вернее сказать, словечки-то он ронял поминутно, особенно обретаясь на пике опьянения, но ими и отделывался. Самое большее — прорисовывал пальцем в воздухе таинственные кривые и тут же замирал, будто боясь проговориться. Баудолино подливал ему вина и задавал наводящие вопросы. — Ну, а если в близости Индии мы загоним коней, можно пересесть на слонов?

— Вероятно, — отвечал на это Зосима. — Ибо в той Индии водятся разные животные, упомянутые в твоем письме. И другие животные. Не

водятся только кони. Но и кони тамошнему народу знакомы. Они получают коней из Синисты.

— А это что еще за страна?

— Синиста — страна, куда ездят за шелковыми червями.

— Шелковые черви? Что это значит?

— Значит, что в Синисте есть такие маленькие яички, которые кладут женщинам за пазуху, и от тепла за пазухой у женщин вылупливается черва. Черву укладывают на тутовые листья и она ими кормится. Выкормившись, червяки оплетаются шелковыми нитями и погребают себя в шелку, как в саркофаге. Затем они превращаются в чудных и многоцветных бабочек и, пробив дыру, выходят из кокона. Прежде чем улететь, самцы овладевают самочками сзади. Те и другие, не востребуя пищи, живут жаром былого соития. Самочки издыхают, насиживая детву.

— Человеку, который убеждает, будто шелк берется из червяков, доверять, конечно, невозможно, — говорил Баудолино Никите. — Он шпионил на василевса. Однако в поход на Господина Индий был готов и на деньги Фридриха. Возьми мы да снаряди тот поход… только б мы Зосиму и видели! И все-таки меня будоражили разговоры о карте Космы. Я думал о карте как о вифлеемской

звезде, зовущей в обратную дорогу. В обратную дорогу Волхвоцарей. И так, полагая, что я хитрее Зосимы, я разжигал его в излишествах, думал, он потеряет бдительность, проговорится…

— А он?

— А он оказался хитрей меня. На другой день его и след простыл. Другие монахи сказали, что он уплыл в Константинополь. Мне он оставил письмецо. Оно гласило: «Как рыбы издыхают на сухоте, так инок, не уклоняющийся от мира, ослабевает свой союз с Богом. Намедни я закосневал в грехе; изыду, приникну к кладезю благостыни».

— Могло соответствовать истине…

— Какое там! Просто он надумал, как выдоить золото из василевса. Мне на погибель.

17
Баудолино видит, что пресвитер пишет кому попало

В июле следующего года Фридрих прибыл в Венецию морем от Равенны до Кьоджи в сопровождении сына дожа, остановился возле церкви Святого Николая на Лидо и в воскресенье двадцать четвертого числа посередине площади Святого Марка пал к ногам папы Александра. Тот поднял и облобызал его, выставляя напоказ душевную склонность. Все вокруг запели Te Deum. Это был самый настоящий триумф, хотя и непонятно: папы или Барбароссы. В любом случае кончилась война, продлившаяся восемнадцать лет. В те же дни император подписал шестилетнее перемирие с ломбардскими коммунами. Фридрих был до того обрадован, что решил задержаться еще на месяц в Венеции.

В августе однажды утром Христиан фон Бух позвал Баудолино и его товарищей, пригласил всю компанию к императору и пред лицом Барбароссы преподнес ему драматическим жестом лист, увешанный печатями, как бусами: — Это грамота

пресвитера Иоанна, — произнес он. — Конфиденциальным путем доставлена из Византии.

— Иоанна? — вскрикнул Фридрих. — Да ведь мы еще ее не разослали!

— Именно. Не наша грамота, чужая. И написанная не к тебе, а к василевсу Мануилу. В остальном все совпадает дословно.

— Что же, этот пресвитер сначала звал в союз меня, а теперь зазывает ромеев? — вознегодовал Фридрих.

Баудолино просто рот разинул. Как он отлично знал, грамота Иоанна была на свете только одна, сочиненная лично им. Если пресвитер существует, он мог свободно написать что-нибудь другое, но ведь не теми же словами! Он попросил себе в руки документ и, пробежав его глазами, сказал: — Совпадает, но не дословно, есть несколько мелких расхождений. Отец, если позволишь, я хотел бы повнимательнее изучить этот лист.

Он удалился в сопровождении друзей. Усевшись вместе, они прочли и многократно перечитали грамоту. Первое: язык был тот же самый, латинский. Нелепо, сказал по этому поводу рабби Соломон, зачем пресвитеру писать латынью к греческому василевсу. Начало выглядело следующим образом:

«Пресвитер Иоанн, всемогуществом Божиим и властью Владыки нашего Иисуса Христа царь царей, владыка владык, желает Мануилу, ромейскому наместнику, здравствовать и благоденствовать силой крестною, Божией милостию и помощью…»

— Вторая нелепость, — произнес Баудолино, — это что он отчего-то именует Мануила наместником ромеев, а не василевсом. Значит, грамоту точно написали не при императоровом дворе греков. Этот лист писал некто не признающий Мануйловых прав.

— То есть, — заключил Поэт, — настоящий Иоанн пресвитер! Он считает себя владыкой владык!

— Давай дальше, — оборвал его Баудолино. — Я покажу вам те слова и отрывки, которые изменены по сравнению с нашим образцом.

«…Было возвещено нашему величеству, что ты сильно уважаешь наше превосходительство и что достигло до тебя известие о нашей славе. Также узнали мы от нашего апокрисиария, что ты желал направить нам нечто приятное и зани-

мательное, на забаву нашего миролюбия. Мы из рода человеческого, и благосклонно принимаем твой дар, и посредством нашего апокрисиария посылаем тебе знак наших щедрот, желая знать, есть ли у тебя общая с нами истинная вера и придерживаешься ли ты во всех делах Иисуса Христа? Между тем как мы признаем, что из рода человеческого, greculi твои тебя мнят богом. Нам же, напротив, ведомо, что ты смертен и преклонен к человеческим слабостям. От широты нашей милостыни: изъяви, что тебе в удовольствие, изъяви нам, в знак принятия нашего дара и в знак твоего благорасположения…»

— Тут уж нелепостей вообще без счету, — сказал рабби Соломон. — С одной стороны, он высокомерничает и презрительно обращается к василевсу с его подопечными greculi… прямо даже оскорбительно… а с другой, употребляет именно греческую терминологию. Если я не ошибаюсь, апокрисиарий — слово греческое.

— Да, и означает «посредник», — сказал Баудолино. — Но послушайте: там, где мы указывали,

что за стол пресвитера садятся самаркандский митрополит и протодиакон Сузы, тут они пишут… protopapaten Sarmagantinum и archiprotopapaten de Susis. Протопоп и архипротопоп. Кроме того, в ряду чудес Иоаннова царства появляется средство против злых духов — полынь, называемая здесь трава assidios. Все три термина — греческие.

— То есть, — подытожил Поэт, — грамота написана греком, оскорбляющим всех греков. Разобраться бы.

Тем временем лист перешел в руки Абдула. — Еще вот… В нашем описании процесса сбора перца возникли новые детали. Тут добавлено, что в царстве Иоанна очень мало лошадей. А в отрывке о саламандрах сообщается, что эти твари окружены тончайшей пленкой, подобно черве, вырабатывающей шелк, и что пленку эту передают прачкам, работающим при дворе, и те ее моют, после чего используют как ткань для одежды, в особенности для владыческих покровов, а моют эту ткань на живом огне…

— Как, как? — забеспокоился Баудолино.

— Вот так. И еще, — читал из грамоты Абдул, — в перечне существ, которые обитают в царстве, наряду с рогачами, фавнами, пигмеями и псиглавцами, тут есть метацыпленарии, каметететерны

и финсиреты, насчет которых мы даже рта не открывали.

— Мать Пресвятая Богородица! — взвыл Баудолино. — Ведь и брехню о червяках я слышал-то от Зосимы! И тот же Зосима оповестил меня, что, по словам Космы Индикоплова, в Индии не водятся лошади! И он же, он же пытался втереть мне метацыпленариев и прочих, иже с ними! О сын блудницы, поместилище кала, лгун, вор, лицемер, сладострастник, прелюбодей, малодушный, невоздержанный, чревоугодник, скупец и расточитель, гневливец, еретик, ересиарх, сводник и обольститель, льстец, святокупец, прорицатель, мздоимец, лукавый советчик, некромант, зачинщик раздора, подделыщик металлов, поддельщик людей, денег и слов!

— Да что он сделал тебе?

— Вы до сих пор не догадались? В тот вечер, что я показал ему письмо, он подпоил меня и списал текст! Потом помчался к своему дерьмовому василевсу, уведомил его, что Фридрих собирается выступить в роли друга-наследника пресвитера, и тут же сфабриковал вот эту подделку, но уже с обращением к Мануилу! Таким манером он опередил нас! Вот почему писавший кичливо обращается к василевсу! Отводит подозрения

от василевсовой канцелярии! И вот зачем туда впихнуты грецизмы! Они создают такой стиль, будто текст — это латинский перевод с оригинала, написанного Иоанном по-гречески. И переведенного на латинский, чтобы дошло не только до одного Мануила, а до правительств всех латинских владык! Чтобы дошло до римского папы!

— Да, вот еще одна мелочь, которая от нас ускользнула, — вставил Гийот. — Помните о Братине, которую пресвитер вроде посылал Фридриху в подарок? Мы высказывались о ней уклончиво: ковчежец истины, veram arcam… Об этом ты тоже говорил с Зосимой?

— Нет, воздержался…

— Вот видишь, и Зосима написал невнятное yeracam… Пресвитер посылает василевсу yeracam!

— То есть в каком это смысле? — спросил Поэт.

— Да Зосима и сам не знает, — ответил Бодолино. — Вы видите наш оригинал. На этом месте почерк Абдула не слишком четок. Зосима слышит звон, да не знает, где он, и подумал о каком-то высокопоставленном даре. Так и объясняется «ерака». О я презренный! Все по моей вине! Доверился негодяю. Ведь это стыд. Как теперь признаваться императору?

Суесловить им было не впервой… Канцлеру и императору доложили, на каком основании делается вывод, что письмо сработано в канцелярии Мануила. И сработано с расчетом не дать императору Фридриху запустить свою грамоту! Потом добавили, что по всей очевидности кто-то орудует в свято-римско-имперской канцелярии. Кем-то выкраден экземпляр письма, кем-то передан в Константинополь. Фридрих присягнул, что если он только изловит шпиона, лично оторвет ему все отростки, какие только у того растут из тела.

После этого Фридрих поинтересовался, что надо думать о затее Мануила. Может, грамота подделана для идеи организовать поход в край Великих Индий? Христиан глубокомысленно отозвался в том духе, что Мануил за два года перед тем уже ходил на султана сельджуков под Иконий, во Фригию, и был там в пух и прах разбит при Мириокефале. Теперь он вряд ли сунется в эти Индии до самого скончания жизни. И скорее наоборот даже, если подумать, письмо, наверно, ему понадобилось именно как ребяческая попытка спасти авторитет, столь трагично утерянный после похода. И все-таки имело ли теперь смысл пускать в хождение письмо, адресованное Фридриху? Не надо ли было изменить текст, чтоб не казалось,

что он переписан с Мануйловой грамоты?

— Ты помнишь эту историю, сударь Никита? — спросил Баудолино.

Никита усмехнулся. — В те времена мне не было и тридцати и я работал сборщиком налогов в Пафлагонии. Если бы я уже тогда являлся советником василевса, я рекомендовал бы не прибегать к подобным мальчишеским штукам. Но Мануил чересчур доверял своим магнатам, кубикуляриям и евнухам и всевозможным комнатным слугам. Он доверял даже лакеям. А также поддавался влиянию монахов-духовидцев.

— Я места себе не находил, все думал об этом гаде. Вдобавок и папа Александр оказался тоже гадом. Похуже Зосимы, похуже саламандр. Я открыл это в сентябре, когда в канцелярию императора поступил новый документ, по всей видимости доведенный уже до сведения иных крещеных державцев и до сведения василевса. Он представлял собой новое письмо! Написанное папой Александром пресвитеру Иоанну!

Александру, очевидно, было знакомо письмо пресвитера к Мануилу. Вероятно, он знал и о старинном посольстве епископа Гугона из Габалы. Может, он беспокоился, как бы Фридриху не оказалось на руку открытие о существовании царя,

являвшегося и верховным церковным служителем. Поэтому папа делал первый шаг. Письмо его гласило, что он уже выслал своего легата для переговоров в Индии с Иоанном. Начиналось письмо следующими словами:

> *«Александр Епископ, раб рабов Божиих, возлюбленному Иоанну, сыну во Христе, славному и роскошному владетелю Великих Индий, желает здравия и посылает свое апостольское благословение».*

После чего папа напоминал, что один-единственный апостольский престол (то есть римский) получил от Петра полномочие выступать caput et magistra[25] всех верующих. Добавлял, что папа узнал о благоверии и доброте Иоанна от своего придворного медика Магистра Филиппа, и что сей предусмотрительный, осторожный и благоразумный муж сам слышал от людей, заслуживающих доверия, что Иоанн желает наконец обратиться в истинную римскую и католическую веру. Папа жаловался, что в настоящее время не имеет возможности выслать велепревосходительных сановников, в частности потому, что те

---

[25] Примечания: 25
главой и учителем *(лат.)*.

не ведают linguas barbaras et ignotas,[26] и потому посылает Филиппа, мужа рассудительного, прозорливого и дальновидного, дабы тот обучил пресвитера истинной вере. Как только Филипп достигнет Иоаннового местожительства, Иоанну надлежит тут же выслать папе документ о своих намерениях и — предупреждали его — пусть воздерживается от ненужного самохвальства по поводу собственной власти и богатств, потому что для него же выгодней вести себя поскромнее, чтобы быть приняту в качестве простого сына пресвятейшей римской церкви.

Баудолино просто речи лишился, видя, что на свете существуют фальсификаторы такого пошиба. Фридрих озверело вопил: — Сатанинское отродье! Никто не писал ему ничего! Это он из принципа первым отвечает! И хитер до чего! Не называет его пресвитером! Не признает за ним священского чина!

— Знает, что Иоанн несторианин, — поддержал Баудолино. — Поэтому по-папски приглашает его отринуть прежнее уклонение и подойти под папскую руку.

— Письмо, конечно, нагло до невероятия, — вы-

---

[26] Примечания: 26
варварских и неизвестных языков *(лат)*

сказался канцлер Христиан. — Называет Иоанна сынком, не посылает к нему даже самого завалящего епископа, а всего лишь придворного врача. Обращается с ним как с нашалившим мальчишкой.

— Остановить этого Филиппа, — продолжал Фридрих в запальчивости. — Христиан, отправить гонцов, верных людей, убийц, кого хочешь, перенять на пути, перерезать горло, вырвать язык, утопить в болоте! Он не должен дойти до Иоанна! Иоанн — это мое дело!

— Не волнуйся, мой отец, — перебил Баудолино, — думаю, никакой Филипп никуда не отправлен и не доказано еще, что он вообще на свете существует. Во-первых, Александр, я думаю, прекрасно понимает, что письмо к Мануилу — фальшивка. Во-вторых, он понятия не имеет, где искать этого Иоанна. В-третьих, он писал письмо именно затем, чтобы провозгласить всему свету, и провозгласить раньше тебя, Фридрих, что Иоанн — это его дело. Кстати, он походя рекомендует тебе и Мануилу выкинуть из головы идею священника-монарха. В-четвертых, если даже Филипп существовал бы на свете, и пойди он к Иоанну, и даже разыщи он этого Иоанна взаправду, ты представь себе, что начнется, если он

вернется к папе несолоно хлебавши, потому что Иоанн не захочет менять веру! Для Александра это все равно что пригоршня дерьма прямо в морду. Не станет он так рисковать.

В любом случае время было упущено. Рассылать письмо пресвитера к Фридриху было теперь слишком поздно. Баудолино ходил как обокраденный. Он начал сочинять государство Иоанна сразу после кончины Оттона. Два десятилетия назад… Два десятилетия протрачены напрасно…

Потом он воспрядал духом. Нет. Пусть даже и пропало, будто не бывало, письмо пресвитера. Завеялось в вихре порожденных им писем. Кто угодно теперь может дополнять любовную переписку с Иоанном. Мы живем в мире дипломированных обманщиков. Но это не означает, что следует отказываться от поисков его царства. В конце концов карта Космы где-то же спрятана! Достаточно отыскать Зосиму, вытребовать у него карту, а уж после этого — отправляться в полную неизвестность.

Но где отыскивать Зосиму? И даже вызнав, где отыскивать Зосиму… вызнав, где Зосима угрелся, питаемый пребендами, в императорском дворце под покровительством василевса… как добыть Зосиму из-под защиты всего вооружен-

ного византийского конвоя? Баудолино начал выспрашивать у путешественников, купцов, посланников: хоть бы словечко о мерзостном схимнике. И в то же время не переставая пел в уши императору Фридриху. — Отец мой, — непрерывно повторял он, — сейчас это осмысленнее, чем прежде. Ты прежде подозревал, что царство — порождение моих фантазий. Теперь ты знаешь, что в него веруют и византийский василевс и римский папа. В Париже меня учили, что если наш рассудок может вместить нечто, превыше чего нет ничего на свете, то следовательно, это нечто реально. Я выслежу того, кто наведет нас на верную дорогу. Дай разрешение истратить немного денег.

Он получил достаточно золота, чтоб подкупить всех greculi, шнырявших по Венеции. Его вывели на верных людей в Константинополе. Теперь он ждал результатов. Получив их, он готовился подтолкнуть Фридриха к принятию решения.

— Последовали годы ожидания, сударь Никита. Тем временем ваш Мануил преставился. Хотя я и не посещал еще ни разу вашу державу, но я довольно был наслышан о ней, чтобы знать, что по смерти каждого василевса его слуг убирают. Я молил Пресвятую Деву и всех известных христи-

анских святых, чтобы Зосима сохранился. Пусть и с выколотыми глазами, неважно. От него требовалось выдать карту. А разобрался бы в ней я сам. Время уходило. Годы текли, как вытекает кровь.

Никита сказал: не нужно снова переживать неприятности прошлых лет. Он попросил своего повара-домочадца на этот раз показать наивысшее искусство. Пусть расстарается, чтоб последняя трапеза под константинопольским солнцем привела на память все услады здешнего моря и здешней суши. На столе появились лангусты и раки, отварные креветки, жареное мясо крабов, чечевица с устрицами и мидиями, морские гребешки на одном блюде с пюре из нута и медовым рисом, с розетками лососевой икры. К этим яствам было подано вино с Крита. И, как оказалось, это только первая перемена. На второе было жаркое удивительного аромата. В низком плоском судке запекались: четыре капустные кочерыжки, твердые как лед, белые как снег, с ними карп и штук двадцать небольшого размера макрелей, все это сдабривалось солеными сельдями, яйцами, валашским сыром. На соус ушло не менее фунта оливкового масла, горсть перца, двенадцать головок чеснока. Однако к этой, ко второй перемене полагалось уже совсем другое

вино — вино с Ганоса.

18
Баудолино и Коландрина

Со двора генуэзского дома летели жалобы дочерей Никиты, не желавших пачкать лицо, по привычке к притираниям и прикрасам. — Цыц вы там, — утихомиривал их Грилло. — Тут не до красоты, да и не ей одной сильны бабы. — И пояснял, что даже так нет уверенности, что немногой паршой да оспой, которые наляпаны на их лица, они отпугнут распаленных пилигримов. Те не пропускают ни одной, ни молодой, ни старой, ни хворой, ни здоровой… гречанок, сарацинок, иудеек. В этом деле религия мало что меняет. Чтоб отшугнуть надежно, говорил он, лицо должно быть в такой уж сыпи! что твоя терка! Жена Никиты хлопотала, помогала уродовать красавиц, прилепляя им то язвы на щеки, то куриную кожу на нос, чтоб казалось, что тот загноился.

Баудолино с тихой грустью наблюдал за этим дружным семейством и вдруг сказал: — Так вот болтавшись и не зная, чем бы заняться, я тоже завел жену.

Он рассказал историю своей женатой жизни.

Невесело, будто воспоминание причиняло страданье. — В те времена я постоянно ездил между двором и Александрией. Фридриху существование Александрии все никак не давало покоя. Я старался наладить отношения между своими земляками и императором. Со временем положение улучшалось. Александр Третий умер; город утратил покровителя. Император постепенно замирялся с итальянскими городами, и Александрия теряла роль оплота Лиги. Генуя тоже теперь поддерживала империю. Александрии был прямой расчет дружить с генуэзцами и никакого расчету — состоять единственным врагом императора. Нужно было найти приемлемое для всех решение. Так вот, проводя неисчислимые дни с земляками, а затем уезжая ко двору, чтобы прощупывать настроение императора, я и заметил Коландрину Дочь Гуаско, Коландрина росла у меня на глазах, росла-росла и выросла в девушку. Кроткого нрава и чуть-чуть неловкую в движениях. Но это в ней было мило. После осады мы с родителем Гальяудо стали чуть ли не спасителями города, ну а я в глазах Коландрины — просто святым Георгием. Когда мы судачили о делах с Гуаско, она присаживалась сбоку, глаза ее блестели и она впивала каждое слово. Я ей годился

в отцы: ей шестнадцать, а мне было тридцать восемь лет. Не знаю, был ли я влюблен. Но мне с ней было приятно. Даже нередко я начинал плести какую-то невероятицу, чтоб она слушала взахлеб. Гуаско тоже сам кое-что приметил. Он, конечно, был miles, а я всего лишь министериал — неровня. Да вдобавок крестьянский сын. Но как я уже тебе докладывал, в городе меня любили, я носил меч, живал при дворе… В общем, союз получался приемлемый, и сам Гуаско первым сказал мне: почему ты не возьмешь мою Коландрину, девка стала как угорелая, все роняет, а когда тебя нет, не утянешь от окошка, знай высматривает тебя на дороге. Состоялась превосходная свадьба в соборе Святого Петра, в том самом, который мы дарили покойному папе и о котором новый папа и понятия не имел. Необычная свадьба, однако. Потому что после первой же ночи я был должен ехать к императору. И таков был весь наш первый год. Видел я жену по большим праздникам. Сердце трогало, как она была счастлива, когда я приезжал к ней.

— Ты любил ее?

— Думаю, любил. Но раньше я не бывал женат, и попросту не знал, что с женами делают, кроме разве того обычного, чем мужья и жены занима-

ются ночью. Днем же я не знал, ласкать ли ее как ребенка, развлекать ли ее как даму, или ругать за всякие нескладности, потому что она еще, по сути, нуждалась в отце. Или прощать за все? Или нельзя было прощать, чтоб не разбаловать?

Все до тех пор, покуда в конце первого года она не сказала мне, что ожидает дитя. Тут она стала для меня вроде святой Марии. Я просил у нее прощенья за каждый вынужденный отъезд. Я водил ее по воскресеньям в церковь, чтоб люди видели, как добрая жена Баудолино готовится сделать его отцом. А в те немногие вечера, что мы бывали вместе, мы воображали, как будем возиться с Баудолинетто Коландринино, который сидит в животе. Она почему-то была убеждена, что Фридрих подарит ему герцогство, да и меня почти убедила. Я рассказывал ей о царстве пресвитера, а она говорила, что одного меня туда не отпустит ни за какие сокровища в мире. Потому что поди знай какие там роскошные дамы! Да и самой ей была охота повидать это лучшее на свете место. И такое преогромное, что даже больше Александрии вместе с деревней Солеро.

Я говорил ей о Братине, а она раскрывала глаза: ты подумай, Баудолино, вот поедешь, привезешь оттуда чашу, из которой пил Господь Спаситель!

Сразу прославишься на весь наш крещеный мир! Выставишь для поклонения эту Братину в Монтекастелло, и народ пойдет сюда на богомолье даже из Куарньенто… Мы дурачились, как дети, и я думал про себя: бедный Абдул считает, что достойней всего любви некая дальняя принцесса. А мою-то дальней не назовешь, ближе некуда. Вот я целую ее за ушком, а она смеется и говорит, что ей щекотно. Только недолго продлилось все…

— Почему?

— Потому что как раз когда она была беременна, александрийцы заключили союз с Генуей против шайки Сильвано Д'Орба. В этой шайке было несколько мошенников, счесть по пальцам, но они крутились вокруг города и грабили пригородных крестьян. Коландрина пошла за крепостную стену собрать цветы. Она готовила цветы к моему приезду, а рядом пасся гурт овец. Она остановилась поговорить с пастушонком. Он был крестьянином ее отца. Тут банда мерзавцев набросилась на стадо. Может, ей-то они и не хотели делать зла. Но ее толкнули, повалили на землю. Убегающие овцы на нее налетали… Ну, пастух себе удрал, а Коландрину родичи нашли поздно вечером в горячке. Когда они заметили, что к вечеру она не вернулась… Гуаско выслал за

мной человека, я скакал во весь опор, но два-то дня все же ушли. Я увидел ее при смерти. Она стала просить передо мной прощенья, говоря, что ребенок вышел наружу раньше срока. Что он погиб. Она убивалась, что не сумела родить мне сына. Лицо ее было как у восковой мадонны. Чтоб разобрать слова, мне приходилось прижиматься ухом к ее рту. Не смотри на меня, Баудолино, она шептала, я вся опухшая от слез. Не только я негодная мать, но и жена… дурна на лицо… И умерла, прося меня ее простить. А я просил простить меня, что не был с нею. Не защитил ее в опасности. Потом я захотел посмотреть ребенка. Они не хотели показывать. Этот ребенок…

Баудолино остановился. Он помолчал, упершись взглядом в потолок, чтобы Никита не видел глаз. — Это был уродик, — потом сказал он. — Как те, которых мы предполагали найти в земле Иоанна. Какие-то щелки вместо глаз, тощая грудка, от плеч отходило что-то вроде спрутовых щупалец. А ноги и живот были покрыты белой шерсткой. Как у барашка. Я, в общем, не смог смотреть на него. Я дал разрешение хоронить. Но даже и не знал, годится ли вызывать к нему священника. Я вышел из города и целую ночь блуждал по Фраскете. Я говорил себе, что всю

предыдущую жизнь протратил на то, чтобы воображать несуществующих чудищ, созданья иных миров, они казались мне дивными дивами, в своей непохожести на все свидетельствовавшими бесконечные возможности Творца. Но потом, когда Творец побудил меня создать то, что создают все остальные люди, я породил не диво, а ужасное уродство. Мой сын был воплощенная ложь природы. Прав был тогда Оттон, десятикратно прав, когда говорил, что я лжец! И я жил как лжец, и мое семя дало ложный плод. Мертвый ложный плод. И тогда я осознал, что…

— Что, — сказал Никита, — тебе надо переменить жизнь…

— Наоборот, Никита. Я решил, что если в том моя судьба, бессмысленно стараться стать как все. Что надо посвятить себя лжи. Как передать, что там сквозило у меня в голове? Я думал: прежде, изобретая, я выдумывал неправды, но они становились правдами. Явил миру святого Баудолина. Сочинил сен-викторскую библиотеку. Пустил Волхвоцарей гулять по свету. Спас родной город, раскормив тощую корову. Если ныне доктора учат в Болонье, это отчасти моя заслуга. В Риме поместил те mirabilia, которые римлянам до меня и не снились. По вранью Гугона Габальского

создал царство, краше которого не бывало. Не говоря уж, что влюбился в призрак, что заставил призрак написать множество писем, которые вовсе не были писаны, однако кружили голову всем читавшим, даже той, кто их не написала… а ведь была не кем-нибудь, императрицей! Но в тот редкий раз, когда я вздумал создать нечто настоящее, вдобавок от женщины, искренней которой было не найти, все сорвалось. Я произвел такое, чему никто бы не поверил, чему никто бы не желал существовать. Так лучше удалиться в мир дивных вымыслов, уж там-то я сам смогу решать, до какой степени эти вымыслы дивны.

19
Баудолино переименовывает свой город

— Бедный Баудолино, — сказал Никита. Приготовления к отъезду шли своим ходом. — Лишиться и жены и сына в таком цветущем возрасте. А мне-то! И мне-то назавтра угрожает та же участь: лишиться плоти чресл моих и возлюбленной супруги! Злодейством, может, кого-то из этих варваров! Константинополь! Столица! Царица городов, ковчег высочайший Господен, хвала и слава правителей, отрада чужестранцев, императрица империй, песнь песней, светлость светлостей, редчайшее собрание наиредчайших зрелищ! Что станется с нами, покидающими тебя, нагими, какими вышли из материной утробы? Когда увидим тебя снова не в нынешнем обличий? Не сею юдолью плача, попираемой полчищами?

— Не надо, сударь Никита, — сказал ему Баудолино. — Ты лучше вспомни, что, поди, в последний раз можешь отведать эти дивные брашна, достойные Апиция. Что там за шарики из

мяса, источающие все ароматы ваших рынков?

— Кефтедес. А запахи в основном от цинамона, ну и немножко от мяты, — объяснил ему Никита, уже утешась. — Смотри. По случаю последней трапезы я сумел достать анисовку. Пей поскорее, пока она пузырится в воде, как облако.

— Вкусно, в нос не шибает, а голова от нее кружится, — похвалил Баудолино. — Вот ее бы мне пить после гибели Коландрины. Может, хоть на миг удалось бы забыть… Как ты сейчас забываешь и о разрушении города, и о страхе за завтрашний отъезд. Жаль, что в те времена я пил другое. Местное крепкое вино. Оно клонило в сон. Но по пробуждении на душе бывало гаже, нежели прежде.

Баудолино понадобился год, чтобы выйти из печального, охватившего его целиком безумия. Год, который он не помнил вообще. Только скачки по лесам и по оврагам, и куда ни заносил бы его конь — Баудолино напивался, падал замертво, сраженный долгими мучительными грезами. В этих снах ему удавалось наконец настигнуть Зосиму, а настигнув — вырвать у него, с клочьями бороды, карту, на которой указывался путь в царство, где все рождаются в виде финсирет и метацыпленариев. А в Александрию он не вернулся.

Боялся, как бы мать, отец или, может быть, Гуаско и сваты не заговорили с ним о Коландрине. И о неродившемся мальчике. Вот у Фридриха он несколько раз объявлялся. Тот, заботливый, все понимающий, по-отцовски развеивал его тоску разговорами о полезных подвигах, которые Баудолино мог бы совершить для империи. В частности, однажды он сказал, что хорошо если бы Баудолино отыскал все-таки решение для этой ситуации с Александрией, поскольку досада в нем уже перегорела, и для Баудолинова удовольствия он желает уладить осложнение (vulnus), не уничтожая при этом город.

Это занятие помогло Баудолино вернуться к жизни. Фридрих был близок к подписанию окончательного мира с ломбардскими коммунами. Баудолино понимал, что с Александрией все упирается в характер и в упрямство. Фридрих не мог согласиться, чтобы существовал город, заложенный без его одобрения да и вдобавок названный именем его врага. Значит, если бы Фридриху дали возможность повторно задожить тот же самый город… Пусть и на том же самом месте, но, возможно, под новым именем. Как в свое время был вторично заложен Лоди под тем же именем, но на новом месте… Глядишь, так и

удалось бы не поступиться, а помириться!

Взять тоже александрийцев. Им-то что требовалось? Иметь себе свой город и в нем заниматься своими промыслами. Из-за чистой случайности их город назван по Александру Третьему. Но этот Александр-то умер, и теперь уж не обидится, если город переназовут. Вот она идея! Пусть в одно прекрасное утро Фридрих с рыцарями появится перед стенами Александрии. Жители из города выйдут, в город вступит крестный ход епископов, город отлучат от церкви… если считать, что он когда бы то ни было освящался… или, назовем это иначе, раскрестят, а потом снова покрестят… В общем, перекрестят в Кесарею. В честь кесаря, императора. Александрийцы прошествуют перед Фридрихом, воздавая ему должные почести, и войдут в стены нового для них города. Это будет совершенно новый город, основанный императором Фридрихом, и заживут в нем бывшие александрийцы и на славу, и долго, и счастливо.

Так для Баудолино, чтобы выйти из безнадежности, понадобился новый всплеск горячего воображения.

Фридриху идея пришлась по вкусу. Сложность была лишь в том, что он не располагал временем для поездки в Италию. Он был по уши затянут

в устройство дел с алеманскими ленниками. Баудолино взялся представительствовать от имени Фридриха. Перед въездом в Александрию он замешкался. Но тут навстречу вышли его отец с матерью. Пролились реки слез, и после этого всем стало легче. Старые знакомые делали вид, будто никакой жены у Баудолино никогда не было. Они сразу с порога потащили его, не дав даже времени рассказать о сути поручения, в ту памятную остерию. Там сперва как следует выпили, но не крепкого красного, а легкого, терпкого белого вина из Гави. Оно не усыпляло, а помогало фантазии. Баудолино выложил свой план.

Первым высказался Гальяудо: — Оно и видно с кем ты водишься, чьей дури набрался. Ну сам скажи, виданное ли дело, бегать туда и сюда как блажные! То всей толпой из города, а то всей толпой в город! Прошу покорно, нет, сначала вы проходите. Не забудьте только бубны и дудки. Спляшем хоровод в честь святого Баудолина.

— Ну нет, задумка не так уж чтоб плоха, — сказал Бойди. — Вот только после этого как же нам прозываться? Были александрийцы, а сделались кесарийцы? Это мне как-то неудобно. Не знаю как и рассказывать в Асти про такое дело.

— Перестанемте говорить чепуху, — перебил

Оберто дель Форо, — а то мы будто уж ничего другого не умеем. По мне, пусть он перекрещивает город сколько хочет, но вот отдавать ему почести, это дудки. В конце концов это не он нам, а мы ему как следует вставили. Пусть сильно не выпендривается.

Куттика из Куарньенто сказал, что перекрещиваться согласен, ему плевать, будет город прозываться Кесареей, Фесареей, Бесареей, пусть зовется хоть Чезирой, Оливией, Софронией и Евтропией, а зато важно, нашлет ли Фридрих на них своего подесту или удоволится тем, чтоб подтвердить инвеституру консулов, которых они сами выберут из местных.

— Так ты езжай и спроси, как он там все это понимает, твой Фридрих, — сделал вывод за всех Бойди. На это Баудолино: — Вот еще, так я и стану мотаться взад-вперед по Альпам Пиренеям, пока вы не договоритесь. Нет уж, милые, пусть двое из вас едут выборными со мной к императору и решим на месте, какой способ устраивает всех. Фридриху стоит завидеть александрийцев, даже только двоих из вас, как ему сразу сделается тошно. Он будет так спешить отослать вас обратно, что увидите, общий с ним язык вы быстро найдете.

Так с Баудолино отправились двое выборных граждан, Ансельмо Конзани и Теобальдо, один из сыновей Гуаско. Посольство съехалось с императором в Нюрнберге. Соглашение было достигнуто. На месте решился и вопрос о консулах. Как всегда, все зависело от формы. Пусть консулов выбирают сами александрийцы, главное, чтобы утверждались они императором. Что же до почестей, Баудолино отвел Фридриха в сторону и тихо сказал ему: — Отец, ты ехать не можешь, ты пошлешь своего легата. Так пошли меня. Я в конце концов министериал, и в таковом качестве ты в неизъяснимой доброте своей удостоил меня рыцарского пояса, так что я стал Ritter, как говорится в ваших краях.

— Да, но ты же из служилого дворянства, можешь иметь феод, но не можешь присваивать феоды, ты не можешь обладать вассалами, ты…

— Да, но моим-то землякам какое до этого дело? Им лишь бы только воевода был на коне и отдавал приказы. Они воздадут почесть твоему представителю, через него воздадут тебе. В то же время твоим представителем буду я, а я из их среды, и вряд ли они станут переживать, что почести эти в твой адрес. Конечно, если хочешь, почести и все остальное может принимать ка-

кой-нибудь имперский камерарий, которого ты пошлешь со мной. А те-то, они не сообразят даже, который из двоих посланников важнее. Нужно же учитывать, как устроены люди. И пусть на этом вопрос утрясется навсегда. Ведь всем станет лучше? Станет лучше, ведь правда?

И вот в середине марта 1183 года церемония состоялась. Баудолино нарядился в такое убранство, что выглядел важнее маркиза Монферрато. Родители пожирали его глазами. Под рукавицей яблоко меча. Белый конь вытанцовывает пируэты. «Разукрасили, как ту барскую собаку», — приговаривала очарованная мать. Что, кроме Баудолино, там были и два имперских знаменосца, оба с парадными штандартами, и Рудольф, императорский камерарий, а также многие знатные нобили империи, а уж епископов, так тех и подавно не мерено, — это александрийцев, похоже, не впечатлило. Припожаловали и представители других ломбардских городов: Ланфранко из Комо, Сиро Салимбене из Павии, Филиппо из Казале, Герардо из Новары, Паттинерио из Оссоны и Малависка из Брешии.

Поскольку Баудолино установился прямо у ворот, то все александрийцы выходили прямо на него по очереди, со всеми малолетками на

руках и с древними дедами на закорках, вывозили на повозках больных, выводили дураков и припадочных, вытаскивали героев осады без ног, без рук или вовсе с голыми задницами на деревянных плашках, отпихивавшихся руками. Поскольку не было представления, сколько времени придется быть им вовне, многие несли с собою закуску: кто хлеб с колбасой, кто жареную курицу. У многих были и корзинки с фруктами. Выглядело все это как выход для приятной складчины на траве.

На самом же деле стояла холодная погода. Позем обледенел, не сядешь. Осиротелые горожане переминались, притопывали от холода, грели дыханием руки. Были ворчавшие: «Ну, скоро кончат они свой базар? У нас варево на огне осталось!»

Имперские посланные въехали в город и неизвестно чем они в городе занимались. Баудолино с ними не въезжал, он предпочел у главных городских ворот дождаться обратного шествия. Показался один епископ и возгласил, что имя граду сему Кесарея, милостивым соизволением святоримского кесаря. Имперские посланные за спиной Баудолино воздели оружие и штандарты и прокричали славу императору Фридриху. Баудолино пустил своего коня рысью, подскакал

к первым рядам изверженных и оповестил их, в качестве имперского нунция, что Фридрих только что создал этот новый город из семи округ: Гамондио, Маренго, Бергольо, Роборето, Солеро, Форо и Овильо, а также что Фридрих присвоил городу имя Кесарей и уступает его жителям вышеозначенных округ, объединив их, и призывает их войти во владение подаренным башенным градом.

Императорский камерарий стал читать избранные места из монаршей грамоты. Но все невыносимо мерзли. Поэтому были сокращены подробности касательно regalia, подушных и поземельных пошлин, путевого оброка и всего, что узаконивало вступление договора в силу. — Кончай, Рудольф, — сказал Баудолино имперскому камерарию, — чем раньше свернем эту комедию, тем лучше.

Выселенцы побрели обратно. Там были все, кроме Оберто дель Форо, который не принял позорного условия, так как это он в свое время разбил Фридриха, а не Фридрих его. Оберто выставил вместо себя двоих выборных нунциев, nuncii civitatis: Ансельмо Конзани с Теобальдо Гуаско.

Доехав до Баудолино, нунции новой Кесарей дали формальную присягу, даром что на такой

чудовищной латыни, что если бы они потом заявили, что присягнули обратное, никто не смог бы их оспорить. Что же до остальных… остальные, вместо того чтоб отдавать честь, как-то вяло подрыгивали рукой. Многие приговаривали: «А, Баудолино! Как дела, Баудолино? Эге-ге, Баудолино! Человек с человеком встречается, верно? Ну как жизнь?»

Гальяудо, проходя, буркнул, что все это несерьезно, но все-таки был настолько деликатен, что даже нехотя стащил с головы шапку, а учитывая, что он ее снял перед этим шалабоном, собственным сыном, жест значил даже больше, нежели чем, пожалуй, облизать ноги императору Фридриху. По окончании церемонии как ломбардцы, так и тевтоны поскорее разъехались, устыженные. Баудолино, наоборот, с земляками поехал в центр города и слышал, как они переговаривались:

— Ух ты какой город!

— Послушай, а никак он похож на тот, не помню названия, ну, сначала тут стоял?

— Ай да сноровка, ай да алеманы. За два полчаса такой город отгрохали, что любо-дорого глянуть!

— Гляди, гляди, дом-то точь-в-точь как и мой, не отличить, вот как подделали!

— Ребята, — проорал Баудолино, — радуйтесь, что обошлось без откупных!

— А ты не пыжься сильно! Гляди не лопни!

И наступил распрекрасный вечер. Баудолино, сложив с себя все знаки величия, пошел со всеми праздновать. Против собора на площади кружился девичий хоровод. Бойди зазвал Баудолино в остерию. В подвале, пропахшем чесноком, народ нацеживал себе прямо из стоявших бочек, поскольку в такие дни не бывает ни хозяев и ни слуг. В особенности не бывает, как их ни ищи, кабацких служанок. Всех до одной, похоже, разобрали по верхним комнатам предприимчивые посетители, но что поделать, красиво жить не запретишь.

— Христова кровь, — цокал языком Гальяудо, накрапывая вино себе на рукав, чтоб показать, что в ткань оно не впитывается, а капля сохраняет форму с рубиновым блеском; и впрямь праздниковое вино. — Ладно, поназываем это дело Кесареей пару годочков, хотя бы на пергаментах с печатями, — шепнул Бойди на ухо Баудолино. — Потом вернемся к старому порядку. Посмотрим, кому это помешает.

— Правильно, — сказал Баудолино. — Потом вернитесь к старому порядку. Зовите так, как на-

зывала светлый ангел, Коландрина. Чтоб она не ошибалась, когда из Рая посылает вам молитвы.

— Сударь Никита, я почти что примирился в тот день со всеми злоключениями. Вместо сына, которого мне не было дано, вместо жены, которая дана мне была столь ненадолго, я создал город, которому уже ничто и ничем не угрожало. Быть может, — продолжил Баудолино, воодушевленный анисовкой, — когда-нибудь Александрия станет новым Константинополем, третьим Римом, башни, базилики, новое чудо света.

— Бог в помочь, — пожелал в ответ Никита и поднял кубок.

20
Баудолино находит Зосиму

В апреле в Костанце император и Лига ломбардских городов-коммун подписали окончательный мир. В июне пришли кое-какие новые сведения из Византии.

Три года как преставился Мануил. Наследником стал Алексей, едва не мальчик. — Причем невоспитанный мальчик, вставил Никита. — Этот мальчишка всегда занимался бог знает чем, не имел представления о печалях и радостях, целыми днями наездничал и травил зверей, а также играл с другими, как он, мальчишками. А при дворе все кому не лень старались окрутить его мать, василиссу. Придворные то и дело поливались духами и надевали ожерелья, как женщины. Иные расходовали без счета государственную казну. Все следовали своим капризам, все строили козни против прочих. Как будто с выбитой опорной колонной, все здание оползало.

— Во исполнение чуда, явившегося при смерти Мануила, — завершил свой рассказ Никита. — Не случайно тогда одна женщина произвела на

свет мужского урода с короткими неразвитыми конечностями, большой головою. Это и было предвестием полиархии, которая мать анархии.

— Что мне сразу донесли шпионы, это какие интриги затевал один из сродников: Андроник, — сказал Баудолино.

— Он сын брата отца Мануила. Следовательно, Алексею он приходился двоюродным дядей. До той поры он жил в изгнании, Мануил считал его коварным предателем. А потом он втерся в доверие к юному Алексею, создав видимость, будто раскаивается в прошлом, предлагает тому помощь и защиту. Постепенно он обретал чем дальше, тем сильнейшую власть. Заговорами, отравлениями прокладывал себе дорогу к трону. Под конец, будучи уже в годах и истерзан ненавистью и алчбой, он подстрекал восстать граждан Константинополя. Те восстали, провозгласили его василевсом. Когда он принимал чашу с благословенной просфорой, он клялся, что берет власть, дабы оберечь слишком юного племянника. Но сразу после того его прислужник и злой гений Стефан Агиохристофорит удавил юного Алексея тетивой от лука. Осмотрев труп страдальца, Андроник приказал бросить его в глубокое море, отрубив прежде голову, а голову

спрятать в монастыре Катабата. Я не понял, почему там. Речь шла о старой полуразрушенной обители снаружи Константиновых стен.

— А я знаю, почему там. Лазутчики доложили мне, что при Агиохристофорите состоял монах-духовидец, которого Андроник пригрел после смерти Мануила за знание некромантии. И, подумать только, звался этот монах Зосима! Якобы он умел воскрешать мертвых средь руин монастыря. В подземелье монастыря были устроены ему роскошные палаты. Это значило, что я отыскал Зосиму. По крайней мере понимал, где искать. Шел ноябрь тысяча сто восемьдесят четвертого года. Как раз тогда внезапно скончалась Бургундская Беатриса…

Опять молчание. Баудолино снова налил и выпил.

— Я принял эту смерть как наказание. Как справедливость: вслед за второю главной женщиной моей жизни теперь ушла первая. Тем временем мне стукнуло сорок. Я слышал, что в Тортоне не то была, не то еще есть церковь, где если крестят дитя, оно проживает не менее сорока лет. Я пересек предел, данный счастливчикам. Я мог умирать спокойно. На Фридриха не было сил глядеть. Смерть Беатрисы раздавила его. Он

много занимался первым сыном, тот в двадцать лет был хилым и недужным, и медленно готовил престолонаследие в пользу меньшого, Генриха. В этих целях Генриха возвели на итальянский престол и короновали. Он старился, бедный отец, переставал быть Барбароссой — борода побелела… Я снова съездил в Александрию и увидел, что еще сильнее одряхлевали мои родные родители. Хрупкие, легонькие, седоголовые… точь-в-точь те белесые комья цветочной пыли, что ветер носит по нашим окрестным полям весною. Они проводили дни у очага, ругаясь за сдвинутую с места сковородку или за битое яйцо. Меня они тоже ругали, стоило мне наведаться: почему я никогда не наведываюсь. Тогда я решил бросить вызов судьбе и тронуться в Византию, на поиски Зосимы, пусть даже кончится эта затея в какой-нибудь темнице, где с выколотыми глазами мне будет суждено скончать остаток дней.

Поездка в Константинополь могла быть довольно опасной, поскольку всего немногими годами раньше, и как раз по наущению Андроника, еще не захватившего полную власть, обитатели города восставали против латинян, живших между ними, и замучили немало, а пограбили и выслали на острова Принкипии вообще без счету. Ныне,

по слухам, венецианцы, генуэзцы и пизанцы снова имели право селиться в Константинополе, поскольку были полезны для благоденствия империи. Но Вильгельм Второй, король Сицилии, двигался с войском на Византию. Для greculi латинянином был любой провансалец, алеман, сицилиец или житель Рима; греки не проводили различий. Так что разумнее всего было отплывать из Венеции под видом каравана купцов, шедшего (идея Абдула) с Тапробаны. Где находится Тапробана, не мог знать никто. И никто из византийцев, безусловно, не мог знать, на каком языке там говорят.

Баудолино переоблачился в персидского вельможу. Рабби Соломон, который и в Иудее выглядел бы таким евреем, что дальше некуда, взял на себя роль судового врача, нацепив прекрасную темную накидку с золотыми зодиаками. Поэт стал тюркским барышником, небесно-голубой кафтан, а Гийот сошел бы за ливанца, из тех, кто одевается в отрепья, но прячет кошель золотых. Абдул побрил себе голову, чтоб не торчала рыжина. Тем самым он преобразился в высокопоставленного евнуха, со слугой Вороном.

Что до общего языка, они приняли решение употреблять воровской говор, который выучили

в Париже и в котором весьма понаторели: из чего видно, как усердно занимались они науками в те блаженные деньки. Непонятное даже парижанам наречие шаромыг на слух византийцев должно было великолепно сойти за язык Тапробаны.

Из Венеции отплывали в начале лета. Причалив к берегу в августе, они узнали, что сицилийцы захватили Фессалоники и, может, роятся уже у северного берега Пропонтиды. Поэтому, войдя в пролив самым поздним вечером, капитан предпочел проследовать вдоль правого берега, а оттуда повернуть на Константинополь, будто судно идет из Халкедонии. Чтобы скрасить для пассажиров удлинившийся маршрут, капитан пообещал великолепный вид на пристань. Потому что, говорил он, Константинополь так и должен открываться: спереди и в первых лучах солнца.

Когда Баудолино с товарищами вышли на палубу на рассвете, первое их чувство было разочарованием, ибо суша затянулась густой занавеской тумана. Но капитан обнадежил: это-де и требуется, медленно приближаться к городу, глядя, как водяной пар, который тем временем начинал окрашиваться розовой зарей, побледнеет и постепенно выветрится.

Еще час приближения к рейду, и капитан навел палец на беленькое пятнышко. Это оказался купол. Купол выглянул из тумана… скоро в парном молоке стали различаться на набережной и колонны, и фасады дворцов, и цвета окраски фасадов… Колокольни розового колера. Между ними, внизу, крепостные башни и зубцы. В высоте неожиданно нарисовалась огромная светлая тень. На ее фоне отрывались и улетали в высоту клочья водяного дыма, и вот наконец во всем своем блеске, во всей соразмерности посверкивая под солнцем, навершие Святой Софии, будто мираж, из небытия.

С тех пор и без перерыва все было сплошным откровением. Из марева возникали новые каланчи и купола. Это было торжество зелени, золотых колонн, белых перистилей, розового мрамора, это была роскошь императорского дворца — Вукалеона, с кипарисами в разноцветном лабиринте висячих садов. Потом судно вошло в Золотой Рог. Для них отпустили, а потом снова натянули цепь, загораживавшую гавань. Белая башня Галаты возвышалась по правой руке.

Баудолино рассказывал с воодушевлением, а Никита с печалью слушал о красоте Константинополя, то есть о бывшей его красоте.

— Ах, этот город жил так порывисто, — говорил Баудолино. — Сразу после приезда мы поняли, что повсюду волнения. На Ипподроме, мы видели, готовилась казнь какого-то противника василевса…

— Андроник как обезумел. Ваши сицилийские латиняне предали огню и мечу наши Фессалоники. Андроник вроде начал укреплять Константинополь, но быстро позабыл об опасности. Снова предался рассеянной жизни, говорил, что враги никакие не опасны, и отправлял на плаху тех, кто мог бы помочь ему. Он бежал от города с проститутками и наложницами, запрятывался в долины, в леса, как это делают звери, за ним следовали любовницы, как следуют за петухом куры, за Дионисом вакханки. Чтоб стать богом пьянства, ему оставалось только облечься в кожу оленя и в платье шафранового цвета. Он видел одних флейтистов и гетер. Растленный, как Сарданапал, похотливый, как каракатица, он еле справлялся с истощением от собственной необузданности, и, чтоб усилиться, даже поедал отвратительное нильское чудовище, род крокодила, по слухам способствовавшее эякуляции… Но мне бы не хотелось, чтобы ты полагал его негодным господином. Он много полезного

сделал. Сократил произвол сборщиков податей. Издал эдикты, запрещающие нападение в портах на терпящие бедствие корабли с целью их разграбления. Восстановил старый подземный акведук. Привел в порядок церковь Сорока Великомучеников…

— Был добродеем…

— Я этого не говорил. Речь о том, что василевс может использовать свое владычество для добра, но для удержания владычества он вынужден творить зло. Ты тоже жил при властелине. Ты тоже видел, что власть бывает и благородной, и вспыльчивой, и лютой, и попечительной об общественных благах. Чтоб не грешить, царям следовало бы уединяться на вершины столпов, как делали святые схимники. Но ныне схимнические столпы уже превратились в руины.

— Я не вступаю с тобой в спор о том, как нужно было управлять этой империей. Империя-то ваша. По крайней мере до сих пор была вашей. Вернусь к рассказу. Мы поселились тут, у этих наших генуэзцев. Как ты уже догадался, именно они были моими верными осведомителями. Не кто иной как Бойямондо принес однажды весть, что вечером василевс направится в старинную крипту Катабаты для проведения гаданий и волшбы.

Чтоб захватить Зосиму, это был удачный случай.

Спустился вечер. Все двинулись к Константинову валу, вернее, к маленькому дому около храма Всех Святых Апостолов. Бойямондо доложил, что из домика есть вход в крипту, нет нужды проходить через церковь монастыря. Он открыл им дверь, провел по нескольким скользким ступенькам и доставил в коридор, где были вонь, плесень и сырость.

— Вот, — сказал Бойямондо. — Пройдете вперед и будете в крипте.

— А ты?

— А я не охотник спознаваться с мертвецами. Спознаюсь охотно с живыми, в случае, если они бабского пола.

Дальше они шли одни. Низкое подземелье, везде триклинии, неопрятные кровати, кубки брошены на землю, грязная посуда, остатки кутежей. Было видно, что сладострастник Зосима не только с усопшими спознается в этих стенах, но и с теми, кого предпочитал Бойямондо. Однако вся эта оргиастическая утварь была спешно разобрана и вброшена в завалы и углы. Сегодня Зосима назначил сходку с василевсом, чтобы знакомить его с покойниками, а не с потаскухами. Потому что, известно, пояснил Баудолино, люди готовы

поверить во что угодно, если в дело ввязаны мертвецы.

За этой залой виднелись какие-то огни. Они вступили в помещение круглой крипты, освещавшейся двумя зажженными треножниками. Крипта была обнесена кольцом колонн, между которыми были проходы в какие-то другие лазы, подкопы, галереи, куда ведущие — бог их весть.

Посередине крипты стояла полная лохань с водой. В гнутой закраине лохани колыхалась какая-то жирная жидкость. Около лохани на низкой колонке было поставлено нечто покрытое красным сукном. По городским сплетням и слухам Баудолино уже понимал, что Андроник, прежде полагавшись на чревовещателей и звездочетов, затем искав и не найдя, кто в Византии умел бы, как в старину, толковать судьбу по полету птиц, не дав особой веры самозванным изъяснителям снов, ныне сосредоточивал главные упования на гидромантах, то есть на тех вещунах, подобных Зосиме, кто добывает предсказания из воды, погружая в нее предметы, принадлежавшие усопшим.

Входили они в зал из-за алтаря и вышли в самую середину. Оборотились: с верхнего тябла иконостаса Христос Вседержитель уставился на

них расширенным и строгим взором.

Баудолино понимал, что если сведения Бойямондо верны, значит, скоро сюда придут. Спрятаться, и поскорее. Для этого годился край колоннады, куда от факелов на треногах не попадало ни блика света. Как раз и вовремя. По гулким шагам было понятно, что кто-то входит.

Из-за левой части иконостаса в круглую крипту вступил Зосима, окутанный мантией вроде хламиды рабби Соломона. Баудолино так зашелся от злобы, что чуть не выскочил на свет — ухватить мерзопакостного лгуна. Монах раболепно изгибался перед следовавшим за ним мужчиной в роскошном платье, при двух свитских сопровождающих, и было ясно, что это и есть Андроник.

Василеве остолбенел от зрелища, замер, затем перекрестился с чувством на золотые иконы. Спросил у Зосимы: — Зачем ты привел меня в эту крипту?

— Владыка, — ответил Зосима, — мы здесь потому, что подлинная гидромантия возможна только на святом месте. Нигде, кроме как в церкви, не осуществимо прямое сообщение с загробным миром.

— Я не труслив, — продолжил василевс и снова перекрестился. — Но ты-то, ты-то как не стра-

шишься вызывать усопших?

Хвастливый ответ: — Владыка, стоит мне вознести к небу руки, и из десятка тысяч константинопольских гробов восстанут спящие и лягут под мои стопы. Но я не вижу нужды в оживлении этих трупов. Тут есть чудодейственный предмет. Я его использую для самого быстрого вызова потусторонних духов.

Зосима зажег головню от факела и приблизил к закраине лохани. Масло в круговом желобе запылало, обняло воду огненным венцом, заблистало языками.

— Я пока ничего не вижу. — Василевс склонился над плоским сосудом. — Спроси у своей воды. Кто готовится занять мое место. В городе неспокойно. Я хочу знать, кого надо уничтожить, чтоб не страшиться.

Зосима приблизился к колонне с красным покровом, театрально снял ткань и поднес Андронику на ладонях нечто круглое. Наши друзья не могли разглядеть, что там такое. Но было видно: монарх затрясся и отстранился. Видимо, картина оказалась невыносимой. — Нет, нет, — вскричал он. — Только не надо! Когда ты выпрашивал для своих обрядов… Я ее дал, но не думал, что ты станешь воскрешать… Не согласен!

Зосима поднял трофей высоко в воздух, представляя некоему воображаемому суду как дароносицу, поворачивая по очереди ко всем сторонам подвала. Тот шар был детской головой. Голову еще не затронуло тление, будто ее только что отсекли от тела: глаза закрыты, раздуты ноздри заостренного носика, полуоткрытые губы открывают два неповрежденных ряда детских зубов. При неподвижности это лицо странно полнилось жизнью. Особую торжественность придавал равномерный золотой цвет, разлитый на смертной маске, сияющей в лучах пламен, к которым Зосима приближал ладони.

— Необходима голова твоего племянника Алексея, — сказал Зосима василевсу, — чтобы совершился обряд. Алексей был связан с тобой узами крови, через его посредничество ты можешь общаться с теми, кого нет. — И он медленно погрузил в глубь влаги ужасную ношу. Андроник наклонился сколько позволил пылающий круг. — Вода затуманилась, — выдохнул он.

— Вода обрела в Алексее потребный земной элемент и его допрашивает, — пояснил Зосима. — Подождем, пока муть разойдется.

Друзьям было не видно, что происходило на дне лохани. Видимо, жидкость снова приобрела

прозрачность и явила лицо василевса-ребенка. — Силы Ада! Он обрел живой вид, — бормотал Андроник, — и читаются какие-то буквы на лбу, вот и чудо… Йота, Сигма…

Не требовалось быть гидромантом, чтоб догадаться, как это было подстроено. Зосима, получив голову мальчика-императора, вырезал у него на лбу две буквы и позолотил все лицо водорастворимой краской. Позолота в воде разошлась. Злосчастный мученик внушал тому, кто подослал к нему губителей, то, что было выгодно или Зосиме, или Зосимовым подговорщикам.

Андроник действительно не переставал повторять: «Нота, Сигма, НС… Не…»

Он привстал, накручивая бороду на пальцы, глаза метали молнии, голова в наклоне, казалось, лопалась от мыслей. Затем вздыбился, как ярый конь. — Исаак! — прокричал он, еле сдерживаясь. — Враг — Исаак Комнин! Что он задумывает на Кипре? Я направлю на Кипр флот, задавлю гадючину в логове!

Один из императоровых спутников вышел из тенистого места, и Баудолино увидел типичную рожу молодца, готового изжарить родную мать, если захочется пообедать. — Владыка, — сказал тот. — Кипр далече, флоту придется выйти из

Пропонтиды и поплыть в те места, на которых разгулялся сицилийский король. Как тебе несподручно идти к Исааку, так и Исааку неудобно идти к тебе. Не его ты должен опасаться! Не Комнина, а Исаака Ангела! Он-то в городе и его-то, конечно, ты причисляешь к своим завистникам.

— Стефан, — брезгливо оборвал его император, — что мне волноваться из-за Исаака Ангела? Что ты взял в голову? Истасканный, бессильный, ничтожный Исаак, какая в нем угроза? Эх ты, Зосима! — В негодовании он рявкнул на гидроманта. — Живая вода и мертвая голова указывают либо на слишком далекого, либо на чересчур глупого! На что тебе глаза? Они не умеют разглядеть правду в этой луже мочи! — Зосима, верно, уже мысленно попрощался с глазами. Но тут на его счастье снова вступил тот Стефан, что говорил раньше. Он так ликовал, смакуя, вероятно, новые злодейские планы, что Баудолино догадался: пред ним Стефан Агиохристофорит, злой гений Андроника, тот самый, кем был удавлен и обезглавлен молодой Алексей.

— Владыка, не пренебрегай адской чарой. Ты же сам видел на лбу отрока письмена, которых не было при жизни. Исаак Ангел труслив и ничтожен, но он ненавистник. Другие, еще ничтожнее

и трусливее его, злоумышляли на жизни великих и смелых, подобных тебе, ежели, конечно, подобные бывали… Дай позволение! Ночью я арестую Исаака и вырву у него глаза своими руками, потом повешу на столбе твоих царских палат. Народу скажем, что было знамение Господне. Разумнее уничтожить того, кто еще не угрожает, чем оставить его в живых и дать возможность угрожать в будущем. Ударим же первыми!

— Ты стремишься использовать меня в интересах своей мести, — отвечал василевс. — Но возможно, что идя за злом, ты принесешь добро. Убери Исаака. Огорчительно только, — при этих словах он пронзил взором Зосиму так, что у того затряслись все члены, — огорчительно, что, расставшись с жизнью, Исаак не сможет подтвердить нам, что он действительно замышлял дурное, а следовательно, мы не узнаем, сказал ли нам правду этот монах. Но он, конечно, насторожил меня… А береженье лучше вороженья. Стефан, мы принуждены выказать ему признательность. Одели его тем, чего он просит. — Монарх жестом позвал за собой сопровождающих и вышел. Зосима бок о бок с волшебной купелью, по-видимому, медленно приходил в себя от ужаса, сковавшего члены.

— Агиохристофорит и точно ненавидел Исаака Ангела и, похоже, сговорился с этим Зосимой, чтоб накликать на Ангела немилость, — сказал Никита. — Вот только, теша свое озлобление, он не добром помог собственному владетелю, потому что, ты, верно, наслышан, тем самым ускоривал его кончину.

— Знаю, — в ответ Баудолино, — но, по совести говоря, в тот вечер я не так уж интересовался сутью наблюдаемых мной действий. Интересовался я исключительно тем, чтобы заполучить Зосиму себе в руки.

Отзвучали шаги царственного посетителя со свитой, Зосима шумно перевел дух. Действо, можно сказать, состоялось с успехом. Он тер ладони, и что-то вроде удовлетворенной улыбки играло на его лице. Вынув детскую отрубленную голову из купели, он вернул ее на прежнее место. Повернулся, окинул взором крипту и разорвал тишину диким хохотом, воздевая руки, истерически вопя: — Василеве в моей власти! И теперь мне не страшны даже мертвые!

Только он накричался, как вся компания друзей медленно вышла на свет. Иногда у заклинателя возникает чувство, что хотя он не верит в дьявола, дьявол почему-то поверил в него. Перед

зрелищем сонма призраков, возникавших отовсюду, будто в Судный день, Зосима, хоть и был паяц, повел себя на редкость естественно. Он даже не пытался скрыть свои чувства. Он просто лишился их: рухнул в обморок.

Отошел он, когда Поэт облил его волшебной водой. Открыв глаза, он обнаружил перед своим носом Баудолино, и тот был страшнее, чем какой угодно несусветный выходец. В этот момент Зосиме стало ясно, что вовсе не пламена потустороннего ада, а воздаяние его вполне посюстороннего знакомца — вот что неотвратимо и ужасно ждет его в самом неотдаленном будущем.

— Только волею пославшего мя владыки, — поспешно выпалил он. — Да и ради тебя, для твоего же блага! Я ведь запустил повсюду твое письмо гораздо лучше, чем сумел бы ты сам…

Баудолино сказал: — Зосима, не стану преувеличивать… Волею посылающего мя владыки, я бы стер тебе задний проход в порошок. Однако поелику не желаю сильно пачкаться, то, как ты видишь, я воздерживаюсь. — И влепил ему такую заушину, чтоб закрутить голову Зосимы по крайней мере на два полных оборота.

— Я состою при дворе василевса. Только тронь-

те мой волосок, и обещаю… — Поэт вцепился ему в волосы, подтащил лицо к огню, полыхавшему на закраине купели. Борода Зосимы задымилась.

— Вы сошли с ума, — старался Зосима вывернуться от Абдула и Гийота, заломивших ему за спину руки. Баудолино мощным подзатыльником прекратил пожар в бороде, ввергнув голову Зосимы в самую лохань и держа ее под водой до тех пор, пока злосчастный, позабыв свои муки от огня, не принял новую муку от воды, и чем больше он вертелся, тем сильнее захлебывался влагой.

— По этим замечательным пузырям, — вкрадчиво сказал Баудолино, вытаскивая того за волосы, — я вывожу гидромантическое предвестие, что этой ночью ты умрешь. Не с горелой бородой, так с горелыми пятками.

— Баудолино, — изнемогал Зосима в рвотных позывах, — Баудолино, мы же можем договориться по-людски… Дай мне откашляться, пожалуйста, я же не убегу, чего вам надо, столько на одного, нет у вас милосердия! Слушай, Баудолино. Я знаю, ты не захочешь мне мстить за стародавний миг слабости. Ты хочешь отыскать землю этого твоего пресвитера. Я говорил тебе, что верная карта находится у меня. Не плюй в колодезь…

— К чему ты клонишь, бандит? Кончай с поговорками!

— Хочу сказать, что убив меня, ты не получишь карту. Нередко рыбы, играя, выпрыгивают из родных стихий… Я дам тебе уйти в далекие страны. Заключим же договор как честные люди. Ты меня выпустишь, а я приведу тебя к карте Космы Индикоплова. Жизнь Зосимы в обмен на царство Иоанна. Разве не выгодно?

— Я предпочел бы убить тебя, — сказал Баудолино. — Но ты мне нужен для карты.

— Ну а потом?

— Потом мы свяжем тебя как можно крепче и закатаем в ковер, поищем корабль понадежнее и уплывем подальше отсюда. И только там раскатаем ковер, поскольку отпустить тебя здесь, сейчас, означает навлечь на себя всех наемных убийц этого города.

— Знаю, как же, раскатаете в воду…

— Замолчи. Мы не убийцы. Если бы я собирался убить тебя, то не хлестал бы по щекам. Имей в виду, это я так выветриваю гнев. Тем я и намерен ограничиться. — И снова отвесил одну и вторую, и новые оплеухи, то левой, то правой, так что голова Зосимы переворачивалась туда и сюда, два раза ладонью, два раза тыльной стороной, два

раза кулаком, два раза ребром, два раза пальцами, покуда Зосима не приобрел лиловый цвет, а у Баудолино почти что вывихнулись оба запястья. Тогда он сказал: — Уже и мне больно. Довольно с тебя. Идем смотреть карту.

Гийот и Абдул тащили Зосиму под руки, поскольку своим ходом он, похоже, идти не мог. Он только показывал дорогу дрожащим пальцем и еле мычал себе под нос: — Инок безропотно переносит глумления и тяготы досаждений, подобно злаку, поливаемому ежеденно.

Баудолино говорил Поэту: — Я слышал изречение когда-то от Зосимы, что гнев сильнее, чем любая другая страсть, волнует и смущает душу, но иногда ей и способствует. Когда мы спокойно вымещаем гнев на нечестивцах и на грешниках, дабы спасти и образумить их, мы доставляем душе благоверие, ибо прямо близимся к правосудной цели.

Рабби Соломон вторил ему: — В Талмуде сказано, есть взыскания, смывающие все злодеяния с человека.

21
Баудолино и услады Византии

Катабатская обитель стояла в развалинах, все считали ее покинутой, но на нижнем ярусе еще сохранялись годные кельи. В старой библиотеке не осталось ни единой книги. Ее превратили в трапезную. Зосима жил там с двумя или тремя послушниками, и Богу одному ведомо, в чем состоял их монашеский искус. Когда Баудолино с друзьями вынырнули из подвала, ведя пленника, послушники спали, а наутро проснулись такие чумные от пьянства и объедения, что, по совести, опасности никакой не представляли. С вечера друзья, посоветовавшись, решили устроиться на ночь в библиотеке. Зосима метался в беспокойных снах, лежа на земле между Гийотом и Абдулом, своими новыми ангелами-хранителями.

Утром все расселись около стола, и Зосиме велели выложить все начистоту.

— Начистоту, — начал Зосима, — могу сказать, что карта Космы находится в Вуколеонском дворце, в известном только мне месте, и только мне

к тому тайнику дозволен доступ. Как свечереет, можно пойти.

— Зосима, — перебил его Баудолино, — не советую хитрить. Для начала расскажи, что представляет собой эта карта.

— Да что такого, — сказал Зосима, беря пергамент и стилос. — Я говорил тебе, что любой правый христианин, исповедующий правую веру, обязан признавать ту истину, что вселенный мир устроен в виде скинии, о коей говорится в Писании. Смотрите, я вам покажу. В нижней части скинии стол с двенадцатью хлебами, двенадцатью плодами, по одному на месяц года, вокруг же этого стола имеется постамент, соответствующий Океану. Постамент обрамлен стенками шириной в ладонь: это соответствует потусторонней земле, на восточном краю которой располагается Земной Рай. Небо отображено в виде свода. Свод всей протяженностью опирается на окраины земли. Однако между сводом и основанием растянута завеса тверди, а за ней Царствие Небесное, которое все мы однажды получим возможность хорошо рассмотреть. И действительно, как сообщает Исайя, Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней — как саранча пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую

ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Ему вторит и Псалмопевец: Ты одеваешься светом, как одеждою, простираешь небо, как кожаный покров. Потом Моисей поставил под завесой против стола на стороне скинии к югу светильник, освещавший все протяжение земли, под ним же семь лампад, дабы отобразить семь дней недели и все светила небесного свода.

— Да что ты мне толкуешь устройство Моисеевой скинии, — взорвался Баудолино. — Мы говорим об устройстве мира.

— А мир устроен как Моисеева скиния. Так что через скинию я объясняю тебе мир. Ну что тут не понять, если все так просто? Смотри. — И он начертил рисунок.

Рисунок передавал устройство мира, как точного подобия храма, с выгнутым сводом, верхняя часть которого закрыта от земных глаз завесою тверди.

— В нижней части находится ойкумена, то есть обитаемая земля, но не плоская, а отходящая от окружающего Океана с мягким уклоном вверх до предельного полуночного края и предельного запада, на котором стоит настолько высокая гора, что она недоступна человеческому взгляду, ее верх теряется в облаках. Солнце и луна движимы

ангелами, которые распоряжаются, кроме того, дождями, землетрясениями и прочими атмосферными явлениями. Солнце и луна по этой тверди утром проходят от востока к полдню, оставив гору за собой, и освещают землю, а вечером они уходят себе на запад и исчезают за горой, создавая нам ощущение, будто они закатились. В то время как у нас опускается ночь, с той стороны горы стоит день, но этот день никому не виден, потому что с той стороны горы необитаемое место. Никто там никогда не был, — пояснял Зосима.

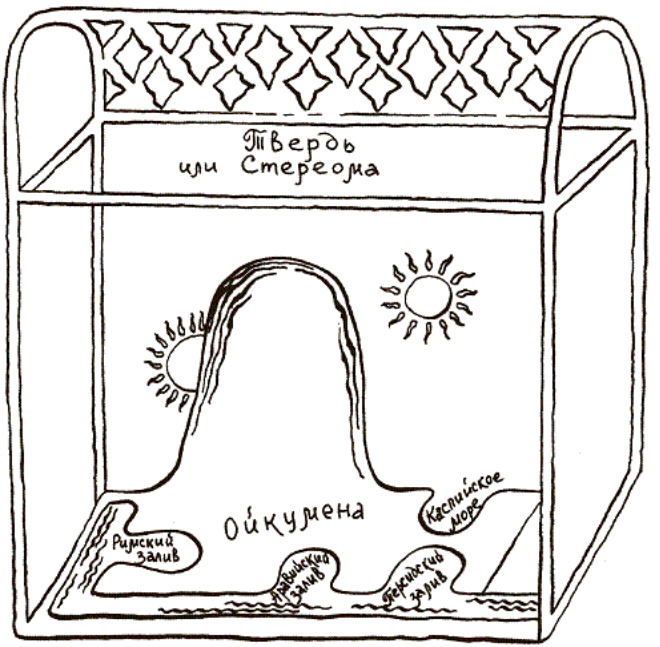
— И этого нам должно хватить, чтоб найти страну пресвитера? — не выдержал Баудолино. — Зосима, имей в виду, ты выменял свою жизнь на хорошую карту, а на плохую никто с тобой не менялся.

— Спокойно, спокойно. Поскольку эта проекция, через вид скинии, бессильна передать все, что загорожено как стенами, так и горой, Косма нарисовал другую карту, в которой земля показана в проекции сверху, как видят ее те, что летают по тверди, то есть ангелы. И эта карта, сохраняемая в Вуколеоне, отображает соотношение знаемых нами земель, заключенных в обвод Океана. Отображает и расположенные по бокам Океана земли, где люди обитали перед потопом.

Но после Ноя никто не плавал туда.

— Так я еще раз повторяю, Зосима, — сказал Баудолино с самым зверским лицом. — Если ты думаешь, что болтая и не давая нам ничего увидеть…

— Да я-то все это вижу как будто сейчас перед глазами. Погоди, скоро увидите и вы.



С этой изможденной физиономией, которой сообщали выразительность синяки и шишки, придавшие ему самый жалостный вид, с этим горящим взором, устремленным на нечто видимое только ему, Зосима умел уговаривать и недоверчивых. — В этом была его сила, — пояснял Баудолино Никите, — и таким образом он провел меня в первый раз, водил за нос тогда снова и сумел проводить за нос еще несколько лет.

Зосима смотрелся так убедительно, что дело чуть не дошло до объяснения солнечных и лунных затмений по системе Индикоплова, да только Баудолино об этом не хотел думать. Он хотел думать лишь о том, как он с правильной картой скоро в самом деле поплывет на поиски пресвитера. — Хорошо, — сказал он. — Будем ждать вечера.

Зосима велел приспешникам принести овощи и фрукты. На вопрос, а нет ли чего посолиднее, ответил Поэту: — Пища суровая, всеми единодейственно вкушаемая, споро приводит иноков в гавань бесстрастия. — Поэт послал его к черту, потом присмотрелся: Зосима уплетал за обе щеки. Обнаружилось, что у него под овощами пряталась порция жирного ягненка. Поэт без звука взял его тарелку и сунул тому свою.

Так они приуготовлялись просидеть целый день, до сумерек, как вдруг один из послушников явился с вытаращенными глазами и доложил, что что-то происходит. Ночью сразу же после гадания Стефан Агиохристофорит с отрядом солдат отправился в дом к Исааку Ангелу, возле монастыря Богородицы Периблептос (Досточтимой), и позвал своего врага зычным голосом, приказывая выйти. Даже нет, кричал-то он не Исааку, а своим солдатам: ломать дверь, хватать Исаака за бороду и тащить вон из дома. Исаак на это, будучи человеком мнительным и боязливым, как его характеризовало общественное мнение, решил, что хуже уже не будет, забрался во дворе на лошадь и с мечом наголо, сам почти голый, в дурацкой двухцветной рубахе, едва окутывавшей бедра, выскочил там, где враг его не ждал. Агиохристофорит не успел схватить оружие, как Исаак ударом меча раскроил ему голову надвое. Потом он налетел на прислужников этого недруга, превращенного в двухголовца, первому напрочь снес ухо, а остальные в ужасе дали деру.

Убить любимца императора! Невозможное преступление! В крайней невзгоде, крайние меры. Исаак, проявив поразительное чутье по части обращения с народом, кинулся в храм Святой Со-

фии просить той защиты, которую по традиции могли там получать убийцы, и громогласно возопил о своей вине. Порвал те немногие одежды, что имел на себе, рвал также и бороду, показывал меч с кровью и, умоляя о прощении, сумел дать понять, что убивал он для защиты собственной жизни. Попутно Исаак перечислял различные злодейства убитого.

— Не нравится мне эта история, — пробормотал Зосима, и без того разволнованный гибелью своего зловещего покровителя. Те новости, которые последовали вскоре, должны были понравиться ему и еще меньше. К Исааку в соборе Святой Софии присоединились уважаемые люди, такие как Иоанн Дука. Исаак продолжал увещевать толпу, а она становилась все громаднее час от часу. К вечеру большое количество горожан забаррикадировалось с Исааком в соборе, чтоб защитить его, и кое-кто начинал бормотать, что следовало бы убрать и тирана.

Готовил ли вправду Исаак, как следовало из пророчества Зосимы, какой-то переворот, или случайно сумел воспользоваться замешательством противников? Как бы то ни было, теперь трон Андроника, ясно, шатался. И столь же ясно было, насколько дикая идея — идти в царский

дворец, когда он может в любой миг превратиться в общественную бойню. Все понимали, что надо пережидать бурные часы и оставаться в Катабате.

На следующее утро не менее половины горожан хлынуло на городские улицы, требуя, чтобы Андроника заключили в тюрьму, а Исаака избрали на императорский трон. Народ разбил запоры и ворвался в темницы, освобождая невинные жертвы тиранов. Многие сидевшие были из знати и сразу пристали к бунтующим… Да это был уже не бунт, а восстание, революция, взятие власти. Горожане с оружием бродили по городу, кто в кирасе и с мечом, кто с дубьем и дрекольем. Многие в толпе, и, в частности, многие чиновники, решили, что настал момент избрать другого автократа, поэтому была снята корона Константина Великого, висевшая над главным алтарем, и Исаака венчали на царство.

Как рой пчел, с шумом вырвавшись из Софии, толпа обложила со всех сторон императорское жилище. Андроник отчаянно сопротивлялся, стреляя из лука с вершины Кентенария, самой высокой в городе башни. Но он вынужден был отступить перед неудержимым напором собственных подданных. По рассказам, он сорвал

распятие с шеи, скинул пурпурные сапоги, на голову напялил островерхий колпак, какой обычно надевают варвары, и выбрался через Вуколеонские лабиринты на свою триеру, забрав с собой, во-первых, жену, а во-вторых, проститутку Мараптику, которую страстно любил. Исаак триумфально занял дворец, чернь тем временем овладела городом, кинулась на монетный двор, так называемую Золотомойню, взломала оружейные палаты, а также предала разграблению дворцовые церкви, срывая оклады с святых икон.

Теперь, какие бы ни поступали слухи, Зосима трясся все сильнее, поскольку говорилось, что всех сподвижников Андроника, кого удавалось поймать, толпа истребляла на месте. С другой стороны, и Баудолино с друзьями считали неосторожным именно в это время забираться в коридоры Вуколеона. Поэтому, не имея иных занятий, кроме питья и еды, компания просидела еще несколько дней в Катабате.

Затем им донесли, что Исаак оставил Вуколеон и переместился в резиденцию Влахерны на самой северной окраине города. Вуколеон, следовательно, охранялся менее тщательно, а поскольку он был уже разграблен, вряд ли там оставалось

много народу. Именно в этот день Андроника сумели догнать у берегов Эвксинского Понта и доставили к Исааку. Придворные встретили его пощечинами и пинками, вырвали ему бороду, выбили зубы, побрили голову, потом отрубили правую руку и бросили в тюрьму.

При этом известии чернь возликовала и заплясала на всех углах. Баудолино подумал: такая сумятица способствует их походу в Вуколеон. Зосима возражал, что его могут узнать, но друзья порекомендовали ему не бояться. Вооружившись подручными средствами, ему обрили и голову и бороду, а он скулил, утверждая, что опозорен, лишившись знаков монашеского достоинства. И правда, в лысом, как яйцо, виде Зосима предстал практически без подбородка, с выпяченной верхней губой, островерхими песьими ушами, так что, заявил Баудолино, стал похож скорее на Чикинизьо, городского александрийского дурачка, который бегает по улицам, неприлично приставая к девицам, нежели на зловещего черноризца, каковым почитался до тех пор. Чтобы скрасить незавидный результат, они намазали Зосиму румянами, после этого он приобрел вообще педерастический облик. В Ломбардии за таким ходили бы толпою мальчишки, дразня

и кидая в него гнильем. В Константинополе же подобные фигуры были так же обычны, как, скажем, в Александрии разносчики сыра и молока.

Идя через весь город, они видели, как на паршивом верблюде везли в цепях Андроника, полуодетого, обгаженного хуже того верблюда. На обрубок правой руки была намотана кровавая грязная тряпка. Все лицо в засыхающей крови: ему только что выкололи левый глаз. Вокруг гудела стаей низкая чернь, все ничтожества, незадолго до того славившие Андроника как императора и автократа. Колбасники, кожедеры, подонки и кабацкая голь, будто мухи на конский навоз, слетались надругаться над прежним властителем: и били дубинками по голове, и впихивали ему в ноздри бычье дерьмо, и терли его по лицу губками, пропитанными мочою, и протыкали спицами ноги. Самые добросердечные просто кидали в него камни, обзывая связанного бешеным псом и сукиным сыном. Из окна притона какая-то потаскуха вылила ему на голову ведро кипятку. Затем толпа дошла уже до неистовства. На Ипподроме его стащили с верблюда и привесили за ноги к двум колоннам, что высятся возле статуи волчицы, кормящей сосцами Ромула и Рема.

Андроник проявил себя лучше, чем его мучители. Он не жаловался. Только бормотал: «Кирие элейсон, кирие элейсон» и спрашивал, зачем они так ярятся на сломанный тростник. Повешенного, его совсем обнажили, один из толпы ножом отсек его мужской член, другой воткнул копье в рот, дойдя до кишечника, а третий в это время колом протыкал его от зада до брюха. Поучаствовали в забаве и латиняне: эти плясали вокруг казнимого, пробуя на нем сабельную рубку и срезая каждый раз по ошметку мяса. Надо сказать, что только они, в сущности, и имели основания для мести, если вспомнить, что Андроник выделывал недавно над их соплеменниками. Напоследок несчастный нашел в себе силы поднести ко рту правую культю, будто собирался испить своей крови, столь обильно терявшейся. Тут он и кончился.

Чтоб не смотреть на такое позорище, Баудолино с друзьями поспешили к Вуколеону, но уже издалека сумели понять, что попасть во дворец нельзя. Исаак, решив: довольно грабежей, расставил около дворца охранников, и всех, пытавшихся прорваться через кордон, эти охранники уничтожали без предупреждения.

— Ну, ты иди туда все равно, Зосима, — сказал

Баудолино. — Ничего трудного. Возьмешь карту и сюда к нам ее вынесешь.

— А если мне горло перережут?

— Ах, не пойдешь? Мы перережем тебе горло сами.

— Подобное самопожертвование имело бы смысл, если бы карта была во дворце. Но во дворце этой карты нет.

Баудолино поглядел на него, не в силах вообразить подобную степень нахальства. — О, — проревел он затем, — теперь ты наконец говоришь искренне? А почему до сей минуты врал?

— Выигрывал время. Выигрывать время — это не грех. Для честного схимника грех — это терять время.

— Так. Убивать его надо сразу на месте, — сказал Поэт. — Лучшей обстановки не найдем. В такой горячке никто не обратит внимания. Договоримся, кто его удавит, и решен вопрос.

— Минуточку, — запротестовал Зосима. — Господь наущает нас, как воздерживаться от неподобных деяний. Я лгал, это правда, однако лгал во имя блага.

— Чьего? — гаркнул Баудолино, едва владея собой.

— Моего, — отвечал Зосима. — Я имел пра-

во оборонять собственную жизнь, поскольку вы злоумышляли на нее. Схимнику, подобно как и херувимам и серафимам, надлежит быть исполнену очей, кольми паче (так я толкую высказывания святых пустынножителей) надлежит проявлять прозорливость и хитроумие по отношению к врагу.

— Да ведь пустынножители писали о враге дьяволе, а не о нас! — надрывался Баудолино.

— Демонские стратагемы многоразличны. Вражья сила проявляется во снах, создает галлюцинации, хитроумно искушает нас, преображается даже в ангелов света и щадит, навевая обманчивое спокойствие. А вы бы что делали на моем месте?

— А ты сейчас что будешь делать на своем месте, поганый greculo? Как убережешь свою ничтожную жизнь?

— Я? Для этого я скажу правду, как это мне свойственно. Карта Космы безусловно существует. Я ее видел собственными глазами. Где она — это мне неизвестно. Но клянусь, что она запечатлена вот тут, у меня в памяти. — Он лупил себя кулаком по лбу, на этот раз не прикрытому патлами. — Я могу перечислить день за днем расстояния, отделяющие нас от страны пресвитера Иоанна. Слушайте.

Я, как вы понимаете, не останусь в этом городе. Да и вам тут оставаться нет причины. Нет причины, поскольку вы пришли сюда за мною. Так вот я! И за картой, а карту вам не достать! Если вы меня убьете, получится, что вы не достали ничего. Если вы возьмете меня с собой, то, клянусь пресвятыми апостолами, буду рабом вам и все дни своей жизни посвящу разработке вашей подорожной, той, что вас доведет пряменько до земель пресвитера. Сохраняя мне жизнь, вы не теряете ничего, кроме моего прокорма. Убивая меня, вы теряете все. Выбор, кажется, ясен.

— Это самый бесстыжий бесстыдник, какой мне попадался за всю мою жизнь, — произнес тогда Борон. Остальные согласились с этой характеристикой. Зосима кротко ждал выводов. Рабби Соломон завел было обычное: — Святой, Он благословен, Творец… — Но Баудолино цыкнул: — Хватит иносказаний. Мы достаточно слышим их от этой гниды. Гнида он, но говорит дело. Придется тащить его с собой. Не возвращаться же к Фридриху с пустыми руками. Он подумает, будто мы просадили его золото на услады Византии. Возвращаться, так уж лучше с пленником. А ты, Зосима, поклянись, поклянись мне, что не замышляешь нового фиглярства!

— Клянусь двенадцатью святыми апостолами, — загнусавил Зосима.

— Одиннадцатью, одиннадцатью, сволочь, — шипел Баудолино, дергая Зосиму за мантию. — Двенадцатым у них был предатель Иуда!

— Ну пожалуйста, одиннадцатью.

— Понятно, — сказал Никита. — Так проходило твое первое знакомство с Византией. Не удивлюсь, после всего тогда увиденного, если нынешние картины тебе представляются как очистительное омовение.

— Знаешь, сударь Никита, — ответил Баудолино, — я вообще не люблю очистительных, как ты выражаешься, омовений. Александрия, согласен, это жалкое захолустье; но у нас, если начальники перестают нравиться, мы просим их вон и выбираем других консулов. Даже Фридрих, которому случалось раздражаться, все-таки он своим двоюродным родственникам, даже самым приставучим, не отрывал срамные части. Он уступал им спорные герцогства… Однако я думал не об этом… А о том, что вот стою на самой крайней границе известного христианского мира. Двинуться бы только на Восток, или на Юг, и тут начнутся Великие Индии. Я же стою без денег. И не могу идти на Восток, не возвратившись прежде на За-

пад… Мне было сорок три, я гонялся за Иоанном с моих шестнадцати лет. Опять, в который раз, приходилось откладывать желанный отъезд.

22
Баудолино теряет отца и находит Братину

Генуэзцы отправили Бойямондо с Феофилом походить по городу, посмотреть, можно ли пройти. Пройти было в общем можно, сказали оба по возвращении. Большая часть паломников сидит в кабаках, а меньшая вся стянулась в Святую Софию и глазеет завидущими очами на наваленные реликвии, возвращенные по приказу.

— Аж глядеть больно! — рассказывал Бойямондо. Но попутно и отмечал, что сбор трофеев сопровождается грязными подлогами. Многие делают вид, будто снесли добычу в церковь, а на самом деле вносят дрянную мишуру и тут же тихо прячут в рукав кость какого-нибудь святого. Но так как все боятся, что их накроют со святыми мощами, то на церковной площади образовалось некое подобие базара, где приобретают мощи те горожане, у кого еще хоть какие-то средства, а также армяне-перекупщики.

— Вот, — потешался Бойямондо, — так-то и выходит, что те греки, кто сумели запрятать пару

монет во все свои дырки, теперь их вынимают и отдают за лодыжку какого-нибудь Иоанн-Купалы, которая спокон веков лежала у них в церкви напротив! Хотя, может, они замыслили перепродавать попам эти мощи… Греки ведь знатные хитрецы. Поди, делишек наобделают — страх подумать. Вот и верь после этого, что самые охочие к деньгам — мы, генуэзцы.

— Но что там все-таки приносят в церковь? — хотел знать Никита. Феофил смог ответить поподробнее. Он видел раку, содержавшую обрывки багряницы Христовой, он видел розгу, коей Христа секли, и губку, поданную Христу при крестной муке, терновый венец, а также ларчик, содержащий кус хлеба преломления, оставшийся от Тайной Вечери: тот самый кус, что Христос подал Иуде. Кроме того, принесли еще ковчежец с волосами из бороды Христа, которые евреи вырвали после снятия тела с крестного древа. Этот ковчежец был завернут в облачение Иисуса, в свое время разыгранное римскими солдатами в кости у лобного места. Втаскивали и столп от бичевания Христа, в полной целости.

— И клочок одежды Мадонны, — вставил свое Бойямондо.

— О горе! — в ужасе закричал Никита. — Ес-

ли принесли только клочок, значит, Покров разорвали. А ведь он был весь целый и нетленный во Влахернских палатах. Много лет тому назад некие Гальбий и Кандий отправились из Константинополя в Палестину и Капернаум на поклонение святым местам. Там они узнали, что один еврей сохраняет у себя в доме ризу Богородицы, паллий, pallion. Они подружились с евреем, переночевали у него в доме, тайно сняли мерку с деревянного кивота, в котором хранилась риза, и потом в Иерусалиме заказали построить такой же. Возвратившись в Капернаум, они ночью подменили кивот и перевезли ризу в Константинополь. В Константинополе был воздвигнут храм апостолов Петра и Марка, где и совершилось положение ризы.

Бойямондо присовокупил, что, по слухам, два конногвардейца захватили каждый по голове святого Иоанна Крестителя, и ни один свою не отдает. Все гадают теперь, которая из голов — законная. Никита знающе усмехнулся. — Да, мне известно, что в городе почитались обе эти святыни. Первую привез Феодосии Великий, и ее положили в Предтеченском храме. Потом Юстиниан обрел вторую в Эмессе. Он, вроде бы, передал ее каким-то киновитам, потом ходили

слухи, что честная глава была возвращена, но никто и никогда ее больше не видел.

— Да как же можно затерять такую дорогую вещь? — удивился Бойямондо.

— Народная набожность переменчива. Много лет все дружно почитают какие-нибудь мощи, но стоит открыться новым мощам, еще более чудотворным, как о первых совсем забывают.

— И какая из голов законная? — допытывался Бойямондо.

— К святыням неприменимы обычные критерии. Перед любыми из этих мощей, будь уверен, наклонившись, дабы облобызать их, я смогу обонять мистическое струимое ими благовоние и буду думать, что именно эта честная глава — подлинная.

Тут воротился из города Певере. Творилось что-то неслыханное. Чтобы солдатня не раскрала и кучу, наваленную в Софии, дож велел немедленно начинать перепись собранных мощей. Были приглашены греческие монахи для опознания реликвий. И обнаружилось, что после требования ко всем пилигримам вернуть награбленное добро во храм попали не только две честные главы святого Иоанна Предтечи (об этих было уже известно), но и две губки для желчи и уксуса, два

терновых венца… не говоря уж о прочем. — Чудо веры! — потешался Певере, переглядываясь с Баудолино. — Самые ценные мощи Византии удваиваются, наподобие хлебов и рыб. Некоторые паломники даже говорят, что это небесное знамение в их пользу, кричат, что если подобные редкости ныне столь счастливо преизобилуют, это должно позволить каждому забрать обратно то, что он первым поимел.

— Нет, это чудо в нашу пользу, — настаивал Феофил. — Теперь латиняне, не зная, какие из святых мощей законные, обязаны вернуть обратно все нам.

— Ох, сомневаюсь я, однако… — произнес Баудолино. — Все князи, все маркионы, все вассалы с восторгом повезут домой святые частицы, чтобы привлечь в свои края толпы верующих, а следовательно, уйму пожертвований… Если даже кто-нибудь заикнется, что одинаковые мощи имеются за тысячу миль от тех мест, всегда можно возразить, что это другие — поддельные.

Никита пребывал в задумчивости. — Я тоже не верю в подобное чудо. Господь не искушает наши помыслы подложными мощами угодников… Баудолино, скажи-ка, а вот за эти месяцы, что ты сейчас провел тут в городе, тебе не случалось

чудотворничать с мощами?

— Сударь Никита! — Баудолино состроил как можно более обиженную мину. Замахал обеими руками, показывая: не забегаем вперед. — Да, в самом деле, если уж рассказывать подробности, то дойдет очередь и до эпизода с мощами. Но это попозже. И ты же сам говоришь, что к святыням неприменимы обыденные критерии… Но сейчас поздно. Думаю, что через час совсем стемнеет и можно будет идти. Давай собираться.

Никита, чтобы подсластить себе горечь ухода, загодя заказал Феофилу приготовить «монокифрон», ведь готовить «монокифрон» было долгое дело. В бронзовый судок накладывали доверху говядину и свинину, мясные кости и фригийскую капусту, все заливали жиром и на огне тушили. Для полноценного ужина времени уже не оставалось, и логофет отбросил свои прекрасные манеры и запускал в судок не три пальца, как положено, а целую пятерню. Казалось, он переживает свою последнюю ночь любви с обожаемой столицей, и непорочной, и блудной, и поруганной. Баудолино есть не хотел и тихонько потягивал смоляное вино. Кто знает, найдется ли такое же в Силимврии.

Никита спросил, а участвовал ли в эпизоде с

мощами Зосима. Баудолино дал понять, что хотел бы рассказывать не кусками, а по порядку.

— Насмотревшись всяких ужасов в городе, мы пошли в оборотный путь, причем в сухопутный, не имея денег на оплату корабельного фрахта. Напоследок перед отъездом, пользуясь общей суматохой, Зосима с помощью своих оставляемых послушников исхитрился раздобыть мулов. В дороге мы охотились в лесах и останавливались на постой в монастырских обителях и наконец добрались до Венеции, а оттуда дошли и до ломбардской низменности…

— Зосима не пробовал от вас сбежать?

— Он не мог. С первого дня вплоть до возвращения и все время, что мы прожили при Фридриховом дворе, и весь иерусалимский поход он у нас содержался на цепи. Более чем четыре года. Я имею в виду, содержался, когда нас не было. Если он был при нас, мы его спускали. Но когда наступало время ему быть одному, мы приковывали его цепью к кровати, к столбу, к дереву, где бы мы ни находились, а если Зосима скакал верхом — то приковывали к сбруе так, чтобы, чуть он соберется сойти, лошадь бесилась. Все же не имея уверенности в том, что Зосима крепко помнит свой долг, я каждый вечер перед

отходом ко сну давал ему хорошую затрещину. Он это знал и ждал ее как материнского поцелуя.

Во время странствия наши друзья то и дело требовали от Зосимы восстановить заветную карту. Он, судя по виду, добросовестно думал и каждый день припоминал какую-нибудь одну подробность, тем паче что, если верить его словам, он уже и прежде промерял эти расстояния.

— Ну, на глазок, — он протягивал пальцем линию по дорожной пыли, — от Синисты, то есть от шелковой страны, до Персии сто пятьдесят дней ходу; Персию можно пройти за восемьдесят дней; от персидской границы до Селевкии тринадцать дней; от Селевкии до Рима и от Рима до страны иберов еще сто пятьдесят. С одного до другого конца света в длину четыреста суток пути по тридцать миль в день. Земля, как мы знаем, в длину пространнее, нежели в ширину, согласно опять же Книге Исход, где сказано, что в скинии стол длиной составляет два локтя, а шириной один. Поэтому с севера на юг всего насчитывается пятьдесят дней дороги от северных окраин до Константинополя, еще пятьдесят от Константинополя до Александрии и еще семьдесят от Александрии до Эфиопии вплоть до Аравийского залива. Итого приблизительно двести суток.

Поэтому, если кто выйдет из Константинополя и будет держать свой путь в самую дальнюю из Индий, идти тому придется наискосок и останавливаться очень часто для разведывания дороги, и неизвестно сколько раз он вернется обратно, и делаем вывод, что до пресвитера Иоанна всей дороги, будем считать, примерно на год.

Кстати о святых реликвиях. Гийот поинтересовался, слыхал ли Зосима что-нибудь о Братине. Слыхал, а как же. От галатов… ну, так у нас называют галлов и кельтов… живущих в окрестностях Константинополя. Они сохраняют память о рассказах древних жрецов с далекого севера. Гийот спросил, а рассказывали ли галаты о Фейрефице, доставившем Братину к пресвитеру Иоанну. Зосима подтвердил, что рассказывали. Баудолино усомнился во всех утверждениях Зосимы. — И какова же собою Братина? — спрашивал он. — Это чаша, чаша, в которой Христос освятил хлеб и вино, вы же сами говорили… — Как, и хлеб лежал в чаше? — Нет, в чаше было вино, а хлеб на таком блюдечке, на дискосе, на маленьком подносике. — Ну так что же все-таки Братина, это чаша или блюдечко? — Это все вместе, — пробовал выкрутиться Зосима. — Если как следует подумать, — подсказывал Поэт, сверля взором

Зосиму, — это копие, которым Лонгин прободал ребро Спасителю на кресте. — Да, да, именно это Зосима и собирался сказать.

Тут Баудолино влепил ему еще одну полновесную затрещину, хотя время ложиться спать еще вроде не наступило. Зосима продолжал оправдываться: что поделать, рассказы галатов полны неточностей, но сам тот факт, что византийские галаты знают о Братине, подтверждает, что она и взаправду на свете есть.

В общем, о Братине удавалось узнать всегда все то же, то есть все так же мало.

— Эх, если бы, — сокрушался Баудолино, — вот если бы я привез Фридриху эту Братину, вместо поганого висельника, то есть тебя…

— Это можно всегда устроить, — отзывался Зосима. — Найди ему хороший горшок…

— Вот как, теперь уже горшок? Я тебе сейчас дам горшок! Чтоб кто, чтоб я фальшивки подсовывал? По себе не суди, мошенник!

Зосима пожал плечами и принялся ласкать отрастающую щетину. Но сказать по правде, теперь, в обличий ерша, он выглядел еще гаже, чем когда смахивал на гладкое, чистое яйцо.

— И все же, все-таки, — не успокаивался Баудолино, — если не знать, горшок это или кубок, как

опознать Братину, встретив ее?

— Вот об этом не беспокойся, — вступал Гийот, не сводя взора с воображаемых легендарных образов. — Увидишь свет, почувствуешь ароматы…

— Хочу надеяться, — буркнул Баудолино. Рабби Соломон качал головой: — Вы, язычники, похитили это в нашем Храме, когда разграбили Храм и рассеяли наш народ по свету…

Вернулись они аккурат к свадьбе Генриха, второго сына Барбароссы, римского венчанного короля, с Констанцией из Альтавиллы. Император полностью возложил надежды на младшего сына. Старшего он не хотел обижать, и даже назначил его герцогом Свевии, но было видно, что отец любит его горько и грустно, неудачливое, болезненное детище. Бледный, изможденный от кашля Фридрих, как заметил Баудолино, то и дело помаргивал левым веком, отгоняя невидимых мух. Даже в ходе королевского празднества Фридрих часто выходил. Баудолино видел, что тот блуждает между кустов и нервно рубит высокие травы хлыстиком, будто пытаясь избавиться от непонятного внутреннего угрызения.

— Он нелегко переносит жизнь, — поделился печалью Фридрих однажды вечером. Старость неумолимо надвигалась на императора. Уже не

Барбаросса, а Барбабьянка, он кривил шею, ходил с трудом, но не отказывался от любимой охоты, а стоило ему попасть на реку, тут же пускался вплавь, будто в прежние времена. Баудолино опасался, как бы случайно от ледяного течения у Фридриха не приключилась судорога. Поосторожнее, упрашивал он приемного отца.

Чтобы отвлечь, он рассказал Фридриху про свои похождения: что злоумышленный чернец изловлен, и что скоро в их распоряжении будет карта, по которой они отыщут путь к пресвитеру, и что Братина не сказка, и что в один прекрасный день Братина попадет к ним в руки. Фридрих кивал. — О, Братина, — еле слышно прошептал он, устремив глаза в пространство. — Будь у меня Братина, я мог бы… — Тут его отвлекли на какое-то неотложное дело, он вздохнул и тяжеловесно побрел исполнять королевскую обязанность.

Время от времени Фридрих отводил Баудолино в сторону и доверительно рассказывал, до чего он тоскует по Беатрисе. В утешение Баудолино ему рассказывал, как он тоскует по Коландрине. — Да, понимаю, — соглашался Фридрих. — Ты, любивший Коландрину, можешь понять, как я тоскую по Беатрисе. Но вряд ли ты представляешь, какую сильнейшую любовь Беатриса умела вызывать.

У Баудолино заныла больная совесть.

Летом император снова поехал в Германию, но без Баудолино. К тому прискакал нарочный с известием, что умерла его мать. По дороге в Александрию Баудолино размышлял о том, что он никогда не показал родившей его женщине всю меру своей нежности, разве что, может быть, тогда рождественской ночью, множество лет назад, когда ягнилась овца. Черт подери, сказал он себе, с тех пор прошло пятнадцать зим. Боже мой, исправился он, а может, и восемнадцать.

Он приехал уже после похорон. Гальяудо, ему сказали, ушел из города и возвратился в их старый дом во Фраскете.

Старик лежал, под рукой у него была потрескканная деревянная плошка с вином, и он устало поводил ладонью, отгоняя от лица мух. — Баудолино, — сказал он. — Десять раз за день я злобился на эту бедолагу. Говорил: да разрази тебя гром на месте. Ну вот теперь гром ее и разразил. Так я не знаю, что делать. Ничего не могу найти. Она все на хозяйстве ставила куда ее угораздит. Не могу найти вилы для компоста. В хлеву скотина утопла в навозе по брюхо. По этой причине я принял решение тоже помереть. Так мне будет лучше.

Протесты сына не возымели успеха. — Баудо-

лино, ты знаешь, что туту нас как что втемяшат в голову, то не вышибешь. Я не бездельник вроде тебя, сегодня здесь, завтра там, перекати-поле. Важные баре! Вы только и думаете, как бы вам кого другого прикончить, а будь то вам самим придет пора помирать, от страха долой с копыт. А я за все годы не учинил потравы даже мухе. Жил себе со святой покойницей, с твоей матерью. И уж если я сказал, что скоро помру, то так оно и будет. И ты мне не вздумай претить. Мне это только в радость. Потому что тут с вами мне нету боле расчету.

Он отпивал вино из плошки, задремывал и спрашивал, пробуждаясь: — Я помер? — Нет, отец, — говорил в ответ Баудолино, — ты, к счастию, не помирал. — Ох, горюшки, — отвечал отец. — Ну, еще денек, завтра помру непременно, будь спокоен.

Ни под каким предлогом Гальяудо не соглашался ничего есть.

Баудолино вытирал ему лоб, отгонял садившихся мух, а потом, не зная, что принято говорить умирающим отцам, желая убедить его, что сын не такой уж шалопут, как тому всегда представлялось, рассказал ему о святой затее, на которую он собирался почти всю жизнь, и что он намерен

дойти до царства пресвитера Иоанна. — Знал бы ты, — говорил он, — до чего удивительные земли мне предстоит открыть. Там живет невиданная птица Феникс. Она живет себе и летает пятьсот лет. Как пройдут пятьсот лет, то священники приготавливают алтарь, посыпают его специями и серой, а потом туда садится птица, возгорается и превращается в пепел. На другой день в этом пепле зарождается черва, на второй день из той червы вылупливается птица, а на третий эта птица улетает себе по своим делам. По крупности она вроде орла, с венчиком как у павлина, шея золотая, клюв цвета индиго, крылья багряные, а весь хвост у нее в полоску: желтый, красный, зеленый. Эта Феникс умирает и возрождается вечно.

— Да на кой мне ляд твоя птица, — отозвался Гальяудо. — Лучше бы хоть раз возродилась моя Розина, бедная животина, это вы погубили ее, болезную, и еще полпуда зерна погубили с нею в придачу. Лучше б зарезали свою летучую Феликсу!

— Я, когда вернусь, привезу тебе манну. Она есть только на горах в стране Иова. Она белая, очень сладкая, выпадает она с росой на землю с неба, из росы выпаривается манна. Манна способна очищать кровь и изгонять меланхолию.

— Дырку в заднице она способна очищать, твоя манна. Жратва для придворных бар и бездельников. У вас бекасы с пончиками уже в обрат полезли.

— Давай я тебе дам хлеба?

— Нет у меня времени на еду. Мне завтра утром помереть надо.

Назавтра утром Баудолино рассказывал отцу, что хочет отыскать для императора Братину, то есть чашу, которая служила Иисусу.

— Это как? Что за чаша?

— Из золота, усыпана ляпис-лазурью.

— Подумай сам, какой вздор. Господь был сыном плотника и жизнь провел с голодранцами еще себя хуже. Всю жизнь проносил единое вретище, так говорят и попы в церкви, вретище нешвенное, то есть без швов, чтобы не разлезлось, покуда Христу не исполнится тридцать три года. Так что представь, какие там могли быть у него усыпанные золотом лапы зозули. Кончай врать, поразмысли башкой. Он если и имел при себе плошку, то вроде вон той моей. Ему мог выточить отец плошку из капа, как выточил свою плошку я, и она мне дослужила до старости, и такая не расщелится даже под кувалдой. Вот что, кстати о плошке, дай-ка мне еще хлебнуть из нее

Христовой крови. Глядишь, поможет помереть с толком.

Дьяволы ада, сказал себе Баудолино, ведь дед-то прав. Братина — это такая деревянная плошка. Нищая, простая, как Господь. Она, может, на виду у всех, а ее не видят, потому что всю жизнь ищут что-то там с позументом.

Но в те дни Баудолино не слишком много раздумывал о Братине. Он не хотел, чтоб отец умирал, но понимал, что такова его воля. Через несколько дней Гальяудо усох, как сморщенный каштан, и дышал через силу, и перестал принимать даже вино.

— Отец, — говорил с ним Баудолино. — Если тебе умирать, примирись с Господом, и тогда ты попадешь в рай, а он подобен палатам пресвитера. Господь Бог сидит там на большом троне на вершине большой горы, а над спинкой этого трона два золотые яблока. В каждом яблоке огромный карбункул, карбункулы сияют всю ночь. Подлокотники того трона из смарагда. Семь ступенек, ведущих к трону, состоят из оникса, хрусталя, яшмы, аметиста, сардоникса, сердолика и хризолита. Кругом столбы из чистого золота, над троном ангелы поют сладкую музыку…

— …и черти приходят за мной, чтобы погнать

меня к себе пинками в задницу, поскольку в тех-то чистейших хоромах не место мужику-навознику. Лучше молчи уж…

Потом внезапно он распахнул глаза и попытался сесть, а Баудолино держал его за плечо. — О Господи, никак и впрямь помираю. Я вижу небесный рай… Какой он прекрасный…

— Что же ты видишь? — горько плача, спросил Баудолино.

— Да в точности как наш хлев, но хорошо почищен, и в хлеву Розина… И эта святая покойница, твоя матерь. Мерзкая баба, теперь уж ты мне ответишь, куда заставила навозные вилы!

Тут Гальяудо отрыгнул, плошка покатилась, а он застыл, выпучивши глаза в созерцании своего небесного хлева.

Баудолино ладонью опустил ему веки (что надо, он теперь мог видеть и с закрытыми глазами) и пошел в Александрию известить земляков о смерти Гальяудо. Те решили, что великому старцу полагаются торжественные похороны, так как он спас в свое время народ и весь город. Было решено, что его статую поместят на портале кафедрального собора.

Баудолино вернулся в лачугу родителей. Он решил взять себе что-нибудь на память и никогда

уж больше не возвращаться во Фраскету. Поднял валявшуюся отцову плошку. Вымыл как следует, чтоб не воняла винным духом, потому что, он решил, если однажды будет сказано, что она и есть Братина, а от Тайной Вечери минуло уже немало лет, Братина не должна ничем пахнуть, разве что тончайшими ароматами, которые, полагая ее Истинным Сосудом, все верующие самопроизвольно станут обонять. Он завернул отцову чашку в плащ и вынес ее из лачуги.

23
Баудолино в третьем крестовом походе

Когда на Константинополь снизошла темнота, они двинулись. Общество собралось многочисленное, но в те дни немало таких людных групп, состоявших из обездоленных, бродило по улицам, как души чистилища, из конца в концы города, ища навес, под которым могли переночевать. Баудолино отбросил крещатые латы, поскольку, если бы его остановили и спросили о боевой принадлежности, он не сумел бы назвать своего принципала. Перед отрядом шли Певере, Бойямондо, Грилло и Тарабурло, с независимым видом, будто случайные попутчики. Но они зорко оглядывались на каждом углу и под плащами сжимали рукояти загодя отточенных ножей.

Еще не успели дойти до Святой Софии, как вдруг светлоглазый и рыжеусый наглец кинулся в гущу шествия, ухватил за руку одну девушку, хотя она казалась гадкой и волдыристой, и потащил ее к себе. Баудолино тихо решил, что вот он момент начинать святую драку, и генуэзцы подошли уже

к нему, но тут Никиту посетила лучшая идея. Завидев кучку начальственных всадников, следовавших той дорогой, он кинулся с воем на колени, моля о защите и справедливости, взывая к их рыцарской чести. Видимо, то были придворные дожа. Те наехали на варвара, лупя его наотмашь мечами в ножнах, и препроводили девицу снова в семейное лоно.

За Ипподромом генуэзцы стали выбирать улицы поспокойнее: узкие переулки, где все дома или выгорели, или являли следы полного расхищения. Тем латинянам, которые еще искали поживы, нечего было делать в них. К ночи процессия наконец вышла за Феодосиеву стену. Там их дожидались остальные генуэзцы с мулами. Наступило расставание; гостеприимные генуэзцы получили последние объятия, гости — последние напутствия, и после этого тронулись в путь по деревенской дороге, под гладким весенним небом, под почти целой сияющей луной на горизонте. От дальнего моря доносился ветерок. Все отдохнули за день. Путь, видно было, не тяготил даже супругу Никиты. Еле держался на муле лишь сам Никита, охая при любом подскоке животного, и каждые полчаса просился передохнуть.

— Переел ты, государь Никита, — подтрунивал над ним Баудолино.

— А ты откажешь изгнаннику в последних усладах погибающей родины? — отвечал Никита, отыскивая подходящий валун или ствол, чтоб примоститься. — Просто я жажду поскорей узнать твои приключения. Садись ближе, Баудолино, видишь, какая отрада, чувствуешь, как пахнет воздух здесь за городом. Давай немного отдохнем, и рассказывай.

Поскольку в остальные три дня они ехали при свете, а по ночам отдыхали под распростертым небом, дабы избежать населенных неизвестно кем дворов, так при звездном свечении, в тишине, оглашавшейся только шелестением веток и неожиданными кликами ночных зверей, Баудолино продолжил повествование.

В те времена, а шел 1187 год, Саладин двинул последний приступ на христианский Иерусалим и одержал победу. Он повел себя добролюбиво: невредимыми отпустил всех, кто мог ему выплатить пеню, обезглавил же на плацу только рыцарей-тамплиеров, потому что, как единодушно признавалось всеми, милосердие должно иметь определенные границы. Элитное подразделение неприятельского войска не уцелело бы ни

у одного кондотьера, достойного кондотьерского званья. Да и сами тамплиеры знали, что при их работе следует учитывать правило: пленных не бывает. Сколько бы милосердия ни выказал Саладин, все же крещеный мир пришел в великое уныние из-за утраты заморского франкского королевства, простоявшего почти сотню лет. Папа воззвал ко всем монархам Европы, чтоб объявили третий поход под знаком креста для отвоевания Иерусалима от гнета неверных.

А Баудолино только того и дожидался, чтоб его император откликнулся на призыв. Принимая курс на Палестину, он тем самым перевел бы на западные рубежи мира непобедимую армию. Иерусалим был бы захвачен во мгновение ока, после этого оставались бы пустяки: продолжать тот же путь в направлении Индий. Однако именно тут стало заметно, до какой степени Фридрих и утомлен, и неуверен в себе. Ему удалось замирить Италию, это правда; но тем более он опасался, что удаляясь от нее, поставит под удар благие результаты. А может, он страшился этого нового похода на Палестину как напоминания о былом злодействе, когда он во власти сумасшедшего гнева велел сокрушить болгарский христианский монастырь. Кто знает? Император не мог

решиться. Раздумывал, в чем состоит его долг. Когда задают себе подобные вопросы, думал Бодолино, это, как правило, означает, что никакого призыва долга в данном случае нет.

— Мне было сорок пять лет, государь Никита, и на кону стояло мечтание целой жизни, можно даже сказать, на кону была жизнь, так как вся моя жизнь строилась вокруг этого мечтания. И посему, поразмыслив и доверясь своей обычной счастливой звезде, я решил подать приемному отцу новую надежду, божественное знамение его избранности. Когда пал Иерусалим, в наших краях стали появляться беженцы, редкие удачники, кому выпало уцелеть на той войне. При дворе побывали семеро рыцарей-храмовников, спасшихся от мести Саладина. Вид они имели скверный, но не знаю, знаешь ли ты, что это вполне обыкновенно для тамплиеров. Они пьянчуги и развратники, и охотно поступятся родной сестрой, если взамен ты дашь им потискать твою, а еще гораздо им лучше, веря людским наговорам, если дашь потискать братика. В общем, я их кормил, поил и изрядно поводил по местным заведениям. Поэтому вышло правдоподобно, когда я поведал императору Фридриху, что эти бесстыжие святокупцы прятали священную Братину,

которую им удалось умыкнуть из Иерусалима. А теперь, сказал я, они настолько поиздержались, что, дав им все имевшиеся у меня монеты, я смог выкупить Братину. Фридрих, естественно, поначалу был ошарашен. Разве не о Братине, спросил он, пишет этот пресвитер Иоанн, обещая подарить мне ее? И не для того ли мы так долго приуготавливаемся идти к Иоанну, чтобы он нам подарил эту пресвятую реликвию?

Это так, но, мой отец, сказал я, из этого следует, что какой-то придворный предатель смог украсть реликвию у Иоанна, а потом продать ее рыцарям-тамплиерам, доскакавшим в погоне за наживой даже до пределов пресвитеровой страны, натурально, без понятия, куда занесло их. Но какая уж теперь разница, что где было и когда. Главное — ныне святому и римскому императору открывается новая дивная возможность: отыскать пресвитера Иоанна именно чтобы вернуть ему Братину. Он не станет корыстно употреблять эту несравненную святыню. Он не станет за счет ее увеличивать свою земную власть. Он выполнит долг. А наградой за эту миссию явится благодарность Иоанна и вечная слава среди всех христиан на свете. Одно дело завладеть Братиной, совсем другое — вручить ее; одно дело использовать,

совсем другое — вернуть хозяину; одно — иметь, другое — даровать; одно — обладать (о чем всегда все мечтали) и совсем иное — совершить высший из актов отречения, отказавшись… Совершенно ясно, в чем истинное помазанничество, в чем глория единственного и истинного rex et sacerdos. Фридриху предлежала участь нового Иосифа Аримафейского.

— Ты лгал отцу.

— Для его блага и блага империи.

— И тебе не приходило в голову, какой конфуз произойдет, если Фридрих действительно явится к пресвитеру, преподнесет Братину ему, а тот раскроет глаза: откуда берется эта миска, которую он никогда не видел? Фридриху это сулило бы не всемирную глорию, а всемирное посмешище.

— Государь Никита, ты знаток человеческих душ в большей степени, чем я. Ну вообрази: ты пресвитер Иоанн, и великий император западного мира преклоняет пред тобой колена и дает тебе реликвию такого сорта… Уверяет, что она твоя по праву… Что, ты захихикаешь в ответ и скажешь, что ни разу не видал эту трактирную посуду? Невозможно! Не думаю даже, что пресвитеру привелось бы кривить душой, признавая ее. По мне, он ослепился бы величием, преисполня-

ющим Братину; принял обет хранить ее; и этим самым утвердил бы Братину, веря, что всегда хранил ее… Сказав это, я преподнес императору, как драгоценнейшую в мире вещь, плошку своего родителя Гальяудо, и клянусь, что в оный миг я ощущал себя отправителем самого святого из обрядов. Я передавал в дар память кровного отца своему духовному отцу. Кровный отец сказал все правильно. Эта бедная вещь, с коей он имел дело всю свою грешную жизнь, истинно была, в духовном смысле, чашей, с коей имел дело бедный Христос, шедший на гибель во искупление каждого грешника. Разве не так иерей, когда служит мессу, претворяет презренный хлеб, презренное вино в кровь и плоть Агнчи?

— Да. Но ты же не иерей.

— Вот именно, я и не говорил, что эта чаша кровь Христова, я говорил только, что некогда в ней побывала кровь Христа. Не посягал на иерейство. Только свидетельствовал.

— Лжесвидетельствовал!

— Неправда! Ты сам сказал, что истинность реликвии зависит от источаемых ею благовоний. Мы думаем, что только нам потребен Бог, но иногда и Богу потребны мы. Тогда я чувствовал, что Богу требуется моя помощь. Эта чаша

могла вправду существовать. Ведь пользовался же какой-то чашей Спаситель. Если ее потом потеряли, виноваты просто ничтожные люди. Я возвращал Братину христианскому миру. Бог не опроверг бы меня. Это доказано и тем, что в Братину безоговорочно и сразу поверили все мои товарищи. Святой сосуд был перед их глазами. Он был в руках императора, который поднимал его к небу, весь в экстазе. Борон упал на колени, впервые встречаясь с реликвией, которой он бредил всю жизнь. Гийот моментально заявил, что видит божественное сияние. Рабби Соломон признал, что хотя Христос и не является великим Мессией, ожидаемым в его народе, но безусловно от посудины исходит благоухание ладана. Зосима вытаращил свои духовидческие зенки и множество раз покрестился задом наперед, как принято у вас, раскольников. Абдул весь трясся как осина и бормотал, что владение подобной святыней равно владению всеми заморскими уделами; очевидно, воображал себе, до чего славно было бы дать святыню в залог любви к его дальней принцессе. Даже и у меня были глаза на мокром месте. Я спрашивал, за что мне такая благодать, посредничать при чуде. Что же касается Поэта, он угрюмо кусал ногти. Я знал, чем занята его голова.

Он думал, что я веду себя глупо, что Фридрих стар и не сумеет выжать всю пользу из этого предмета, что лучше бы мы попридержали Братину и отвезли бы ее в северные земли, сменяли б ее там на королевство… По мере одряхления императора Поэт, конечно, снова взлелеивал давнишнюю мечту о власти. Но меня, по чести, и это радовало: значит, и Поэт воспринимал мою Братину как подлинную.

Фридрих с благоговением уложил чашу в сундук, а ключ повесил на шею. Баудолино мысленно сказал себе, что это очень правильно, поскольку в ту минуту, похоже, не только Поэт, но и все остальные были не прочь завладеть знаменитою вещью для своих личных потребностей и планов.

После этого император сказал, что теперь уж действительно ехать необходимо. Путешествие-захват требовалось тщательно подготовить. Весь следующий год Фридрих слал повсюду гонцов, в частности к Саладину, а также договаривался о встречах с представителями сербского князя Стефана Немани, византийского василевса и иконийского султана сельджуков, для того чтоб обсудить порядок прохода через подвластные им территории.

Король Англии с королем Франции решили отправляться по морю, а Фридрих в мае 1189 года выступил сухопутной дорогой из Регенсбурга с пятнадцатью тысячами всадников и пятнадцатью тысячами оруженосцев. В некоторых рассказах встречались сведения, что по венгерским равнинам прошло шестьдесят тысяч конных и сто тысяч пеших воинов. Указывалась и другая цифра: шестьсот тысяч пилигримов. Конечно, летописцы преувеличивали. Баудолино не мог бы сказать, сколько именно народу было в войске, но приблизительно двадцать тысяч душ. В любом случае армия была солидная. Если не считать по головам, а смотреть издали, получался лагерь такого громадного размера, что где он начинается, было ясно, а вот где он кончается, было неведомо никому.

Во избежание разбоя и мародерства, не желая повторять опыт прежних походов — нищих толп, которые потопили в крови Иерусалим сто лет назад, — император выбрал другой путь. Этот поход должен был выглядеть иначе. Его участники были настоящими воинами Христа, а не жалкими оборванцами, в свое время выступившими, чтоб заработать себе Царствие Небесное и вернувшимися домой с кучами тряпок, снятых с зарезанных

евреев. Нет, Фридрих принимал только тех, кто способен был просодержать самих себя два года, а солдатам выдавал по три марки серебром на провиант. Взялся отвоевывать святые места, будь готов к соответствующим издержкам.

В армию вступило много итальянцев. Кремонцы во главе с епископом Сикардом, отряд из Брешии, из Вероны под командованием кардинала Аделярда и даже некоторые александрийцы, в частности, старые приятели Баудолино: Бойди, Куттика из Куарньенто, Порчелли, Алерамо Скаккабароцци, чье прозвище было неприлично, Коландрино — брат Коландрины, то есть Баудолинов шурин, кое-кто из Тротти, и с ними Поцци, Гилини, Ланцавеккья, Пери, Инвициати, Гамбарини и Чермелли, снаряженные кто на собственные деньги, кто на средства городской управы.

Праздничным парадом прошлись вдоль Дуная до самой Вены, а оттуда до Братиславы, где в июне была назначена встреча Фридриха с королем Венгрии. После этого воинство втянулось в болгарскую чащу. В июле они встретили сербского князя, который подбивал Фридриха на союз против византийцев.

— Полагаю, что эта встреча, — сказал Бау-

долино, — насторожила вашего Исаака. Он забеспокоился, как бы армия не польстилась на Константинополь.

— И не ошибался.

— Он ошибся на пятнадцать лет. В тот поход Фридрих действительно собирался на Иерусалим.

— Но мы все-таки нервничали.

— Понимаю. Громадные иноземные рати движутся по вашей территории. Неуютно. Но и вы нам не давали потачки. Когда мы пришли в Триадицу, оказалось, что обещанный провиант отсутствует. Возле Филиппополя мы наткнулись на ваши форпосты, те, надо заметить, улепетывали, сверкая пятками, как все ваши защитники при любой стычке.

— Тебе известно, что тогда я был правителем Филиппополя. От двора и к нам все время получались противоречивые указания. Сначала василевс велел возвести вокруг города замкнутую стену и выкопать глубокий ров, дабы противостоять при вашем прибытии. А потом, когда мы все это проделали, он же потребовал все уничтожить, чтобы эти укрепления не использовались вами, неприятелями.

— Вы перегородили горные ходы бревнами и

вереями. Вы нападали на наших воинов, разъезжавших за провизией.

— Это были грабители.

— Стали ими, ибо не получили от вас договоренного питания. Вы нам спускали с городских валов корзины с продуктами, но в ваш хлеб была подмешана известь и другие вредные вещества. Как раз на марше император получил письмо от бывшей иерусалимской королевы Сибиллы. Она предупреждала, что Саладин, дабы остановить наступление христианской рати, послал императору Византии изрядное количество отравленного зерна и сосуд вина, до того ядовитого, что раб Исаака, принужденный понюхать вино, моментально скончался на месте.

— Бредни.

— Да, но наших послов, прибывших от Фридриха в Константинополь, василевс продержал неведомо сколько часов на ногах, а потом отправил в темницу.

— После этого он отпустил их обратно к Фридриху.

— Когда мы вступили в Филиппополь, город был пуст. Все как растворились. Тебя тоже не было в помине.

— Согласно должности, я выполнил все, чтоб

не попасть в неволю.

— Ну предположим. Тем не менее, когда мы вступили в Филиппополь, василевс заговорил по-другому. Все оттого, что там мы провели переговоры с армянами.

— Армяне приняли вас по-братски. Они такие же раскольники, как и вы. Не почитают святые иконы. Служат на опресноках.

— Значит, правые христиане. К нам они сразу же обратились от имени своего князя Льва, гарантируя безопасность и свободный проход по армянским владениям. Что все обстояло не так уж просто, стало заметно в Адрианополе, когда появилось посольство от Килидж-Арслана, сельджукского султана Икония, именовавшего себя владыкой над тюрками и сирийцами, а кроме того, над армянами. Кто же и над кем являлся начальником?

— Килидж старался противостоять возвышению Саладина. Килидж мечтал завоевать христианское царство Армению. Он думал, что армия Фридриха ему в этом деле поможет. Армяне же уповали на то, что Фридрих даст отпор притязаниям Килиджа. А наш Исаак, памятуя о поражении под Мириокефалом, где византийцев разгромили те самые сельджукские тюрки,

надеялся, что Фридрих сшибется с султаном Килиджем. Он был бы не против и чтобы Фридрих сшибся с армянами, поскольку они нарушали покой империи. Вот почему, извещенный, что и армяне и сельджукиды гарантируют латинянам проход через свои территории, он решил, что не должен чинить препоны Фридриховой армии, напротив, должен способствовать ей и дать возможность переплыть Пропонтиду, тем приближая Фридриха к нашим врагам и отдаляя от самих нас.

— Бедный отец. Чаял ли он оказаться орудием в руках взаимно враждующей оравы. А может, он все понимал и надеялся восторжествовать над всеми до единого? Я знаю только, что при мысли о союзе с христианской державой, с армянской, что лежала по ту сторону Византии, Фридрих трепетал. Ему это мнилось предвосхищением самой главной цели. Он гадал, и я гадал вместе с ним: не откроют ли армяне нам дорогу к пресвитеру? Как бы то ни было, ты, конечно, прав: после негоциации с сельджукидами и с армянами мы получили от Исаака корабли. И именно в Каллиполисе я увидел тебя. Ты от имени василевса передавал нам суда.

— Нелегко было принять это решение, — от-

ветил Никита. — Василеве поставил под угрозу отношения с Саладином. Нам пришлось направить к султану посольство, пояснить свое поведение. Саладин, великий человек, смог нас понять. Осложнений не последовало. Повторяю, к тюркам у нас не может быть претензий. Это вы, раскольники, постоянная причина наших злонесчастий.

Глянув друг на друга, оба сообразили, что не стоит им разбираться, кто был прав, кто виноват в тех давних дрязгах. Ведь имел свои причины и Исаак. До тех пор все пилигримы, проходившие по Византии, искушались и задерживались, видя столько славного добра на разграбление. Чем идти и рисковать шкурой под Иерусалимом… Фридрих, впрочем, действительно хотел только проследовать своей дорогой.

Они прибыли в Каллиполис. Хотя это был пока еще не Константинополь, даже и там солдатам открылись соблазны радостного города, с переполненным портом, где у пристани галеры и дромоны готовились принять коней, конников, обозы. Работы было не на один день; дожидаясь отплытия, наши друзья придумывали себе занятия. С самого начала похода Баудолино хотел употребить Зосиму на что-нибудь полезное. Тут

он надумал заставить его обучать греческому всю компанию. — Там, куда мы попадем, — приговаривал он, — никто о латыни слыхом не слышал, не говоря уж о германском, о провансальском или о моем языке. С греческим у нас хоть будет надежда объясниться. — Так, за посещениями блудных домов и разборами восточной патристики, время текло незаметно.

В гавани каждый день был рынок. Друзья решили пойти, очень уж притягательно блестели украшения и пахло специями. Зосима, спущенный с цепи, дабы служил проводником (под бдительной охраною Борона, который не терял его из виду) предупредил: — Вы, латинские и алеманские варвары, не знакомы с правилами нашей римской жизни. Вы учтите, что на рынках, по первому впечатлению, ничего покупать не потянет, потому что все чересчур дорого. Но если вы хоть раз заплатите, сколько с вас спрашивали… вас не то чтобы посчитают олухами; что вы олухи — это они знают заранее… но на вас крепко обидятся. Радость продавца — это торги. Поэтому выбивайте цену. Если просят десять, предлагайте два гроша. Они спустят до семи, а вы давайте три и на этом стойте, они спустят до пяти, а вы держитесь. Они с плачем за трояк уступят товар,

заверяя, что теперь пойдут по миру с малыми ребятами. Платите и уходите, знайте только, что товару цена грош.

— Зачем же давать три? — спросил Поэт.

— Затем, что надо жить и торговцам. Три гроша за покупку в грош — это честный рынок. И еще предупреждаю. Жить-то надо не только продавцам, но и карманщикам. Так как воры у воров не крадут, следовательно, они попробуют обокрасть вас. Воспрепятствовать им в этом — ваше законное право. Но уж если они ловчей вас, попрошу не обижаться. Как подсказывает здравый смысл, лучше всего иметь с собой ровно столько денег, сколько вы все равно собираетесь потратить.

Подготовленные знатоком здешних нравов, путешественники ввергнулись в человеческое море, смердевшее чесноком, как смердят все ромеи. Баудолино приобрел два арабских кинжала превосходной работы, таких, что крепятся на пояс и выхватываются наперекрест. Абдула покорила прозрачная шкатулочка с локоном (чьим, неизвестно, но легко догадаться, о ком он вспоминал, покупая). Соломон подзывал друзей от лотка перса, продавца волшебных снадобий. Эликсирщик показал им склянку, содержавшую, по его словам, неодолимое зелье; оно при небольшой даче

укрепляет жизненные силы, но если потребить всю порцию, наносит здоровью смертельный удар. В другой такой же точно склянке имелось мощное противоядие, способное обезвредить любую отраву. Соломон, который, как свойственно иудеям, разбирался в медицинском искусстве, приобрел противоядие. Детище своего народа, он без труда переторговывал любого ромея и, уплатив одну монету заместо требуемых десяти, стонал потом, что прокупился по меньшей мере в два раза.

Неподалеку от лотка аптекаря Гийот нашел себе великолепный шарф, а Борон то задумывался, то раздумывался и в результате заявил, что кто сопровождает императора, везущего Братину, тому все клады в мире что труха, а уж эти-то тряпки с побрякушками…

Двигаясь себе дальше, они увидели Бойди из Александрии. Тот уже несколько недель входил в их дружескую компанию. Он приценивался к кольцу, на вид золотому (торговец плакал, уступая: кольцо принадлежало его покойной матери). Под камнем было заключено средство, способное поддержать силы раненого, а может, даже и оживить мертвого. Бойди купил кольцо с лекарством, поскольку, он сказал, если уж подставляться под

все опасности в Иерусалиме, благоразумно принять хоть какие-то предосторожности.

Зосима восхищался печатью с литерой Зет, то есть с его инициалом. Резьба была такая стертая, что, может, и не оставила бы никаких следов на сургуче; но именно затертость указывала на бесспорную древность вещицы. Естественно, будучи пленником, Зосима не имел собственных денег, но Соломон расчувствовался и подарил ему печать вместе с палочкой сургуча.

Толпа влекла их за собой. Вдруг оказалось, что потерялся Поэт. Потом его отыскали, он торговался за меч, сработанный, по уверениям продавца, в эпоху завоевания Иерусалима. Когда пришла пора платить, Поэт обнаружил пропажу денежной кисы. Всем стало ясно, что Зосима предупреждал не напрасно, и что Поэта, с его голубыми задумчивыми алеманскими очами, карманники, надо полагать, облепили как стая мух. Баудолино, добрая душа, приобрел меч для Поэта.

На следующий день в квартиру, где друзья остановились, явился пышно одетый человек, сверх всякой меры церемонный, с двумя прислужниками, и спросил Зосиму. Монах поговорил со своим гостем, вышел и сообщил Баудолино, что прибывший — Махитар Ардзруни, важный сановник

армянского двора, с секретным поручением от князя Льва.

— Ардзруни? — переспросил Никита. — Мне это имя, знаешь, не ново. Он несколько раз приезжал в Константинополь еще во времена Андроника. Все ясно: он встречался с твоим Зосимой, ведь оба слыли знатоками магических тайн. У меня друг в Силимврии… хотя одному Богу известно, сулится ли нам встреча… гостил у этого Ардзруни в замке Даджиг.

— Мы тоже там гостили, как скоро ты услышишь. К великому несчастью! Что он приятель Зосимы, в моих глазах его совсем не украшало. Но я доложил о нем Фридриху. Тот пожелал принять его. Ардзруни довольно уклончиво определил свои полномочия. Он не то был, не то не был послом от Льва. А может, и был послом, но не имел полномочий в этом признаваться. Прибыл он, чтобы провести императорскую армию по всей территории тюрок вплоть до Армении. С императором Ардзруни разговаривал на приличной латыни, но когда он не хотел выражаться ясно, делал вид, будто не может подобрать правильное слово. Фридрих говорил, что Ардзруни ненадежен, как все армяне. Но иметь сопровождающего, знающего местность, было ценно. Так что Фри-

дрих дал приказ определить его при армии, а мне поручил, без огласки, хорошенько за ним приглядывать. Скажу сразу, что Ардзруни во время всего похода вел себя безукоризненно. Все без исключения данные им сведения при проверке оказывались точными.

24
Баудолино в замке у Ардзруни

В марте 1190 года армия вошла в Азию, достигла Лаодикеи и направилась во владения сельджукских тюрков. Прежний султан Икония вел себя как союзник Фридриха, но его сместили сыновья и ударили по христианской армии. А может быть, и сам Килидж переменил стратегию? Знать это было не дано. Стычки, потасовки, порой настоящие баталии. Фридрих выходил победителем, но половина войска перемерла от холода, от голода и ран; тюркмены налетали неожиданно, крушили фланги армии и удалялись, отлично ведая тропы и убежища.

Бредя по выжженным пустыням, подчас солдаты пили свою мочу и кровь коней. Пришли к Иконию в составе не более чем тысячи единиц.

И все же удалось провести порядочную осаду, и Фридрих Свевский, сын императора, даром что немощный, но бился славно и под его началом отбили город.

— Ты без симпатии говоришь о молодом Фридрихе.

— Он не любил меня. Не верил никому, завидовал своему меньшому брату, который отнимал у него корону, и, никаких сомнений, завидовал мне. Я был чужой по крови, а пользовался любовью и заботой его отца. Может быть, с детства он с беспокойством помнил, какими глазами тогда я глядел на его мать, или как она глядела на меня. Завидовал он и положению, которое я укрепил, преподнеся его отцу Братину. Сам он к этой истории всегда относился скептически. Чуть слыша про идею индийского похода, он всякий раз бубнил, что поговорить о том еще будет время… Он ощущал, что его теснят со всех сторон. Именно потому под Иконием он героически сражался, невзирая на то, что в этот день у него был жар. Только когда отец похвалил его за отвагу, вдобавок при всех баронах, у него в глазах засветилась радость. Это было единственный раз в его жизни. Так я думаю. Я отправился к нему с поздравлениями. Был за него искренне счастлив. Но он небрежно кивнул в ответ.

— Ох, как мы с тобой похожи, Баудолино. Я тоже писал и пишу свои имперские бытописи, отмечая самые мелкие интересы зависти, ненависти, интриг, проникающие и в семьи венценосцев, и в самые значительные общественные деяния.

Императоры — люди, и история — в частности, результат их слабостей. Хорошо, продолжай рассказ.

— Захвативши Иконий, Фридрих в тот же день отправил послов ко Льву Армянскому, дабы заручиться поддержкой при проходе по его территории. Соглашение существовало; армяне сами предложили нам его. Однако Лев не торопился высылать кого-нибудь нам навстречу. Может, он опасался такой же участи, какую обрел султан Икония. Так что мы шли вперед, не зная, получим ли обещанную помощь. Ардзруни вел нас, заверяя, что несомненно послы от его сюзерена прибудут. В один прекрасный день в июне, повернув к югу, миновав Ларанду, мы вступили в отроги Тавра и наконец-то увидели кладбища с крестами. Вокруг нас лежала Киликия, христианская страна! Нас немедленно принял армянский управитель Сивилии. Поодаль, на берегу проклятой речки, имя которой я намеренно забыл, мы встретили посольство армянского правителя Льва. Как только послы показались, Ардзруни сказал, что не надо им его видеть, и мигом исчез. Два уполномоченных вельможи, Констант и Балдуин Камардеисские, были самыми нерешительными послами, каких я видел за свою жизнь.

Один возвестил о скором торжественном прибытии Льва и католикоса Григория. Второй вилял и утверждал, что при всем великом желании помочь императору армянский князь не может показать Саладину, что добровольно открывает путь его неприятелям. Так что князь вынужден действовать крайне осмотрительно.

Посольство отбыло, вынырнул Ардзруни, отвел в сторону Зосиму, тот пошел докладывать Баудолино, Баудолино повел его к Фридриху.

— Ардзруни говорит, что, не желая предавать своего сюзерена, все же подозревает, что Льву желательно, чтобы ты задержался здесь.

— В каком смысле? — переспросил Фридрих. — Он хочет предложить мне вина и женщин, чтобы я забыл, что иду на Иерусалим?

— Да, вина… как бы не отравленного… Просит напомнить, о чем писала королева Сибилла, — сказал Зосима.

— А откуда ему известно, о чем мне писала королева Сибилла?

— Слухом земля полнится… Если Лев остановит твое движение, он весьма угодит Саладину, а тот в обмен поможет ему стать султаном Икония, о чем Лев и мечтает всю жизнь. Когда как не сейчас? Килидж с сыновьями позорно разбиты

твоей армией…

— А почему Ардзруни так беспокоится о моей жизни, что даже изменяет своему сюзерену?

— Только Иисус Спаситель приносил в жертву свою жизнь из любви к человечеству. Семя людское исполнено греха, оно подобно семени животному: ведь и корова приносит молоко лишь когда мы даем корове сено. Чему нас научает сия притча? Тому, что Ардзруни, наверное, вовсе не прочь занять место своего князя Льва. Ардзруни уважаем среди армян, а князь Лев — нет. Поэтому, стяжав себе признательность святого и римского императора, он может надеяться на воздаяние от самого влиятельного из друзей. Соответственно он предлагает проследовать до его замка Даджиг, замок расположен на берегу этой реки, и расселить войско в палатках около замка. Там подождать, пока сделается ясно, что же на самом деле гарантировал нам князь Лев. Ты будешь гостем в доме Ардзруни, укроешься от всевозможных ков. Предупреждает, чтобы с этой минуты ты был разборчив в питье и еде и проверял все, что преподносится его соотечественниками.

— Черт, — вскричал император, — вот уж год как меня несет от одного змеиного болота к другому! Мои родные немецкие принцы в сравнении

со здешними просто овечки! Знаешь даже, что я скажу? Что и подлые граждане Милана, от коих я, помнишь, досыта нахлебался, что и они были лучше! Они сражались в открытом поле, а не пытались зарезать меня во сне! Что будем делать?

Его сын Фридрих считал, что следует принять приглашение. Лучше беречься от одного известного врага, чем от многочисленных неизвестных. — Быть по сему, отец, — сказал тогда Баудолино. — Ты поселяешься в замке, а мы с друзьями создадим вокруг тебя непроницаемое оцепление, так, чтоб никто не мог пройти к тебе, не наступивши на нас. Ночью и днем. Мы будем пробовать любое кушанье, сготовленное для тебя. Нет-нет, не спорь, здесь нет никакой нашей жертвы. Все будут знать, что мы отведываем и отпиваем до тебя. А следовательно, никто не станет сыпать отраву в еду, чтобы потом твой гнев обрушился на каждого обитателя этой твердыни. Твои солдаты, нет спору, нуждаются в отдыхе. Киликия населена христианами. Султан Икония не имеет столько сил, чтобы пройти через горы и ударить по тебе снова. Саладин пока далеко. Эта область состоит из вершин и расщелин, замечательных природных бастионов, и, по-моему, не сыскать другого лучшего места, чтобы нам всем

восстановить силы.

Через день пути в направлении Селевкии они углубились в теснину, где проход был возможен узким строем вдоль течения горной реки. Вдруг ущелье раздвинулось, и река растеклась на плоском месте, а потом снова вошла в тесное русло и, бурля, утянулась вниз. На совсем близком расстоянии от берега возвышалась, вырастая из плоскости, как гриб, какая-то громада неопределенного очертания, она показалась лазоревой, так как войско подходило с востока, а солнце садилось за ней, и издалека сложно было сказать, человеческое или природное она творение. Только подойдя ближе, путники увидели, что громадный контур представляет собой горный пик, на самой макушке которого высится оборонная постройка, откуда, безусловно, есть возможность владычествовать и над этим логом и над всеми отрогами окрестных гор. — Добро пожаловать, — сказал Ардзруни. — Ты, господин, можешь расселить войско на этом плоскогорье. Советую разбить лагерь за рекой, там достаточно места для палаток, вдоволь воды для людей и коней. Крепость моя невелика, я могу пригласить только тебя и отряд верников.

Фридрих велел сыну заняться лагерем, остава-

ясь при войске. А с собой он брал только десять латников и Баудолино с друзьями. Сын его было заспорил, заявил, что желает поселиться с отцом, а не за целую милю. Он опять косился на Баудолино и его присных с недоверием. Но отец был неколебим. — Скоро лягу спать в замке, — сказал он. — Завтра искупаюсь в реке. На все это вы мне не нужны. Утром вплавь доберусь до вас с ранним приветом. — Скрепя сердце сын ответил, что воля императора закон.

Император удалился от армии в сопровождении десяти охранников, Баудолино, Поэта, Гийота, Борона, Абдула, Соломона и Бойди, державшего Зосиму на поводке. Всем было интересно, как попадают в крепость. Объехав подошву горы, все наконец увидели: западный склон был не так обрывист, и в нем выбиты уступы, так что можно подыматься даже верхами, хотя и строем не шире двоих всадников. Кто бы ни явился с недобрыми умыслами, был бы обязан медленно подыматься по порожистой тропе, и двое лучников с зубцов успевали бы снять любое количество штурмующих, беря их на прицел пару за парой.

В конце подъема были ворота и вход на плац. Тропинка не кончалась у ворот, а шла вдоль крепостного вала, сужаясь донельзя над пропастью,

и доходила до второго малого входа на северном склоне горы, сразу после ворот обрываясь в откос.

Они вступили на плац, откуда можно было видеть фасад замка, угрюмый и истыканный бойницами. В любом случае вторую защиту являли толстые валы, продолжавшие собой обрыв. Фридрих расставил часовых на валах, они с высоты могли оборонять подъездную дорогу. Ардзруни, по-видимому, караульщиков не держал, только несколько бравых молодцов внутри замка приглядывали за основными проходами и коридорами. — У меня нет потребности в войске, — горделиво усмехнулся Ардзруни. — Эта твердыня неприступна. А кроме того, как сам увидишь, господин святой император, мы не в военном городке. Мой приют служит для научных исследований воздуха, огня, земли и воды. Иди со мной, я покажу достойные тебя покои.

Все поднялись по лестнице и на втором повороте вошли в обширную оружейную залу, у стен располагались сундуки, на стенах рыцарская амуниция. Ардзруни открыл массивную, деревянную, окованную железом дверь и пропустил Фридриха в роскошно убранную спальню. Кровать под балдахином, поставец с чашами и

золотыми светильниками, на верхней полке которого был размещен ковчег из темного дерева: то ли сундук, то ли киот. Большой очаг с открытым устьем, с уже приготовленными дровами и какими-то каменьями, похожими на угли и вымазанными черным маслянистым составом, надо думать, для подпитки огня. Под дровами и щепками был сухой хворост, а поверху — обломанные ветви неизвестно какого благовонного ягодного дерева или куста.

— Лучшая из моих комнат, — сказал Ардзруни. — Великая честь мне пригласить тебя сюда. Окошко открывать не советую. Оно выходит на восток и с утра солнце помешает спать. Через цветные стекла, совершенство венецианского искусства, луч не пройдет, а мягко просочится, не нарушая твоего покоя.

— Не может кто-нибудь залезть в окно? — спросил Поэт.

Ардзруни, пыхтя, принялся отпирать многочисленные щеколды. — Видишь, — показал он, — оно очень высоко. А вон там за двором и обрыв, над ним караулят люди императора. — Действительно, из окна просматривались и круча, и тропинка, по которой расхаживала вахта, а на расстоянии выстрела из лука от окна выделялись на зубцах

стены два большие диска, видимо, из блестящего металла, сильно вогнутые, укрепленные на постаменте. Фридрих задал вопрос, что это за устройство.

— Зеркала Архимеда, — отвечал Ардзруни. — Ими этот античный мудрец смог поджечь римские корабли на рейде в Сиракузах. Зеркала ловят и отсылают обратно лучи, параллельно падающие на их поверхность. Этим создаются отражения. Но когда речь идет о вогнутых зеркалах, то, как нас учит геометрия, величайшая из наук, лучи отражаются не параллельно, а сходятся в пучок перед зеркалом, в зависимости от его кривизны. Располагая зеркало так, чтобы поймать им лучи солнца в момент сильнейшего сияния, пучок лучей, идя обратно, с силой бьет в некую дальнюю точку. Такая сильная концентрация солнечного света в точке рождает действие возгорания. Ты можешь этим поджечь дерево, обшивку судна, военную машину или сухую траву у неприятельского лагеря. Зеркал там два, ибо изгиб одного из них разит в далекие точки, другое же поражает ближние цели. Так я, обладая двумя простейшими устройствами, могу оборонять свою крепость удачнее, чем с тысячью лучников.

Фридрих сказал, что хотелось бы поучиться у

Ардзруни его уменью, поскольку при таких подспорьях стены Иерусалима рухнут еще лучше, чем иерихонские, не от трубных гласов, так от солнечных лучей. Ардзруни отвечал, что он весь в распоряжении императора. Он затворил окно и продолжал: — Окно закрыто плотно. Но воздух проходит через иные отверстия. Хотя на дворе лето, стены тут толстые, и ночью, могу предположить, тебе может сделаться зябко. Не зажигай очаг, чтобы не задымлять спальню. Советую накрыться тем мехом, что, видишь, лежит на кровати. Прошу извинить низость темы, но мы сотворены Господом в бренном теле. За дверкой ты найдешь каморку, в ней установлен отнюдь не королевский трон, и знай, что все извергнутое твоим телом мгновенно низринется в подземный особый чан и не отравит миазмами твою обитель. Проход в апартаменты возможен только через эту большую дверь, которую ты сможешь запереть вот этим внушительным засовом. По ту сторону двери лягут на отдых твои придворные. Им я могу предложить в качестве ложа только сундуки. Зато они всецело поручатся за твою неприкосновенность.

Дымоход был украшен круглым барельефом с высеченным лицом Медузы. Волосы завиты в

кольца, как змеи, вежды опущены, чувственный рот полуоткрыт. Между губами угадывалась темная полость вовсе без дна…

— В точности та голова, что я видел с тобой в водохранилище, сударь Никита…

Фридрих залюбопытствовал, какова история этого рельефа. Ардзруни сказал, что это раструб Дионисиева уха. — Одна из моих волшебных чар. В Константинополе немало таких старых статуй. Я расширил отверстие во рту… Внизу в замке есть зал, где обычно отдыхает малочисленный гарнизон этой крепости. Но пока ты, господин, живешь тут в гостях, в нижнем зале никого не будет. Все, что говорится внизу, я могу слышать без всяких искажений через этот рот. Кажется, что говорящий стоит прямо за маской. Так я получаю сведения о том, чем интересуются и о чем сплетничают мои солдаты.

— Хотелось бы мне так узнавать, чем интересуются и о чем сплетничают мои свояченики, — пошутил Фридрих. — Ты, Ардзруни, бесценный человек. Мы поговорим и на эту тему. А сейчас составим план жизни на завтра. Утром я купаюсь в реке.

— Спуск несложен и пешком, и верхом на лошади, — отвечал Ардзруни. — Можно и не проходить

через главный плац. Из оружейной палаты есть еще выход на лесенку, а оттуда на задний двор. Из заднего двора есть калитка на тропу.

— Баудолино, — распорядился Фридрих. — Приготовить утром коней на этом заднем дворе.

— Прошу, отец, — отвечал Баудолино. — Всем ведомо, до чего тебе любы самые бурные воды. Но ведь ты устал с дороги и от разных перенесенных испытаний. Это река с незнакомым тебе дном и, я думаю, с немалым числом водоворотов. Надо ли тебе рисковать?

— Надо, милый сын, и вообще я не настолько стар, как ты, может быть, считаешь. Если б не такое позднее время, я полез бы в эту реку сразу и сегодня, до того я грязен и в пыли… Император не должен вонять. Разве только святым миром при коронации. Приготовишь утром коней.

— Как нас научает Иисус сын Сирахов, — робко проговорил рабби Соломон, — не удерживай течения реки.

— А с чего ты взял, что я буду его удерживать? — веселился Фридрих. — Я поплыву по течению!

— Не следовало бы мыться чересчур часто, — вставил Ардзруни. — Разве что под присмотром опытного медика. Но ты здесь полный хозяин. Давай же, коль еще не стемнело, я, недостойный,

испрошу у тебя чести: дозволь мне показать тебе замок.

Они снова спустились и на нижнем обороте лестницы оказался зал, убранный для вечернего пиршества и освещенный многими свечами. За ним был другой зал, в котором главной обстановкой были скамьи. Одна из стен была украшена барельефом в виде улитки или какого-то спиралевидного лабиринта, втекавшего в самом центре в воронку-дырку. — Зал часовых, о нем мы прежде говорили, — пояснил Ардзруни. — Кто разговаривает близко от дыры, того ты сможешь услышать из своей комнаты.

— Испробуем после, — сказал Фридрих. Баудолино в шутку пообещал прийти ночью и прошипеть что-нибудь императору в ухо, чтоб разбудить. Фридрих со смехом запротестовал, поскольку этой ночью собирался отоспаться. — Разве что только, — добавил он, — захочешь предупредить, что султан Икония ко мне залезает через дымовую трубу!

Ардзруни ввел их в новый коридор и из коридора в широкосводную залу, где все предметы лучились бликами и курились паром. В котлах кипели какие-то варева. Везде были реторты, алембики и кучи любопытных вещей. Фридрих

спросил, умеет ли Ардзруни вырабатывать золото. Тот улыбнулся и сказал, что производство золота — пустые россказни алхимиков. Но он умеет наносить золото на металлы и возгонять эликсиры, пусть даже не эликсиры долголетия, однако же способные немного продлевать ту краткую жизнь, которая всем нам дана судьбой. Фридрих сказал, что и отведывать не станет. — Господь положил предел отмеренному сроку нашей жизни, смиримся перед Его волей. Может быть, я умру нынче, а может, проживу до сотни лет. Все в руце Божией. — рабби Соломон заметил, что в сих речах содержится великая мудрость, и еврей с императором погрузились в беседу о божественном предопределении. Баудолино в первый раз в жизни слышал, чтобы Фридрих высказывался на такие темы.

Пока развивалась их беседа, Баудолино заметил краешком глаза, что Зосима пробирается в соседнюю комнату, а Ардзруни, встревоженный, спешит за ним. Опасаясь, как бы Зосима не отыскал себе какую-нибудь лазейку и не удрал бы, Баудолино последовал за теми двоими и увидел маленькое помещение, в котором имелся только высокий ларь, а на ларе семь золотых голов. У голов были совершенно одинаковые золоченые

лица и одинаковые постаменты. Баудолино догадался, что это раки святых угодников. Каждая рака могла разниматься пополам, но края крышки, совпадающие с контуром лица, были припечатаны сургучом темного цвета. — Что тебе? — спрашивал Ардзруни у Зосимы, стоя спиной и не замечая Баудолино.

Зосима ответил: — Мне известно, что ты фабрикуешь реликвии. Для этой цели ты учился всей чертовщине, золочению металлов. Это головы Крестителя, правда? Я видел точно такие. Теперь понятно, откуда они вывозятся.

Баудолино деликатно хмыкнул. Ардзруни резко развернулся и сразу зажал себе руками рот, глаза его выкатились от страха. — Прошу тебя, Баудолино, молчи при императоре, не то он меня повесит, — прошептал он. — Да, это раки с честною главой Иоанна Предтечи. В каждой из них по черепу, прокопченному по особой методе так, чтоб кость съежилась и выглядела очень древней. Я живу в этой области, где земля не родит урожая, не имею ни нив, ни скота, и мое имущество ограничено. Я кормлюсь продажей этих мощей. Они пользуются превосходным спросом в Азии и в Европе. Нужно только пристраивать с умом, чтобы их развозили пропорционально

повсюду, скажем так, одну голову в Антиохию, а вторую в Италию. И никто никогда не узнает, что его голова не единственная. — Он заискивающе и масляно улыбался, ожидая снисхождения к его, в общем-то простительному, греху. — Я и в мыслях не держал считать тебя, Ардзруни, за порядочного человека, — весело ответил Баудолино. — Быть по-твоему, продавай свои черепушки, но сейчас лучше перейти в ту залу, а не то сюда заявятся император и вся компания. — Они вышли. Фридрих оканчивал свои богословские словопрения с Соломоном.

Император спросил, какие еще, кроме этих, чары может показать гостеприимный хозяин. Ардзруни, мечтая только вывести посетителей из этого места, двинулся в коридор. Процессия остановилась перед закрытой двустворчатой дверью. Сбоку от двери стоял жертвенник, точно такой, какие использовали язычники для жертвоприношений и каких во множестве обломки Баудолино видел в Константинополе. На жертвеннике был заготовлен хворост. Ардзруни плеснул на хворост тяжелую темную жидкость, снял факел, освещавший коридор, и поджег всю кипу. На капище занялось пламя, и через несколько минут отчетливо послышался подземный медленный

скрежет, в то время как Ардзруни с подъятыми руками произносил заклинания на варварском языке, все время поглядывая на посетителей, чтоб они понимали, что он изображает иерофанта или жреца. В конце концов, к великому изумлению зрителей, две створки двери разошлись без видимого прикосновения.

— Великолепие гидравлического искусства, — самодовольно произнес Ардзруни, — в коем я совершенствуюсь по заветам мудрейших механиков Александрии, творивших многие века назад. Устройство таково: под жертвенником металлическая полость, налитая водой; жар на престоле нагревает эту воду. Она превращается в пар. Пар поступает в сифон, то есть в изогнутую трубку, служащую для перекачивания воды и пара. Оттуда он идет в ведро, в ведре этот пар охлаждается и выпадает в виде воды. Вода своей тяжестью опускает ведерко вниз. Ведро, спускаясь, давит на небольшой шкив, а шкив передает движение на два деревянных валика, которые приводят в действие шкворни половин дверей. Двери раскрываются. Правда, несложно?

— Несложно?! — отозвался Фридрих. — Ошеломительно! А что, действительно греки умели делать такие фокусы?

— Такие и многие иные. Умели их делать и священнослужители в Египте: по их словесному приказу как будто распахивались двери храмов к изумлению и восторгу верующих. — Ардзруни пригласил императора перешагнуть порог. В середине палаты стоял еще один необыкновенный прибор. Кожаный шар, удерживаемый двумя металлическими коленами, одна подпорка справа, другая слева; так шар висел в воздухе над круглым столом. Под столом крепился вплотную к его нижней поверхности металлический таз, а под всей этой конструкцией лежала заранее заготовленная еще одна вязанка хвороста. Из верхнего и из нижнего полюсов шара выходили две трубки с рупорами, развернутыми в противоположные стороны. Обе коленообразные опоры шара по строению тоже были трубками, снизу запаянными в таз, а сверху — в шар.

— В тазу содержится вода. Теперь мы ее нагреем, — сказал Ардзруни. Огонь заполыхал, через несколько минут послышались звуки кипения, а затем легкий свист, с каждым мгновением усиливавшийся. Шар пришел во вращение вокруг оси, а из трубок вылетал пар. Покрутившись, шар замедлил движение. Ардзруни быстро заткнул трубки какой-то глиняной замазкой. — Здесь

тоже принцип достаточно прост, — сказал он. — Вода кипит в тазике, превращается в пар. Пар проникает внутрь шара и с силой вылетает в двух разных направлениях, что способствует вращению шара.

— А какое же чудо воспроизведено в этом опыте? — спросил Баудолино.

— Здесь не воспроизводятся чудеса. Здесь доказывается великая истина: существование в природе пустоты.

Можно представить себе, как опешил Борон. Лишь заслышав слова о пустоте, он моментально взволновался и спросил Ардзруни, каким это образом опыт свидетельствует о существовании пустоты. Да просто-напросто, разъяснил Ардзруни, если вода становится паром и заполняет собой шар, а потом пар уходит из шара, своим движением вращая его, значит, когда пар весь выйдет, и когда шар замрет, у него внутри уже не будет никакого пара, трубки плотно залеплены. Что же осталось и в тазу, и внутри шара? Ничего. Пустота.

— Поглядеть бы, — бормотнул Борон.

— Поглядеть невозможно. Если ты вспорешь шар, туда сразу попадет воздух. Однако есть у меня в замке место, где ты можешь испытать прямо

на себе существование пустоты. Беда только, что испытывать ты будешь недолго, а потом из-за недостатка воздуха простишься с жизнью.

— И что это за такое место в замке?

— Одна из комнат. Погляди, как я заполню пустотой эту верхнюю комнату. — Он поднял факел и осветил еще одну машину, до тех пор неразличимую в полутьме. Она была гораздо замысловатее двух предыдущих приборов. Все ее, если можно так их назвать, кишки были выведены наружу. Центром механизма являлся крупный цилиндр из алебастра. Внутри цилиндра можно было разглядеть еще одно валообразное тело, наполовину утопленное в большом цилиндре, наполовину торчащее из него и верхним краем приваренное к какой-то громадной рукояти, которую мог бы крутить двумя руками человек, вращая ее как рычаг. Ардзруни взялся и стал этот рычаг крутить. Вал-поршень посреди цилиндра задвигался, то заходя в цилиндр целиком, то снова вылезая из цилиндра. Из алебастрового цилиндра, от его верха, отходил толстый хобот, сшитый из бычачьих пузырей, намертво приделанных друг к другу. Хобот исчезал в отверстии потолка. Снизу в том же внешнем алебастровом цилиндре было отверстие.

— Глядите, — растолковывал Ардзруни. — Здесь все зиждется не на воде, а на воздухе. Когда внутренний вал-поршень опускается, он сжимает воздух, содержащийся в цилиндре из алебастра, изгоняя воздух в нижнее отверстие. Когда же я рычагом подымаю внутренний вал, в цилиндре поворачивается заглушка и нижнее отверстие закрывается. Поэтому изгнанный из цилиндра воздух обратно поступить не может. Когда этот внутренний вал-поршень доходит до самой высшей точки, приходит в действие другая крышечка, впуская воздух, который по вот этому, видимому всеми вами хоботу выкачивается из той самой верхней комнаты, которую мы недавно упоминали. Когда наш внутренний вал-поршень спускается опять, он выгоняет из цилиндра и этот воздух. Так понемногу машина отсосет весь воздух из этой верхней комнаты и выпустит сюда в зал. А сверху в комнате создастся пустота.

— А новый воздух не может войти откуда-нибудь в верхнюю комнату? — спросил Баудолино.

— Никак не может. Одновременно с запуском насосной машины по этим вот веревочкам, которые привязаны к рычагу, передается движение на всевозможные затычки и заглушки в той комнате, плотно перекрывая любой доступ воздуха

внутрь того помещения.

— Значит, можно умертвить человека, находящегося в той комнате, — сказал Фридрих.

— Можно. Я не умертвлял никаких людей. Я оставил в той комнате петуха. Когда кончился опыт, петух оказался мертв.

Борон качал головой и нашептывал на ухо Баудолино: — Нельзя верить ему. Все он лжет. Если вправду петух оказался мертв, это значит, пустота существует в природе. Но природа не терпит пустот. Значит, и петух до сих пор жив и здоров. То есть, может быть, и мертв, если его употребили на суп. — Затем Борон громко спросил Ардзруни: — Ты, наверное, слышал и о том, что животные погибают в нижней части глубоких скважин, там, где затухает и пламя свеч? Иногда делается вывод о том, что в скважинах, значит, нету воздуха, следовательно, в них пустота. Но правильное суждение иное. В глубокой части скважин нету легкого воздуха, а есть тяжелый и зловредный, он-то и душит и людей, и свечи. То же, видимо, происходит в твоей комнате. Ты высасываешь оттуда легкий воздух, в комнате остается тяжелый, этим воздухом нельзя дышать, потому-то и издох петух.

— Ладно вам, — пресек их император. — Эти

штуки презабавны, но за исключением Архимедовых зеркал, все остальные совершенно неприменимы ни в осадах, ни в полевых сражениях. Раз так, на что они? Я проголодался. Ты, Ардзруни, обещал нам славную трапезу. Мне кажется, что время ужина настало.

Ардзруни поклонился и пригласил Фридриха со свитой в столовые палаты. Ужин действительно был великолепен, особенно на вкус гостей, пробавлявшихся многие недели скудным рационом в походе. Ардзруни угощал их отменными творениями армянской и тюркской кулинарии, вплоть до сластей, от которых гостям показалось, что их по уши залили медом. Как и порешили, Баудолино с друзьями пробовали каждое блюдо перед тем, как к нему прикасался император. В обход всякого придворного этикета (на войне вообще этикет не всегда соблюдается) все сидели за общим столом, Фридрих ел, пил, веселился, будто был на равных с прочими. Слушал любопытную дискуссию между Вороном и Ардзруни.

Начал ее Борон: — Ты вот упорно говоришь о пустоте, будто в пространстве может не быть никаких тел, даже воздушных. А между тем пространство, где нет никаких тел, существовать не может. Пространство являет собой взаимоотно-

шение тел. И пустота существовать не может, поскольку природа не терпит пустот, как учат нас великие философы. Ты втягиваешь в себя воздух через трубку, погруженную концом в воду, вода в ней подымается, не допуская пустоты в том месте, откуда ты вытянул воздух. И кроме того! Послушай! Любые предметы падают на землю, причем железная статуя падает скорее, нежели кусок ткани, поскольку воздуху не под силу выдерживать вес статуи, а вес платка воздух выдерживает без труда. Птицы летают потому, что, маша крыльями, перемещают много воздуха. Он их выдерживает, хотя они имеют вес. Птиц держит воздух точно так же, как рыб держит вода. Если бы не было воздуха, то птицы падали бы, но, прошу внимания, у всех падающих тел скорость была бы одинаковой. Добавлю, что будь в небе настоящая пустота, звезды передвигались бы с бесконечной скоростью, поскольку их ничто бы не удерживало в их падении или в их кружении. Их не удерживал бы воздух. Между тем воздух противостоит даже огромному весу звезд.

Ардзруни ему в ответ: — Кем доказано, будто скорость тела пропорциональна весу этого тела? Утверждал же Иоанн Филопон: скорость зависит от начального движения, примененного к этому

телу. И вдобавок скажи мне. Если бы не было пустоты, как бы перемещались предметы? Они стукались бы об воздух, он бы их не пропускал.

— Отчего же! Когда тело передвигается, воздух, который занимал то пространство, куда перешло тело, отодвигается на место, прежде занимавшееся этим телом. Представь себе: два человека хотят разминуться на узкой дороге. Оба втягивают животы, прижимаются к стенам и один пропихивается вперед, а другой мимо него назад. Наконец каждый займет то пространство, которое прежде занимал другой.

— Да, потому что каждый из двоих по собственной воле придает движение своему телу. Но воздуху воля не присуща. Воздух движется в зависимости от натиска какого-либо смещающего воздух предмета. При этом натиск создает движение во времени. В ту минуту, когда предмет перемещается и оказывает натиск на тот воздух, который впереди него, воздух еще не двигался и, следовательно, не переходил еще на то место, которое освободил предмет, перемещаясь. Что же существует в этом освобожденном месте, хотя бы на краткий миг? Там существует пустота!

Фридрих до этой минуты потешался, внимая голопрению, но тут его терпению пришел

конец. — Кончайте спор, — распорядился он. — Завтра, коль уж на то пошло, посадите в комнату нового петуха. А сейчас дайте спокойно мне доесть этого, и хочу надеяться, что ему скрутили шею по-божески, по-христиански.

25
Баудолино видит обе смерти императора

Ужин затянулся. Император захотел лечь. Баудолино с приближенными прошли за Фридрихом в комнату и внимательно осмотрели ее при двух факелах, укрепленных на стене. Поэт пожелал проверить даже отверстие дымохода, но тот сужался почти сразу и никак не позволил бы пролезть человеку. «Тут дай бог дыму выйти», — хмыкнул он. Друзья обследовали и нужную камору. Никто не мог бы пробраться через сточный канал.

Возле постели, рядом с зажженным фонарем, стоял кувшин, Баудолино отхлебнул воду. Поэту пришло в голову, а не посыпана ли ядовитым порошком подушка в том месте, куда император дотронется ртом во сне? Неплохо было бы, добавил он, всегда иметь под рукой противоядие, ибо…

Фридрих прервал его просьбой беспокоиться меньше. Рабби Соломон смиренно возразил: — Господин, ты, очевидно, слышал, что я предан

всей душой, пусть и будучи иудеем, тому предприятию, которое в случае успеха увенчает тебя вечной славой. И твоя мне жизнь собственной дороже. Послушай. Я купил в Каллиполисе мощное противоядие. Возьми его, — произнес он, вынимая склянку из халата. — Отдаю его тебе, потому что в моей скудной бытности мало случаев подвергнуться злобе знатных недоброжелателей. Буде выпадет тебе когда ни то ночью ощутить недомогание, выпей эту склянку сразу. Если даже тебе подсунут вредное яство, снадобье тебе поможет.

— Я благодарен, рабби Соломон, — растроганно вымолвил Фридрих. — И благо мы делаем, тевтонцы, что защищаем твою родню по крови, и быть сему во все последующие веки! Мы, немцы, вас, евреев, никогда не дадим в обиду, клянусь своим народом! Приму твое противоядие. Вот я что с ним сделаю. — Он вынул из переметной сумы кивот с Братиной, которую постоянно и ревниво носил при себе. — Гляди, вот видишь, — продолжал он, — вот я вливаю состав, подаренный тобою, иудеем, в ту чашу, где содержалась кровь Господня.

Соломон поклонился, хотя и с сомнением прошептал на ухо Баудолино: — Эликсир иудея

становится кровью лжемессии… Творец благословен, Святой Он и да простит Он. По существу, эту историю с Мессией выдумали вы, язычники, а не Иешуа из Назарета, который был праведником и, по словам наших раввинов, толковал Талмуд с рабби Иешуа бен Пера-Хиа. К тому же твой император нравится мне. Думаю, следует слушать побуждения сердца…

Фридрих взял в руки Братину и поднял, чтобы поставить внутрь ковчега, но тут его остановил Гийот. В этот вечер все невесть почему считали, что имеют право обращаться к императору без приглашения. Чувствовалась особая доверительность между горсткой преданных людей и их властителем, оказавшимися в тесном укрывище, неизвестно пока, спасительном или пагубном. Потому Гийот сказал: — Владыка, не думай, будто я не верю рабби Соломону… но и он мог обмануться… Позволь испробовать напиток.

— Владыка, позволь отпить Гийоту, — отозвался Соломон.

Фридрих кивнул. Гийот высоко поднял чашу, будто освящал ее, потом приложился к краю жестом причастия. В эту минуту даже Баудолино показалось, что в зале распространилось сияние, но, наверное, это просто один из факелов помор-

гал, справляясь с оплывающей смолой, и засветил ровнее и чище. Гийот помедлил, не отрывая уст от края чаши, шевеля губами, будто смакуя ту немногую жидкость, которую отпил. Потом обернулся, прижимая к груди чашу, и благоговейно поставил ее в ковчег. Медленно затворил дверки, без хлопка и без звука.

— Дивные ароматы, — бормотал про себя Борон.

— Видели, как засияло? — спрашивал у друзей Абдул.

— Будто все ангелы с неба сошли на нас, — с убеждением произнес Зосима, осеняя себя крестным знамением задом наперед.

— Хамово отродье, — прошипел Поэт в ухо Баудолино, — нашел увертку! Втихаря отслужил святую мессу со святой Братиной! Вернется в свои края и будет хвастать этим поступком от Шампани до Бретани. — Баудолино шепотом отозвался, что не следует злобствовать и что Гийот действительно находится будто под наитием самого высокого из небес.

— Ничто не сможет нас сломить, — ораторствовал Фридрих во власти сильного мистического волненья. — Иерусалим скоро будет освобожден. После этого, все вместе, на поиски пресвитера

Иоанна, чтобы вернуть ему эту святейшую реликвию. Баудолино, благодарю за то, что ты вручил мне… Я в самом деле и священник, и царь…

Он и смеялся, и дрожал. Недолгий обряд, видно было, потряс его. — Устал я, — поделился он с присутствующими. — Баудолино, я запрусь тут на засов. Сторожите хорошенько. И спасибо всем за преданную службу. Не будите меня, пока солнце не взойдет на высоту. А с утра пойду купаться. — Помолчал и еще добавил: — Я ужасно устал. Хочется спать и проспать много столетий.

— Лучше проспи одну тихую долгую ночь, отец, — отозвался с любовью Баудолино, — никуда ведь не выезжаем на заре. Пусть подымется как следует солнце и прогреет и воздух, и воду. Так спи спокойно.

Они вышли. Фридрих плотно свел створки двери и послышался скрежет щеколды. Все расселись по сундукам в большой зале.

— Не имея такой нужной каморы, как у императора, — сказал Баудолино, — выйдем же поскорее каждый по своей нужде на двор. Да поочередно, не оставляя эту залу без присмотра. Ардзруни, может, и благонадежный человек, но доверять мы можем только самим себе.

Через несколько минут все уже сходили и об-

легчились. Баудолино загасил фонарь, пожелал всем доброй ночи и стал стараться заснуть.

— Я был неспокоен, сударь Никита, без всяких видимых причин. Сон был тревожный, я то и дело пробуждался от кратких и вязких сновидений, наподобие кошмаров. Я видел бедную Коландрину, она отпивала из черной каменной братины и падала мертвая на пол. Примерно через час послышалось какое-то шуршанье. В нашем оружейном зале было окошко, откуда поступал неяркий ночной свет. Луна, как помню, находилась в первой четверти. Я смог определить, что это Поэт выходит. Видать, ему опять приспичило… Позднее, не могу сказать через какое время, поскольку я задремывал и просыпался, и каждый раз мне чудилось, будто время почти не идет, хотя этого не могло быть, я увидел, удаляется Борон. Он возвратился, и тогда Гийот зашептал ему… с чего-то не спится, выйти освежиться, глотнуть воздуху. Я подумал, что мое-то дело — следить, чтоб не заходили чужие, а пока выходят свои… Все мы были нервно встревожены. Иного не помню. Я не слышал, когда вернулся Поэт. Перед рассветом все наконец глубоко заснули. Спящими я их увидел и утром, когда при первых проблесках солнца я наконец

окончательно пробудился.

Оружейный зал вся сияла в победительном утреннем свете. Явились слуги, внесли хлеб и вино и какие-то местные фрукты. Баудолино просил не шуметь, не будить императора, но друзья добродушно гомонили. Через час Баудолино решил, что хоть Фридрих и просил не будить раньше срока, но теперь уже срок наступил. Он пошел постучать в дверь. Никакого ответа. Постучал снова.

— Здорово разоспался, — хмыкнул Поэт.

— Я надеюсь, что ему не стало плохо, — буркнул в ответ Баудолино.

Они стали стучать громко, Фридрих никак не отзывался.

— Вечером он выглядел неважно, — говорил Баудолино. — Может, ночью с ним случился какой-то приступ? Предлагаю выломать дверь.

— Тише, тише, — осадил его Поэт. — Выбить дверь, ведущую в покои императора? Это почти святотатство!

— Пускай будет святотатство, — выпалил Баудолино. — Мне все это совсем не нравится.

Стали беспорядочно давить на дверь, крепкую и прочную и, видимо, с надежным запором.

— Ну-ка снова, теперь все вместе, по моему

счету одновременно наддадим плечами, — распорядился Поэт, сознавая, что уж если император не просыпается, когда в его спальне срывают дверь, значит, сон достаточно подозрительный. Дверь держалась. Поэт пошел отвязывать Зосиму, спавшего на цепи. Общество распределилось на две группы, чтобы бить одновременно в обе створки. На четвертом их налете дверь открылась.

На середине комнаты, на полу, бездыханный Фридрих, почти раздетый, лежал в том виде, в каком отходил ко сну. Откатившись от императора на несколько шагов, валялась пустая Братина. В устье очага дотлевали пережженные угли: ясно было, что очаг топился всю ночь, а к утру огонь догорел. Окно было закрыто. В спальне пахло горелыми дровами и чадом. Борон, давясь от кашля, подбежал к окну — скорей впустить свежий воздух.

Полагая, что кто-нибудь проник в комнату и еще находится в ней, Поэт с Бороном, выхватывая мечи, кинулись обыскивать закоулки, а Баудолино на коленях у тела Фридриха подымал его голову и легонько хлопал по щекам. Бойди вспомнил, что купил в Каллиполисе лекарство, сковырнул крышку кольца и, раздвинув губы императора, вливал зелье. Фридрих в чувство не

приходил. Цвет лица оставался землистым. Рабби Соломон склонился над ним, попытался поднять ему веки, щупал лоб, щупал шею, считал пульс и в конце концов проговорил дрожа: — Этот человек мертв… Благословен Святой Творец, Он да будет милосерден к его душе! — Христе Царю, я не верю, невозможно! — взвыл Баудолино. Однако даже и не будучи сведущ в медицине, он не мог не видеть, что священный и римский император Фридрих, хранитель пресвятой Братины, упование человечества, последний законный преемник Цезаря, Августа и святого Карла Великого, опочил. Тогда Баудолино заплакал, осыпал поцелуями бледное лицо, вскричал, что он его возлюбленный сын, чтоб тот проснулся, но тот не слышал, тогда Баудолино понял, что все на свете бесполезно.

Он поднялся, прокричал, чтоб друзья как следует осмотрели все, под кроватью, на кровати, искали подземные ходы, простукали как следует все стены, но было очевидно, что злоумышленников не только не было, но и до этого не бывало в том месте. Фридрих Краснобородый умер в комнате, герметически закупоренной изнутри и охраняемой извне самыми внимательными, самыми преданными сыновьями.

— Позвать Ардзруни, Ардзруни знаток медицины, — кричал Баудолино.

— Я тоже знаток медицины, — причитал рабби Соломон, — поверь, твой отец мертв.

— Боже, о Боже мой, — убивался Баудолино, — мой отец мертв! Известите стражу, позовите его сына и ищите его убийц!

— Одну минуточку, — сказал Поэт. — Отчего это вдруг убийц? Он был в закупоренной комнате. Он там умер. Видишь, у ног его на земле Братина, где находилось противоядие. Очевидно, что императору стало худо, он подумал, что отравился, и выпил зелье. В то же время, мы видим, он зажег очаг. Кто же еще мог зажечь очаг, если не император? Бывает, что некоторым людям становится худо, болит в груди, они покрываются ледяным потом, хотят согреться, стучат зубами и умирают через короткое время. Может быть, дым камина ухудшил его недомогание.

— Да что все-таки было в той Братине? — заорал вдруг Зосима, вращая глазами, налетел на рабби Соломона и затряс его за грудки.

— Отойди, прохвост, — цыкнул на него Баудолино. — Видел же, что Гийот пил и с ним ничего не сделалось.

— Мало пил, мало пил, — не утихал Зосима,

терзая Соломона. — От глотка не опьянеешь! Идиоты! Доверились еврею!

— Идиоты, что доверяемся такому гадостному греку, как ты. — Поэт дал Зосиме пинка и высвободил бедного рабби, лязгавшего челюстями от страха.

Гийот тем временем поднял Братину и почтительно перенес ее в ковчег на верхней полке поставца.

— Ну так что же, — обратился Баудолино к Поэту, — значит, не убит? Умер сам по воле Божией?

— Самый простой вывод. Проще, чем думать, будто некое воздушное существо смогло просочиться сквозь дверь, которую мы строго охраняли.

— Тогда зовем сына и сторожей, — сказал Гийот.

— Нельзя, — ответил Поэт. — Друзья, тут на кону наша жизнь. Фридрих мертв; нам вполне ясно, что никто не мог зайти к нему в комнату; но для сына и других баронов это не вполне ясно. Они подумают на нас.

— Что за гнусная мысль! — отозвался плачущий Баудолино.

Поэт продолжил:

— Баудолино, сын Фридриха тебя не любит, не любит нас и никогда не доверял нам. Мы охраняли, император умер, значит, мы отвечаем. Не успеем мы и слова сказать, как сын вздернет нас на первую осину, а не найдет осин в этом распроклятом ущелье, найдет крюк на стене. Знаешь, Баудолино, сыну императора эти разговоры о Братине всегда казались предлогом, чтобы затаскивать его отца туда, куда не следовало. Он нас прикончит, единым махом избавится от всех обуз. А уж бароны… Услышат, что императора Фридриха убили… чем искать виноватых меж собой, с риском кровопролития, куда как удобнее иметь козлов отпущения в нашем лице. Кто станет верить такому, как ты, выскочке, уж извини за откровенность? Или такому, как я, пьянице? Или еврею? Или раскольнику? Трем перехожим клирикам? Кто станет верить Бойди, который из Александрии, а следовательно, имел веские причины точить зуб на императора? Мы уже умерли, Баудолино, не меньше нежели твой приемный отец.

— И значит… — не понимал Баудолино.

— И значит, единственное решение — устроить, чтобы все подумали, что Фридрих умер не здесь, не там, где мы были приставлены охранять его.

— Но как?

— Он ведь предупреждал, что намерен пойти купаться? Оденем его, закутаем в плащ. И спустим на задний двор, где никого, полагаю, не встретим и где поставлены с вечера кони. Привяжем к седлу, довезем до реки, и воды пусть сделают свое дело. Достойная смерть для этого правителя, что и в преклонных годах всегда желал кинуть вызов буйным силам природы. Сын решит, следовать ли ему на Иерусалим или поворачивать к дому. А мы сможем сказать, что решили держать путь в Индию, дабы выполнить последнее желание Фридриха. Сын, конечно, не верит в эту Братину. Мы возьмем ее, мы докончим то деяние, что задумывалось императором.

— Но придется утопить его, — пролепетал Баудолино, потерянно озираясь.

— Но ведь он уже умер? Умер. Всем нам жаль, но император умер. Мы же не топим человека, который жив? Он умер, и да примет Господь его в лик святых. Мы всего-то и скажем, что он утонул в реке, на открытом месте, а не в комнате, которую мы обязаны были охранять. Это ложь? Не такая уж сильная. Ну какая разница, умер он в комнате или на улице? Разве мы его убили? Все мы знаем, что не убивали. Коли так, умертвим же его в та-

ком месте, где даже самые дурно расположенные к нам люди нас не смогут оклеветать. Баудолино, единственный наш путь — этот, другого не дано, спасаешь ли ты свою шкуру или же хочешь добраться до пресвитера Иоанна и совершить перед ним наивысшее восславление Фридриха.

Поэт, при всей его омерзительной для Баудолино холодности, был, разумеется, прав, и все согласились с ним. Императора одели, отнесли на задний двор, привязали на седло, примостив за спину шест, в точности как Поэту уже пришлось проделывать однажды с мертвыми Волхвоцарями; таким образом Фридрих по виду плотно и крепко сидел на коне.

— К реке его везут только Абдул с Баудолино, — сказал Поэт, — поскольку многочисленная свита может привлечь внимание конвоя. Как бы сторожевым не вздумалось пристать к выезду. Мы останемся в комнате, присмотрим, чтобы не совали сюда нос Ардзруни и его холопы, и тем временем приберем. Вот еще что, я пойду на зубцы и поговорю с охраной, чтоб отвлечь их, а вы пока выезжайте наружу стены.

По всей видимости, один Поэт был в состоянии принимать решения. Стали делать, как он велел. Баудолино и Абдул выехали с заднего двора мед-

ленно, ведя между собой императорскую лошадь. Преодолев всю дорогу под стеной, спустились по подъездной тропе, ступень за ступенью, и после этого мелкой рысью достигли реки. Пикетчики с крепостных стен отдавали салют императору. Медленный путь, казалось, продлился целую вечность, но вот наконец они на самом берегу.

Заехали за рощицу. — Отсюда никому нас не видно, — сказал Баудолино, — теченье быстрое, и тело моментально унесет вода. Мы бросимся за ним верхами, будто спасать, но так как дно неровное, настигнуть императора не удастся. Тогда поскачем по берегу, крича на помощь… Теченье понесет его прямо на палаточный лагерь.

Труп императора отвязали, сняли одежду, оставив то немногое, что даже плавающему монарху необходимо, дабы защитить свой стыд. Как только они вытолкнули его на стремнину, теченье засосало его и тело, вертясь и подпрыгивая, понеслось по реке. Они вскакали в воду, дернули удила, чтобы показалось, будто лошади упрямятся, вернулись на берег и понеслись галопом, следя глазами за бедным телом, бившимся о корни и о камни, размахивая руками, вопя о помощи, чтоб из лагеря люди бежали на спасение императора.

В лагере увидели эти знаки, но не понимали,

к чему они. Тело Фридриха болталось в водоворотах и воронках, оборачивалось то вверх, то вниз лицом, то вперед головой, то вперед ногами, уходило под воду и снова выныривало на поверхность. Издалека было невдомек, что речь идет об утопающем человеке. В конце концов лагерные как-то догадались, три всадника въехали в воду, однако тело, доставленное водой до них, стукнулось о копыта испуганных коней, отлетело и было унесено дальше. Ниже по течению солдаты загородили поток пиками и в конце концов загарпунили труп и подтащили к берегу.

Когда Баудолино и Абдул доскакали, Фридрих был изломан и избит камнями, и никак нельзя было надеяться, что он жив. Поднялись стенания, оповестили сына и тот примчался, бледный, в лихорадке, сетуя, что отец захотел упорствовать в своем намерении сразиться с бурной быстриной. Накинулся на Баудолино и Абдула, но те напомнили ему, что не умеют плавать, подобно большей части наземных тварей. И что ему великолепно известно: когда император затевал купанье, остановить его никому не удавалось.

Труп Фридриха выглядел раздутым, хотя он умер за несколько часов до того и никак не мог наглотаться воды. Но что уж тут поделать. Вытас-

кивая мертвое тело из реки, все думают, что это утопленник, и на утопленника оно и похоже.

Пока Фридрих Свевский с баронами перекладывали тело и горестно решали, что с ним делать, пока Ардзруни спускался в долину, извещенный о несчастии, Баудолино и Абдул поехали в замок, дабы удостовериться, что там все приведено в порядок.

— Теперь попробуй угадать, что произошло в наше отсутствие, государь Никита, — сказал Баудолино.

— Тут нечего угадывать, — улыбнулся Никита. — Священная чаша, ваша Братина, исчезла.

— Совершенно верно. Никто не мог сказать, исчезла ли она в то время, как мы на заднем дворе вязали труп императора на лошадь, или потом, когда все старались как можно скорее привести в порядок дом. Все были взвинчены, метались и гудели как пчелы, Поэт ушел заговаривать зубы охранникам, так что никто не отдавал здравых указаний. Наконец, когда все решили, что можно оставить комнату, вид которой уже не напоминал о драматических событиях, Гийот глянул на ковчежец и обнаружил, что Братины в ковчеге нет. Когда приехали мы с Абдулом, все обвиняли всех, кто в воровстве, кто в разгильдяйстве.

Витало и подозрение, что когда мы выносили императора во двор, в комнату наведался Ардзруни. Невозможно, говорил Гийот, я помог снести тело с лестницы и сразу же поднялся обратно именно для того, чтобы не бросать эту комнату без призора. За такое непродолжительное время как сумел бы Ардзруни и войти и выйти? Значит, ты спер Братину, рявкнул на него Борон и схватил за ворот. А я думаю, спер ты, прорычал в ответ Гийот и отпихнул его. Ты и слямзил, пока я высыпал в окошко золу из камина. Поспокойней, поспокойней, надрывался Поэт, вы скажите лучше, где был Зосима, когда мы выносили тело? Да я с вами и был, с вами и пришел обратно, божился Зосима. Рабби Соломон подтвердил его слова. Лишь одно не вызывало сомнений: Братина похищена, а отсюда до предположения, что похититель повинен и в гибели императора, недалече было ходить. Сколько угодно мог Поэт обосновывать свою теорию, что Фридрих скончался сам по себе, а потом кто-то из своих воспользовался его смертью, чтобы завладеть Братиной. Теперь ему никто не верил. Друзья мои, успокаивал компанию рабби Соломон, человеческая лютость горазда на самые исступленные злодейства, начиная от Каина и далее, но ни один еще ум не был настолько изво-

ротлив, дабы совершить злодейство в закрытой комнате. Друзья мои, повторял Борон, когда мы вошли, Братина была тут, а теперь ее тут нет. Значит, она у кого-то из нас. Естественно, каждый предложил обыскать его вьюки, но Поэт зашелся в хохоте. Тот, кто украл чашу, разумеется, прячет ее в хитром месте в укромном отделении замка и заберет только перед отъездом. Какой выход? Выход, если Фридрих Свевский не захочет чинить препятствия… надо двигаться всем вместе на поиски Иоаннова царства, и никто не должен отставать, это значит, никто не возвратится за Братиной. Я сказал, что это просто ужасно, что мы пускаемся в путь, изобилующий опасностями, где все мы будем рассчитывать на друзей, а у нас выходит так, что все (кроме одного) подозревают остальных в убийстве императора Фридриха. Поэт заявил, что или так, или никак. И он был прав, проклятье, он был прав… Предстояло выступать на один из величайших подвигов, сулимых христианскому человечеству, при этом не доверяя ни одному из товарищей.

— И вы выступили? — спросил Никита.

— Сразу — нет. Чтоб не казаться беглецами. Придворные военачальники постоянно заседали, решали судьбу похода. Армия портилась. Одни

собирались возвращаться домой морем, другие — плыть в Антиохию, третьи плыть в Триполи. Молодой Фридрих принял решение идти пешим путем в Иерусалим. Начались еще и споры, что следует делать с телом Фридриха. Кто предлагал немедленно изъять кишки, тленную, скудельную часть, и погрести их не отлагая. Кто предпочитал додержать тело целокупным до въезда в Таре, на родину апостола Павла, там и захоронить внутренности. Как бы то ни было, и остальная плоть не могла сохраняться долго. Рано или поздно следовало ее сварить в воде и вине, с тем чтобы мясо отошло от костей, мясо на месте закопать, а остов положить во гроб в Иерусалиме, когда Иерусалим будет отвоеван. Но я знал, что перед варкой тело расчленяют. Не хотелось мне присутствовать при подобной процедуре.

— Я слышал, что где в конце концов оказались его кости — никто не знает.

— Это и я слышал тоже. Бедный отец. На самом въезде в Палестину распрощался с жизнью и молодой Фридрих, изможденный горем и дорожными тяготами. Да и Ричард Львиное Сердце с Филиппом-Августом не дошли до Иерусалима… Вот уж вправду невезучий был этот крестовый поход… Хотя я узнал обо всем этом только недавно,

в нынешний год, возвратившись в Константинополь. А тогда в Киликии я сумел убедить Фридриха Свевского, что для соблюдения обета его отца мы должны отправляться в Индию. Сыну Фридриха, похоже, даже по вкусу пришлось мое предложение. Он спросил только сколько мне надо коней и сколько припасов. Ступай себе с Богом, Баудолино, сказал он, думаю, мы не увидимся. Он, верно, мыслил, что мне судьба сгинуть в далекой дороге. А вместо этого сгинул он сам. Бедняга. Он был не злой, а неудачливый и иззавидовавшийся.

Подозревая друг друга в воровстве и убийстве, наши друзья все же должны были решить, кто примет участие в походе. Поэт настаивал, чтобы их было двенадцать. Если рассчитывать на повсеместный уважительный прием на всем пути к империи Иоанна, желательно было выглядеть двенадцатью Волхвоцарями, вершащими обратный путь. Поскольку, однако, не существовало уверенности, было ли Волхвоцарей и в самом деле двенадцать или же только три, никто не собирался открыто утверждать, будто они Волхвоцари. Более того, будучи спрошен, должен был отвечать «нет» с суровым видом, указывающим на великую скрытность. Так, в силу всеобщего

запирательства, все, кто желали бы в Волхвов поверить, поверили бы тем скорее. Чужая вера преобразовала бы их запирательство в признание.

Шли, значит, Баудолино, Поэт, Борон, Гийот, Абдул, Соломон и Бойди. Без Зосимы было не обойтись, поскольку он продолжал божиться, что знает наизусть карту Космы. Гадко было думать, что такой поганец будет представляться священником и царем, но тут уж было не до брезгливости. Осталось подыскать еще четверых. Баудолино, который отныне доверял на всем свете только александрийцам, посвятил в сущность замысла Куттику из Куарньенто, брата Коландрины — Коландрино Гуаско, Порчелли и Алерамо Скаккабароцци, который, хотя и носил нелестную кличку, однако был крепкий и надежный мужчина, не задающий вопросов. Они согласились пойти, потому что им уже стало понятно, что до Иерусалима из этого войска не доберется никто. Юный Фридрих выдал им двенадцать лошадей и семь мулов, провианту на неделю. А дальше, сказал он, пусть позаботится об их прокорме Божественное Провидение.

Под конец дорожных сборов в их квартире появился Ардзруни. Он завел свою речь с той же

искательной обходительностью, с какой прежде обращался к императору. — Драгоценные мои друзья, — начал он, — вы идете в далекое царство…

— Как тебе удалось узнать это, господин Ардзруни? — настороженно перебил Поэт.

— Знаете, молва… Слышал я и о какой-то чаше…

— Но не видел ее никогда-никогда, ведь правда? — веско спросил Баудолино, наступая на него так близко, что Ардзруни невольно попятился.

— Нет, не видел. Но наслышан о ней.

— Коль ты так многознающ, — продолжал Поэт, — то не знаешь случайно, заходил ли кто в эту комнату в то самое время, когда наш император утопал в реке?

— А разве он утоп в реке? — переспросил Ардзруни. — Да, я знаю, так думает его сын… Покамест.

— О, друзья, — обратился к остальным Поэт. — Всем нам ясно, что этот человек угрожает. При такой сумятице, какая царит в эти дни и на биваке и внутри крепости, пустое дело сунуть ему кинжал меж лопаток и спустить куда-нибудь в яму. Но сначала расспросим, чего же ему от нас надо. А прирезать я его успею и после этого.

— Господин и товарищ мой, — отвечал Ардзруни. — Не желаю погибели вашей и хочу избежать моей. Император скончался на моей земле, питаясь от моих яств и испив моего вина. От имперцев мне нечего ждать. Ни милостей, ни даже защиты. Хорошо, если хоть невредимым отпустят. Но теперь я в большой опасности. Приютив императора Фридриха, я тем самым дал понять Льву, что пытаюсь привлечь императора на свою сторону против князя. Пока Фридрих был жив, Лев бессилен был мстить мне. Это, кстати, доказывает, что смерть императора для меня явилась непоправимейшим из несчастий… Лев теперь скажет, что по моей вине он, князь армян, не сумел обеспечить сохранность жизни величайшему из союзников. Великолепный предлог, чтоб казнить меня. У меня выхода нет. Только скрыться на некоторое время. И вернуться с каким-нибудь залогом славы и власти. Вы наметили себе дорогу в землю пресвитера Иоанна и, коль будет вам сопутствовать удача, этот подвиг покроет вас славой. Я желаю тоже идти. Этим, прежде всего, я докажу, что не брал той самой чаши, которую вы тут ищете, потому что в противном случае я остался бы и пытался продать или выменять ее. Земли на восток отсюда мне знакомы. Я мо-

гу быть вам полезен. Знаю, герцог не выделил вам денег. Захвачу то немногое золото, которым располагаю. Наконец, Баудолино знает, у меня есть семь неоплатных реликвий, честных голов святого Крестителя Иоанна. В путешествии мы сможем постепенно продавать эти головы.

— А случись нам отказаться, — подытожил Баудолино, — и ты нашепчешь Фридриху Свевскому, что на нашей совести смерть его родителя.

— Я этого не сказал.

— Слушай, Ардзруни. Не такой ты человек, чтобы брать тебя куда бы то ни было. Но в горемычных этих нашенских приключениях всяк рискует стать другому врагом. Врагом больше, врагом меньше, какая разница.

— Вообще-то он для нас вовсе лишний, — сопротивлялся Поэт. — Нас двенадцать, а тринадцатый номер к несчастию.

Пока они спорили, Баудолино размышлял о головах Крестителя. Он не был уверен, что их кто-то примет всерьез, но если их примут всерьез, то несомненно стоимость этих мощей огромна. Он спустился и вошел в ту комнату, где, как помнил, они стояли, и взял в руки одну из них — осмотреть повнимательней. Головы были сработаны прекрасно. На выразительных лицах

святого большие распахнутые глаза без зрачков наводили на благочестивые мысли. Конечно, когда они вот так стояли шеренгой все семь, их поддельность была очевидна, но если показывать не больше одной, вид будет очень убедительный. Баудолино вернул голову на сундук и пошел обратно в помещение наверх.

Трое друзей были за то, чтобы принять Ардзруни. Остальные колебались. Борон говорил, что Ардзруни все-таки выглядел солидно, так что Зосиму, в частности из уважения к двенадцати почитаемым персонажам, можно было разжаловать в стремянные. Поэт возражал, что у Волхвоцарей или должно быть по десять слуг у каждого, или уж они путешествуют в строгой секретности и никаких слуг при них нет. Единственный стремянный мог только произвести дурацкое впечатление. Что же до голов, то головы можно и взять, но не обязательно брать Ардзруни. Ардзруни, слыша все это, плакал и говорил, что желают они, не иначе, его погибели. В общем, окончательное решение было отложено до завтра.

Назавтра утром, когда солнце взошло уж высоко и когда все пожитки были собраны, вдруг все вспомнили, что давно не видели Зосиму. В

лихорадке двух последних дней Зосиму никто не караулил. Он возился наравне с остальными, седлал коней и вьючил мулов, и на цепь его не сажали. Гийот обнаружил и отсутствие одного мула. Баудолино тут как озарило. — Головы! — вскричал он. — Только Зосима, кроме нас с Ардзруни, знал, где головы стоят! — Все помчались в закоулок ярусом ниже. Лишь войдя, все и увидели, что голов теперь уже не семь, а шесть.

Ардзруни сунулся под сундук, поискать, не свалилась ли туда голова случайно, и нашел три предмета: человеческий ссохшийся почернелый череп, стертую печатку с буквой Зет и обломки обгорелой сургучной плитки. Тут все, к сожалению, прояснилось донельзя. Зосима, когда в роковое утро смерти поднялась суматоха, стащил Братину из ковчега, куда она была водружена Гийотом, сбежал по лестнице, раскупорил голову, вытащил череп, заложил Братину, каллиполисской печатью снова заварил футляр и вернулся с невинным видом, будто светлый ангел, поджидать подходящего момента. Услыхав, что отъезжающие собираются взять с собой головы, он уверился, что бегство оттягивать невозможно.

— Тут я добавлю, государь Никита, что при всем моем бешенстве от этого дерзкого обмана,

в то же время на душе полегчало, и, я думаю, полегчало у многих. Мы нашли виноватого, это был мошенник неоспоримой пробы, следовательно, не оставалось причин подозревать друг друга. Зосима одурачил нас, заставил зеленеть от злобы, но и вернул взаимное доверие. Не существовало доказательств, что Зосима, похититель нашей Братины, мог иметь отношение к смерти Фридриха, поскольку тою ночью он пребывал прикованным к кровати, и следовательно, снова входила в силу гипотеза Поэта, что Фридриха не убивал никто.

Друзья устроили совет. Первое. Зосима, если он убежал поздно вечером, имеет преимущество в двенадцать часов. Порчелли заметил, что они на конях, а Зосима на муле, но Баудолино сказал на это, что кругом горы, и сколько этих гор — неизвестно, а на обрывистых тропах мул поворотливее коней. Скакать за Зосимой во весь опор у них не выйдет. Полсуток дороги у Зосимы в запасе есть, полсуток у него и останется. Единственное, что надо решить, — это в какую сторону двинулся Зосима, и выбрать себе это же направление.

Поэт заявил: — Не мог он отправиться к Константинополю, прежде всего потому, что при

правлении Исаака Ангела ничего хорошего его там не ждет. К тому же между нами и Константинополем лежат земли тюрок-сельджукидов, откуда мы только что выбрались после множества мучений, и он знает, что рано или поздно его там укокошат. Самое здравое предположение, учитывая, что ему известна карта, это что он задумал исполнить то самое, что задумали и мы: явиться в царство пресвитера, отрекомендоваться посланником Фридриха или вообще кого угодно, отдать тому Братину и получить великолепное воздаяние. Поэтому, чтобы догнать Зосиму, следует двигаться в направлении Иоанна и перехватывать монаха на полупути. Значит, в дорогу. Везде станем спрашивать о греческом схимнике, их породу видно за версту, не перепутаешь… и когда мы накроем Зосиму, надеюсь, вы предоставите мне удовольствие придушить его, а Братина окажется вновь у нас.

— Замечательно, — сказал Борон на это. — Но как нам двигаться в направлении Иоанна, если карту помнит только Зосима?

— Друзья, — перебил Баудолино, — вот как раз тут полезен Ардзруни. Ему ведома местность. Добавим к этому, что нас осталось одиннадцать и мы вообще-то ищем двенадцатого Волхва.

Так-то Ардзруни торжественно получил место в процессии, к значительному своему облегчению. По поводу выбора пути он подал немало разумных идей. Коль царство пресвитера располагается на крайнем востоке вблизи от Земного Рая, то, значит, следует идти навстречу восходящему солнцу. Но если просто идти по прямой линии на восток, беспременно угодить во владения неверных. Он же умеет проложить дорогу, хоть на некоторое расстояние, по землям, населенным христианами, в частности памятуя о намеченной коммерции с головами Крестителя, ибо тюркам эти головы не продашь. Ардзруни заверял, что и Зосима, бесспорно, должен был рассуждать аналогичным образом. Он сыпал именами и названиями, которые нашим друзьям никогда не приходилось встречать. Пустив в ход свои умения в механике, он соорудил некое подобие пугала, достаточно напоминавшее облик Зосимы с косматой бородой и длинными патлами из прокопченной пакли и с угольками на месте глаз. Портрет имел такой же бесноватый вид, как и его прототип. — Нам суждено идти по землям, которых языки для нас невнятны. Узнать, появлялся ли на тех землях Зосима, можно будет лишь показывая изображение. — Баудолино

заверил товарищей, что по поводу невнятных языков им не стоит так беспокоиться, потому что, совсем немного поговоривши с варварами, он очень скоро научится объясняться… Впрочем, образ Зосимы, может быть, и сгодится, потому что на некоторых стоянках они не станут задерживаться столько времени, чтоб успевать изучать местные языки.

Перед отправкой все сошли за головами Крестителя. Путников было двенадцать, голов оставалось шесть. Баудолино решил, что Ардзруни обойдется, Соломону, конечно, не было резонов таскаться с христианскими мощами, Куттика, Скаккабароцци, Порчелли и Коландрино вступили только что и ни на что претендовать не могут, поэтому головы пусть берут Поэт, Абдул, Гийот, Борон, Бойди и он сам, Баудолино. Поэт немедленно цапнул одну из них, Баудолино со смехом заметил, что все они одинаковы, единственную стоющую уже унес Зосима. Поэт покраснел и уступил право выбора Абдулу, почтительно и широко поводя рукой. Баудолино досталась самая последняя, и каждый уложил свою голову в переметный вьюк.

— Вот и все, — заключил Баудолино, обращаясь к Никите. — При скончании месяца июня года

Господня тысяча сто девяностого мы отправились, вдвенадцатером, как Волхвы, хотя и не столь, как Волхвы, непогрешимые, с намерением во что бы то ни стало обрести отдаленную землю Иоанна-пресвитера.

26
Баудолино и путь Волхвоцарей

С этой минуты рассказ Баудолино потек без всяких передышек и перерывов, не только на ночных привалах, но и днем, на мулах, по дороге, Никита слушал, женщины страдали от жары, детишки просились сойти по надобе, мулы то и дело артачились и не хотели двигаться вперед. Рассказ был рваный, как их путь, Никите приходилось заполнять пустоты, связывать нити, домысливать безбрежные пространства и бесконечные времена. По свидетельству Баудолино, странствие двенадцати длилось больше четырех лет и состояло из растерянности, нудности, неприятных приключений.

Так блуждая под жгучими лучами, когда в глазах водовороты песка, когда в ушах незнакомые слова, путешественники часто переносят приступы высокой температуры и припадки глубокой сонливости. Неисчислимые дни они тратят на простое выживание. Им приходится гоняться за быстробегущими тварями, торговаться с дикарями за лепешку или за ягнячье стегнышко,

выкапывать худосочные колодцы в странах, где дождь падает один раз в год. Кроме того, размышлял Никита, надо помнить, что в дороге под палящим солнцем по пустынному ландшафту, как рассказывают опытные люди, возникают миражи, по ночам странные голоса передразнивают путников: это играет эхо в дюнах. А уж если средь песков попадется куст, он одарит в угощение такими ягодами, от которых вместо прокорма выпадает путнику полный морок и муть в голове.

Не считая уж (Никита не забывал ни на минуту), что Баудолино был неискренен от рождения. Не так легко верить лгуну, когда он говорит, что он, скажем, побывал в Иконии. Как же, и до какой же степени верить лгуну, повествующему о существах, которых не вмещает самая яркая фантазия и которых, по его собственным словам, он сам не вполне уверен, видел или не видел?

Одному только утверждению Никита безоговорочно поверил, поскольку страстность, с которой высказывался на эту тему Баудолино, служила доказательством правды: что на всем протяжении похода Волхвоцарей поддерживало и влекло безумное желание дойти до цели. Цель же была у всякого своя. Борон с Гийотом стремились только

захватить Братину, хоть в царстве пресвитера Иоанна, хоть где угодно. Баудолино мечтал о царстве все неукротимее, и рабби Соломон тоже, но только он надеялся отыскать там потерянные колена. Поэту плевать было на Братину, он просто надеялся устроиться в каком-нибудь царстве главным начальником. Ардзруни желал удалиться из места, где был раньше, а Абдул, как известно, полагал, что, удаляясь, приближается к предмету своей целомудренной алчбы.

Пятеро александрийцев были единственными, кто не витал в облаках: они заключили договор с Баудолино и держали слово, а также показывали характер, потому что, если уж решено найти пресвитера, пресвитер будет найден. Иначе, говорил Алерамо Скаккабароцци, известный больше под непристойной кличкой, иначе нас перестанут считать серьезными людьми. А может, они рвались вперед и потому, что Бойди вколотил себе в голову, что в Иоанновом царстве можно будет наискать чудотворных мощей без счета (и не таких жульнических, как эти головы Крестителя), взять их оттуда, доставить в родную Александрию и превратить город, не имеющий истории, в самое уважаемое святилище для христиан.

Ардзруни, чтоб обойти иконийских тюрок, по-

вел всю группу через такие перевалы, где лошади чуть не сломали ноги. Потом шесть дней плелись по каменистым долам, усеянным дохлыми ящерицами, околевшими от солнечного удара. Как прекрасно, что у нас с собой продовольствие и не приходится есть вот этих смердючих гадов, сказал с удовольствием Бойди, и попал, как принято говорить, пальцем в небо, потому что через год они с восторгом взяли бы и гораздо более смердючих гадов, пекли бы на огне, нанизав их на острую длинную ветку, и пускали бы слюни до самого подбородка, не в силах дождаться, покуда снедь подрумянится должным манером…

Они прошли через несколько селений и в каждом показывали чучело Зосимы. Да, подтверждали местные, такой вот монах побывал тут в околотке, пожил у нас месяц и был таков, тем временем обрюхатил мне дочку. Позволь, какой месяц, мы в пути всего лишь только две недели? Когда он жил тут? Да уж тому, поди, седьмая Пасха. Вон плод греха, бегает во дворе, тот, что с чирьем. Значит, монах был другой, все они греховодники, отцы святые.

Говорили им: да, проходил с бородой, юркий такой горбунчик… Ну причем тут горбун, значит это не тот, слушай, Баудолино, может, ты не понял

их слова и переводишь, что придется? В другом месте: да, ну как не знать, вот он самый и был, и тыкали пальцем в рабби Соломона, в его смоляную бороду… Не иначе как друзья обращались с расспросами к самым неимоверным остолопам.

Дальше проживали люди в круглых шатрах, приветствовавшие наших словами: «Ла эллек олла Сила, Махимет ворес алла». Наши ответили с изысканной любезностью по-алемански, поскольку наш язык был не хуже их языка, потом вытащили куклу Зосимы. Те заржали и заболтали что-то все вместе, но из их жестов явствовало, что Зосиму они запомнили прекрасно. Он проходил тут и продавал голову христианского святого, ну, они ему посулили всунуть кое-что в заднее место. Из чего нашим друзьям сделалось ясно, что они угодили в логово тюрок, сажателей на кол, и они быстро пошли прочь с радушными прощаниями и с улыбками, открывавшими зубы во всю ширину, а Поэт тихо дергал Ардзруни за волосы, запрокидывал тому голову и приговаривал: — Ты вожатый, ты знаток дорог, затащил прямо в глотку к антихристам… — На что Ардзруни постанывал, что не он виноват, что дорогой не ошибался, просто это кочевники, а о кочевниках невозможно знать, куда их понесет

нечистая сила.

— Но дальше, но впредь, — заверял он, — нам будут попадаться только христиане, хоть и несторианского толка.

— Хорошо, — сказал Баудолино. — Это тот же самый толк, что у пресвитера. Но отныне чем начинать болтать, заходя в селение, сначала смотрим, есть ли в селении колокольни и кресты.

Какие там колокольни. В селениях были одни лачуги из туфа. Которая среди них церковь, понять по виду было невозможно. Народ здесь удовлетворялся малым, дабы восхвалять дела Господни.

— Да точно ли Зосима пошел в эту сторону? — спрашивал Баудолино. Ардзруни отвечал, чтобы о дороге не беспокоились. Однажды Баудолино увидел, как он следит за закатывающимся солнцем и будто бы снимает с горизонта какие-то мерки, вытянув руки, сплетая пальцы: похоже было, что в треугольные просветы между пальцами он улавливает облака. Баудолино спросил, зачем это. Ардзруни ответил, что вычисляет, которая гора та самая, куда по вечерам уходит солнце под арочные пролеты скинии.

— Святейшая Богоматерь, — возопил Баудоли-

но, — никак ты веришь в то, что мир подобен скинии, как верят Зосима и Косма Индикоплов?

— Неужто нет? — отвечал Ардзруни, как будто на вопрос, мокрая ли вода. — Иначе как бы я определял дорогу, по которой прошел Зосима?

— Так значит, ты знаешь карту Космы, которую Зосима посулил нам?

— Не знаю, что вам сулил Зосима, но у меня вот карта Космы, — он нашарил в мешке пергамент и показал друзьям.

— Вот видите? Это рама Океана. По ту сторону находятся земли, в которых Ной обитал до всемирного потопа. На самом дальнем востоке от этих земель, отделенный Океаном от краев, обитаемых чудовищными тварями, через которые нам с вами предстоит пройти, располагается Земной Рай. Нетрудно наблюдать, как истекая из той благословенной округи, Евфрат, Тигр и Ганг, пройдя под Океаном и перерезав ту часть мира, в которую мы с вами сейчас идем, втекают в Персидский залив. Нил же имеет более извилистое русло, течет по допотопной земле, входит в Океан, возобновляет свой бег по низовому полуденному краю, а именно по земле Египта. Затем он впадает в Ромейский залив. Залив тот самый, который латиняне зовут Средиземным морем, а

часть его — Геллеспонтом. Ну вот, нам следует идти к востоку, переплыть сначала Евфрат, затем Тигр, затем Ганг. Свернуть к восточному низовому краю.

— Но, — вступил в их беседу Поэт, — если царство пресвитера лежит близко от Земного Парадиза, значит, чтоб туда попасть, нам придется плыть через океан?

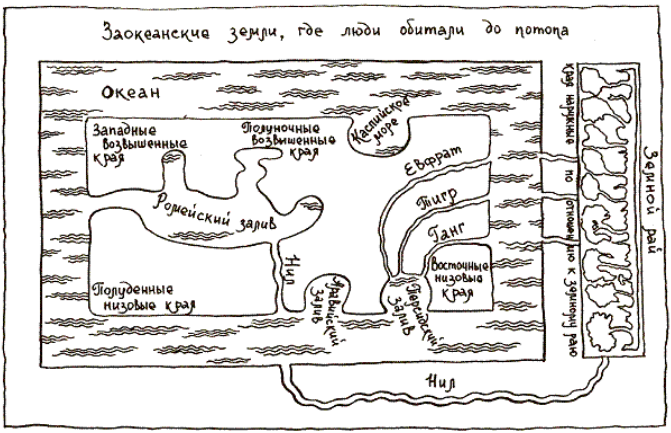
— Царство близко от Земного Рая, но по нашу сторону Океана, — сказал Ардзруни. — Вот через Самбатион переправляться и вправду нам придется…

— Самбатион, каменная река, — произнес Соломон, сложив ладони. — Значит, Эльдад не солгал, и это путь к утерянным десяти коленам!

— О Самбатионе писали и мы сами в письме пресвитера, — оборвал его Баудолино, — следовательно, где-нибудь он да есть. Ладно. Значит, Господу угодно ниспослать нам помощь. Мы утратили Зосиму, но зато обрели Ардзруни, а Ардзруни, похоже, знает побольше Зосимы.

Как-то раз они заметили издали храмовое сооружение все в колоннах и с изукрашенным тимпаном. Но приблизившись, разглядели, что от храма всего и есть-то что фасад, остальное было просто скалой. Вход в молельню располагался в

воздухе, двери были встроены в камень; чтобы в них войти, требовалось неизвестно каким образом залететь на высоту, достигнув птичьего полета. Всматриваясь, путники осознали, что на всем кругу окрестных гор были налеплены наличники прямо на скалах, на отвесных стенах из лавы, и лишь сильное изощрение зрения помогало различить, где камень обработан, а где выщерблен природой. Всюду виделись резные капители, своды и арки, роскошные колоннады. У обитателей той земли язык был очень похож на греческий. Они сказали, что город зовется Баканор, но церкви на высоте скал восходят к тысячелетней древности, тогда над ними правил Александрос, великий греческий царь, боготворивший Пророка, что погиб на кресте. Сейчас никто не помнит, как поднимаются в храмы, никто не ведает, что там внутри сохранилось, все почитают богов (они говорили о богах, не о Господе) тут внизу на огороженном месте, где торчит на колу позолоченная голова быка.



Как раз в те самые дни в городе праздновали похороны одного юноши, общего любимца. На плато у подножия горы были накрыты столы для пира. В середине между столами стоял алтарь, на нем — труп покойного. В высоте над столами парили, все снижая и суживая круги, орлы, коршуны, вороны и прочие хищные пернатые, будто приглашенные на пир. Весь одетый в белое отец

умершего подошел к его телу, отрубил ему голову топором, возложил на золотую тарелку. Облаченные, как и отец, в белое кравчие нарезали труп на мелкие части, и приглашенные подходили по очереди за порцией, которую каждый подбрасывал в воздух, где ее ловила на лету очередная птица. Баудолино услышал от местных, что птицы относят куски тела умерших в рай, и что этот обычай гораздо лучше тех, что приняты у других народов: те зарывают тело в грязь и оставляют, чтоб оно сгнивало. Потом все уселись за столами и каждый отгрыз по кусочку от головы, пока не остался голый череп, чистый, блестящий, наподобие металла, и из него сделали кубок и стали пить с удовольствием, нахваливая покойного.

Потом они переходили, что заняло не менее недели, песчаное море, где колыхался песок, как ходят в море высокие валы, и, казалось, земля вся приплясывает под ногами и под копытами коней. Соломон уж настрадался от морской болезни и когда отплывали от Каллиполиса, а теперь и вообще проводил целые дни в потугах на рвоту, только нечего было изрыгать, потому что в описываемую пору у приятелей почти что нечего было и заглатывать, и еще, слава богу, что они запаслись должной толикой воды прежде,

нежели попасть на зыбучее место. Абдула начали тогда посещать лихорадочные припадки, и болезни было суждено обостриться в течение похода, так что он почти уж не мог петь слагаемые им песни, когда путники просили его исполнить что-нибудь при луне.

Временами удавалось идти быстро, под ногами упругая трава, не требовалось отвлекаться на борьбу с враждебными стихиями, и у Борона с Ардзруни начинались бесконечные диатрибы на любимую тему: о пустоте.

Борон начинал со своих обычных доводов, что-де если бы пустота существовала в природе, ничто бы не опровергало тогда существования иных миров, кроме нашего, в пустоте. Однако Ардзруни возражал: Борон путает универсальную пустоту, о которой можно и подискутировать, с пустотой, которая возникает в промежутках между корпускулами. На вопрос Борона, что же такое эти корпускулы, оппонент напоминал ему, что согласно некоторым древнегреческим философам и иным мудрым арабским богословам, последователям калама, мутакаллимам, нельзя думать, будто тела плотны. Универс, и все в нем, и мы сами в нем, все состоит из неделимых корпускул, зовомых атомами, и они непрерывно

двигаются, давая начало жизни. Движение этих корпускул есть главное условие любого рождения и любого разложения. А между атомами, именно чтобы они могли свободно двигаться, находится пустота. Без пустоты между корпускулами, образующими все тела, никакое тело невозможно было бы ни разрезать, ни разломать, ни расколоть. Ни одно тело не могло бы впитывать воду, нагреваться, охлаждаться. Как бы распространялось питание по нашему телу, если бы не могло проникать в пустые пространства между образующими тело корпускулами? Всунем иголку, говорил Ардзруни, в надутый пузырь. До того, как он опадет, до того, как игла своим движением расширит наколотое отверстие, в тот миг, когда игла вонзается в пузырь, а он еще наполнен воздухом — что происходит? Происходит, что игла внедряется в промежуточное пространство между корпускулами воздуха.

— Ересь твои корпускулы и никто никогда не видел их, кроме твоих арабов калломотемунцев, или как их там, — парировал Борон. — Когда иголка входит, немного воздуха выходит и образуется пространство для иголки.

— Тогда возьми пустую флягу, погрузи горлом вниз в воду. Вода не войдет, ее не пустит воздух.

Высоси воздух из фляги, заткни пальцем, чтоб воздух снова не вошел, введи горлышко в воду, убери палец, вода войдет во флягу, потому что ты создал в ней пустоту.

— Вода войдет, потому что природа действует таким образом, чтобы пустоту нельзя было создать. Пустота противна природе, а будучи противна природе, она не может в природе быть.

— Но пока вода поднимается, а это происходит не разом, что содержится в той части фляги, которая пока не заполнена водой? Воздух-то ты высосал?

— Высосать можно только холодный воздух, который движется медленно… А часть горячего воздуха, который движется быстро, продолжает находиться во фляге. Когда вода входит, она вытесняет этот горячий воздух.

— Тогда возьми снова флягу, полную воздуха, но теперь нагрей ее, чтобы во фляге был только горячий воздух. Опять погрузи флягу горлышком вниз в воду. Хотя во фляге только горячий воздух, вода все равно в нее не войдет. Значит, теплота воздуха значения не имеет.

— Вот как? Возьми снова флягу и пробей у нее в донце, в выпуклой части, дырку. Погрузи флягу дырочкой вниз в воду. Вода не войдет в дырочку,

ее не пропустит воздух. Тогда приблизь губы к горлышку фляги, торчащему из воды, и высоси воздух. По мере того как ты будешь высасывать воздух, вода начнет входить через нижнюю дырочку. Тогда вынь эту флягу из воды, продолжая закрывать губами горлышко, не впуская воздух. Ты увидишь, что внутри фляги вода. И она не вытекает через нижнюю дырочку. Потому что природа питает отвращение к пустоте и не хочет создавать пустоту внутри фляги.

— Вода не вытекает, потому что она только что втекла, а тела неспособны совершать движения, обратные недавно совершенным, если только они не получали нового силового воздействия. Ладно. Послушай, что я скажу. Проткни иголкой надутый пузырь. Пусть воздух из пузыря выйдет. П-ш-ш-ш. Теперь заткни дырку, проткнутую иглой. Ущипни пальцами сдутый пузырь, как ущипывают кожу на кисти руки, на тыльной ее части… Ты увидишь, что пузырь приоткроется. Что же там внутри, между разведенными стенками пузыря? Пустота.

— А кто тебе сказал, что эти стенки разведутся?

— Сам попробуй!

— Не буду я пробовать. Я не механик, а философ.

Я вывожу заключения на основании мыслей. К тому же, если пузырь действительно разойдется, значит в нем имелись поры. Через эти поры, после того как воздух вытянули или высосали, он снова пробрался внутрь.

— Вот как? Ну а что же такое поры, если не пустые пространства? И с чего будет воздух рваться туда, если он не имел ускорения снаружи? А если воздух врывается внутрь, то почему, после вывода воздуха из пузыря, пузырь не надувается самопроизвольно? Потому что поры действительно представляют собой полые пространства, однако меньшего размера, нежели корпускулы воздуха!

— А ты пожми сильнее и увидишь, что будет. Или еще вот, оставь на некоторое время надутый пузырь на солнце, увидишь, что постепенно он сдуется сам собой, потому что нагреется воздух у него внутри, а нагретый воздух двигается быстрее.

— Тогда возьми снова флягу…

— С дыркой в задней части?

— Без дырки в задней части. И погрузи ее целиком, наклонив, в воду. Увидишь, что по мере того, как фляга заполняется водой, воздух выходит, образуя пузыри, буль-буль, тем и демонстрирует

свое присутствие. Теперь вытащи флягу, вылей воду, высоси весь воздух, закрой пальцем горло, погрузи снова, наклонив, в воду, убери палец. Вода войдет, но без каких бы то ни было буль-буль. Потому что внутри фляги была пустота.

Тут друзей резко перебивал Поэт со словами, что Ардзруни лучше следил бы за дорогой, и вообще все эти буль-буль и фляжки в разговорах нагоняют жажду, а пузыри у всей компании высохли, и разумнее всего было бы хорошенько искать или речку, или хоть какое-нибудь место повлажнее, нежели то, в котором они так увлекаются разглагольствованиями.

Кое-когда удавалось узнать о Зосиме. Где-то его видели, кто-то слышал о человеке с черной бородой, ищущем государство Иоанна. Наши друзья в тревоге переспрашивали: «И что вы ему на это сказали?» Местные отвечали: сказали то, что повсюду известно, а именно, что царство Иоанна на востоке, но идти туда предстоит многие годы.

Поэт роптал, весь вспениваясь злобой, что манускрипты Сен-Викторского монастыря так расписывали путешествия в восточные земли: дивные города, где у храмов кровли усыпаны изумрудами, где у дворцов золотые крыши, и колонны с эбеновыми капителями; где статуи так

совершенны, как живые люди, где золотые алтари о шестидесяти ступенях, где стены из чистого сапфира, и где блистательные лалы все освещают наподобие факелов, и горы из хрусталя, и реки из диамантов, сады с деревьями, источающими столь благовонные бальзамы, что обитатели тех краев живут, питаясь лишь ароматами; монастыри, где разводят одних только разноцветных павлинов, чье мясо неподвластно разложению; снабжаясь этим мясом, путешественники могут иметь свежую пищу по тридцать и более ден под любым накаленным солнцем, и нет от пищи дурного запаха; блистающие родники, вода в которых сверкает подобно небесной молнии, и если в нее поместить сухую засоленную рыбу, та возвратится к жизни и уплывет, примета, что в источнике живая вода. Прекрасно! Однако до сегодняшних пор все, что они видели, это пустыни, сушняк, раскаленные пади, где нельзя даже присесть, не рискуя обжарить себе ягодицы; все города, что они видели, состоят из убогих лачуг и населены омерзительным сбродом. Как в Колландиофонте, где они встретили артабантов, людей, ходивших, похилившись к земле, как овцы; или в Ямбуте, где они надеялись отдохнуть после долгого пути по раскаленным равнинам и где

женщины, пусть и не отличаясь красотой, все же были не безобразны, но, как выяснилось, до такой степени преданы своим мужьям, что держат ядовитых змей во влагалищах, дабы оберечь добродетель, и предупреждали бы, что ли, заранее, так ведь нет, и Поэт, соблазнившись одной, что вдобавок прикинулась, якобы согласна, чуть не обрек себя на вечное целомудрие, и удачно еще отделался: заслышав зловещее шипение, отскочил в последний момент. На болотах Катадерсе повстречались им люди с мошонками, отвисавшими до колена. В Некуверане жили голые люди, как звери лесные, совокуплялись на улицах, как собаки, родители с дочерьми, сыновья с матерью. В селении Тана они увидели антропофагов, которые, по счастью, брезговали иноземцами и ели только собственных детей. Около реки Арлон они попали в такую деревню, где обитатели плясали возле идола и остро наточенным ножом наносили ему ранения по всей поверхности тела, потом идола погрузили на повозку и таскали по улицам, и многие жители радостно бросались под колеса этой повозки, чтобы им переломало руки и ноги, и от того позже умирали. В Салибуте пришлось идти через лес, кишевший блохами величиною с жабу. В Кариамарии им навстречу

попались лающие волосатые люди, коих языка не смог уразуметь даже Баудолино, а жены их были с клыками, как кабанихи, покрыты патлами до пят и о коровьих хвостах с кисточкой.

Эти и прочие ужаснейшие вещи они наблюдали, а вот чудесных вещей Востока не наблюдали ни единой, и не иначе как описатели тех вещей были отъявленными проходимцами.

Ардзруни призывал проявить терпение: ведь предупреждали же их, что между ними и Земным Раем лежит зверская страна? Но Поэт оспаривал, что если зверская, в ней должны обитать дикие звери; зверей, по счастью, они еще не встречали, но, к сожалению, еще встретят; ну а в случае если эти земли, что они проходят, не самые зверские, можно вообразить, чего надо ждать. Абдул, которого лихорадило все хуже, говорил, что невозможно его принцессе жить в таких проклятых богом местах, и что, наверное, они ошиблись дорогой. — У меня, конечно, нету сил идти вспять, друзья, — говорил он слабеющим голосом, — и поэтому я думаю, что умру на пути к своему счастью.

— Молчи уж, не болтай невесть что, — орал на него Поэт. — Ты нам столько ночей не давал выспаться своими песнями о красоте невозможной

любви, а теперь, когда тебе ясно, что невозможнее уж некуда, можешь радоваться, получил, чего хотел! — Баудолино тянул Поэта за рукав и шептал ему, что Абдул, конечно, бредит и не надо терзать больного человека.

После нескончаемо длинного перехода они дотащились до Салопатана, это был довольно-таки отвратительный городишко, где их встретили с изумлением и пересчитали по головам, тыча пальцем. Было видно, что местные поразились их количеству — дюжине, после чего бухнулись на колени, а один побежал оповещать остальных сограждан. Встретить новоприбывших вышел архимандрит, певший псалмы по-гречески, с деревянным крестом (вот-те и серебряные кресты с рубиновыми филигранями, бормотнул Поэт) и сказал Баудолино, что давно уже в той земле ожидают возврата святых Волхвоцарей, которые за тысячи и тысячи лет пережили тысячи превратностей, почтительно преклонившись перед Богомладенцем в Вифлееме. Так что архимандрит стал их спрашивать, возвращаются ли они в угодья пресвитера Иоанна, из коих в свое время вышли в путь, чтобы уволить Иоанна от долгих тягот и получить назад власть, которой обладали они в некоторую эпоху над теми благословенны-

ми землями.

Баудолино пришел в восторг. Они приступили с расспросами к местным, чтоб понять, что их ожидает впереди, но скоро уяснили, что те не ведают, где размещается пресвитерово царство, и только верят, что оно на свете где-то есть, вероятно, на Востоке. Более того, поскольку Волхвы происходили именно оттуда, местные удивлялись, как это у тех нет о царстве более точного представления. — Святейшие государи, — отвечал им добрый архимандрит. — Вы, конечно же, не таковы, как византийский монах, что тут прошел недавно и искал, где царство, дабы вернуть пресвитеру какую-то украденную святыню. Этот малый имел недобропорядочный вид, был, конечно, еретиком, как любые поморские греки, потому что поминал Пресвятую Деву Матерь Божию, а наш Несторий, наш отец и светоч всяческой истины, учил нас, что Мария была только матерью Христа-человека. Можно ли помыслить Бога в пеленках, Бога двух месяцев от роду, Бога на кресте? Только язычники наделяют своего бога матерью!

— Недобропорядочный и точно малый этот монах, — перебил его Поэт, — и сообщу вам вдобавок, что он похитил сказанную святыню у нас.

— Да покарает его Господь. Мы ему дали проследовать, не оповещая о тех тысячах опасностей, что подстерегают его на пути. Он не знает ничего об Абхазии, да воздаст Господь ему по грехам и провалит в темноту, чтоб ему налететь на мантихору и на черные камни Бубуктора.

— Друзья, — вполголоса поделился соображениями Поэт. — Эти люди могли бы нам рассказать много дельного, но только как Волхвоцарям. Но именно потому, что мы Волхво-цари, они не думают, чтобы мы нуждались в их рассказах. И даже голову Предтечи предложить им нельзя: я слабо себе представляю Волхвоцарей в роли торговцев мощами… Так унесем же поскорее ноги, будь они хоть сто раз добрые христиане, но трудно знать, сколько в них останется доброты, когда они поймут, что их взяли на арапа!

Поэтому они откланялись, получив на дорогу многочисленные припасы, ломая голову, что же это за Абхазия, где так легко провалиться куда-то.

Насчет черных камней Бубуктора гадать долго не пришлось. Они простирались на сотни и тысячи верст в ложе вышеупомянутой реки и встреченные кочевники предупредили, что кто коснется их, немедля окрасится в такой же точно

черный цвет. Ардзруни на это заявил, что ничего подобного и камни, надо полагать, немалой ценности, верно, эти кочевники торгуют ими на всех далеких рынках и рассказывают небылицы, дабы отвратить всех других от сбора камней. Он помчался и собрал немалую кучу и стал демонстрировать, насколько они блестят и как чудно обточены струями. Но по мере того как он вещал, шея, лицо и руки у него становились эбенового колера; тут он рванул одежду на груди, однако и грудь под кафтаном оказалась черного цвета, вкупе с ногами и ступнями, неотличимыми от углей.

Ардзруни бросился в реку, катался голым в воде, тер кожу донною галькой. Не помогало. Ардзруни стал чернокожим, словно ночь, сверкали только белки и алые губы в бороде, настолько же черной.

Сначала все прочие обхохотались до слез, Ардзруни же проклинал породивших их женщин. Потом они взялись утешать: — Мы хотели, чтоб нас принимали за Волхвов? — надрывался Баудолино. — Тогда вспомянем, что по меньшей мере один Волхвоцарь был черен. Клянусь вам, черен и один из тех троих, что покоятся ныне в Кельне. Так что наша с вами процессия обретает еще

больше правдоподобия. — Соломон, сердобольнее остальных, вспоминал, что он уже слыхивал о камнях, переменяющих цвет кожи, но слыхал и о противоядии. Ардзруни, конечно, снова станет белым, даже белее, чем был прежде. — Да, после дождичка, в неделю трех пятниц, — подхихикивал александриец с невоспроизводимой кличкой, остальные же александрийцы крепко держали новоявленного мавра, потому что он покушался отгрызть говорившему ухо.

Время шло, и они вступили в рощу из густолиственных деревьев, преисполненную плодов и ягод, и в той роще текли ручьи белого молока. Там пышнели полнотравные лужайки, там были пальмы, и винные лозы полнились изумительными гроздьями виноградин, крупных, будто орех. На одной из зеленых лужаек стояли крепкие и простые шалаши из чистой соломы, оттуда вышли совершенно голые люди, у мужчин лишь у некоторых, и непреднамеренно, долгая, волнистая борода прикрывала причинное место. Женщины, не обинуясь, показывали и груди, и лоно, вид у них был целомудренный и честный. Они не снижали взгляда перед прибывшими, но в их глазах не было ни вызова, ни призыва.

Они говорили по-гречески и вежливо приняли

пришельцев, назвавшись гимнософистами, то есть теми созданиями, которые в непорочной наготе занимаются науками и преисполнены доброжелательности. Всех путешественников пригласили без опасения гулять по их лесовому поместью, а вечером зазвали их на ужин, собранный только из плодов дикорастущей местной натуры. Баудолино задал несколько вопросов самому пожилому из хозяев, к нему все обращались с почтением. Он спросил: чем вы владеете? Тот сказал: Землей, деревьями, солнцем, луной и светилами. Когда мы голодны, берем плоды. Деревья производят их самопроизвольно, по циклам солнца и луны. При жажде пьем из рек. У каждого имеется женщина. По циклам луны, каждый оплодотворяет подругу, пока не будут рождены два чада, одно из них дается родителю, другое родительнице.

Баудолино удивлялся, не видя там ни храма, ни могильника. Старик сказал: — Сия долина — и наше обиталище, и смертный приют. На ней мы засыпаем вечным сном. Земля родила нас, земля нас всех питает, и под землей мы упокоиваемся. Что же до храма, знаем, что таких вещей немало сооружается в других местах. Их строят в честь Создателя всех в нашем мире вещей. Но мы счита-

ем, что вещи мира создаются любовью — «харис», ради самих себя, и ради самих себя воспроизводятся, и бабочка опыляет цветок, который, идя в рост, позднее питает бабочку.

— Я вижу, вы живете во взаимной любви и в уважении к ближнему, не убивая ни животных, ни тем менее себе подобных. Силой какой же заповеди?

— Силой отсутствия заповедей. Лишь исповедуя добро и уча добру, мы можем утешать себе подобных в том, что у нас и у них нет Отца.

— Отца не может не быть, — шипел Поэт на ухо Баудолино. — Гляди, как сократилось наше славное воинство после гибели Фридриха. Они тут балахвостничают всю жизнь, откуда им знать, каковы ее правила…

Борон же остался под впечатлением великой мудрости и обратился к старцу со множеством вопросов.

— Кого больше, живых или умерших?

— Умерших было бы больше, но ведь их нельзя сосчитать. Поэтому и выходит, что тех, кого видно, больше, нежели тех, кого видеть уже нельзя.

— Что сильнее, смерть или жизнь?

— Жизнь, ибо солнце, когда всходит, имеет яркие и сияющие лучи, а когда заходит, выглядит

более слабым.

— Что больше, земля или море?

— Земля, так как и у моря дно из земли.

— Что было раньше, день или ночь?

— Ночь. Все, что родится, образуется во тьме лона и только потом является на свет.

— Какая лучше часть, правая или левая?

— Правая. Ведь и солнце восходит справа и движется по своей небесной орбите в левую сторону, и женщина вскармливает сначала из правого сосца.

— Какое самое лютое животное? — спросил тогда Поэт.

— Человек.

— Почему?

— Спроси у себя самого. Ты же зверь, имеющий при себе других зверей и из жажды власти готовый лишить существования всех прочих зверей.

Тогда сказал Поэт: — Но если бы все были как вы, то море бы не бороздилось, земля не обрабатывалась, и не рождались бы сильные царства, которые вводят порядок и величие в жалкую сумятицу вещей мира.

Ветеран ответил: — Все это, конечно, превосходно, но зиждется на несчастиях других, мы не желаем ничего такого.

Абдул спросил, знаемо ли, где живет самая миловидная и далекая из всех принцесс земли. — Ты ищешь ее? — спросил Абдула старец. — Ищу, — сказал Абдул. — Ты видел ее когда-либо? — Абдул сказал, что нет. — Желаешь ее? — Абдул ответил, что не знает. Тогда старик удалился под сень своей хижины и вышел с блюдом из металла, отполированным и блестевшим до того, что все окружающие вещи в нем отражались, как на поверхности гладких вод. — Мы получили в подарок это зеркало, и из вежливости не отклонили дар. Но нам ни к чему глядеть в глубь его, ибо так могло бы создаться кичение собственным телом, или печалование из-за недостатков, от этого нам привелось бы пребывать в вечном страхе, что кто-то взгнушается нами. В этом зеркале, может статься, ты однажды увидишь именно то, чего ищешь.

Все уже засыпали, когда Бойди сказал, не стараясь скрыть слезы: — Давайте будем жить тут.

— Хорош ты будешь, голый как червь, — парировал Поэт.

— Мы захотели слишком многого, — подвел итог рабби Соломон. — Но теперь уже не можем перестать хотеть.

С утра назавтра они отправились.

27
Баудолино в темноте Абхазии

Уйдя от гимнософистов, они странствовали очень долго и все время гадали, как бы достичь Самбатиона, не встретив тех ужасов, о которых слышали от местных. Все тщетно! Пересекали равнины, перебредали потоки, карабкались по дыбистым укосам. Ардзруни постоянно производил расчеты по карте Космы и объявлял, что до Тигра, до Евфрата, до Ганга осталось немного. Поэт шипел: замолчи, гадкий чернавец! Соломон успокаивал, что рано или поздно он снова побелеет. Проходили однообразные месяцы и дни.

Однажды они расположились около озерца. Вода была не так прозрачна, но ее хватало. Особенно кони резвились на приволье. Друзья уже ложились, когда выкатилась луна и в первых ее лучах они заприметили в тени угрюмое копошенье. Это были несметные скорпионы, все с напруженными на концах хвостов жалами, жаждущие воды, а за ними наползали сонмы змей самых причудливых расцветок: с красными, черными, белыми кожами. Иные переливались,

как злато. Вся околица наполнилась гадючьим сипом, друзьями овладел великий страх. Они сбились в круг, выставив мечи наружу, собираясь поражать гадостных выползней, чтобы те не подступали вплотную. Однако змеи и скорпии интересовались не путешественниками, а водопоем, и, насытив жажду, постепенно убрались, утекли в растресканную землю.

В полночь, едва товарищи умостились, прибыли гребешковые змеи, каждая о двух или трех головах. Их чешуи драли землю, распахнутые пасти обнажали по три языка. Смрад их чувствовался за милю, и казалось, будто очи, полыхающие лунным светом, разбрызгивают отраву, наподобие очей василиска. Путники бились не менее часа, ибо эти животные были задиристы, не чета первым, а может, голодны и кровожадны. Некоторых удалось убить. Их сородичи накинулись на мертвые трупы и, глодая, отвлеклись от людей. Уже вроде миновала и эта помеха, но тогда заявились раки, не менее сотни, в пластинчатых панцирях, как крокодилы, непроницаемых для мечей. Добро хоть Коландрино с отчаяния изобрел замечательный способ: давать им сильного пинка сапогом внизу под брюхо, в нежное место, отчего раки переворачи-

вались и оголтело размахивали клешнями; тут их надо было быстренько окружить, закидать хворостом и поджечь. Выяснилось даже, что в печеном и облупленном виде раки были вполне съедобны, так что у друзей на два дня оказалось полно сладковатого и волокнистого, довольно приятного и питательного мяса.

А потом они взаправду встретили василиска. Он был такой, каким его изображают рассказчики, что подтверждает достоверность их описаний. Он выскочил из камня, расщепил скалу, как повествуется у Плиния. Вид его был: когти и голова петуха, на гребне красный нарост в форме короны, желтые выпуклые, как у лягушки, глаза, тело змеиное. Василиск был изумрудно-зеленый и отливал серебром, на первый взгляд мог показаться красивым, однако все знали, что стоит ему дыхнуть, как погибнут и животные, и люди. И далеко разносилось его нестерпимое зловоние.

— Не подходите, — выкрикнул Соломон. — А наипаче не вздумайте глядеть в глаза, ибо в них ядовитая сила! — Василиск пресмыкался в их направлении, вонючий запах распространялся все явственней, и вдруг Баудолино пришла в голову мысль, каким способом извести его. — Зеркало! — крикнул он Абдулу. Тот выхватил

металлическую тарелку, взятую в дар от гимнософистов. Баудолино с этим зеркалом, держа его впереди в правой руке, как щит, повернутый к чудовищу, левой загородил глаза, дабы не встретиться с ним взором, и пошел, глядя только под ноги. Он остановился перед зловещим гадом и вытянул зеркало вперед. Тот в любопытстве уставился жабьим зраком на изображение, не прекращая жарко сопеть. И вдруг задрожал всем туловищем, захлопал лиловыми веками, исторг сумасшедший вопль и рухнул без жизни. Тогда все поняли, что зеркало обратило вспять василиску убийственную мощь взора и смертное дыхание, и от этих-то двух заклятий он сам пал бездыханною жертвою.

— Вот мы и в земле страшилищ, — удовлетворенно сказал Поэт. — До царства остается немного. — Баудолино гадал, что имеет в виду тот под царством: пресвитерово или собственное будущее.

Так, натыкаясь то на человекоядных гиппопотамов, то на нетопырей, что по размеру были крупнее, чем голуби, они вошли в поселок меж крутых гор, у подножия которых разлегалась долина с немногочисленной растительностью, будто окутанная легким туманом. Туман за-

густевал по мере их хода и постепенно стал непроницаемой тучей, а горизонт и вовсе превратился в черную полоску, что было особенно заметно по сравнению с кровавым закатом.

Тамошний люд отнесся к странникам сердобольно, но на знакомство с их гортанным языком у Баудолино ушел не один день. Все это время их принимали как гостей и пользовали дичиной — местной горной зайчатиной, во множестве добывавшейся на склонах. Сумев понять здешних жителей, они узнали, что у подножия горы начинается обширная провинция Абхазия, и знаменита она следующим: представляет собой безбрежный лес, в котором царит самая беспроглядная мгла, и не такая, как ночью, когда по меньшей мере звезды с неба моргают. Нет, здесь царствует именно полный мрак, какой объемлет человека в глуби пещеры и с закрытыми глазами. Эта бессветная провинция населена абхазцами, которые прекрасно себя чувствуют, как, тоже к примеру, слепцы в тех местах, которые им знакомы с детства. Похоже, эти абхазцы вовсю используют слух и обоняние, но каковы они, никому доподлинно не известно, поелику кто же станет туда подаваться к ним?

Друзья спросили, существует ли другая дорога

в страну Востока, а те сказали, что да, достаточно обойти по кругу Абхазию с темным лесом, однако это, как свидетельствуют древние повести, потребует десять и более лет пути. Ведь темный лес простирается на сто двенадцать тысяч саламков… Никто не смог понять, каков длиной один саламок, но ясно было, что больше мили, больше стадия, больше фарсанга.

Они уж пали духом, когда Порчелли, самый малобеседливый из компании, напомнил Баудолино, что у них во Фраскете народ приучен ходить в туманах, хоть режь ножом. А это похуже, чем совершенная тьма, потому что в сером мареве из-за обмана усталому глазу все время мерещатся небывалые в мире диковины, и, следовательно, даже имея возможность идти вперед, бредущий останавливается, и путает дорогу, и может провалиться в канаву. — А как мы делаем в родных краях, — говорил он. — Мы следуем побудке, позыву, вроде летучие мыши, которых слепее не бывает! Наши туманы не пробивает никакой запах, ноздри забиты водой и паром, единственное, что удается унюхать, — дух своего тела. Так что, — подытожил Порчелли, — тем, кто привычен к нашим туманам, тутошний мрак — просто дневная прогулка.

Другие александрийцы его поддержали, поэтому Баудолино и пятеро земляков встали во главе колонны, а прочие привязались к их коням и следовали сзади, уповая на везенье.

Вначале путь был веселый и хороший, казалось, продолжаются родимые туманы, однако через час-другой стало уже совсем ничего не видно. Ведущие настораживали уши, улавливая, не хрустнет ли сучок, а если сучок не хрустел, приходили к выводу, что под ногами травяная поляна. В деревне их напутствовали словами, что эти земли всегда продуваются сильным ветром от юга на север, поэтому Баудолино то и дело наслюнивал палец, держал его торчком, этим способом определяя, откуда дует ветер, и правил путь на восток.

Они узнавали о наступлении ночи по охлаждению воздуха и раскладывали бивак. Бессмысленное решение, бурчал Поэт, ибо в сплошной ночи можно ложиться на покой даже днем. Но Ардзруни на это возразил, что когда наступает прохлада, то не слышны и клики зверей, а потом они снова раздаются, и в особенности явно начинают петь птицы в преддверии первого тепла. Это знак, что все живые обитатели Абхазии соразмеряют день с чередованьем тепла и холода, как если бы дело

шло о коловращении солнца и луны.

Долгие дни они не замечали людского соседства. Когда закончились припасы, стали нащупывать на ветвях деревьев плоды, тратили время, наконец находили и поглощали, моля, чтобы плод не оказался отравой. Зачастую как раз пряный запах нового растительного дива побуждал Баудолино, обладавшего самым чутким нюхом, выбирать дорогу то вперед, то направо, то налево. Время шло, они все больше приучались доверять ушам и носу. Алерамо Скаккабароцци, тот, что с кличкой, постоянно вострил стрелы и как только в окрестностях раздавалось кудахтанье какой-нибудь не слишком проворной птицы, натягивал лук. Не так уж редко после этого они, отыскав по крику и по плеску умирающих крыльев подбитую добычу, щипали диких кур и пекли их на тут же наломанном хворосте. Самое странное, что потерев камни, они получали огонь и зажигали пламя, должным образом красное, но от пламени не исходило света; у них самих, кружком обступивших костер, ни единым бликом не освещались лица. Пламя будто бы отсекалось на том уровне, где, насаженная на ветку, торчала жарящаяся тушка.

Воду они находили без труда, преклоняя слух

к журчанию потоков. Двигались вперед медленно, а однажды обнаружили, что на четвертый день пути оказались в той же точке, из которой незадолго перед тем вышли: возле пруда оказался у них под руками мусор от собственного кострища.

Наконец дали себя знать абхазцы. Путники стали слышать едва различаемые голоса, клекотанье, все это происходило около них, голоса были взволнованные, хотя почти беззвучные. Похоже, коренные обитатели леса показывали друг другу на невиданных посетителей, то есть, правильнее сказать, на неслыханных. Тут Поэт для чего-то испустил дикий крик, и все голоса разом стихли; трепетание травы и листвы указало, что абхазцы в ужасе ретировались. Потом опять подошли и зашушукались с новой силой, ошарашенные удивительным вторжением.

Тем временем Поэта что-то зацепило, чья-то лапа, какая-то волосатая часть тела. Он хватанул не глядя, кого — не зная, в ответ раздался леденящий возглас. Поэт ослабил хватку, голоса обитателей отдалились, они, должно быть, расступились и попятились, создавая почтительное расстояние.

Несколько дней протекло в этом духе. Ничего нового. Путники шли себе, а абхазцы кружили

поодаль. Может, они были и не те, что в первый раз. Может, одни жители извещали других о присутствии в роще посторонних. Как-то ночью (да ночью ли?) вдалеке раздалось что-то вроде боя барабанов или стука по полому стволу дерева. Эти мягкие дроби заполняли собой все наличное пространство, покрывали многие мили. Путники поняли, что таким способом абхазцы передают сообщения на расстоянии: оповещают друг друга обо всем, что делается в их лесу.

Постепенно они привыкли к своим невидимым сопровождающим. И все больше притерпевались к темноте, до такой степени, что Абдул, прежде мучившийся от солнечных лучей, заявил, что теперь ему полегчало, и что лихорадки больше нет, и он даже опять вспомнил свои песни. Как-то вечером (да вечером ли?) они грелись у огня и Абдул отторочил от седла гитару и запел:

Я верой в будущность согрет,
Ведь встречусь я с любовью дальней,
Но после блага жду я бед,
Ведь благо – это призрак дальний.
Стать пилигримом буду рад,
Чтоб на меня был брошен взгляд.

Печаль и радость тех бесед
Храню в разлуке с дамой дальней,
Хотя и нет таких примет, Ч
то я отправлюсь в край тот дальний.
Меж нами тысячи лежат
Шагов, дорог, иных преград.[27]

Вдруг обнаружилось, что беспрестанно перешептывавшиеся в непроницаемой тьме абхазцы, все как один, молчат. Дослушавши до конца Абдулово пение, они, похоже, вознамерились ответить подобным. Путники ощутили, что сотни губ (были ли это губы?) насвистывают, умильно повторяют, как певчие дрозды, нежную мелодию. Таким путем без слов сумели найти общий язык хозяева и гости. Все следующие ночи они друг друга развлекали без устали: гости им пели, хозяева вторили будто на флейтах. Однажды Поэт для забавы затянул срамословную песню, от которой в Париже краснели, приходилось, и кабацкие девки. Баудолино подхватил куплет. Абхазцы не ответили, наступило долгое молчание, а потом один-два голоса снова начали выводить мотивы, излюбленные Абдулом, как будто извещая, что

---

[27] Примечания: 27
Перев. со старопрованск. А.Г. Наймана

вот какие напевы у них в чести. И этим выражалась, сказал Абдул, утонченность их чувств и понятий и умение отличать хорошее в музыке от плохого.

В своем новом статусе единственного, кому удавалось «говорить» с абхазцами, Абдул будто заново родился. Мы в царстве нежности, радовался он, а следовательно, я вплотную приблизился к своей цели! Осталось немного, идем! Да ладно тебе, отвечал ему Бойди. Куда нам идти? Не здесь ли самое замечательное на всем свете место, в котором даже если есть уродства, никто совершенно не обязан их видеть?

Баудолино тоже задумывался о том, что перевидав множество див этого мира, долгими темными днями наконец он сумел наладить мир в душе. Темнота пробуждала далекую память, возвращала в период отрочества, к родителю, к матери, к милой обездоленной Коландрине. Однажды в преддверии ночи (да полно, наступала ли ночь? Наверно, да, потому что абхазцы приумолкли) к нему не шел сон, и он шатался между деревьями, обнимая руками листву и что-то неведомое ища. Под ладони ему подвернулся нежный ароматный плод. Баудолино закусил мякоть и внезапно преисполнился нестерпимой истомы, не ведая

больше, спит ли он или все так же бодрствует.

В той истоме ему увиделась, или, лучше сказать, оказалась с ним рядом, будто видимая, Коландрина. — Баудолино, Баудолино, — уговаривала она своим полудетским голосом, — ты не оставляй своих странствий, хоть в лесу, как тебе мерещится, и приятно. Ты ведь шел искать того попа Иоанна, что лишился чаши? Ты и должен возвратить ему чашу, а иначе кто назначит герцогом нашего Баудолинетто Коландруччо! Уж пожалуйста, ты сделай мне, что обещал. Мне здесь-то вообще неплохо, да очень я по тебе загрустила.

— О Коландрина, о Коландрина, — метался в крике Баудолино, вернее, думал, будто кричит. — Замкни уста, ты призрак, ты обаянье, ты дух душистого плода! Покойники не выходят оттуда!

— И правда, нам не положено, — отвечала Коландрина, — но я очень просилась. Я говорила: ну как же так, вы только одну весну дали мне пожить с моим мужем, только самую чуточку. Ну очень прошу вас, ну есть же у вас тоже сердце. Мне тут неплохо, я вижу и Матерь Божию и всех блаженных, но больно скучаю без ласок милого Баудолино, от которых мне очень делалось щекотно. Ну, дали совсем немножко времени.

Только разок поцеловаться. Гляди, Баудолино, не знайся с разными женщинами там по дороге, а то, неровен час, подцепишь еще скверную хворобу, кто их всех разберет. Так что давай, ноги в руки, выбирайся-ка оттуда на свет божий.

Она исчезла. Баудолино почувствовал нежное касанье на щеке. Он отряхнул наваждение и смог заснуть спокойно. На следующее утро он известил товарищей, что надо выступать в путь.

Упорно следуя на восток, через много дней они наконец различили промельк молочной светлоты. Темень тихо переходила в серое плотное продолжительное марево. Товарищи почувствовали, что кружившие около них абхазцы остановились, и уже издалека донесся прощальный свист. Абхазцы слали им последний привет с кромки новой долины, от преддверия света, которого, как можно было понять, они опасались. Казалось, что нежный присвист заменяет им взмах руки, а по милоте и ласковости звука чувствовалось, что они еще и улыбались.

Протолкавшись через все пласты тумана, путники вышли на солнце. Ослепленные, они застыли, а Абдула снова стала бить злая лихорадка. Им-то мнилось, что после абхазского искуса

долгожданная земля расстелется перед ними; но пришлось переменить мнение.

Прямо над их головами реяли птицы с человечьими лицами и выкрикивали: «Чью землю попираете? Воротитесь! Не могите осквернить землю Блаженных! Вернитесь и попирайте ту землю, что вам была дана!» Поэт сказал, что это явное ведьмачество, возможно, призванное охранять владения пресвитера, и убедил всех не останавливаться.

Через несколько дней пути по каменистой пустыне, где не было ни ростка, они увидели, как приближаются три фигуры. Первая безусловно представляла собой кота, чья спина была выгнута, волос вздыблен, глаза напоминали горящие угли. Второй зверь имел львиную башку и польвиному рыкал, притом что тело у него было козлиное, а стегна, как у дракона. Наверху козьего тулова торчала еще одна голова, блеющая, рогатая. Чешуйчатое охвостье топорщилось и вилось, тая ужасную угрозу. У третьего из зверей находилась на львиных плечах и при хвосте скорпиона почти человеческая голова: глаза голубые, тонкий точеный нос и раззявленный рот, в котором как вверху, так и внизу обреталось по тройственному ряду заостренных, как бритвы, зубов.

Больше всего опасений вызвал кот, как известно, сатанинский приспешник, допускаемый в качестве домашнего жильца лишь одними только колдунами. В частности, ведомо, что от любого существа есть способ оборониться, но не от кошки, перед ней не успеешь ты выхватить меч, как она уже выцарапает тебе зенки. Соломон бормотал, что не следует ждать ничего доброго от творения, не помянутого в Книге всех Книг. Борон сказал, что имя второго существа — безусловно, химера. Одна она, существуй на свете пустота, могла бы летать по ней с жужуканьем, высасывая мысли из голов у людей. Третье животное, гадать и не надо, было опознано как мантихора, почти тот самый зверь половый (беложелт, левкохр), о коем писал он Беатрисе множество времени тому (сколько лет назад? что делать, чтоб вспомнить?).

Три чудовища двигались путешественникам навстречу. Кот — на мягких пружинистых ногах, два другие — полные злонамеренности, но немного медленнее кота, так как зверю, слепленному из троих, труднее приспосабливаться к сложным подвижкам и поворотам.

Первым перешел к действию Алерамо Скаккабароцци, неприличное прозвище, никогда не

расстававшийся в этот период с верным луком. Он отправил стрелу коту прямо в центр лба, тот был сразу убит. Увидя это, химера прыгнула мгновенно вперед. Храбрый Куттика из Куарньенто гаркнул, что дома усмирял и бешеных буйволов, и пошел на химеру, чтоб пронзить ее, но она в ответ скакнула прямо-таки ему на плечи и готовилась загрызть его своей хищной пастью. Тут, по счастью, подбежали Баудолино с Поэтом и Коландрино и пошли рубить чудо-юдо мечами, пока оно не ослабило хватку и не грянулось оземь.

Настал черед напасть мантихоре. Против нее стеной встали Борон, Гийот, Бойди и Порчелли. Соломон с почтительного расстояния кидался в нее камнями, присовокупляя ругательства на священном языке. Ардзруни держался как можно дальше, темноликий, в частности и от испуга, а Абдул лежал бессильно, сотрясаемый самой неумолимой лихорадкой. Зверь, похоже, мыслил в этой ситуации с человеческим и в то же время животным коварством. Трудно было ожидать, что он так ловко отпрянет от атакующих. Никто из них не смог достать мантихору, а тем временем она ринулась на лежащего беззащитного Абдула. Тройными рядами зубов она вонзилась больному в лопатку и не разжимала челюсти даже тогда,

когда другие подбежали спасать его. Завывая под ударами мечей, она все-таки не выпускала укушенного Абдула, из-под клыков обильно текла кровь, рана разверзалась все страшнее и шире. Наконец, удары четырех остервенелых бойцов сделали свое, и, теряя жизнь, с неистовым рычанием страшилище испустило дух. Но даже и у издохшей мантихоры зубы так сильно сжимали истерзанную добычу, что стоило немалых усилий расцепить их и высвободить Абдула.

После жестокого побоища у Куттики оказался поранен локоть, но Соломон смазал рану особой мазью и сказал, что не видит поводов к беспокойству. Абдул же еле слышно стонал, кровь продолжала течь из него. — Перевязать, — торопился Баудолино. — Он и так слаб, куда ему терять кровь. — Все, как могли, старались остановить кровопотерю, своими одеждами затыкали рваную рану, но, видно, мантихора прокусила настолько глубоко тело, что, может быть, зацепила и сердце.

Абдул уже бредил. Бормотал, что принцесса где-то неподалеку, что он не должен умереть как раз сейчас. Просил поднять его на ноги, приходилось его удерживать, было ясно, что чудовище впустило в тело Абдула какую-то жуткую отраву.

Уверовав в сработанную собственными руками подделку, Ардзруни вытащил из переметной сумы Абдула голову Предтечи, разбил печать, достал из мощехранительницы череп и положил его Абдулу в руки. — Молись, — сказал он, — моли за свое спасение.

— Болван, — презрительно оборвал его Поэт. — Во-первых, он не слышит, а во-вторых, это неизвестно чья голова, которую ты выкопал из осквернённой могилы.

— Любая реликвия способна поддержать дух умирающего, — парировал Ардзруни.

Близился вечер, Абдул уже потерял способность хоть что-то видеть, он спрашивал, не возвратились ли они в абхазскую чащу. Осознав, что подступает наивысшая минута, Баудолино отважился на дело, которое — как всегда, из самолучших помыслов — состояло в очередном обмане.

— Абдул, — сказал он. — Вот и исполнилось твое самое жгучее желание. Ты прибыл в место, на которое уповал. Стоило тебе выдержать искус с мантихорой… Видишь? Твоя прекрасная вдохновительница перед тобой. Она узнала о неразделенной страсти. Из далеких пределов того благодатного края, где проживает она, за-

торопилась к тебе, захваченная, тронутая твоей любовью…

— Нет, — прохрипел Абдул. — Не может этого быть. Сама пришла? Мне даже не пришлось к ней добираться? Смогу ли пережить подобное счастье? Попросите ее подождать. А меня поднимите. Прошу вас. Я желаю воздать ей почесть.

— Не волнуйся, друг, не надо, если она решила иначе, отступи перед ее волей. Не вставай. Приоткрой глаза. Пусть она над тобой наклонится. — И когда Абдул сумел разлепить веки, Баудолино поднес к его взору, замутненному мученьем, зеркало гимнософистов, и страдалец смог в нем различить какую-то знакомую фигуру.

— Вижу тебя, госпожа, — произнес он почти без звука. — В первый, в последний раз. Не гадал, что заслужу такую радость. Но я боюсь, что ты наконец полюбила меня, и от того истощится моя страсть… О нет, о, прошу, принцесса, это лишнее. Ты наклоняешься за поцелуем! — Он приставлял к металлу трясущийся рот. — Что же я теперь ощущаю? Горе от скончания погони или восторг от незаслуженной мной победы?

— Я люблю тебя, Абдул, и это все, — нашел в себе силу прошептать Баудолино в ухо другу, испускающему дух. Тот улыбнулся. — Да, ты лю-

бишь, и это, вероятно, все. Не того ль я добивался всю жизнь, вытесняя эту мысль из опаски, что все может состояться? Или именно того я не хотел, опасаясь, что все окажется не так, как уповал? Но теперь я никак не могу желать иного. Как прекрасна ты, о моя принцесса, и как уста твои алы… — Отпустив лжечереп Предтечи, отчего тот покатился на гравий, он трясущейся рукой схватил зеркало и, как мог, протянутыми губами стал тянуться к поверхности, затуманившейся его дыханьем. — Будем праздновать веселую смерть, смерть печали моей. Госпожа, душа моя, ты была мое солнце и мой свет, и куда ни шла ты — там весна, а в мае ты становилась луной, очаровательницей ночи. — Он пришел в себя на секунду и переспросил, потрясенный: — Не сон ли все это?

— Абдул, — шепнул в ответ Баудолино, памятуя стихи, которые однажды Абдул пропел ему, — что есть жизнь, как не тень убегающего сна?

— О, спасибо, любовь, — отвечал Абдул. Он опять напрягся, и Баудолино держал голову ему, когда тот трижды лобызал зеркало. Потом откинулся умерший, восковой, при свете солнца, заходившего за каменные отроги.

Александрийцы вырыли могилу. Баудолино,

Поэт, Борон и Гийот, плача о друге, с которым делили все в жизни с начала самой ранней юности, опустили в могилу бедное тело, положили на грудь ему инструмент, которому впредь никогда уж не приведется воспевать далекую принцессу, и накрыли лицо подаренным гимнософистами зеркалом.

Баудолино поднял череп и его раззолоченный футляр и отошел взять суму покойного друга. В сумке был свиток пергамента с записями песен. Баудолино собирался опустить туда и череп Предтечи, но потом сказал себе: «Если он отправится в Рай, как я думаю, то эта штука вряд ли ему там сослужит службу, потому что его примет в объятия настоящий и целый Предтеча, с черепом и вообще в полном комплектном сборе. Как бы то ни было, лучше ему не соваться с подложными мощами, фальшивей которых не бывает. Возьму-ка эту голову я, и если смогу ее продать, закажу в Абдулову память на эти деньги, вместо надгробия, настенную доску в какой-нибудь христианской церкви». Он захлопнул голову, насадил обратно сургучную печать и положил вместе с собственной головой в чересседельную сумку. На некий миг у него появилось чувство, будто он обокрал мертвеца, но он тут же убедил

себя, что не ворует, а берет в долг и в свое время отдаст. В любом случае, товарищам он решил ничего не говорить. Все прочее он положил в сумку Абдула и опустил сумку в могильную яму.

Потом ее засыпали и водрузили сверху, вместо креста, меч умершего друга. Баудолино, Поэт, Борон и Гийот помолились на коленях, в то время как Соломон с почтительного расстояния бормотал какие-то напевы, принятые у евреев. Остальные же близко не подходили. Бойди открыл рот, дабы произнести надгробное слово, но произнес только: — Эх!

— Всяк умрет, как смерть придет, — вздохнул Порчелли.

— Горя много, а смерть одна, — ответил ему Алерамо Скаккабароцци, чье прозвище лучше не называть.

— На жизнь, на смерть поруки нет, — подвел итог Куттика.

— Все там будем, — заключил Коландрино, который, невзирая на молодость, был рассудителен на удивленье.

28
Баудолино переходит Самбатион

— Аллилуйя! — вскричал через три дня пути Никита. — Вот она Силимврия, изукрашенная трофеями. — И впрямь этот городишко с низкими домами и пустынными улицами стоял весь изукрашенный, потому что, как они узнали, там праздновали день какого-то святого или архангела. Местное население понацепляло гирлянд даже на одинокий белый столб, мирно торчавший на околице. Никита пояснил Баудолино, что на вершине столба в незапамятные времена сподвизался отшельник, и не сошел, пока не умер, и являл миру с верха столба немалые чуда. Однако люди той закалки, похоже, вымерли, и не по этой ли причине толикие горести империи?

Они направились сразу к жилищу друга, того, на которого рассчитывал Никита, и этот Феофилакт, пожилой, гостеприимный, душевный, их встретил истинно по-братски. Он расспросил о бывших с ними злостраданиях, вместе оплакал участь Константинополя, показал им дом, где комнат доставало на целую армию, сразу же

привечал молодым вином и изобильными порциями салата с сырами и оливками. Хоть и не те разносолы, к которым был приучен Никита, но все же добрая деревенская трапеза развлекла новоприбывших от тягот дороги и от печали по дальнему дому.

— Вы пока не выходите, — сказал Феофилакт. — Здесь уже немало беженцев из Константинополя, а наши со столичными спокон веку не сильно ладят. Теперь вы здесь и просите подаяния, а раньше задирали нос. Вот что повторяют здешние… Хлеб вам сменяют по весу на золото. И если б одно это! Наведываются пилигримы. Они и раньше вели себя нахально. А уж теперь, когда узнали, что Константинополь отныне их и их воевода скоро станет василевсом! Они разгуливают в нарядах, снятых с наших начальников. Вытаскивают из церквей митры, венчают ими лошадей. Поют наши церковные гимны, перекореживая греческий язык и начиняя его похабщиной, взятой из собственных наречий. Готовят пищу в наших церковнослужительных сосудах. Рядят своих девок, как знатных дам. Конечно, и это когда-нибудь прекратится. Но до поры до времени лучше вам пересидеть.

Баудолино и Никите иного и не мечталось. В

следующие дни Баудолино продолжал рассказывать под оливами. У них было прохладное вино и оливы, оливы, оливы, заедая которыми хотелось снова пить вино, и так до бесконечности. Никиту интересовало, достигли ли путники страны пресвитера Иоанна.

И да и нет, отвечал Баудолино. В любом случае, прежде чем чего-нибудь достичь, следовало перейти Самбатион. Именно об этом приключении он немедленно взялся рассказывать. До чего нежными, пасторальными красками он сумел расцветить сцену ухода Абдула, то такой же степени эпично и величественно живописал дерзостную переправу. Вот доказательство, подумал опять Никита, что Баудолино подобен диковинному животному, о котором ему, Никите, приводилось только слышать рассказы, но Баудолино-то, может, и видывал эту тварь, зовомую хамелеоном, она похожа на маленькую козу и имеет свойство переменять окрас в зависимости от места, от черного до светло-зеленого, и лишь только белого, лишь только цвета невинности она не умеет воспроизвести.

Подавленные кончиной друга, путешественники опять пошли вперед и оказались у основания горной цепи. Послышался сначала дальний шум,

потом трескотня и грохот приблизились, прояснились: похоже было, кто-то кидается камнями и глыбами с вершин, и в этом падении за каждым камнем тянется шлейф земли и гальки, обрушиваясь в долину. Потом они заметили, что пыль, подобная туману или мареву, повисла в воздухе, но только в отличие от водяного пара, который замутил бы лучи солнца, тамошняя взвесь так мощно рассеивала лучи, что возникали мириады отражений, как будто лучи раскалывались о порхающие атомы минералов.

Тогда рабби Соломон сумел сообразить первым: — Это Самбатион! — прокричал он. — Мы близки к цели!

Действительно, перед ними протекала каменная река, в чем они убедились, пробравшись к ее берегу и ошалев от великого гула, не дававшего практически ни одному понять, что говорят другие. Это было грандиозное движение валунов и грунта, неостановимое, и в нем переваливались грудами огромных бесформенных жерновов угловатые плиты, с гранями режущими, как железо, крупные, наподобие надгробий, а между плитами шелестели гравий, щебенка, дресва, битыши и голыши.

Пролетая с одинаковой скоростью, будто

брошенные шквалом, осколки травертина колотились друг о друга, по ним скользили крупные отпадыши скал, замедляясь в местах, где они попадали на каменную крошку; в промежутках круглые булыжники, отполированные, как водой, постоянным скольжением по камням и через камни, подлетали высоко в воздух, сталкивались между собой с сухими щелчками и засасывались теми же воронками, которые сами образовывали, когда летели вместе. Посередине коловратных вихрей и над водоворотами формировались выхлопы песка, пузыри гипса, облака брызг, пена из пемзы, ручьи мальты.

Там и сям река выплескивала грязь и кремни, путники едва уворачивались и прикрывали лица.

— Какой сегодня день? — прокричал Баудолино. Соломон, следивший за субботами, ответил, что неделя только в своем начале. До останова реки оставалось ждать по меньшей мере шесть дней. — А кроме того, когда она станет, переходить ее будет невозможно, потому что в субботу не путешествуют, — кричал он в ответ с огорчением. — Ну почему Святой благословенный Творец, Он не предпочел останавливать эту реку, скажем, по воскресеньям, учитывая, что вы, язычники,

сплошь маловеры, и на свои воскресные запреты плюете с высокой колокольни?

— Ты о субботе не волнуйся, — надрывался Баудолино. — Пусть только эта река замрет, а дальше я уж знаю, как надо перевозить тебя так, чтоб ты остался вполне безгрешен. Погрузим тебя на ишака во сне. Не в том загвоздка! А вот, я помню, ты сам говорил нам, что по субботам, остановившись, река вдоль обоих берегов горит ясным пламенем! Значит, нет расчета сидеть тут и ждать шесть дней. Давайте пойдем искать истоки, может быть, выше верховий есть какой-то переход.

— Чего, чего? — начали спрашивать сбитые с толку товарищи, но так как Баудолино удалялся, последовали за ним, решив, что у него возникла хорошая идея. Идея оказалась прескверной. Они проскакали вдоль того берега шесть дней, следя, как и впрямь суживается русло и вместо реки становится горный поток, еще выше — ручей. Но и не дошед до верховья, примерно на день на пятый, притом что уже и на третий замаячила на горизонте громада высоченных гор, они оказались между кряжей, отроги загородили собой небо, и трудно было идти по узчайшей тропке без малейшего намека на скорый выход, а задирая

голову в стремнине, в выси видеть только малый кусочек неба и едва различимые облака, облеплявшие недосягаемый пик.

С тех самых круч, из балки, можно даже сказать, щелки в толщине монолита, вырывался Самбатион: кипяток песчаника, клокотание туфа, взбрызги каменных капель, толкотня твердых тел, булькотание почвы, брыканье комков, преполнение брения, кропление глины постепенно преображались в бесперебойную струю, исторгавшуюся оттуда и переходившую в быстрину на стрежне, в беге к неизмеримому океану песка.

Наши друзья потратили день, тщась объехать ущелье и найти переезд над верховьем реки, но все без толку. Хуже того, они чуть не попали под лавинные обвалы. Горы осыпали камушки под копыта их коней. Пришлось уйти на более извилистые тропы, и их застала ночь в такой лощине, куда что ни миг слетали хлопья бурлящей серы. Потом жара достигла невыносимости и они поняли, что даже если бы отыскался вожделенный перевал через горы, то, по исчерпании запаса воды в их баклагах, безжизненная природа не предложила бы им ни капли влаги, поэтому предпочтительнее вернуться. Беда лишь, что они заблудились в захребетных меандрах и извели

дополнительный день, чтобы снова отыскать верхний ключ.

Они добрели туда, когда, по вычислениям Соломона, суббота снова прошла и даже, если река останавливалась, она успела завестись снова, и выпадало ждать еще шесть дней. Разразившись восклицаниями, которые никак не сулили привлечь к ним благорасположение небес, друзья решили спускаться обратно по течению реки в надежде, что рано или поздно она раздробится на множественные устья и образует дельту, а по-ученому говоря — эстуарий, то есть преобразуется в плоское проезжее плато.

Так они прошли несколько рассветов и закатов, отдаляясь от берегав поисках гостеприимствау природы, и небо, должно быть, пропустило мимо ушей их кощунства, потому что они нашли-таки оазис с зеленью и с водным ключом, не щедрым, но достаточным, чтоб доставить им передышку и запас на несколько дней вперед. И опять тронулись, под тот же постоянный рокот, под огненными небесами и пронизью черных туч, раздавленных и плоских, как черные камни Бубуктора.

В конце концов, примерно на пятый день дороги, на пятую ночь, такую же знойную, как день,

они заприметили, что толковище и вздохи течения переменили свой звук. Река заторопилась, в ее потоке образовались рукава, быстрые струи перепихивали горбы базальта, будто солому, и слышался далекий гром. Потом, закипая, Самбатион распрыскивался на мириады протоков, внедряющихся в гущу горных рытвин, как пальцы вдавливаются в глинную глыбу. Рокочущие овраги проникали в недра и через скальные прорывы, сулившие путникам проход, рвались на волю с резким ревом и злобно вываливались в дол. Внезапно, после длительного объезда, к которому их вынудило бездорожье у берегов, побиваемых каменным градом, путники выскакали на гладкое плоскогорье и обнаружили, что Самбатион далеко под ними в этой точке исчезает, просто рушится в истую прорву ада.

Там перекаты помогали низвергнуться с десятков порогов, снижавшихся амфитеатром, камням в неизмеримые и последние завороты, в рыкающий буерак, в граниты, в зажоры битумов, в буруны квасцов, в завой сланцев, в тряску алабандинов у подрытой береговой крутизны. А на тонкой и рясной пыли, которая из пучины изрыгалась вверх, то есть, вернее, вниз, на взгляды тех, кто созерцал, заглядывая в пропасть, как будто

с вершины башни, плясали солнечные блики и отлетали от каждой кремнистой капли, рождая громадную радугу, которая, так как каждое вещество отталкивало лучи с особым собственным преломлением, покорно собственной природе, переливалась тем многообразием раскрасок, какое не встречается никогда на обычном небе, где восстают обычные радуги после скоротечных летних гроз. Тут над камнями, похоже, радуга была назначена разбрызгивать зарницы вечно, никогда не рассеиваясь.

Переливаться от багреца, от кровавика с киноварью до стальной искристой черноты атрамента, от желтизны аурипигментной зерни к пронзительной оранжевости, от лазури армения к белизне обызвествленных ракушных черепков и к прозелени малахита, от блистающего серебряка к постепенно бледнеющему шафрану, от режущего глаз реальгара к высморку зеленоватой земной слизи, то иссыхающей в бледноту хризоколлы, то расцветающей всеми оттенками изголуба-фиолетового блеска; сверкать сусальным золотом, червцом, пережженными белилами, алеть смолянистым сандараком, играть оттенками седого мела и прозорливой чистотой алебастра.

Ни один из людских голосов не мог бы различиться в этом лязге и ни один из путников не собирался произносить слова. Они глядели на агонию Самбатиона, свирепствовавшего на неминуемый свой жребий: ввергаться в черево земли, и тщившегося захватить за собой все, что могло им быть ухвачено по дороге, под скрежетание камней, в знак сокрушения о своей немочи и недоле.

Ни Баудолино, ни друзья не знали, сколько протекло времени в том созерцании ярящегося провала, томленья, борьбы и поражения реки. Но времени, наверное, прошло немало, на землю сошел закат пятницы, то есть явилась суббота, и вдруг, рывком, как по неведомой команде, река задубенела, будто в трупном столбняке, и весь взрывной водоворот на дне пучины вдруг замер в полной обездвиженности, в беззвучии, неожиданно и страшно вдруг воцарившемся над пластовой поверхностью насыпи.

Они ожидали, что во исполнение знаменитого рассказа, на берегах тотчас взвихрится пламенная стена. Но не произошло ничего такого. Река молчала. Коловращение частиц, витавших прежде в воздухе над нею, с течением времени утихло. Пылинки осели на сухое русло. Ночное небо очи-

стилось, и выявились блистающие звезды, до той поры скрывавшиеся в мути.

— Вот так и разучаешься доверять всему, что болтают, — изрек на это Баудолино. — Народ, как выясняется, выдумывает огромное количество несуразиц. Слышь, Соломон, это ведь вы все сочинили, иудеи, чтобы удерживать христиан подальше от этого интересного места.

На те слова Соломон не отвечал, поскольку был остро мыслящим мудрецом и уж догадывался, каким манером Баудолино решил переправлять его через брод. — Я спать не собираюсь, — выпалил он на все речи.

— Ну что ты, — безмятежно ответил Баудолино. — Отдохни тут, пока мы поищем брод.

Соломону хотелось бежать прочь от них, но в субботу он не имел права ни скакать верхом, ни тем более карабкаться на горные кручи. Так он сидел, не емля сна, всю ночь, колотя себя по черепу кулаками и проклиная собственную судьбу и бесчестных гоев.

На утренней заре, когда остальные путники решили наконец для себя, какой дорогой они пройдут без риска, Баудолино возвратился к Соломону, послал ему всепонимающую и дружескую улыбку и стукнул крупным костылем в

ямку за ухом.

Так получилось, что рабби Соломон, и только он среди сынов Израиля, во сне перенесся через Самбатион, хотя дело было в субботу.

29
Баудолино попадает в Пндапетцим

Перебраться за Самбатион само по себе не означало достичь земли пресвитера. Это попросту значило, что они покинули пределы изведанной земли, куда доходили самые смелые путешественники. Действительно, нашим товарищам пришлось идти еще много дней, да по пересеченной местности, не уступавшей в крутизне берегам каменной реки. Затем пошла долина, которая никак не хотела закончиться. На горизонте наблюдались достаточно низкие возвышенности, но то и дело там над холмами торчали пики, похожие на пальцы. Своею остротой и тониной они напомнили Баудолино очертания Пиренейских Альп, когда, будучи отроком, он огибал их западную окраину путем из Италии в Германию. Но здешние были выше и величественней тех.

Этот рельеф, однако, находился на самой кромке окоема. По долине же кони двигались с заметными трудностями, поскольку везде произрастала такая пышная и буйная трава, что дол

походил на колосящуюся ниву, только росли в нем зеленые и желтые ковыли, размером и с человека, и выше, и эта пажить расстилалась докуда хватало взора, точно как море, волнуемое ветрами.

Пересекая поляну, похожую на остров в травном море, они увидели: на отдалении, и только в одном месте, поверхность не колыхалась согласно очерку волн, а шевелилась неравномерно, как если бы там в глуши пробегал кто-нибудь, ну, скажем, очень солидного размера кролик, и рассекал гущу травы при беге, выписывая такие замысловатые кривые и с такой скоростью, на которую ни один кролик не способен. Поскольку наши путники зверей видали и перевидали, и большей частью таких, что никак не вызывали доверия, все натянули поводья и приготовились к новому бою.

Змеистый след приближался и было слышно шуршание шевелимых ковылей. На окраине лога расступились наконец густые травы и из них выглянул некто, отводивший ковыль руками, как шторы.

Руки-то у него, безусловно, были. А вот что касается ног, то нога была одна. Причем не от калечества, совершенно наоборот: эта нога была

пристроена к туловищу таким образом, что для другой не полагалось места. Так на единственной ступне он непринужденно себе и несся, надо думать, — с рождения привыкший. Даже когда он припустился к ним навстречу, они никак не могли распознать: прыгает ли он, или шагает, то есть делает ли его нога поступательное движение вперед, или колебательное, взад и вперед, как две ноги человека, чтоб каждый шаг вперед был мощнее, чем шаг назад? Из-за ошеломительной скорости не удавалось различить отдельных движений: так в конском беге никто никогда не может определить, бывают ли моменты, когда все четыре копыта коня оторваны от земли, или же в каждый отдельный миг на землю опираются по меньшей мере два копыта.

Когда существо застыло как вкопанное перед ними, они разглядели, что ступня была вдвое больше человечьей, гармоничной формы, с квадратными ногтями и пятью одинаковыми пальцами, короткими и прямыми.

Что до всего остального, одноногий был по росту, как десяти– или двенадцатилетний ребенок, то есть доходил нашим товарищам до пояса. Аккуратная голова была покрыта желтыми жесткими волосами, круглые глаза смотрели по-коровьи,

нос был невелик и кругл, широкий рот растягивался до ушей и обнажал в улыбке (конечно, это была улыбка) здоровые красивые зубы. Баудолино с прочими узнали его мгновенно, поскольку немало читали и слышали про таких: исхиапод! С другой стороны, они ведь сами и поместили исхиаподов в письмо пресвитера Иоанна…

Исхиапод снова заулыбался, воздел горе руки, соединив их над головой в знак привета, и, выпрямившись, как статуя, на своей единственной ноге, произнес что-то вроде: — Алейхем саби, Яни кала бенсор.

— Подобных речей я еще не слыхивал, — сказал Баудолино. Потом обратился к тому по-гречески: — На каком языке ты изъясняешься?

Исхиапод ответил тоже на греческом, хотя достаточно корявом: — Я не знаешь, на каком языке я изъясняешься. Я думаешь, вы иноземец, говоришь на языке иноземца. Но вы говоришь как пресвитер Иоанн и его Диакон. Я приветствуешь вас, я Гавагай, будешь полезен.

Увидев, что Гавагай безобиден, более того, дружелюбен, Баудолино и друзья спешились и сели на землю, пригласили его присоединиться и стали угощать тем немногим, что у них оставалось. — Нет, — отказался исхиапод. — Я

благодаришь, я уже много ешь нынче утром. — Потом он проделал то, что, по всем описаниям, делают исхиаподы: лег на землю, задрал ногу и прикрылся ею для тени, а руки сунул под голову и снова блаженно улыбнулся, будто лежал под опахалом. — От бега отдыхаешь в прохладе. А вы кто будешь? Эх, быть бы вас дюжине, тогда скажешь: вернулась святая дюжина Волхвов, вместе с мавром. Эх, жаль вас только одиннадцать.

— У, знал бы ты, до чего жаль, — согласился Баудолино. — Но нас именно одиннадцать. Если Волхвов одиннадцать, ты ими не интересуешься, верно?

— Одиннадцать Волхвов не интересуешься никто. Каждое утро в церкви мы молишься за возвращение дюжины. Вернись одиннадцать, значит, мы неправильно молишься.

— Тут и взаправду ждут Волхвоцарей, — прошипел Поэт в ухо Баудолино. — Надо бы создать видимость, будто двенадцатый на подходе.

— Но чур, Волхвоцарей не поминать, — шепнул в ответ Баудолино. — Мы ходим дюжиной, а остальное пусть сами додумывают. Иначе, когда пресвитер Иоанн откроет, кто мы такие по правде, он напустит на нас своих белых львов или кого-нибудь другого в подобном роде.

Потом он снова обратился к Гавагаю: — Ты говоришь, что служишь у пресвитера. Значит, мы дошли до царства пресвитера Иоанна?

— Ты подождешь. Ты не можешь говоришь: вот я тут в царстве пресвитера. Маленько пройдешь и уже говоришь. Так бы кто угодно придешь до царства пресвитера. Вы сейчас находишься в большой провинции. Тут Диакон Иоанн, сын пресвитера Иоанна, он правишь этой землей. Если вы хочешь в землю пресвитера, только этой дорогой и придешь в его землю. Все путешественники, кто ни придешь, прежде идешь в Пндапетцим. Это великий стольный Диаконов град.

— Сколько путешественников приходило сюда?

— Ни одного. Вы будешь первые.

— Что, вправду к вам сюда не заходил такой мужчина с черной бородой? — спросил Баудолино.

— Я никогда его не видишь, — сказал на это Гавагай. — Вы будешь первые.

— Значит, нам предстоит задержаться в этой провинции и дожидаться Зосиму, — проворчал Поэт. — Кто знает, явится ли он. Может, он еще в Абхазии. Путается в потемках.

— Хуже было бы, если бы он уже дотопал сюда и

предъявил местному обществу Братину, — сказал на это Гийот. — У нас-то Братины нет. С чем мы явились бы к ним?

— Спокойнее. На спешку тоже время нужно, — мудро высказался Бойди. — Посмотрим, что тут такое, потом измыслим, что нам делать и когда.

Баудолино сказал Гавагаю, что с удовольствием задержится в Пндапетциме, дабы дождаться подхода двенадцатого, потерянного во время песчаной бури в пустыне за много дней пути до этого найденного ими места. И поинтересовался, где живет Диакон.

— Там, в своем дворце. Я вас поведешь. Лучше сперва я скажешь друзьям, что вы прибудешь. Когда вы прибудешь, тогда праздник. Гости — дар Господен.

— А что, тут в траве есть еще исхиаподы?

— Я не думаешь. Но тут недавно, вроде, один знакомый блегм. Хороший знакомый. Это удачно. Обычно исхиаподы не друзья блегмам. — Он засунул пальцы в рот и испустил продолжительный, отлично модулированный свист. Через несколько секунд ковыли раздвинулись и вынырнуло новое создание, очень непохожее на исхиапода. Но зная заранее, что появится блегм, путешественники были готовы видеть именно

то, что им представилось. Широкоплечая, очень коренастая фигура с тонкой талией, на двух низких волосатых ногах и без всякой головы, равно как без шеи. На груди, там, где у людей находятся соски, открывались миндалевидные выразительные очи; между ними невысокое вздутие с двумя ноздрями и округлая дыра, весьма подвижная, так что стоило пришельцу заговорить, отверстие заерзало и закривилось в зависимости от того, какие оно исторгало звуки. Гавагай что-то стал втолковывать новоприбывшему и показывал на посетителей рукой. Тот, по всей очевидности, кивал, то есть пригибал плечи вперед, как будто кланялся.

Он приблизился к присутствующим и сказал им примерно следующее: — Оуиии, оуиоиоиои, ауэуа! — Посетители дружески предложили ему чашку воды. Блегм достал из заплечного мешка тростинку и, заправив ее в отверстие, расположенное ниже носа, высосал всю воду из чашки. Баудолино предложил ему круглый сыр. Блегм приставил сыр ко рту, тот внезапно растянулся по размеру сыра и еда заскочила в дыру. Блегм сказал: — Эуаои оэа! — Потом поднес руку к груди, то есть ко лбу, как будто в чем-то поклялся, помахал новым знакомым обеими руками и сно-

ва нырнул в траву.

— Он дойдешь быстрее нас, — сказал Гавагай. — Блегм не бегаешь как исхиапод, но проворней, чем тягучие животные, эти вот под вами. А кто будешь эти звери?

— Кони, — ответил Баудолино; он так и знал, что в царстве Иоанна не существует лошадей.

— Что такое кони? — спросил любопытный исхиапод.

— Вот как эти самые, — ответил ему Поэт. — Такие точно.

— Я благодаришь. Вы будешь сильные люди, едешь на животных, таких самых, как кони.

— Ладно, послушай. Вот ты говоришь, что исхиаподы с блегмами не дружат. Что, они не из того же царства или, как там ее, провинции?

— Нет, мы и они все вместе будешь слуги пресвитера. С нами тут еще есть понцы, пигмеи, гиганты, паноции, безъязычники, нубийцы, евнухи и сатиры-никогда-и-ни-где-невидимки. Все предобрые христиане, надежные слуги Диакона и пресвитера.

— Вы не дружите, потому что отличаетесь?

— Что такое отличаетесь?

— Ну, в смысле что ты отличаешься от нас…

— Чем я отличаешься от вас?

— Господи Иисусе, — вышел из себя Поэт. — Потому хотя бы, что ты вон на одной ноге! Мы на двух, и блегмы тоже на двух!

— Вы и блегмы, если поднимешь от земли вторую ногу, будешь на одной ноге.

— Да, но у тебя нет второй, чтоб ее поднять!

— Зачем мне поднимать ногу, которой нет? Ты разве поднимаешь третью ногу, которой у тебя нет?

Примирительно вмешался Бойди. — Гавагай, ну согласись тогда, что у блегма нет головы.

— Почему нет головы? Глаза есть, нос и рот есть, он говоришь, он ешь. Разве ешь и говоришь, если не имеешь головы?

— Но ты что, не замечаешь, что у блегма нету шеи, а на шее нет той круглой штуки, которая и у тебя, и у нас на шее есть, а у него нет?

— Что такое замечаешь?

— Видишь, обращаешь внимание, ну, в общем, как-то узнаешь!

— Ты, верно, хочешь сказать, что он не совсем такой самый, как я. Что моя мать не перепутаешь меня и его. Но и ты не такой самый, как этот твой друг, потому что он имеешь полоску на щеке, а ты не имеешь. И твой друг не такой самый, как вон тот черный, наподобие Волхва. А тот черный

отличаешься от этого, с черной бородой, как у раввина.

— А почему ты знаешь, что у меня борода, как у раввина? — горячо переспросил Соломон, имея в виду, похоже, потерянные колена и надеясь найти в словах Гавагая подтверждение, что те либо проходили здесь, либо обитали в этом царстве. — Ты что, представляешь себе других раввинов?

— Я не представляешь, но у нас каждый говоришь: борода как у раввина. Говоришь так каждый у нас в Пндапетциме.

Борон подвел итог: — Все понятно. Этот исхиапод не видит разницы между собой и блегмом, ну разве что незначительную, как мы видим между Порчелли и Баудолино. Если подумать, это нередко наблюдается по отношению к иностранцам. Возьмем двух арапов, сильную ли мы увидим разницу?

— Не сильную, — отвечал Баудолино. — Но блегм с исхиаподом не в том же положении, что мы и арапы. Мы видим арапов только когда приезжаем к ним. А эти живут в одной и той же провинции! И заметь, он прекрасно отличает одного блегма от другого. Он же сказал, что встретил дружественного блегма, в то время как с другими блегмами он не дружит… Послушай,

Гавагай. Ты говоришь, что в вашей провинции живут, кроме прочего, и паноции. Я знаю, каковы собой паноции. Они такие же люди, как мы, только вот уши у них огромные, доходят до бедер, и когда холод, они ими обматываются, как плащом. Я правильно описал?

— Да, они такие самые, как мы. У нас тоже уши.

— Но не до бедер же, бог мой!

— И у тебя уши большие, не то что у вон того друга.

— Но не как же у паноциев, проклятье!

— Всякий имеешь уши, которые дадены матерью.

— Раз так, почему ты говоришь, что исхиаподы не дружат с блегмами?

— Блегмы худо мыслишь.

— В каком смысле худо?

— Блегмы христиане, но они отметные. Они phantasiastoi. Хотя и они в убеждении, точно как мы, что Сын не единой природы с Отцом, поскольку бытие Отца извечно, а Сын, Он сотворен Отцом, и не по необходимости, а по своей воле, но в то время как мы провозгласишь: значит, Сын есть приемное детище Божие, блегмы еще добавишь: да, Сын не единой природы с Отцом,

но будучи Словом, он, хоть и приемное детище, однако не способен воплощаться. Значит, Иисус не воплотишься. И виденное апостолами это только… так просто не скажешь… phantasma…

— Чистая видимость.

— Точно. Они говоришь, что только фантазм Сына был распят на кресте. Сын не был рожден в Вифлееме, не был рожден от Марии. Некогда у реки Иордан Он был явлен Иоанну Предтече и все тогда скажешь: ах! ах! Но если Сын не был воплощен, как скажешь: ядый мою плоть и пияй мою кровь? Потому-то у блегмов нет причастия хлебом и бурком.

— Иначе им пришлось бы причащаться этой выпивкой, как ты там его называешь… бурком… через трубочку, — сказал Поэт.

— Ну, а паноции? — спросил Баудолино.

— О, паноциям неважно, чем был занят Сын, сошедши на землю. Они радеешь лишь о Духе Святом. Понимаешь, они говоришь, что христиане на Западе думаешь, будто Дух Святый исходишь и от Отца, и от Сына. Паноции не согласны. Они утверждаешь, что Сын добавлен после и что в Константинопольском кредо не сказано так. Дух Святый для них исходишь исключительно от Отца. Они думаешь супротивно пигмеям. А пигмеи

говоришь, что Дух Святый только от Сына. А от Отца Духа нет. Паноции хуже всего ненавидишь этих инакомыслящих пигмеев.

— Друзья, — подытожил Баудолино, — мне кажется очевидным, что разные здешние породы существ не придают значения несходствам телесного вида, цвета кожи, телосложения; совершенно не то, что мы, которые пред лицом карлика полагаем, будто видим ошибку природы. В то же время, обратно сему, как, впрочем, и многие наши любомудрствователи, здешние придают значение разным толкам относительно природы Христа, а также Пресвятой Троицы… Об этих толках мы с вами много слыхивали рассуждений в Париже. В этом свойство здешней мыслительной особости. Попытаемся понять его, потому что в противном случае наша судьба вечно ввязываться в прения. Бог уж с ними, сделаем вид, что для нас что блегм, что исхиапод, все едино. А уж что они думают о природе Господа, это нас и подавно не касается.

— В малой мере, в какой я смог понять, вижу, исхиаподы разделяют отвратительную ересь Ария, — сказал на это Борон, который, как обычно, был из всех самым начитанным.

— И что с того? — перебил Поэт. — По мне, все

это болтовня для greculi. Мы на севере больше интересуемся, как отличить законного папу от антипапы… Подумать только, ведь совсем недавно отличие это зависело только от мнения моего покойного принципала Рейнальда… Ладно, каждый ошибается, как может. Баудолино прав. Сделаем вид, что нам все равно. Хотел бы я взглянуть на этого Диакона… Я и на его счет не обольщаюсь, но по крайней мере его зовут Иоанн.

Посему Гавагая попросили сопроводить компанию в Пндапетцим, и он отправился впереди, умеряя прыжки, чтоб кони за ним поспевали. Через два часа они добрались до берега ковыльного моря и вышли на местность, где изобиловали оливы и фруктовые деревья. Под деревьями сидели и с любопытством смотрели на пришельцев существа почти человечьей наружности. Они приветственно махали руками, но вместо слов изъяснялись завываньями. Это были, объяснил Гавагай, безъязычники, живущие за околицей города, потому что они мессалиане, верующие, что на небо попадают через усердную молчаливую молитву, без причащения Святых Таинств, без исполнения богоугодных дел и без обуздания плоти, и вообще без отправления церковных

служб. Они не ходят в церкви Пндапетцима. Их недолюбливают, потому что они утверждают, что и труд тоже богоугодное занятие и потому трудиться не надо. Живут в большой бедности, питаются плодами от окрестных деревьев, которые, впрочем, принадлежат всему обществу, а они пользуются без всякого зазрения.

— В остальном они такие самые, как вы? — подзуживал Гавагая Поэт.

— Такие самые, как мы, когда молчим.

Горы все приближались; по мере этого путники все отчетливее могли разглядеть их форму. За каменистой россыпью постепенно взбугривались мягкие всхолмия желтоватого цвета, как будто бы, по мнению Коландрино, это были сбитые сливки, или нет, горстки сахарной пудры, о, опять не то, похоже было на песочные куличики, поставленные ровненько рядом: на рощу куличиков. А за куличиками торчали каменные пальцы, увенчанные нашлепками из более темного материала, наподобие шляпок, то остроконечных, то плоских, выступавших вперед и во все стороны над стволами. Двигаясь дальше, путники попали в гущу менее остроконечных сопок. На поверхности каждой сопки было множество дыр, чисто пчелиные гнезда. Путники, присмотревшись,

убеждались, что дырки служат людскими жилищами. Каменные поместилища и выдолбленные в скале гроты приспособились для обитания. К их устьям были подведены легкие деревянные лестницы, лестницы пересекались на разных этажах и все вместе образовывали вокруг каждой скалистой громадины воздушную обитаемую сетку, в которой, как с отдаления представлялось, сновали какие-то мелкие муравьи, — это и было население, — книзу и кверху.

В середине города виднелись настоящие большие здания, даже, можно сказать, дворцы, но и они были врезаны целиком в массив, откуда выступали только фасады на несколько локтей, и все это в высоте. Дальше вырисовывалась самая величественная громада, но и она неровного вида, с разбросанными по поверхности отверстиями, на этот раз почти геометричной формы, наподобие окон и дверей. Многие проемы были украшены террасами, лоджиями, балкончиками, над некоторыми входами развевались цветные тканевые навесы, а над другими были прицеплены соломенные циновки. В общем, все поселение являло собою природный дол посередине дикого отрога и в то же время центр многонаселенного и живого города, хоть и не столь гармонично вы-

строенного, как можно было надеяться увидать.

Что город был многолюдным и живым, доказывала подвижная толпа, наполнявшая собой все полуулицы и полуплощади, то есть все балки и ложбины между пиками, вершинами и самородными пирамидами. Это была толпа разношерстная, с многочисленными собаками, ослами и вьючными верблюдами, которых путники встречали с самого начала похода, но никогда не видели разом так много, к тому же настолько всеобразных, как в этом месте: и одногорбых, и двугорбых, и даже трехгорбых. Они увидели огнеглотателя, окруженного зеваками, державшего на поводке пантеру. Но больше всего их поразили проворные четвероногие, служившие тягловой силой. У этих тварей имелось конское тулово, долгие ноги на бычьих копытах, все тело желтого с коричневыми пятнами окраса, а самое странное, до чего длинна была у них шея, и на той крайней высоте торчала маленькая верблюжья голова, увенчанная рогами. Камелопарды, сказал Гавагай. Ловить их сложно, очень уж они быстро умеют бегать. Только исхиаподам под силу их догонять и обуздывать на бегу.

В сущности, невзирая на своеобразие площадей и улиц, город являл собой бесконечный базар.

На каждом возможном месте была то раскинута палатка, то разложен ковер, то оперта доска на двойную балку. На досках и на коврах были выложены на продажу фрукты, мясо (похоже, здесь в ходу была камелопардятина), радужно-красочные ковры, одежда, ножи из черного обсидиана, каменные топоры, глиняные чаши, ожерелья из косточек и из желтых и красных камушков, шляпы причудливых видов, шали, одеяла, ларцы из резного дерева, землекопные орудия, мячи и тряпичные куклы для малышей, а также амфоры с лазурными, янтарными, розовыми, лимонными настоями и миски, полные перца.

Единственное, чего на этой выставке вообще не было, это предметов из металла. Начали спрашивать, выяснилось, что Гавагай не понимает, о чем идет речь, и никогда не слыхал ни о железе, ни о металлах вообще, ни о бронзе, ни о меди, какими бы словами и на каких языках ни именовал их Баудолино.

Среди толпы во все стороны двигались кипучие исхиаподы, вприпрыжку и вприскачку переносившие на головах полные добра корзины. Видны были и блегмы, но те большею частью сидели в отдельных будках и продавали кокосовые орехи. Паноции-мужчины размахивали бескрайними

ушами, а женщины стыдливо запахивали ими грудь и прижимали у подбородка, будто шали. Все прочие существа, казалось, сошли с миниатюр, прямо из тех изумительных книжек, над страницами которых Баудолино приходил в экстаз, вдохновляясь для писем своей Беатрисе.

Они миновали тех, кто, вероятно, носил имя пигмеев: темно-смуглая кожа, соломенная набедренная повязь, на шее болтается лук, тот самый, из которого беспрестанно они бьют стрелами журавлей, неотвязных своих злодеев. Видно было, что в этих баталиях пигмеям нередко достается роль победителей, поскольку они предлагали на продажу свою убоину, которую тащили на жердях, держа по двое с каждого конца, до того были увесисты журавли. Крупные туши волоклись по земле, пигмеи подвязывали их к жердям за шеи так, чтоб в пыли оказывались лапы. После прохода пигмеев на пыльных дорогах оставались извилистые следы.

Дойдя до понцев и припомнив все о них читанное, друзья не могли не окинуть любопытным взглядом этих диковинных существ на палочных бессуставных ногах, решительно печатавших шаги своими конскими копытами. Удивительней всего было, что у мужчин детородник болтался

прямо под подбородком, и там же было расположено у женщин производительное место, только женщины целомудренно укрывали его под платками, завязанными узлом на спине. В полном согласии с традицией, они пасли шестирогих козочек и именно ими торговали здесь в городе на базаре. — Ну точно все так, как написано в книгах, — не переставал восхищаться Борон. Потом он прокричал погромче, чтоб услышал Ардзруни: — И в книгах, в тех самых книгах, пишут, что в природе нет пустоты. Понцы существуют. Следовательно, пустоты не существует. — Ардзруни передернул плечами и продолжал интересоваться самым для себя насущным: не продается ли где-нибудь настойка, высветляющая кожу.

Для наведения порядка в многолюдном торгующем рое то и дело появлялись отряды черных людей высокого роста, до пояса обнаженных, одетых в мавританские шаровары, белые тюрбаны, вооруженных узлистыми дубинами, одним ударом которых они, конечно, уложили бы вола. Обитатели Пндапетцима как мухи налетали поглазеть на новоприбывших, а скорее на их лошадей, которых здесь, несомненно, не видывали; но чуть стоило публике затолпиться, чернокожие охранники одним своим приближением разгоня-

ли скоп народа. Им достаточно было повертеть в воздухе дубинами, и переполненное место тотчас опустевало.

От внимания Баудолино не укрылось, что в любой людной точке не кто иной как Гавагай подзывал знаками черных служителей. Дело в том, что из толпы многие выражали жестами, что готовы послужить провожатыми для новоприбывших. Видимо, Гавагай не желал ни с кем разделять свою роль и красовался перед сородичами: — Эти гости мои, и не подумайте коснуться их!

Что же до чернокожих, то они, как пояснил Гавагай, были нубийские охранники Диакона, предки которых переселились из дальних областей Африки, но теперь они давно уже не чужие в провинции, поскольку множество их поколений обитает на окраине Пндапетцима, и Диакону они преданы до самозабвения.

Потом наши друзья увидели, что нубийцы — не самые рослые в городе. Над ними высились на несколько пядей великаны, огромного размера, об одном глазу. Нечесаные и драные, они или строили жилища в толще стены, или пасли овец и быков, управляясь с бесподобною ловкостью, поскольку каждого быка могли повернуть за рога,

а если баран отбивался от стада, то без какой бы то ни было собаки они возвращали его восвояси, легонечко ткнув кулаком.

— Вот эти тоже ваши враги? — спросил Бау-долино.

— Никто никому не враги, — отвечал Гавагай. — Ты видишь, все тут со всеми совместно продаешь, покупаешь, по-свойски, по-христиански. Потом каждый вернешься в свой дом, не будешь с другими ни есть, ни спать. Всяк думаешь, как себе пожелаешь, даже кто думаешь худо.

— А великаны думают худо?

— О! Великаны так худо, что хуже невозможно! Они артотириты! Думаешь, будто Христос на Тайной Вечери пресуществил хлеб и сыры. Они говоришь, что это нормальное питание древних патриархов. Так они богохульно причащаешься хлебом и сыром и считаешь еретиками всех, кто пьет пресуществленный бурк. Да вообще у нас тех, кто думаешь худо, большинство. Кроме только одних исхиаподов.

— Ты говоришь, что в вашем городе есть и евнухи? И они тоже мыслят инако?

— Я не говоришь про евнухов. Евнухи слишком сильны. Не чета простецам. Но и они мыслишь

инако.

— А за вычетом инакомыслия, по-твоему, и евнухи такие самые, как ты?

— А что, у нас что-то разное?

— Да ты, попрыгун дурацкий, — неистовствовал Поэт, — ты с феминами-то знаешься?

— Знаешься. С исхиаподскими. Они не мыслят инако.

— Так значит, ты засаживаешь этим исхиаподским феминам этот самый твой дрюк, только где же он у тебя?

— Под коленкой, как у каждого.

— Хоть у меня он вовсе не под коленкой, и хоть мы видели давеча, что у кого-то он над пупом, но мне сейчас интересно только, знаешь ли ты, что у евнухов его вовсе нет и что с феминами они не спознаются?

— Ну, наверное, евнухам не нравишься фемины… Наверно, потому, что в Пндапетциме не найти фемин евнухов! Бедные евнухи, не находишь себе фемины и не можешь спознаваться с феминами блегмов или паноциев, ибо те мыслишь инако!

— Ну, хоть глаз-то, глаз-то у великанов один, а у тебя два!

— И у меня один. Вот я закроешь глаз и имеешь

один глаз.

— Держите меня, я его убью, — скрежетал Поэт зубами.

— Ладно, — сказал на все это Баудолино. — Блеммы мыслят инако, великаны мыслят худо, все на свете мыслят худо, кроме вас, исхиаподов. А что скажешь насчет мыслей диакона?

— Диакон не мыслишь. Он повелеваешь.

В конце этого разговора один нубиец бросился прямо под копыта Коландринова коня и на коленях, протягивая руки, склоняя выю, заголосил что-то на неизвестном языке. По тону было понятно, что речь идет о слезной просьбе.

— Что ему надо? — спросил Гавагая Коландрино. Тот отвечал, что нубиец умоляет за ради бога отрубить ему голову тем славным мечом, который у Коландрино на поясе.

— Чтобы я убил его? С чего вдруг?

Гавагай находился в затруднении. — Нубийцы странные. Ты знаешь, они циркумкелионы… околокелейные… Хорошие воины, их мечта принять мученичество. Теперь нет войны, все равно их мечта принять мученичество. Нубийцы как дети. Подавай им и все, и сразу. — Он хорошенько отчитал нубийца, и тот удалился, повесив нос. На вопрос, кто такие эти околокелейные, Гава-

гай сказал, что они цир-кумкелионы, и что это относится ко всем нубийцам. Потом добавил, что закат уже почти наступил, что на рынке все сворачивают торговлю и пора подниматься на башню.

Толпа редела на глазах. Торгующие собирали товары в большие корзины. Из-под разных арок, разверзавших собою скалистую стену, выпускались бечевки и чьи-то руки втягивали в жилища корзины и тюки. Мельтешня, беготня продлились недолго, все вокруг стало пустынно. Город замерещился необъятным погостом с множеством гробовых ниш. Хорошо, что одна за другою ниши засветились, это обитатели Пндапетцима зажигали печи и фонари, готовились к вечеру. Через непонятно где проходящие дымоходы от печей в высоту на оконечностях горных вершин стал вытягиваться дым, и белесое неказистое небо зачернело полосками, которые постепенно вливались в облака.

Так они прошли остававшийся участок Пндапетцима и попали на площадку, за которой замыкалась стена, отрезая всякую дорогу. Полувделанная в толщу горы, перед путниками высилась единственная рукотворная постройка этого города. Это была башня, то есть нижняя

часть уступчатой башни, понизу широкая, по мере повышения сужавшаяся, но не на манер стопки лепешек, каждая новая чуть поменьше низлежащей, а сужавшаяся по спирали, за счет дорожки, непрерывно переходившей со ступени на ступень, входившей в гору, выходившей из горы: эта дорожка вела от основания каланчи к ее макушке. Вдобавок башня была пронизана арочными дверями, плотно приставленными друг к другу и разделенными за счет косяков. Получалось чудище о тысяче очей. Соломон сказал, что таково должно было быть столпное творение, возведенное в Вавилоне жестоким Нимвродом, дабы бросить вызов Ему, благословенному Святому Творцу.

— И это, — проговорил Гавагай пламенно и горделиво, — это дворец Диакона Иоанна. Вы постоишь тут и подождешь. Им уже ведомо, что вы прибываешь, и будешь торжественная встреча. А мне пора в путь.

— Куда ты уходишь?

— Мне не позволено в башню. Когда вы будешь на обратном пути от Диакона, вы снова меня тут встретишь. Я ваш вожатый по Пндапетциму. Я вас не брошу. Надо остерегаться евнухов, он молодой, — и показал пальцем на Коландрино. —

Евнухам нравишься молодой. Аве, евхаристия, салям. — Он попрощался, вытянувшись в струнку на ноге, почти военно-щеголевато, развернулся и через миг был уже далеко.

30
Баудолино встречает диакона Иоанна

Когда они были за полсотни шагов от башни, оттуда вышла процессия. В авангарде выступали нубийцы, убранные поприличнее, нежели те, что надзирали на рынке. Эти от пояса и ниже были обмотаны белыми лентами, пеленавшими ноги, и прикрывались юбочками до половины бедра. Голые до пояса, с плеч свисали красные плащи, у горла болтались кожаные ошейники с цветными инкрустациями, но не с ювелирными каменьями, а с обыкновенными речными гальками, выложенными в узор. На головах нубийцев красовались белые колпаки с кисточками. На бицепсах, вокруг запястий и на пальцах — браслеты, кольца: все из витых бечевок. Шедшие впереди играли в дудки и били в бубны, второй же ряд нес угрожающие дубины, оперев на крепкое плечо. Третий ряд был вооружен только луками, повешенными через грудь. Следующий этап образовывали те, кто, безусловно, должен был именоваться евнухами. Их облекали мягкие

широкие одежды, их лица покрывал женский грим, тюрбаны были как кафедральные соборы. Шедший у них посреди нес полную тарелку лепешек. По его следам, под прикрытием двух нубийцев, овевавших его опахалами из павлиньих перьев, выступал тот, кому принадлежал главный сан в этой веренице. На нем был тюрбан выше двух кафедральных соборов, выплетенный из шелковых тканей всех существующих цветов. В уши просунуты серьги из разноцветных камушков, а на руках — много браслетов, в которые были вплетены яркие пестрые птичьи перья. У него тоже длинное платье добалтывалось до пола, он единственный из всех был опоясан голубой шелковой лентой в пядь высоты, а на шее носил разрисованное деревянное распятие. Он был уже в почтенных летах. От подкраски губ и подводки глаз заметней были дряблость кожи и колыхавшийся при ходьбе зоб. Пухлые пальцы оканчивались непомерными ногтями под розовым лаком.

Приблизившись к путникам, пышный ход замер. Нубийцы расступились в две колонны, евнухи более скромного званья преклонили колени, тот, что с тарелкой, поклонился и предложил угощаться. Баудолино с товарищами,

поколебавшись, спешились, приняли по куску лепешки и старательно зажевали, одновременно благодаря и кланяясь. На их благодарности отозвался главный евнух, он простерся лицом в пыль, затем встал и повел свою речь по-гречески. — От рождения Господа Иисуса ожидаем мы вашего возвращения, если вы, разумеется, те, о ком мы радеем, и мне горько было узнать, что двенадцатый из вас, однако первый, как все вы, между христианами, отбился от пути из-за козней немилосердной натуры. Ныне, обязав охранников безустанно осматривать горизонт в ожидании чаемого гостя, желаю вам счастливого пребывания в Пндапетциме, — произнес он скопческим голосом. — От имени диакона Иоанна вас приветствует Праксей, верховный распорядитель придворных евнухов, протонотариус провинции, единоличный представитель диакона пред лицом пресвитера, главный хранитель и логофет Таинственного Пути. — Он произнес все это так, как будто даже Волхвам следовало опешить перед лицом подобного великолепия.

— Ничего же себе, — крякнул Алерамо Скаккабароцци, с известным прозвищем. — Ну дает!

Баудолино часто обдумывал, как, приди час, он представится пресвитеру. Но ему не приходило

в голову просчитывать, как надо будет представляться главному евнуху пресвитерова диакона. Осталось следовать намеченной линии. — Государь мой, — сказал он. — Я выражаю нашу живую радость по случаю входа в сей благородный, богатейший, видный город Пндапетцим, которого пышнее и изобильнее мы не встречали ни единого на всем нашем пути сюда. Мы прибыли издали и доставили пресвитеру Иоанну дивную реликвию христианского человечества: чашу, из коей Иисус пил во время Тайной Вечери. К сожалению, нечистый дух, полный зависти, выпустил супротив нас враждебные силы естества, способствовав потере одного из собратьев, того самого, кто являлся носителем дара, купно и прочих подтверждений нашего почтения к Иоанну пресвитеру…

— С ним пропали, например, — вмешался Поэт, — сотня слитков цельного золота, двести больших обезьян, корона в тысячу золотых ливров со смарагдами, десять низок несравненного жемчуга, восемьдесят ящиков слоновой кости, пять слонов, три прирученных леопарда, тридцать псов-людоедов и тридцать боевых буйволов, триста бивней, тысяча пантерьих шкур и три тысячи эбеновых палок!

— Мы слышали о таких богатствах и о веществах, нам самим незнакомых, коими полна земля, в пределах которой закатывается солнце, — отвечал Праксей, и глаза его блестели. — О хваление небесам, если прежде, чем оставлю здешнюю юдоль слез, я сподоблюсь узреть сие!

— Что, не мог ты заткнуть свой вонючий рот? — бормотал Бойди за спиной у Поэта, тыча тому в ребра кулаком. — А как явится Зосима и как увидят, что он еще хуже оборванец, чем мы?

— Цыц, — шипел ему Поэт, перекосившись. — Мы же говорим, что во всем виноват нечистый: коли так, нечистый унесет сокровища. Кроме Братины.

— Ох, сейчас пришлось бы кстати что-нибудь… сунуть бы им, пусть увидят, что мы не такие уж голоштанные… — не успокаивался Бойди.

— Может, голову Крестителя? — прошептал Баудолино.

— Голов вообще-то всего только пять, — процедил Поэт, не разжимая губ. — Но это не имеет значения. Пока мы остаемся в здешнем царстве, остальные головы все равно пристроить невозможно.

Один Баудолино знал, что вместе с Абдуловой головой их по-прежнему шесть. Он нашарил

одну в своем мешке и подал ее Праксею, с объяснением, что до поры до времени, пока эбены и леопарды еще не подошли, они желают преподнести диакону единственный памятный знак, сохранившийся на нашей земле от мужа, коему некогда выпало крестить Спасителя.

Праксей в потрясении принял в руки предмет, для него бесценный хотя бы за счет блестящего футляра, выполненного из того желтого вещества, о коем он слышал восторженные рассказы. Торопясь почтить священные останки и с видом, будто любой дар диакону поступает в его, Праксея, личное владение, тот разломил без усилия череп (следовательно, это была Абдулова голова, незапечатанная, отметил Баудолино), взял в ладони коричневый высохший шар, чудесное произведение Ардзруни, и возопил сдавленным голосом, что никогда за всю жизнь не созерцал более ошеломительной святыни.

Какими именами, спросил евнух, величать почтеннейших посетителей? Предание донесло до нас несметное число именований, никто не знает, какие истинные. С великой осторожностью Баудолино высказался на сей счет, что-де хотя бы до тех пор как не предстанут пред очами пресвитера, они желают прозываться так, как их

всегда звали на далеком Западе. И перечислил имена присутствующих. Имена Ардзруни и Бойди показались Праксею волшебными; Баудолино, Коландрино и Скаккабароцци, торжественными и пышными. А услышав, как зовут Порчелли и Куттику, он как будто побывал в экзотическом путешествии. Согласившись уважать скромность новоприбывших, он переменил тему речи: — А теперь прошу входить. Час уж поздний, диакон вас примет завтра. Нынче вы мои гости. Заверяю вас, что ни одно пиршество не бывало богаче и обильней. Вы отведаете кушаний, которые заставят вас презирать все, что вам предлагалось в тех землях, где солнце закатывается.

— Какие ободранцы. У нас последняя баба доконала бы мужа, но оделась бы лучше них, — бубнил Поэт. — Мы дотащились досюда, мы натерпелись всего, что приходилось терпеть! Чтоб видеть россыпи смарагдов! Когда мы писали письмо пресвитера, тебя тошнило от топазов! А тут, оказывается, носят речные камушки на грязных веревочках и думают, что переплюнули всех богачей!

— Ты помолчи, там видно будет, — шептал Баудолино.

Праксей во главе колонны повел их внутрь

башни. Они оказались в безоконной зале, со светом от факельных треног, посередине на раскатанном ковре стояли миски и подносы из глины, а по бокам были подушки, где и расселись приглашенные, подвернув под себя ноги. Прислуживали отроки, несомненные евнухи, полунагие, умащенные благовониями. Они обнесли пришедших ароматическими мазями, в которые евнухи окунали пальцы, потом ими терли мочки ушей и ноздри. Окропляясь, евнухи вяло приласкивали юношей. Потом те подошли с духами к новоприбывшим, и те последовали обычаю этих мест, хотя Поэт прорычал, что если до него хоть кто-нибудь дотронется, он вышибет тому все зубы единым тыком.

На ужин было подано много хлеба, то есть давешних лепешек; горы вареных овощей с преобладанием капусты; капустная вонь, однако, в нос не шибала, поскольку все было посыпано специями; миски бурого горячего соуса, называвшегося «сорк», в который следовало обмакивать лепешки; Порчелли, пригубивший первым, так кашлял, как будто ему сунули в нос уголь, так что друзья, на него глядючи, заопасались и едва отведали приправу (тем не менее все равно их ждала ночью неутишная жажда); сухая, тощая речная

рыба, называемая финсиретой (гляди-ка, дивовались наши путники), обвалянная в манной крупе и утопленная в кипящем масле, которое, верно, не меняли в течение многих трапез; суп из семени льна, так называемый «марак», по определению Поэта имевший вкус дерьма, и в супе плавали непроваренные и жесткие, будто сырая кожа, куски какого-то пернатого, о котором сказал Праксей, что это метацыпленарий (ну надо же, хмыкали путники, перепихиваясь локтями), горчица, называемая «ченфелек», с добавлением цукатов, но жгучести в ней было до отказа, а цукатов недостаточно. При каждой перемене блюд евнухи сладострастно кидались на новое и прожорливо жевали, причмокивая губами, чтоб передать все наслаждение, и перемигивались с гостями, как будто говоря: «Вот вкусно, правда? Воистину дары небес!»

Они любую пищу ели руками, не исключая супа: зачерпывали его горстью. Что же до прочего, они грубо мешали все со всем в ладони и заправляли полный кулак в рот. И все это одной правой; левую держали на плече у мальчика, который приставлен был служить. Руку они снимали, только когда хотели пить; хватали этой левой кувшины, подымали высоко над головою и лили

воду из кувшина в рот, разбрызгивая фонтаном.

В самом конце этого царского приема Праксей махнул, и нубийцы внесли чарки с белесым пойлом. Поэт молодецки опрокинул содержимое в глотку, хрипнул, заалел и рухнул на землю, так что его пришлось приводить в сознание всем сбежавшимся отрокам и лить ему в лицо воду. Праксей пояснил, что винное дерево в их краях не водится; единственный продукт, из которого гонят алкоголь, это «бурк», довольно распространенная местная ягода. Беда, что настой получается до того ядреный, что принимать его внутрь можно только крошечными глотками, лучше даже слизывать по капле с краев чарки. И прискорбно, что нет того вина, о котором пишут евангелисты, потому что священнослужители в Пндапетциме всякий раз, когда служат мессу, ниспровергаются в самое достопорицаемое пьянство и с трудом дотягивают до заключительной части.

— Впрочем, чего еще ждать от этих уродов? — безнадежно вздохнул Праксей, беседуя в углу с Баудолино, в то время как другие евнухи, любопытствуя и повизгивая, осматривали железное оружие путешественников.

— Уродов? — переспросил Баудолино с напуск-

ной наивностью. — А я-то думал, что тут никто не замечает удивительных расхождений с окружающими.

— Ты уже слышал разговоры одного, — ответил Праксей, глумливо осклабливаясь. — Живут все вместе веками, привыкли к остальным и отказываются видеть уродства соседей, не говоря уж о собственных. Они уроды, конечно, и больше смахивают на тварей, чем на людей, еще и плодятся, как кролики. Извольте повелевать таким народом, вдобавок твердой рукой, чтобы они не перегрызлись из-за ересей. Поэтому много веков назад пресвитер всех их выселил сюда, на околицу державы, чтоб не смущали гадким видом доброкачественных подданных, которые, заверяю тебя, сударь Баудолино, все отменно хороши собой. Однако естественно, чтоб естество порождало и уродов, и даже удивительно, что полностью в чудовищ не выродилось все человеческое племя, после того как совершило самое жуткое преступление, распяв на кресте Отца-Бога.

Тут Баудолино смекнул, что худо мыслят также и евнухи, и задал несколько вопросов. — Некоторые из этих чудищ, — сказал ему Праксей, — полагают, что Сын был только усыновленным для

Отца. Другие, надрываясь, оспаривают, кто из кого произошел, и всякий погрязает в свойственном ему, уроду, химерическом заблуждении, преумножая ипостаси Божественного, веруя, будто бы Высшее Благо имеет три различные сущности, а иные веруют, будто четыре. Кумирники! Божественная сущность лишь одна. Она и есть порождающая: се Отец. Она и есть порождаемая: се Сын. Она и есть преосвящающая: се Дух Святый. Это одно единое божественное естество. Все прочее личины, коими укрывается Господь. Единая сущность и одно тройственное лицо! А не, как утверждают иные еретики, три лица в одной сущности! Но если это так, и если Бог, целиком, заметь, а не уполномочивая какого-то усыновленного отпрыска, Бог принимает исполнение телесное, следовательно, Отцом был распятый на кресте. Распять Отца! Постигаешь? Только отъявленная порода могла дойти до такого бессрамия. Задача верующих — мстить за Отца. Ни капли жалости к отъявленной породе Адамовой!

С тех пор как начался рассказ о странствии, Никита слушал в молчании, не перебивая Баудолино. Но тут он все же вмешался, почувствовав, что собеседник колеблется и не знает, как истолковывать рассказываемое. — Ты думаешь, — спросил

он, — евнухи ненавидели род людской за то, что люди замучили Отца, или они ударились в эту ересь из-за того, что ненавидели род людской?

— Вот именно этим вопросом задался и я в тот вечер и впоследствии, но ответа не смог найти.

— Я знаю, как мыслят евнухи. Я многих их узнал при императорском служении. Сосредоточивают в руках власть, дабы избыть зависть к тем, кто способен рождать. Однако часто, как показывает мой долгий опыт, многие, не являющиеся евнухами, пользуются властью, дабы выразить то, что в ином случае не смогли бы сделать. Может быть, более всеохватна страсть повелевать, чем совокупляться.

— И еще многое смущало меня. Суди сам: евнухи в Пндапетциме составляли касту, воспроизводившуюся по избранию, поскольку сама природа не предоставляла другого пути. Праксей сказал, что поколение за поколением старейшины выбирают миловидных молодых и приводят их к своему собственному состоянию, делая сперва рабами, а потом наследниками. Где они брали этих молодых, привлекательных и соразмерных, если во всей округе Пндапетцима обитали только всякие чуда-юда?

— Вне всяких сомнений, евнухи происходили

из иностранной державы. Так бывает и в армиях, и в общественных правлениях: власть имущие часто не принадлежат к тому сообществу, которым правят, и, следовательно, не испытывают ни снисхождения, ни участия к подданным. Может, так захотел пресвитер, может, он так устроил с целью обуздывать этот народ, разнохарактерный и склочный.

— И посылать на смерть без угрызений. Потому что из слов Праксея я сделал еще два вывода. Пндапетцим стоял на границе царства пресвитера. За ним было только ущелье, оно вело в пресвитерову провинцию, а на скале, нависавшей над ущельем, были расквартированы нубийские охранники, готовые скинуть лавину камней на голову тем, кто сунется в запретный проход. Ущелье выводило в нескончаемое болото, где нельзя было не увязнуть. Грязи и пески находились там в постоянном зыбучем течении. Утянув ногу до колена, они уже не отпускали никого, и путника засасывало с головой, как под воду. Через болото был только один надежный ход, он позволял успешно пройти трясину, но ведом был только евнухам, одни евнухи знали приметы. То есть Пндапетцим был вратами, обороной, замком на дороге в царство.

— Поскольку вы были первыми посетителями за невесть сколько столетий, эта оборона, думаю, не была обременительна.

— Да нет, наоборот. Праксей оповестил меня… крайне туманно, как будто имя угрожавших находилось под запретом… но все же потом вполголоса решился мне рассказать, что вся провинция пребывала в страхе перед воинственным народом, перед белыми гуннами, которые в любую минуту могли устроить набег. Если б они пошли войной на Пндапетцим, евнухи послали б исхиаподов, блегмов и прочих чудищ на верную гибель, чтоб хоть немного задержать армию. Тем временем они провели бы диакона через ущелье и повалили столько глыб, чтобы проход сделался невозможен, а сами упрятались бы в царство. В случае неудачи плана, во избежание поимки, поскольку гунны могли бы принудить кого-то из них, скажем, под пыткой, выдать секрет единственного пути к пресвитеру, их обучили в плен не даваться, а принять яд, который у каждого евнуха имелся в повешенном на шею кульке, хранимом под платьем. Ужасно… Но Праксей был уверен, что они на самом деле обязательно спасутся, в любом случае, поскольку за них лягут костьми нубийцы. Это же везенье, приговаривал

Праксей, иметь в роли телохранителей околокелейников!

— Я слышал о них. Много веков назад на африканском побережье образовались такие еретики… донатисты… утверждавшие, что церковь должна быть сообществом святых, но, увы, ее блюстители развратны. Поэтому-де ни один священник не достоин совершать таинства. Они вели постоянную войну с остальными христианами. Самыми решительными донатистами были циркумкелионы, люди дикие, чернокожие. Они бродили по полям и долинам в поисках мученичества, кидались с круч на всех прохожих с воплями «Бог свят», угрожая оным дубинками, требуя, чтоб те умерщвляли их, даруя тем самым жертвенную честь. Так как прохожие в ужасе отказывались, циркумкелионы сперва их грабили, а потом раздробляли им головы. Но я думал, что эти изуверы перевелись к нашему времени. — Я уверен, что пндапетцимские нубийцы к ним восходили родом. Лучшее им место, говорил мне Праксей (как всегда, в духе презрения к подданным), лучшее им место на войне, и пускай дадут себя уничтожить, а пока противник их убивает, евнухи перегородят проход. Но слишком много веков протекло в ожидании набега, никто не

нападал на провинцию, нубийцы лезли на стену, не умея существовать мирно; не вправе обирать уродов, которых были приставлены караулить, они для разрядки гонялись за лесными зверьми и ловили их голыми руками. Они перебирались даже за Самбатион, в каменистые урочища, обитаемые химерами и мантихорами, и отдельным счастливцам подфартило скончать свою жизнь тем же образом, что Абдул. Но и того мало! Самые ретивые совершенно одуревали. Праксею уже доложили, что один из них накануне требовал отрубить ему голову. Или, бывало, еще другие, неся свою дозорную службу, почему-то кидались в пропасть. В общем, всякий раз приходилось ломать голову, как обротать этот народ. Единственное, чем евнухи спасали положение, это призывы к бдительности; каждый день они возвещали новую угрозу, убеждали, будто белые гунны подошли уже вплотную, и нубийцы выскакивали на равнину, и шныряли повсюду с острым взором, трепеща от удовольствия при всяком облачке пыли, подымаемом на далеких овидях, и алкали набега захватчиков. Поколение за поколением, век за веком. Хотя не все были честно нацелены на самопожертвование. Многие вещали о будущем мученичестве, рассчитывая

получать питание и одежное довольствие. Этих можно было приваживать только лакомствами и обильными порциями бурка. Как я понял, желчность евнухов нарастала с каждым днем из-за необходимости править ненавистными уродами и доверяться защите вечно взвинченной, обжорливой и пьяной стражи.

Час был поздний, Праксей приказал дюжему нубийцу сопроводить гостей в отведенные для них покои напротив башни, в небольшой каменный термитник, где было вдосталь места всем. Они вскарабкались по воздушным висячим лесенкам и, вымученные не похожим на прочие днем, проспали, каждый, до самого утра.

Их разбудил Гавагай, готовый к услугам. Он был извещен нубийцами, что диакон готов принять гостей.

Они возвратились в башню и Праксей собственной персоной провел их по внешним ступеням на самый высокий этаж. Там их ввели в одну из дверей и они очутились в круглом коридоре, в который выходило много дверей, посаженных тесно рядом, как зубы на деснах.

— Только впоследствии я понял, в чем план постройки, сударь Никита. Описать его трудно, но

попробую. Вообрази этот круглый коридор будто некий обруч, обнимающий центральную залу. От каждой двери идет коридор в середину. Но эти ведущие внутрь лучи не прямые. Будь они прямы, из периферийного коридора-обруча можно было бы видеть, что происходит в серединной зале, а из залы было бы видно, кто идет по радиусу внутрь. Коридоры же эти загибались под углом и лишь потом приводили в серединное помещение. Так никто из опоясывающего коридора не мог видеть середину, и тем сохранялась укромность жизни того, кто обитал в центре.

— Однако и обитателю нельзя было видеть тех, кто к нему входил, до самого появления.

— Именно так. Как раз это меня поразило. Представляешь, сам диакон, начальник провинции, проживая в укрыве от нескромных взглядов, в то же время мог быть захвачен врасплох любым евнухом. Поэтому он был пленник. Надзиратели сторожили его, не видя. И он не имел возможности видеть их.

— Эти твои евнухи оказались хитрее наших. Ну, теперь расскажи мне о диаконе.

Они вошли. Круглое центральное помещение было пусто, не считая нескольких ларей у трона. Трон возвышался посередине, из темного

дерева, с балдахином. Сидевший на троне был в темной одежде, под тюрбаном, под покрывалом, завешивавшим лицо, в темных чулках, в черных перчатках, так что черты его были совершенно закрыты.

По сторонам трона, примостившись с боков диакона, находилось еще двое укутанных. Один из них подносил диакону чашу с курившимися ароматами, чтобы тот дышал пахучим дымом. Диакон, видимо, отказывался, но Праксей умоляющими и в то же время настойчивыми знаками почти принуждал его: верно, снадобье было лекарственным.

— Остановитесь за пять шагов от трона, поклонитесь и ждите, пока он позволит себя приветствовать, — прошептал Праксей.

— Почему он укутан? — спросил Баудолино.

— Нельзя спрашивать. Так он желает.

Путники сделали, как сказано. Диакон поднял руку и сказал им по-гречески: — С отрочества я готовился ко дню вашего появления. Мой логофет меня обо всем известил. Буду рад дать вам приют в преддверии подхода августейшего товарища. Я также получил ваш несравненный дар. Он незаслужен, тем более что столь святой предмет приносится личностями, не менее достойными

поклонения.

Голос был вымученный, страдальческий, хотя по тембру молодой. Баудолино рассыпался в нижайших выражениях почтения, чтобы никто не смог впоследствии их упрекнуть в присвоении чужого достоинства. Но диакон тонко заметил, что толикое уничижение, безусловно, есть признак наивящей святости, и тут уже поделать было нечего.

Затем он пригласил их располагаться на одиннадцати подушках, рассредоточенных полукругом в пяти шагах от трона. Он велел угостить их бурком со сладкими затхловатыми бубликами и сказал, что горит желанием слышать от тех, кто побывал на изумительном Западе, подлинный рассказ: есть ли действительно на земле все те диковины, кои указаны в читанных книгах. Он спросил, есть ли на свете страна Энотрия, где растет дерево, источающее влагу, которую претворил Иисус в Свою кровь? Правда ли, что там не едят расплющенного хлеба в полпальца, а хлеб волшебным образом каждое утро подходит и напухает благодаря крику петуха, и превращается в мягкий пышный плод под золотой коркой? Верно ли, что там церкви строятся не внутри скал, а снаружи? Что палаты пресвитера Рима

крыты балками и потолками из благовонной древесины со сказочного острова Кипр? Имеет ли тот палаццо синекаменные двери с рогаткой из рогов гадюки, благодаря которой никакие яды не могут быть пронесены внутрь дворца? И окна из такого камня, который пропускает солнечные лучи? Правда ли, что в том городе стоит великая кругловидная храмина, где в наши дни христиане загрызают львов, а в прежние времена туда ходили глядеть на два великолепные подобия луны и солнца, размером в настоящие солнце и луну, которые двигались по своей небесной орбите среди многообразных рукотворных птиц, щебетавших сладостные напевы? Правда, что под полом, который тоже из прозрачного камня, плавают сработанные из самоцветов рыбы? Что в ту храмину входят лестницей, где в цоколь ступени вделан глазок, и через него видны все происходящие на свете вещи, все гады в глубине морей, рассвет и вечер, те множества, что обитают в Последней Тулэ, и паутина цвета луны внутри черной пирамиды, и хлопья белого вещества, валящегося с неба в Знойной Африке в середине августа; и все пустыни вселенского мира, и каждая буква на каждой странице в каждой книге, закаты розового оттенка над Самбатионом; ски-

ния универсума, размещенная меж блестящих пластин, в которых она бесконечно отражается; разливы воды, озера без берегов; быки; грозы; все муравьи, обитающие на земле; сфера, демонстрирующая кругооборот звезд; скрытое биение собственного сердца, пульсация внутренностей, и лицо каждого из нас, когда смерть преобразит его? — Кто это нагородил им такой чепухи? — тихо злобствовал Поэт, в то время как Баудолино осторожно отговаривался, что-де на далеком Западе и впрямь див незнамо и немерено, молва о них подчас летает по свету, раздувая и увеличивая все, и он, например, готов поклясться: ни разу не видал в странах, где закатывается солнце, чтобы христиане загрызали львов. — По крайности не в постные дни недели, — изгалялся Поэт.

Всем стало видно, что встреча воспламенила фантазию юного принца, вековечного сидельца в круглой келье, и что те, кто живут в месте, где солнце поднимается, не могут не пленяться чудесами закатного края, в особенности, продолжал бурчать себе под нос Поэт, по счастью хоть на тевтонском, если торчат в дерьмовой дыре вроде ихнего Пндапетцима.

Потом диакон догадался все же, что и гостям угодно узнать хоть что-нибудь, и он сказал, что,

наверно, после стольких веков отсутствия им уж неясно, какой дорогой возвращаться в державу, откуда они, по преданию, вышли; вдобавок за минувшие столетия земной трус и другие преображения местности сказались на виде гор и долин. Он объяснил, что крайне затруднительно преодолеть ущелье и пересечь гать. Предупредил, что начинается сезон дождей и что не выйдет продолжить путешествие сразу же. — Вдобавок мои евнухи, — сказал он, — должны сперва отправить гонцов к моему отцу, предупредить о вашем появлении, и оные должны возвратиться с его согласием на то, чтобы вы пришли. Дорога неблизкая, все вместе займет не менее года. А вы должны ждать, пока не объявится потерянный брат. Хочу известить: вам будет оказан прием, соответствующий вашему чину. — Все это произносилось до того механически, что больше всего напоминало свежезаученный урок.

Гости справились, а в чем состоит роль диакона Иоанна и какова его история. Ответ был таков: во времена оны, всего вероятнее, бытовало нечто иное, но после отхода Волхвоцарей уложение в царстве переменилось. Не следовало думать, будто пресвитер был единой персоной и проправил тысячу лет. Нет, речь велась не о человеке,

а о сане. По смерти очередного пресвитера на его место заступал диакон. После этого сразу же приближенные придворные люди обходили все семьи и чудесным знамением определяли дитя, не старше трех месяцев, которому надлежало стать наследником и усыновленным детищем пресвитера. Семьи отдавали этих детей с радостью, их немедленно отвозили в Пндапетцим, где и протекали их годы детства и юности, в подготовке, чтобы наследовать своему приемному родителю и страшиться, и уважать, и обожать того. Юноша рассказывал все это с печалью, потому что, продолжал он, удел диаконов не знать отца, ни кровного, ни его заместителя, и не зреть его даже на смертном одре, потому что со времени его смерти и до тех пор, когда наследник вступит в столицу, проходит, как уже было сказано, не менее целого года.

— Я увижу его, — закончил диакон, — с упованием, да произойти сему как можно удаленнее по времени, лишь в нерукотворном образе, напечатленном на погребальную плащаницу, которой его обернут перед положением в гроб, предварительно умастив тело мазями и иными сложно действующими веществами, отображающими черты умершего на волокнах льна. — И потом

продолжил: — Вы здесь задержитесь надолго. Прошу вас навещать меня. Люблю рассказы о поразительных диковинах Запада, люблю и слышать о тысячах битв и осад, которые, как сказывают, в западной жизни сообщают бытию азарт и смысл. Вижу на вас оружие, оно и красивей, и мощнее, нежели то, что употребляется здесь. — Он не просто приглашал, а почти молил голосом мальчика, всей душой витающего в повестях приключенческих книг.

— Вам негоже переутомляться, государь, — подобострастно пропел Праксей. — Час вечерний, нужен отдых. Пришло время расставаться с гостями. — Диакон опустил голову, и по тоске, прозвучавшей в его прощании, Баудолино и друзья поняли, кто на самом деле командует здесь.

31
Баудолино ждет отправки в царство пресвитера

Баудолино слишком долго проговорил, Никиту мучил голод. Феофилакт усадил его ужинать, подал черную и красную икру, луковую тюрю из крошеного хлеба с оливковым маслом, мякотных моллюсков под винной, оливковой, чесночной, коричной и горчичной подливами. Для Никитиных привычек не густо, но он воздал должное вкусу. Пока женщины, ужинавшие отдельно, укладывались на ночлег, Никита снова стал расспрашивать Баудолино, в нетерпении узнать, добрался ли тот все же до царства пресвитера.

— Тебе угодно подгонять меня, сударь Никита, однако мы провели в Пндапетциме целых два года, и дни все были похожи… О Зосиме ни малейших известий. Праксей нам давал понять, что если не подойдет двенадцатый, без многообещанного дара пресвитеру бессмысленно было пускаться в путь. К тому же каждая неделя приносила новые неприятности. Сезон дождей продержался длительнее обычного, болото стало

еще непроходимее, не было слуху о направленных к пресвитеру гонцах. Может, им не удавалось найти единственную употребимую тропу через плавни? Потом наступили хорошие погоды, но тут стала шириться молва, что белые гунны готовят набег, один из нубийцев видел на севере их фигуры. Так что не было возможности выделить специальных людей нам для сопровождения. Не одно, так другое… Погода опять испортилась… От безделья мы понемногу обучались языкам жителей провинции и начали понимать, что когда пигмей восклицает «Гекина дегуль!», это значит, что он доволен. В знак приветствия следовало обменяться с пигмеем фразой: «Лумус келмин пессо десмар лон эмпозо!» — то есть что мы не собираемся идти войной ни на него, ни на его сородичей, как равно не собирается и он. Мы обнаружили, что если великан на вопрос отвечает «Бод-коом!», значит, он не знает что ответить. Мы изучили, что нубийцы называли коней «нек», видимо, сокращенно от «некбрафпфар», то есть «верблюд». Блегмы же называли коней «гуигнгнмами», так мы впервые услышали от них слово, не состоявшее из одних гласных звуков. Видно, они сами изобрели никогда не употреблявшееся слово для никогда не виденной твари. Исхиаподы

при молитве распевали «Гай коба!» и это было то же самое, что у нас «Отче наш». Огонь они называли «деба», радугу «дета», собаку «зита». Евнухи на своих мессах так восхваляли Господа: «Хондинбас Оспамеростас, камедумас карпанемфас, капсимунас Камеростас перисимбас простампростамас». Мы стали частью пндампетцимского общества. Блегмы и паноции уже не казались такими на нас не похожими. Мы утратили робость и обнаглели. Борон с Ардзруни дни проводили в голопрениях о пустоте, Ардзруни даже уговорил Гавагая познакомить его с одним местным мастеровым и вместе с тем кумекал, как бы соорудить из древесины, за неимением металла, один из тех хитроумных насосов. В то время как Ардзруни отдавался невероятным прожектам, Борон с Гийотом скакали по полям, бредили Братиной и зорко следили за горизонтом, подстерегали Зосиму. Может быть, гадал Бойди, он пошел по другой дороге, повстречал белых гуннов, неизвестно чего наболтал тем, а они, дикие идолопоклонники, поднялись за ним в наступление на царство… Порчелли, Куттика и Алерамо Скаккабароцци, коего прозвище лучше не произносить, вспомнив, чему обучились на строительстве Александрии, стали уговаривать тамошних жителей, что четы-

ре добрых стены поавантажнее их голубятен, к чему и сумели склонить великанов, тех самых, что были приставлены выдалбливать ниши для жительства в утесах. Те стали учиться вымешивать растворы и формовать сушенные на солнце кирпичи. На окраине города после этого выросло пять или шесть новодельных домов. Но в одно замечательное утро все дома захватили безъязычники, прирожденные бродяги, дармоеды и тунеяды. Они прижились и начали задираться с великанами, гонять их камнями, хоть и не слишком толково. Бойди все дни заглядывал в устье прохода: что за погода там стоит? В общем, всякий придумывал, как занять время. Мы привыкли к отвратительной еде и в довершение всего уже не могли жить без бурка. Да, мы основательно расслабились, поскольку царство лежало от нас почти в двух шагах, то есть в каком-то годе пути, при благоприятных условиях… Нам не предстояло ничего открывать, не надо было искать путь; достаточно было дождаться, пока на этот путь нас направят евнухи. Мы пребывали, если можно так выразиться, в счастливом томлении и в благотерпимой праздности. Все мы, кроме Коландрино, были уже в летах; мне перевалило за пятьдесят, в этом возрасте человек умирает, если давно не

умер. Возблагодарим Господа, надо думать, воздух в том краю был здоровый, все мы помолодели, я стал выглядеть на десяток лет моложе, чем в день приезда. Мы были крепки телом и мягки духом, позволь уж мне сострить. Мы так приладились к нравам насельников Пндапетцима, что даже увлеклись их теологическими разногласицами…

— За кого вы были?

— Да, в сущности, все это началось, потому что Поэт просто с ума сходил, не мог обходиться без женщины. Подумать только, ведь обходился даже бедняжка Коландрино, но он был просто ангел во плоти, как и его покойная сестра. Я понял, что мы окончательно свыклись с видом здешних, когда Поэт начал вздыхать по одной из паноций. Ему нравились ее ниспадающие уши. Он распалялся от ее белой кожи, находил ее фигуру чувственной, а рот — красиво очерченным. Подсматривая, как паноций спаривались на лугу, он воображал, до чего это может быть насладительно. Паноций оборачивали друг друга ушами и совокуплялись, будто в раковине, или будто быв начинкой в тех пирожках из винных листьев, которыми мы угощались, пересекая Армению. Упоительно это должно быть, повторял Поэт. Однако, нарвавшись на отпор от паноций, он переметнулся на

фемину блегмов. В этой фемине, на его взгляд, если пренебречь отсутствием головы, прельщали тонкая талия и манящая вагина, а кроме того, необыкновенной представлялась возможность лобзать в губы женщину, в то же время лобзая ее в живот. Он повадился в это племя и меня стал водить на их сборища. Блегмы, как все страхолюды в той провинции, иноплеменцев не пускали на свои духовные собрания, но это не относилось к нам, о нас никто не предполагал, что мы можем мыслить худо, наоборот, каждое племя полагало, что мы мыслим точно, как они. Единственный, кто мог бы порицать нашу смычку с блегмами, был, разумеется, Гавагай, но верный исхиапод обожал нас, и все, что мы делали, было в его глазах самое должное. И по наивности и от любви к нам он тешился иллюзией, будто мы посещаем блегмов, чтобы втолковывать тем, что Иисус был приемным детищем Бога.

Церковь блегмов находилась на уровне почвы, построен был только главный вход с двумя колоннами и тимпаном, остальное — дыра в скале. Иерей сзывал паству, поколачивая молотком по каменной плите, оплетенной бечевками, и благовест был как от треснутого колокола. Внутри находился один престол с лампадами,

в которых было налито такое масло, которое на нюх казалось животным жиром, из козьего, что ли, молока. В храме не было ни распятий, ни каких-либо иных образов, потому что, как объяснил им блегм-сопроводитель, будучи убеждены (единственные мыслящие праведно среди многочисленных инакомыслящих), что Слово не пресуществимо в плоть, блегмы не обожают образы образов. По тем же самым причинам они не воспринимают всерьез евхаристию, и их служба отправляется без причащения Святым Дарам. Нет у них и чтения Евангелия, поскольку оно повествует о заблуждении.

Баудолино спросил, какое же богослужение они могут тогда совершать, и сопроводитель ответил, что они купно встают на молитву, после чего все соборно обсуждают великую загадку *лже*воплощения, которую никак не могут уяснить. И точно, после того как все блегмы на коленях провели полчаса в диковинных вокализах, иерей открыл те дебаты, которые они звали священным собеседованием.

Один из прихожан поднялся и начал с того, что, может статься, Иисус, приемля страсть, не был настоящим призраком, ибо это бы означало обманывать апостолов, а был вместо этого

высшею силой, эманируемой Отцом, то есть был Эоном, облекшимся в сущую человеческую плоть некоего плотника из Галилеи. Другой оратор заметил, что, как уже допускалось некоторыми, Мария, вероятно, произвела на свет человеческое существо, а Сын, который не мог облечься в плоть человека, прошел сквозь нее как вода протекает сквозь трубу, а может, и проник в нее через ухо. Тут зазвучал хор возражений, многие вскричали: «Павликианин! Богомил!» — имея в виду, что сказавший примыкает к еретическому учению, и действительно, его выгнали вон из храма. Третий оратор дерзнул в том духе, что пострадавший на кресте вообще был Киренеянином, заступившим на место Христа в последний момент, но другие его оспорили, что-де, дабы заступить на место кого-то, этот кто-то должен существовать. Нет, ответил дерзкий оратор, этот кто-то замещенный именно и являлся призраком Иисуса, а призраку невозможно страдать, в то время как без страдания не было бы искупления. Снова брань и поношения: собрание не желало, чтоб протаскивалась теория, будто род человеческий искупился каким-то бедолагой из Кирены. Четвертый выступавший напоминал, что Слово низошло на тело Иисуса в виде голубки во

время крещения в Иордани; но он, несомненно, перепутывал Слово и Дух Святый, к тому же усвояющее тело не было призраком. В этом случае все собравшиеся блегмы не имели бы оснований зваться так, как они зовутся по справедливости: нетленнопризрачниками!

Увлеченный говорением, задал вопрос Поэт: — Но если невоплощенный Сын был всего-навсего призраком, почему в Гефсиманском саду он отчаивался, а на кресте жаловался? Что за забота нетленному призраку, если ему загоняют гвозди в руки, которые всего-навсего видимость? Что, он прикидывался, как гистрион? — Вообще-то Поэт совался с расспросами, рассчитывая соблазнить, проявивши себя остроумно и любознательно, ту самую фемину блегмов, на которую положил глаз; но получилось наоборот. Все завопили: «Анафема, анафема!» — и наши друзья почувствовали, что наступает время покидать гостеприимный синедрион. Таким образом вышло, что Поэт по причине теологической незрелости лишился случая утолить свое весьма назревшее вожделение.

Пока Баудолино с прочими христианами предавались подобным изысканиям, Соломон опрашивал поголовно все население Пндапетцима, ища потерянные колена. Давешняя обмолвка

Гавагая о раввинах обещала привести к цели. Но разноязыкие страшилища, может, и вправду не знали, а может, считали тему запретной; Соломон оставался несолоно хлебавши. Наконец один евнух сказал ему, что да, действительно, по преданию, в царство пресвитера явились отряды иудеев, дело было много столетий назад, но потом они решили снова выступить в дорогу, может быть, опасаясь, что обещанное нашествие белых гуннов рассеет их и создаст диаспору, так что Богу одному известно, куда эти иудеи ушли. Соломон решил, что евнух лжет, и продолжал выжидать, когда же они отправятся в царство, где он обязательно надеялся найти своих единоверцев.

Время от времени Гавагай пытался обратить их к подлинномыслию. Отец есть самое совершенное и отдаленное от нас, что существует во вселенной, не так ли? А следовательно, как бы он мог сотворить Сына? Люди сотворяют сыновей, дабы продлиться в потомстве и жить в нем даже в то время, которого не увидят, поскольку будут восхищены смертью. Но Бог, нуждающийся в продлении через Сына, был бы не совершенен испокон веков. А если бы Сын существовал испокон веков вместе с Отцом, будучи той же божественной природы или же сущности, как

угодно называть… в этом месте Гавагай погряз в грецизмах, вроде «усия» — «субстанция», «гипостасис» — «ипостась», «фюзис» — «природа» и «гипосопон» — «лицо», так что даже Баудолино не в состоянии был его выпутать… Будучи той же сущности, мы получили бы невероятное положение, где Бог, по определению несотворенный, являлся бы испокон веков сотворенным. Следовательно, Слово, которое сотворяет Отец, дабы оно посвятило себя искуплению человеческого рода, не единосущно Отцу. Оно сотворено впоследствии, разумеется, прежде сотворения мира, оно превыше любой иной твари, но паки и паки оно ниже Отца. Христос не потенция Божия, настаивал Гавагай. Он, безусловно, не какая-то там какая угодно потенция, вроде саранчи, нет, Христос — вящая потенция, но Он перворожденный, а не нерожденный.

— Значит, для вас Сын, — допытывался Баудолино, — только приемыш у Бога, а следовательно, Он не Бог.

— Он не Бог. Но пресвят, как пресвят диакон, приемный сын пресвитера. Что уместно с пресвитером, разве не уместно с Богом? Мне известно, что Поэт спрашиваешь у блегмов, почему если Иисус призрак, Он боишься в Гефсиманском саду

и плачешь на кресте. Блегмы, поскольку худо мыслишь, не умеешь ответить. Иисус, Он не призрак, он приемное детище. Приемное детище не ведаешь то, что ведаешь Отец. Понимаешь? Сын не «гомоус», не единосущный, а «гомиус», подобносущный. Мы не еретики, как аномеи. Аномеи мыслишь, Слово не подобно Отцу. Они мыслишь совсем инако. Но к счастию, в Пндапетциме нет аномеев. Они мыслишь инаковее всех на свете.

Поскольку Баудолино, излагая эти эпизоды, добавил, что они недоумевали, в чем различие между этими «омоус» и «омиус», и может ли Предвечный быть сведен к двум словцам, Никита улыбнулся: — Есть, есть различие. Может, на вашем Западе противоречия уже забыты, но в империи у нас, у римлян, дискуссия длилась чрезвычайно долго, и были отлученные от церкви, и оглашенные, и вообще убитые за эту букву, разделяющую два словца. Что меня изумляет, это что полемика, которая у нас уже давно подавлена, все еще бушует в тех районах, о которых ты рассказывал.

Затем он думал: вот я гадаю, не плетет ли мне вранье этот Баудолино. Однако полуварвар, каков он есть, проведший жизнь у алеманов и у миланцев, не отличающих Святую и Животворя-

щую Троицу от Карла Великого, не мог бы знать таких премудростей, если не услышал в том походе. Хотя, кто скажет, может быть, он услышал их где-нибудь в других местах?

Периодически товарищи посещали несваримые Праксеевы обеды. Под воздействием бурка они, вероятно, наговорили под конец одного из таких пиршеств довольно много ненадлежащего Волхвам. В то же время и Праксей пообвыкся в их компании. Так что однажды ночью, основательно набравшись и видя сильно хмельных гостей, он им сказал: — Государи и желаннейшие посетители, я внимательно обдумал каждое слово, выговоренное вами с самого мига появления у нас, и отдал себе отчет в том, что вы ни разу не утверждали, что являетесь Волхвами, которых мы тут ждем. Я продолжаю полагать, что вы ими являетесь, но если случайно, я повторяю, вдруг случайно, вы не Волхвы, вашей вины нет в том, что все почитают вас Волхвами. Как бы то ни было, разрешите обратиться к вам по-братски. Вы видели, что за клоака ересей наш Пндапетцим и до чего тяжело умиротворять этот страхолюдный сброд, то припугивая белыми гуннами, то перетолковывая волю и слово этого Иоанна, которого они никогда не видели. А на что гож наш драго-

ценный юный диакон, вы сами понимаете. Если мы, евнухи, сможем опереться на поддержку и авторитет Волхвов, наша власть усилится. Она усилится и возрастет здесь, но может распространиться и… шире.

— На царство пресвитера? — спросил Поэт.

— Если вы придете в него, вас обязаны будут признать законными сеньорами. Чтобы вам туда прийти, вам нужны мы. Нам нужны вы здесь. Мы необычная порода. Не то что монстры, размножающиеся в согласии с убогими законами плоти. Мы стали евнухами потому, что другие евнухи избрали нас для того и сделали нас такими. В том, что многим представляется злоключением, мы считаем себя объединенными в одну семью. Мы — это и другие евнухи, правящие в других местах. Мы знаем, что есть влиятельнейшие и на далеком Западе, уж не считая подобных иных государств и в Индии, и в Африке. Хватило бы если б из мощного центра мы распростерли повсеместные связи, ввязали в них собратьев во всех местах земли… Тем мы основали бы пространнейшую из всех известных империй. Империю, которую никто бы не мог завоевать и разрушить, так как она была бы не из армий, не из территорий, а из паутинных взаимных соглашений. Вы были бы

символом и гарантией нашей власти.

На следующий день Праксей, увидев Баудолино, сказал, что ему сдается, будто он наговорил накануне негодных и абсурдных вещей, которых на самом деле не думал. Просил прощения, умолял забыть все, что было говорено. Он расстался с ними, повторяя: — Прошу вас, не забудьте же все позабыть.

— Пресвитер то, пресвитер се, — подытожил Поэт. — А вот Праксей предлагает нам царство.

— Ты сошел с ума, — оборвал его Баудолино, — у нас наша миссия. И мы клялись Фридриху.

— Фридрих умер, — сухо ответил Поэт.

С разрешения евнухов Баудолино часто приходил наведать диакона. Они стали друзьями. Баудолино рассказывал ему, как разрушали Милан, как строили Александрию, как берут крепостной вал и что надо делать, чтобы поджечь вражескую баллисту или кошку. Под эти рассказы, Баудолино мог бы сказать, у юного диакона сверкали глаза, хоть его лицо и продолжало оставаться завешенным.

Потом Баудолино расспрашивал диакона о богословских контроверзах, которые полыхали в той провинции, и у него рождалось чувство, будто диакон при ответе печально улыбает-

ся. — Царство пресвитера, — отвечал он, — очень старинное, и здесь нашли себе укровище все секты, что в ходе столетий бывали выдворены из христианского мира Запада. — И было ясно, что даже Византия, в той малой степени, в которой он знал что-то о ней, являла для него Далекий Запад. — Пресвитер не желал лишать всех этих беглецов их собственной веры, и проповедование многих из них стало соблазном для местных пород, проживавших в этом царстве. Хотя, в самом деле, зачем обязательно знать, какова Животворящая Троица? Довольно, по мне, чтобы следовали заветам Евангелия, никто не должен попадать в ад за то, что думает, будто Дух Святый исходит от одного Отца. Они ведь добрые, ну ты же видел, и у меня разрывается сердце из-за того, что в один прекрасный день они все должны лечь костьми, образовав заслон против белых гуннов. Так что пока здравствует мой отец, я буду править страной смертников. Хотя, быть может, раньше них приму смерть я.

— Что ты, что ты, государь. По голосу и по самому твоему сану наследника священства, мнится, ты не можешь быть стар. — Диакон качал головой. Тогда Баудолино, чтоб его повеселить, рассказывал свои с друзьями проделки времен

парижской жизни. Но тут же чувствовал, что разжигает в сердце диакона неистовые желания и ярость из-за их неутолимости. При этом Баудолино, конечно, выдавал, кем был и кем он является в самом деле, забыв, что он Волхвоцарь. Но и диакон теперь уже ничему не удивлялся и даже давал понять, что в эти одиннадцать Волхвоцарей он лично никогда не верил и только разыгрывал роль, навязанную евнухами.

Однажды Баудолино, пред лицом несомненной тоски диакона, лишенного и самых простых радостей, которые юность дарует всем, попробовал убедить того, что можно пестовать в сердце любовь к недостижимой возлюбленной, и рассказал о былой страсти к некой благородной даме и о писанных к даме письмах. Диакон спрашивал срывающимся голосом. Потом он взвыл, как раненое животное: — Даже это мне заказано, Баудолино, даже воображаемая любовь. Знал бы ты, как я мечтал бы скакать во весь опор перед войском, впивая запах ветра и запах крови. Тысячу раз я предпочел бы погибнуть в бою с именем возлюбленной на устах, нежели оставаться в этом заклете и ждать… чего? Ничего, наверное…

— Но ты, господин, — сказал ему Баудолино, — ты назначен стать начальником сильной

империи, ты, да сохранит Господь твоего родителя как можно дольше, выйдешь когда-нибудь из этого склепа и Пндапетцим станет только последней, самой заштатной из твоих провинций.

— Когда-нибудь выйду, когда-нибудь стану… — пробормотал диакон. — Кто поручится? Знаешь, Баудолино, самое страшное для меня, Бог извини мне грызущее сомнение: что, если царства вовсе нет? Кто мне сказал, что оно существует? Сказали евнухи, когда я был ребенком. К кому возвращаются посланцы, которых они, эти евнухи, шлют к отцу? К ним же, к евнухам, они возвращаются. А уезжали ли действительно? И возвращались ли взаправду? Я знаю все единственно от евнухов. Что, если все, эта провинция, может быть, даже вся вселенная — плод заговора евнухов, которые глумятся надо мной, как над последним нубийцем или исхиаподом? Что, если и белых гуннов не существует? От всех людей требуется крепкая вера, чтоб верить в Создателя земли и небес и в самые недоступные таинства нашей святой религии, даже когда они противны рассудку. Но приказ верить в этого неудо-бопостижимого Бога намного легче выполним, нежели тот, что выпадает мне: веровать исключительно в евнухов.

— Что ты, государь, что ты, друг, — подбадривал

его Баудолино. — Правление твоего отца истинно, я слышал о нем не от евнухов, а от людей, которые в него верили. Вера все превращает в явь. Мои земляки поверили в новый город, способный устрашить великого императора, и этот город стал явью, поскольку они в него сильно верили. Царство пресвитера истинно, потому что я и мои сотоварищи посвятили две трети нашей жизни его отысканию.

— Кто знает, — отозвался диакон. — Будь даже и так, мне не увидеть того царства.

— Ну хорошо, хватит, — однажды не выдержал Баудолино. — Ты опасаешься, что царства нет, и изводишься ожиданием, когда можно будет его увидеть. Так ты замучишься. По правде говоря, ты никому ничего не должен, ни этим евнухам, ни этому пресвитеру. Евнухи выбрали тебя, когда ты сосал грудь и сам не мог их выбирать. Тебе по вкусу жизнь под знаком риска, под знаком славы? Так в путь. Бери одного из наших коней. Скачи в Палестину, где доблестные христиане дерутся с маврами. Стань же героем, коли тебе охота. В замках Святой Земли принцессы отдадут жизнь за одну твою улыбку.

— А ты видал мою улыбку? — спросил на это диакон. Одним движением сорвал фату и обна-

жилась жуткая гримаса. Разъеденные губы не загораживали прогнивших десен и зубов. Кожа лица наморщилась и местами была полностью слуплена с омерзительного розового мяса. Глаза под гноем еле виднелись. Весь лоб являл собою язвы. Свисали длинные волосы, и редкая раздвоенная борода еле скрывала, что оставалось от подбородка. Диакон снял перчатки и показал тощие руки, усеянные темными узлами.

— Проказа, Баудолино. Проказа не милует царей и властителей мира. С двадцатилетнего возраста я прячу секрет от народа. Я попросил евнухов известить отца, что не замещу его. Чтоб торопился вырастить нового местодержателя, и поскорей. Пусть бы сказали, что я скончался, а я бы ушел в один из приютов для мне подобных и там пропал бы без вести. Но евнухи сказали: отцу угодно, чтоб я остался. Я не верю евнухам. Думаю, им нужен слабый диакон. Может, как я умру, они оставят набальзамированное тело в этой яме и продолжат командовать от имени моего трупа. Может, после смерти Пресвитера кто-нибудь из них займет мое место и никто не сможет оспорить, что это не я, потому что никто не знает мою наружность: в провинции меня видели только, когда я сосал грудь. Теперь, Баудо-

лино, ты видишь. Я жду смерти от скуки. Смерть пропитала меня всего. Не быть мне наездником, не быть любовником. Вот и ты сейчас, не замечая, ступил на три шага назад. Как ты видел, и Праксей, разговаривая со мной, держится в пяти шагах. Единственные, кто могут находиться тут рядом, это два закутанных евнуха, они молоды, как и я, и поражены тою же болезнью. Только они трогают утварь, к которой я прикасался. Им нечего бояться. Теперь я опять закроюсь, может быть, тогда ты вернешь мне сострадание, если не дружбу.

— Я искал слова сочувствия, сударь Никита, но не находил. Потом я решил сказать, что из всех кавалеров, штурмовавших крепости, он самый геройский. Он, витяжествовавший в одиночестве и молчании. Он поблагодарил и на тот вечер попросил его оставить. Но я уже привязался к этому злополучнику и приходил ежедневно. Рассказывал о давно прочитанных книгах, о спорах, слышанных при дворе, описывал виденные страны: и Регенсбург, и Париж, и Венецию, и Византию, Иконий, Армению… и народы, обитавшие на землях, где мы прошли. Он обречен был умереть и не увидать ничего на свете, кроме пндапетцимских закоулков. Ну, я и старался

ввести его в жизнь через рассказы. Может, я что досочинил, набредил о городах, которые не видел, битвах, в которых не сражался, принцессах, которыми не овладевал… Я пел ему о дивовищах тех уделов, где умирает солнце. Дарил ему наслаждение закатом на Пропонтиде, отблесками смарагда в венецианской лагуне, подарил долину в Гибернии, где семь белых церквей пасутся на берегу безмолвного озера с отарой таких же белых, как они, овец. Я рассказал, что Альпы Пиренеи покрыты мягким светлым веществом и летом оно преобразуется в ревущие потоки и расточается реками и ручейками по склонам, под пышной зеленью каштанов. Что есть соляные пустыни, они расстилаются неподалеку от берегов Апулии. Я довел его до дрожи, описывая море, которое я не бороздил никогда, где над поверхностью воды танцуют рыбы крупнотой с теленка, и до того благодушные, что некоторым удается кататься на них верхом. Я рассказал о странствии святого Брандана к Счастливым островам и о том, как он высадился вместо острова на спину кита, кит же рыба здоровее самой здоровенной сопки и способна проглотить целиком большой корабль. Но тут понадобилось разъяснить ему, каковы корабли, деревянные рыбы с белоснежными

крыльями, и я перечислил ему поразительных животных моего края, по очереди: олень, он носит два матерых рога крестообразного рисунка; аист, он перелетает из одной земли в другую и заботится о своих престарелых родителях, носит их по небу на закорках; божья коровка, напоминающая видом небольшой гриб, красная козява, испещренная пятнышками млечной белизны; ящерица, наподобие крокодила, но маленькая и способна пролезать под дверь; зегзица, подкидывающая яйца в гнезда прочим видам птиц; совушка, у которой круглые очи по ночам горят как светильники, да она и питается лампадным маслом по церквам; еж, спина у него утыкана иглами и он отсасывает молоко из вымени у коров; устрица, живая шкатулка, время от времени родящая сокровище, хотя и мертвое, но неоценимого достоинства; соловей, бодрствующий ночью для пения и сиротствующий без розы; лангуст в пламенеющей броне, что пятится, желая уйти от тех, кто лаком до его мяса; угорь, страшительный водяной змей, отменного жирного вкуса; чайка, парящая над водами, подобно Господню ангелу, и испускающая демонские крики; дрозд, черный желтоносый предатель среди птиц, умеющий говорить и выдающий тайны своего хозяина;

лебедь, горделиво бороздящий озерные воды и поющий свою лучшую песнь в минуту смерти; хищная изящная ласка, перегибистая, как девушка; сокол, когтящий с небес добычу и несущий вскормившему его рыцарю. Я живописал яркие груды не виденных ни им, ни даже мною драгоценных камней: пурпурные и млечные разводы сердолика, багровые и белые прожилки египетских самоцветов, непорочность лунного камня адуляра, прозрачность хрусталя, сияние алмаза, постарался передать блеск золота, мягкого металла, который поддается плющению на неосязаемые листы, передал брызг и треск раскаленного лезвия, когда его суют в воду для закалки, и какие изукрашенные поставцы можно видеть в ризницах больших аббатств… как высоки и остроглавы колокольни наших церквей, как высоки и стройны колонны константинопольского Ипподрома; какие книги читают иудеи, листы их испещрены значками наподобие насекомых; что за звуки произносят они, читая; как однажды христианский царь получил в подарок от халифа петуха, и петух тот был из железа, и он пел на каждом восходе солнца; как устроен тот шар, что вращается и исторгает пар; до чего жгутся зеркала Архимеда; до чего страшно ночью видеть

ветряную мельницу; а потом я рассказал ему о Братине, и о рыцарях, которые до сих пор ищут ее по всей Бретани, и о том, что мы возвратим эту Братину его отцу, как только нам удастся изловить коварного Зосиму Видя, как он околдовывается этими великолепиями, в то же время мучаясь от их недостижимости, я подумал, что будет хорошо, дабы он уверился, что его мука не крайняя, рассказать ему об истязаниях Андроника, с подробностями, еще и превосходящими то, что над ним проделывали; о бойне в Креме; о пленных, которым отрубали руку, отрезали ухо, вырывали нос; я вызвал в памяти самые страшные недуги, в сравнении с которыми проказа — наименьшее зло; сказал, что есть на свете гангрена, и золотуха, и костоеда, и пляска святого Витта, и Антонов огонь; кого-то жалит тарантул, кого-то одолевает чесотка, заставляя соскабливать по чешуйкам с себя всю кожу; кого-то язвит чумная кобра; у святой Агаты отрезали груди; святой Люции выкололи глаза; святого Севастиана пронизали стрелами; первомученику Стефану раздробили череп камнями; святого Лаврентия жарили на решетке, на медленном огне; я выдумал еще своих святых и к ним новые терзания: святого Урсикина, которого колом впронизь

проткнули от зада до зубов; святого Сарапиона, освежеванного; святого Морпвестия, привязанного за все члены к бешеным коням и ими разорванного; святого Драконтия, принужденного пить кипящую смолу… Я думал, в сравнении с пытками, он заново увидит свою участь. Но и боялся перегнуть палку, так что вскоре опять занялся радостями мира, мысль о коих могла возвеселить заключенного: вспомнил о прелести парижских девчонок, о ленивом пригожестве венецианских куртизанок, о несравнимом ни с чем оттенке кожи императрицы, о детском смехе Коландрины, о взоре удаленной принцессы. Он возбуждался, требовал продолжения рассказов, просил обрисовать волосы Мелизенды, триполитанской графини, и очертить губы тех нежных девушек, которые кружили голову рыцарям Броселиандского леса хуже всякой Братины, и пуще возбуждался; да простит меня Господь, думаю, что не единожды он вздымался и ощущал радость семяизвержения. Я перешел к томительным преизобилующим в мире ароматам, и поскольку не имел их с собой, постарался вспомнить и назвать и те, с которыми был знаком, и те, которые, не обонявши, знал только по имени, но полагал, что имя может пьянить сильнее запаха: их имена

были бадьян, шафран, имбирь и мускатный орех, анис, кориандр, кардамон, барбарис, ажгон, куркума, сочевица, мелисса (змееголовник), рута, римская полынь, любисток, асафетида, гарциния, гаргант, канупер, иссоп; нард, алой и киннамон; купырь, малагетта (райское зерно), дягиль, донник, душица, чистец, он же гравилат, фенугрек, драконоголовник, чабер, тимьян, можжевельник, мята, горчица, ладан, сандал, лавр, майоран, цитронелла и римский тмин. Диакон слушал на грани обморока и то и дело трогал лицо, как будто его бедный нос не мог вытерпеть благоухания, и плача спрашивал, какую же пищу давали ему всю жизнь распроклятые евнухи, под предлогом его хвори: козье молоко и размоченный в бурке хлеб, якобы целебный от проказы, отчего все дни он пребывал в тупом похмелье, постоянно спал, а во рту вечный вкус, все один и тот же вкус…

— Ты ускорил его смерть, доведя до исступления и до истощения. И ты тешил свою склонность к сказочничеству, тщеславясь изобретательностью.

— Может быть. Но тот краткий, что ему еще сулился, срок он прожил счастливее. Вдобавок я пересказываю тебе наши беседы, вроде они совершались в один и тот же день. На самом же

деле время текло, и во мне разгоралось новое пламя, и я зажил новой страстью, которой старался с ним поделиться, передавая в сокрытом виде часть собственного восторга. В это время я познакомился с Гипатией.

32
Баудолино видит даму с единорогом

— Но до того имела место мобилизация уродов, сударь Никита. Страх перед белыми гуннами рос, он был сильнее, чем когда бы то ни было, потому что один исхиапод, невесть ради чего допрыгав до границы провинции (эти существа часто скачут без цели, как будто их волей управляет только мускулистая нога), по возвращении сказал, будто их видел: желтолицые, с длинными усами и коротенького роста. На маленьких, как сами, и очень резвых лошадках, с которыми будто срослись. Они постоянно носились по степям и пустыням, имея при себе, кроме оружия, кожаную флягу с молоком и котелок, предназначенный для готовки чего попадется по дороге. Однако по нескольку дней были способны и не пить, и не питаться. Они осадили караван одного халифа, с рабами, одалисками, верблюдами, расположившийся на привал под сенью роскошных палаток. Солдаты халифа поскакали на гуннов, солдаты были прекрасны и ужасны видом, ги-

гантские всадники, верхом на боевых верблюдах, с кривыми ятаганами наголо. Под этим напором гунны притворились, что побежали, увлекая соперников за собою, затем окружили их хороводом и, описывая круги, всех до одного перебили. Они вернулись к шатрам и перерезали мужчин и женщин, служанок, даже детей, оставив одного свидетеля. Затем подожгли палатки и опять, снявшись вихрем, ускакали безо всякого грабежа: то есть жгли и убивали нарочно, чтоб по миру пошла слава, будто там, где налетали гунны, и трава не сможет расти; чтоб на следующий раз жертвы сразу цепенели от страха и не оказывали сопротивления. Может, исхиапод сообщил свои показания вслед за тем, как поправил настроение бурком. Но кому удастся проверить, говорил ли он о виденном или сильно присочинил? Ужас змеился в Пндапетциме, чувствовался в воздухе, в шепотке, которым жители передавали новости из уст в уста, как будто бы завоеватели были в силах их расслышать. В этой ситуации Поэт решил серьезнее отнестись к предложению, пускай и замаскированному под пьяный бред, которое исходило от Праксея. Говорил же тот, что гунны вполне могут нагрянуть с минуты на минуту и что встретить их в общем нечем. Нубийцы толь-

ко одни, со своим самопожертвованием, ну а что дальше? Что, кроме пигмеев, умеющих вострить луки на журавлей? Исхиаподы с голыми руками? Понцы с членами наизготовку? Безъязычники? Этих что, за языками, что ли, в разведку слать? Однако, подумавши хорошенько, из разношерстного сброда, коль пустить в дело свойства всех уродов, может выйти путное ополчение… Если кто-то и способен организовать его, только он, Поэт!

— Есть и такие пути к венцу императора. Надо прежде прославиться и прослыть полководцем-победителем. Так, по крайней мере, в Византии не раз бывало.

— Бесспорно, туда же метил и мой друг. Собрать и подготовить армию. Евнухи согласились немедленно. Во время мирного существования Поэт и его войско не составляли для них опасности. Ну, а если дошло бы до войны, он мог отсрочить захват этими головорезами города, дав время, кому надо, перевалить через горы. Вдобавок учреждение армии помогло бы содержать подданных в состоянии бодрого подчинения, а именно это евнухам, конечно, было желательно.

Баудолино, которому война не нравилась, просил на него не рассчитывать. Остальные

участвовали. Поэт был уверен, что все александрийцы прекрасные вояки, по старой памяти: он ведь воевал под Александрией и там от них понатерпелся. Привлек он и Ардзруни, дабы тот соорудил какую-нибудь ратную машину. Не пренебрег и Соломоном. В войске, полагал Поэт, должен находиться лекарь. Омлета не сделать, не разбив яиц. Подумав, он рассудил, что и Борон с Гийотом, пусть фантазеры, но могут сгодиться, так как грамотные: вести гарнизонные книги, надзирать за складами, заведовать снабжением и подвозом.

Он подошел по порядку, обдумал своеобразие каждой расы. Насчет нубийцев и пигмеев было все ясно. Осталось только решить, на какие их отвести позиции. Исхиаподы, благодаря проворству, могли использоваться в нападных отрядах, чтоб тихо подбираться к врагу, скользя в гуще аира и хвощей, и выскакивать неожиданно под самую желтую рожу, под самые усы. Осталось их только настраполить на стрельбу из тростинок (фистул) стрелами, по предложению Ардзруни, тем более что фистулы росли в готовом виде на каждом шагу. Аира-то сколько! Соломону, перебрав все зелья на рынке, предписывалось подыскать хороший яд, которым будут напи-

тываться стрелы, и не изображать кисейную барышню, поскольку война есть война. Соломон на это отвечал, что вообще-то еврейская нация еще во времена Массады умела задавать трепки римлянам и иудеи не таковы, чтоб тихо принимать пощечины, как почему-то все гои думают.

Великанов можно было пристроить к делу, но своим единственным оком они вряд ли могли далеко видеть. Оставался ближний бой. Выпускать сразу за исхиаподами. Великаны настолько превосходят ростом маленьких коней, на которых скачут гунны, что им не затруднительно, останавливая лошадей кулаком прямо по морде, после этого хватать за гриву, стрясывать всадников с седел и приканчивать ногами, тем более что ноги у этих великанов были вдвое громадней, чем ноги исхиаподов.

Оставалось придумать, как употреблять блегмов, понцев и паноциев. Прислушались к Ардзруни, тот вдруг решил, что-де паноции, распростерши уши, могли бы парить на них с высоты по воздуху. Парят же птицы в облаках, колыхая крыльями. Почему не колыхать ушами? Борон вторил ему, прибавляя: по счастью, колыхать не в пустоте. Получалось, что белые гунны, как пройдут через первые заслоны, как

прорвутся внутрь города, так сразу засевшие в скальных тайниках паноции им низринутся на головы, и вполне сумеют перерезать глотки, если только обучатся действовать ножами, ну хотя бы обсидиановыми. Блегмы не годились для разведки, потому что, чтобы глядеть, им пришлось бы выдвигаться целым торсом, что в военной обстановке равнозначно самоубийству. Но если ловко расположить их на подставе, они придутся куда как кстати, поскольку белый гунн, наверно, всегда целит в голову, а обнаружив перед собой безголовца, по меньшей мере хоть на миг оторопеет. В этот-то миг блегмам и надлежит работать своими каменными топорами.

Понцы составили слабейшее звено в стратегии Поэта, потому что пошлешь ли в атаку таких, со срамным членом на груди, впереди себя, так что самопервейший пинок придется ровно по мошонке, чтоб сразу повалились с ног и вспомнили родную маму? Можно их вообще-то принять застрельщиками, потому что, оказывается, этот причиндал у них как ус у насекомых, при даже слабых переменах ветра или температуры выстраивается и дрожит. А следовательно, послать их в авангард, получать от них сведения, а если, отмахивался Поэт, и выйдет так, что их перебьют

первыми, война есть война и нет в ней места христианскому состраданию.

Ну, безъязычников сначала предполагалось оставить в собственном соку, потому что при такой неорганизованности они могли причинить полководцу больше неприятностей, чем противнику. Потом все же было решено, что из-под плетки их принудят работать в тылу, помогать молодым евнухам под надзором Соломона возиться с ранеными и успокаивать фемин и мелюзгу всех рас, да приглядывать, чтоб из своих щелей никто не высовывался.

Гавагай при первой встрече обмолвился и о сатирах-ни-когда-и-нигде-невидимках, так что Поэт на их счет строил планы, они могли бы-де сражаться рогами и бить, как козы, раздвоенными копытами; но на любые вопросы об этих существах обычно поступали ответы самые уклончивые. Живут они на горе по-за озером (каким озером?), и их действительно никто, никогда и нигде не видывал. Они подданные пресвитера, однако живут самостоятельно, в сношения не входят ни с кем, и их как будто и нет. Поэт решил плюнуть на сатиров, тем более, заявил он, вполне возможно, что рога у них закручены куда-нибудь назад или вниз, и им придется бодаться, ложась

на спину или стоя на карачках, давайте посерьезнее, воюют ли козы в армии!

— Козы вполне воюют в армии, — ответил ему на это Ардзруни. И рассказал, как один великий полководец велел привязать факелы козам на рога и ночью погнал тысячи этих коз на равнину, по которой наступала неприятельская армия, так что те поверили, что против них несметное воинство. В данном случае, имея в распоряжении шестирогих коз, можно было достичь шикарного результата. — Да, если неприятель заявится в ночное время… — с сомнением протянул Поэт. Впрочем, пусть Ардзруни заготовит как можно больше как коз, так и факелов. В подобных делах ведь никогда не знаешь заранее.

На основании этих идей, неведомых Фронтину и Вегецию, шла полным ходом военная муштра. Равнину заполонили исхиаподы, плевавшие чем попало из новеньких тростяных фистул, под руководством Порчелли, который ругался чем свет, когда плевки пролетали мимо цели, призывая Христа на каждом слове, и счастье еще, что для этих еретиков Христово имя, поминаемое всуе, не звучало святотатством: всего-то навсего приемыш. Коландрино обучал паноциев летать, чего им дотоле не доводилось, но будто сам Господь

Бог создал их именно для этого. По улицам Пндапетцима ходить сделалось неудобно, вдруг ни с того ни с сего любому мог рухнуть паноций на голову, но повсеместно укоренилось мнение, что время стоит на дворе предвоенное, никто и не жаловался. Счастливее всех были сами паноций, настолько ошеломленные открывшимся у них неслыханным умением, что даже и женский пол, и недоросли просились участвовать в учениях. Поэт им охотно разрешал.

Скаккабароцци школил великанов, чтоб половчее хватали лошадей, но так как лошади во всей округе имелись только волхвовские, после двух или трех учебных занятий они уже отдавали богу душу. Поэтому переключились на ослов. Было и лучше, поскольку ослы ревели и брыкались и их было труднее хватать за шкирку, чем даже лошадей, летящих во весь опор. Теперь великаны стали истыми мастерами своего дела. Но надо было научить их вдобавок бегать, нагорбившись, между хвощами, чтобы враги их не замечали; великаны охали, что после каждого урока у них простреливает в пояснице.

Бойди, тот взялся за пигмеев. Белые гунны все же не то что журавли, им надо попадать между глаз. Поэт проводил работу в рядах нубийцев,

которые только и мечтали, чтобы отдать свою жизнь в бою. Соломон подыскивал подходящие яды и для пробы напитывал ими колющие орудия, но сумел пока что только усыпить на пару минут кролика и заставить курицу взлететь. Это тоже годится, считал Поэт: если белый гунн уснет хотя бы на время одного отче-наша, или вдруг начнет безудержно взмахивать руками, это уже не белый гунн, а мертвый гунн. Ладно, продолжим.

Куттика изводился с блегмами, обучая их подлезать под коней и пропарывать тем брюхо топориком. Упражняться на ослах было не лучшей затеей. Что до понцев, то поскольку понцы были приписаны к обслуживанию и снабжению, ими ведали Борон и Гийот.

Баудолино оповестил диакона о том, что делается, и юноша вдруг как будто ожил. Пожелал пройти, с разрешения евнухов, на наружную площадку лестницы и оттуда наблюдал учения. Он сказал, что и сам желает учиться верховой езде, дабы возглавить в бою подданных, но вслед за этим потерял сознание, может, от лишнего возбуждения, и был снова водворен на трон одиноко грустить.

Именно в те дни, может, от любопытства, может, от скуки, Баудолино подумал, а где же живут сатиры-никогда-и-нигде-невидимки. Он допытывался у всех, даже у какого-то понца, хоть язык понцев никак невозможно было понять. Тот ответил: «Пруг фрест фринсс соргдманд строхдт дрхдс паг брлеланг гравот шавиньи руст пкалхдрсг». Не густо. Даже Гавагай, и тот что-то темнил. Там они живут, говорил он, там, показывая пальцем на холмы на западе, позади которых различались далекие горы. Но туда никогда никто не хаживал. Сатиры не жалуют посторонних. «Как мыслят сатиры?» — спросил Баудолино, и Гавагай ответил, что они мыслят еще хуже всех остальных, поскольку думают, что не было первородного греха. Люди-де стали смертны не по греху своему, это произошло бы даже если б Адам не ел яблока. Значит, и искупления не требуется, каждый пускай спасается собственною доброй волей. И вся-де история Иисуса только пример добродетельной жизни, ничего более. «Почти такие еретики, как Махмет, который говоришь, будто Иисус только пророк».

На вопрос, почему никто не ходит к сатирам, Гавагай отвечал, что при подошве холма сатиров есть лес и озеро, и эти лес с озером под запретом,

потому что там живут негодницы, отъявленные язычницы. Евнухи запрещают правым христианам туда соваться, потому что недолог час попасть под какое-нибудь заклятье. Но Гавагай подозрительно четко описывал ведущую туда дорогу, что заставляло думать, что или он, или какой-нибудь другой исхиапод в своей бесконечной беготне засовывали уже нос и в запретные угодья.

Достаточно, чтоб заинтриговать Баудолино. Он выждал, пока все отвлекутся, сел на лошадь и меньше чем за два часа был на другом краю кустарниковой гряды, в окрестностях леса. Привязал лошадь к дереву и углубился в самую гущу свежей и ароматной листвы. Спотыкаясь о корни, вылезавшие на каждом шагу, наступая на огромные разноцветные грибы, он наконец продрался к берегу озера. С той стороны начинались уступы холмов, жилье сатиров. В тот час заката чистоструйные воды становились угрюмее, принимая и удлиняя отражения кипарисов. Всюду царствовало великое молчание, не вмещавшее даже пения птиц.

Пока Баудолино раздумывался на берегу этой водяной глади, из леса вышло животное, которого он не видел никогда, но знал замечательно.

Оно напоминало лошадь молодого возраста, всю белую, обходительную и гибкую в движениях. На морде миловидного абриса, прямо на лбу посередине, имелся рог, тоже белый и выкрученный спиралью, кончался он острием. Зверь был единорогом или, как говорил Баудолино в отрочестве, носорогом: monoceros, предмет мальчишеских грез! Он любовался зверем и замер, боясь дохнуть, а тем временем из леса появилась женская фигура.

Стройная, в длинных тканях, мягко очерчивавших небольшие стоячие груди, она продвигалась шагом тихого камелопарда, и полы ее касались трав, украшавших озерные склоны, будто все тело парило над землей. У нее были длинные мягкие белокурые волосы, доходившие до бедер, и чистейшего рисунка профиль, как будто вырезанный из слоновой кости. Кожа совсем немного розоватилась, ангельское лицо было обращено к озеру и полнилось беззвучной молитвенностью. Единорог тихо топотал бок о бок с нею, трепеща небольшими ноздрями в ожидании ласки.

Баудолино забыл себя и глядел на них.

— Ты подумаешь, сударь Никита, все оттого, что с начала путешествия я не видел женщины, достойной этого имени. Нет, прошу тебя понять:

не вожделение завладело полностью мной, а какое-то спокойное обожание, и не только ее, а ее вместе с животным, с этим спокойным озером, с горами, с этим закатным светом. Я будто оказался в храме.

Баудолино искал слова, чтоб обрисовать видение, что, как известно, невозможно.

— Видишь ли, иногда великолепие само показывается то в виде руки, то в виде лица, в оттенке на склоне горы или в отблеске моря, у наблюдателя замирает сердце при виде чуда красоты… Это создание в ту минуту мне представлялось неописуемой водяной птицей, не то цаплею, не то лебедем. Я назвал ее волосы белокурыми, так нет, с каждым движением они становились то голубоватыми, то пламенеющими. Я глядел сбоку на ее грудь, мягкую, трогательную, как грудка голубки. Я претворился полностью во взгляд. Видел что-то извечное, поскольку знал, что это не то, что прекрасный предмет, а сама воплощенная прекрасность. Может, святой помысел Божий. Я обнаруживал: совершенство, когда созерцается единократно (и только единократно), легко и любезно. Я видел эту фигуру на отдалении, но чувствовал, что она мне не подвластна. Ну точно, как взгляд, ослабленный годами, мнит, будто

видит отчетливые знаки на пергаменте, но знаешь: стоит тебе приблизиться, знаки сольются, и не узнать сообщения, обещаемого записью. Это было как сон. Во сне нам являются желанные вещи, протягиваем руку, и пальцы шевелятся в пустоте.

— Завидую такому наваждению…

— Чтоб не спугнуть, я превратился в статую.

33
Баудолино знакомится с Гипатией

Но наваждение кончилось. Подобно лесному животному, девушка учуяла Баудолино и повернулась к нему. Без всякого страха, только глядела удивленно.

— Кто ты? — спросила она по-гречески. — Поскольку он молчал, она подошла вплотную и стала рассматривать открыто, дружелюбно, глаза ее были как волосы, переменчивого цвета. Единорог стоял о бок с ней, наклонив шею, будто готовя свое дивновидное орудие для обороны хозяйки.

— Ты не из Пндапетцима, — продолжала она. — Ты не евнух и не монстр, ты… человек! — Чувствовалось, что опознавала человека она как Баудолино единорога, по описаниям, ни разу не видев. — Ты красивый. Человек красивый. Можно тронуть? — Тонкими пальцами она погладила его бороду и шрам на лице, как Беатриса в давний день. — Это у тебя рана. Ты тот человек, который бьется на войне? А что это?

— Меч, — сказал Баудолино. — От хищных зве-

рей. Я не тот человек, который бьется на войне. Зовусь Баудолино и прибыл из земли, где закатывается солнце. — Он неопределенно махнул рукой. Обнаружилось, что рука дрожала. — А ты кто?

— Гипатия. — Судя по тону, ее позабавил наивный вопрос, и с улыбкой она стала еще краше. Но сразу вспомнила, что разговаривает с чужеземцем. — У нас в лесу, за теми деревьями, обитают только гипатии. Ты меня не боишься, как те, из Пндапетцима? — Тут уж Баудолино улыбнулся: оказывается, она боялась, что он ее забоится. — Ты часто бываешь на озере? — спросил он. — Не очень, — ответила Гипатия. — Матерь не хочет, чтобы мы поодиночке выходили из леса. Но озеро очень красивое, а я под защитой Акакия, — она кивнула на единорога. Потом добавила с обеспокоенным видом: — Уже поздно. Я не должна отсутствовать столь долгое время. Я не должна и встречаться с теми, из Пндапетцима, коль вдруг они дойдут сюда. Но ты не из Пндапетцима, ты человек, а мне никто не приказывал остерегаться человеков.

— Я приду и завтра, — выпалил Баудолино. — Когда солнце будет высоко. Я тебя увижу?

— Не знаю, — отвечала гипатия смущенно. —

Может… — и ускользнула за дерево.

Ту ночь Баудолино провел без сна, поелику (втолковывал он сам себе) сон он уже видел, и такой, которого могло хватить на целую жизнь. На следующий день, в самый палящий полдень, он поскакал на озеро.

Прождал на озере до вечера и никого не встретил. Печально отправился домой. На окраине города стая исхиаподов упражнялась в плевании из фистулы. Гавагай крикнул ему: — Ты смотришь! — Повернул трубочку в небо, стрелка прянула и пропорола брюхо птице, свалив ее на землю. — Я будешь великий воин, — провозгласил Гавагай. — Приедешь белый гунн, я пронзишь его наповал! — Баудолино ответил, что он просто молодец, и пошел ложиться. Увидел во сне давешнюю встречу и утром сделал вывод, что этого сна на целую жизнь ему отнюдь не хватит.

Опять отправился к озеру. Сел на берег, внимал щебетанию птиц, праздновавших явление утра, потом слушал хор цикад в часы, когда бушует полуденный бес. Но жар не тяготил его, деревья разливали восхитительную прохладу, не в труд было прождать несколько часов. Она появилась.

Присела рядом с ним и сказала, что пришла

побольше разузнать о человеках. Баудолино не знал, как начинать, и стал описывать свои родные земли, придворную жизнь у Фридриха, и что такое империи, и царства, и как ходить на соколиную охоту, и что такое города, и как их строят, то самое, что он уже рассказывал диакону, но без жестокостей и непристойностей, обнаруживая, по мере своего рассказа, что и о людях, значит, можно найти немало теплых слов. Она все слушала, и глаза переменяли отливы в зависимости от каждого чувства.

— Как ты рассказываешь! Все человеки так хорошо говорят? — Нет, затруднился Баудолино… Он, вероятно, умеет рассказывать лучше и больше иных сородичей. Но существуют поэты, и они способны повествовать еще лучше. И он спел одну из Абдуловых канцон. Та не понимала по-провансальски, но, как абхазцы, пленилась нежной мелодией. Ее глаза затуманились влажной дымкой.

— Скажи, — спросила она, еле заметно розовея. — Но есть ведь у человеков… как бы это сказать… свои фемины? — По вопросу он понял, что она догадалась: песня посвящается женщине. — Ну а как же, — ответил Баудолино, — разумеется. Как исхиапод спознается с исхиаподихой, так

человек спознается с женщиной, ибо сами по себе они не имели бы потомства, и так живет все живое во всем универсе.

— Ну, неправда, — возразила со смехом гипатия. — Мы, гипатии, сами по себе, и у нас нет… этих самых… гипатиев! — и опять засмеялась от подобной мысли.

Баудолино гадал, как бы рассмешить ее снова, потому что ее смех был самым нежным из любых слышанных звуков. Хотелось, разумеется, спросить, как размножаются гипатии без участия гипатиев, но он страшился потревожить ее невинность. Однако он почувствовал себя вправе полюбопытствовать хотя бы, что представляют собой гипатии.

— О, — отвечала она. — Это долгий рассказ, я не умею так прекрасно рассказывать, как получается у тебя. Знай же, что тысячи и тысячи лет тому назад в одном могущественном городе, очень далеко отсюда, жила добродетельная и мудрая Гипатия. Она руководила философской школой, а философия, значит, любовь к мудрости. Но в этом городе жили, кроме нее, злые люди, именовавшиеся «христиане», они не чтили богов, они ненавидели философию и в особенности не могли потерпеть, чтобы истиной заведовала

фемина. Они схватили Гипатию и умертвили ее, причинив ужасные муки. Несколько молодых ее учениц не пострадали, вероятно оттого, что их сочли несведущими и приставленными к Гипатии лишь для услужения. Они спасались бегством, но к тому времени христиане распространились везде, и ученицам пришлось странствовать до тех пор, покуда они не пристали вот к этому мирному месту. Тут они силились восстановить знание, полученное от учившей их Гипатии. Но во времена ученья они были чересчур юными и не такими великомудрыми, как она, и поэтому не крепко запомнили ее наставления. Тогда они решили жить сами по себе, в удалении от мира, стараясь вновь открыть заветы Гипатии. Ведь так и Бог закладывает тени истин в сердце любого из нас, и требуется только снова проявить их, они воссияют в освещении мудрости, подобно тому, как освобождается мякоть плода от кожуры.

То Бог, то боги, если это не Бог христиан, значит, речь о лживых, неправедных богах… Что толкует эта гипатия, ломал голову Баудолино. Но, честно сказать, до сути ему не было дела. Довольно было слушать ее речь и он уже отдавал жизнь за ее истины.

— Скажи хотя бы вот еще что, — перебил он

ее. — Вы гипатии, по имени той Гипатии, это понятно. Но тебя-то как зовут?

— Гипатия.

— Нет, я спрашиваю, как зовут тебя именно, в отличие от твоих товарок… Ну, в смысле, как тебя окликают остальные?

— Гипатия.

— Ну, ты вот вечером вернешься туда, где вы живете, и встретишь какую-нибудь гипатию. Как ты к ней обратишься?

— Я скажу: счастливый вечер. У нас так принято.

— Да, но вот смотри, я, когда приеду в Пндапетцим и встречу, предположим, евнуха, он мне скажет: счастливый вечер, о Баудолино. А ты скажешь: счастливый вечер, о…? Ну как там дальше?

— Ну да, я скажу: счастливый вечер, о Гипатия.

— Так что же, вас всех зовут Гипатия?

— Ну разумеется, всех гипатии зовут Гипатиями, и ни одна не отличается от прочих, иначе она не была бы гипатией.

— Но если тебя начинает разыскивать какая-нибудь гипатия, разыскивает именно сейчас, когда тебя дома нет, и спрашивает у прочих гипатии, не видел ли кто ту самую гипатию, которая

ходит с единорогом по имени Акакий, то как ей надо спрашивать?

— Вот именно так: не видел ли кто гипатию, которая ходит с единорогом Акакием.

Ответь что-либо в подобном роде Гавагай, у Баудолино чесались бы руки влепить затрещину. С Гипатией другое дело. Баудолино уже восхищался, до чего должно быть дивно то место, где все гипатии зовутся Гипатиями.

— Потребовалось немало дней, сударь Никита, чтобы понять, что такое представляли собой гипатии…

— Поскольку, полагаю, вы еще не раз виделись.

— Поскольку мы виделись ежедневно. Почти ежедневно. Я не мог жить, не видя и не слыша ее. Это, наверно, тебя не удивляет. Но что меня удивляло и исполняло беспредельной гордости, это когда я видел, что и она счастлива, видя и слушая меня. Я… я сделался в точности как дитя, дитя ищет материнскую грудь и стоит матери отлучиться, рыдает, боясь, что она не вернется никогда.

— То же самое и у собак с хозяевами. Но мне интересно побольше узнать бы о гипатиях. Поскольку, как ты, вероятно, знаешь, а может,

не знаешь, Гипатия реально существовала. Не тысячи и тысячи лет тому назад, а восемь веков назад. Она жила в Александрии Египетской, империей в ту пору правил Феодосии, его сменил Аркадий. Она действительно была, судя по рассказам, великомудрой женщиной, понаторевшей в философии, математике и астрономии, так что заслушивались и мужчины. Тем временем наша пресвятая вера восторжествовала на всех территориях империи, но оставались немногочисленные строптивцы, пытавшиеся хранить учение языческих философов, к примеру, божественного Платона; не стану отрицать, что за это им как раз спасибо, они донесли до христиан то знание, которое могло бы утеряться. Да, только некий величайший христианин своего времени, впоследствии причисленный к святым, Кирилл, муж многоверующий, однако же и непримирительный, усмотрел в учении Гипатии покушение на Евангелия и науськал на нее толпу невежественных, освирепелых христиан, не знавших даже, о чем она проповедовала, но полагавших ее, со слов Кирилла и остальных, обманщицей и распутницей. Наверно, ее оклеветали, хотя и точно, женщинам не след соваться в божественные разборы. В общем, ее затащили в храм, обнажили,

забили, надругались над телом, истерзали черепьями от битой посуды, после этого сожгли труп. Гипатия вошла в легенды… Вроде бы она была красавицей, однако обрекла себя обетом на девство. Один молодой ученик безумно влюбился в нее, тогда она показала ему ветошь с месячными кровями и сказала, что вот предмет его пылкой страсти, вовсе не красота красот… По сути, содержание ее учения неизвестно. Утеряны все письменные свидетельства, а те, кто запоминали ее уроки с голоса, или погибли, или постарались забыть все слышанное. До нас дошло только то, что приведено в писаниях святых отцов, которые ее погубили… Так вот скажу тебе честно, как историк и дееписатель: не стоит сильно доверять высказываниям, которые губители вкладывают в уста своих жертв.

Они встречались и беседовали. Гипатия говорила, Баудолино жаждал, чтобы ее ученость была безбрежна и речь продолжалась без конца. Она отвечала на всевозможные вопросы с отважным чистосердечием, без краски, и для нее не существовало никаких лицемерных запретов. Все было отчетливо и открыто.

Баудолино в конце концов посмел спросить, каким же образом порода гипатий продолжается

в течение стольких веков. Она отвечала, что в каждую пору года, когда приходит время, Матерь решает, кому надлежит произвести потомство, и направляет избранниц к производителям. Гипатия сама нетвердо знала, кто они, и, разумеется, их не видела никогда. Но и гипатии, проходившие через обряд, тоже не видели производителей. Гипатии являлись на определенное место ночью и принимали опьяняющее и дурманящее зелье, их оплодотворяли и они возвращались обратно в товарищество, а потом те, кому приводилось зачать, пользовались заботами товарок вплоть до дня родов. Если чадо их утробы оказывалось мужского пола, плод передавали производителям, чтобы те воспитывали его в своем духе. Женское потомство оставалось в товариществе: из них выращивались гипатии.

— Совокупление плоти, — говорила Гипатия, — присущее животным тварям, не одаренным душой, может только усугубить ошибку творения. Мы, гипатии, направляемые к производителям, соглашаемся на подобное унижение, только чтоб продолжилось наше существование: мы призваны избавить мир от этой ошибки. Те, кто оплодотворялся, ничего не запоминают из опыта, который, не допускайся он исключительно в

духе самопожертвования, мог бы нарушить нашу апатию…

— Что есть апатия?

— Состояние, в котором все гипатии пребывают и счастливы пребывать.

— А почему творение — ошибка?

— А как же, Баудолино, — отвечала она с искренним изумлением, — неужто тебе кажется, что мир совершенен? Сам погляди, вот цветок, до чего нежен у него стебель, как хороша эта дырчатая завязь в сердцевине, посмотри, какие у него равномерные лепестки, немного выгнутые, чтоб захватывать влагу утренних рос и содержать, как в чашке, посмотри на удовольствие, которое цветок доставляет вон тому мотыльку, пьющему лимфу… Разве он не хорош?

— Ну вот именно, что хорош. Так что, разве плохо, что он хорош? Разве это не Божие чудо?

— Баудолино, завтра утром этот цветок умрет, а послезавтра сделается гнилью. Иди со мной. — Она повела его под деревья и показала красношляпый с пламенно-желтыми прожилками гриб. — Хорош?

— Да, конечно.

— Он отрава. Кто отведает, погибнет. Ты считаешь совершенным такое творение, в котором

затаивается гибель? Знаешь, однажды так и я умру и тоже стать бы мне гнилью, если бы не обет спасать Бога.

— Спасать Бога? Помоги понять…

— Ты, я надеюсь, не христианин, Баудолино, как пндапетцимские монстры? Христиане, убившие Гипатию, верили в жестокое божество, сотворившее мир, а вместе с миром смерть, страдание и, что еще хуже физического страдания, мучения души. Сотворенные существа способны ненавидеть, убивать и изводить себе подобных. Я надеюсь, ты не думаешь, что правый Бог мог обречь своих сынов на такое ничтожество…

— Но так поступают неправедные люди, и Бог карает их, а хороших он милует.

— Но тогда зачем Богу было создавать нас и подвергать риску проклятия?

— Потому что высшее благо — свобода совершать добро или зло, и, чтоб даровать своим сынам это благо, Бог допустил некоторых скверно употреблять его.

— Почему ты считаешь, что свобода есть благо?

— Потому что, лишась ее, будучи окована, без возможности делать, что тебе хочется, ты страдаешь, это значит, что отсутствие свободы есть зло.

— Можешь ли ты вывернуть голову так, чтоб глядеть назад, нет, полностью, задом наперед? Можешь ли ты войти в озеро и просидеть под водой до вечера, весь с головой, ни разу ее не высунув?

— Нет, ибо если я выверну задом наперед голову, я сверну себе шею, а если останусь под водой, вода не позволит мне дышать. Бог создал эти ограничения, тем препятствуя, чтоб я не причинил себе зла.

— Значит, ты согласен, что он отнял некоторые свободы для твоего же блага?

— Отнял, чтобы я не страдал.

— А зачем же он предоставляет свободу выбора между добром и злом, так, что ты рискуешь обрести страдание вечное?

— Бог предоставил свободу, думая, что мы используем ее во благо. Но воспротивились ангелы, отчего в мир проникло зло, и змей искусил Еву, отчего мы все страдаем из-за первородного греха. Это не вина Бога.

— Кто же создал воспротивившихся ангелов и змея?

— Бог, конечно же, но до того как они воспротивились, они были хорошими, какими Он их и создал.

— Значит, зло сотворили не они?

— Нет, они его совершили, но зло существовало и прежде, как возможность противления Богу.

— Значит, зло сотворено Богом?

— Гипатия, ты умна, ты чувствительна, проницательна. Ты умеешь вести disputatio значительно лучше меня, хотя я обучался в Париже, но пожалуйста, не говори мне ничего такого о Господе, Он не может вожделеть зла!

— Ну конечно, нет, Бог, который вожделеет зла, был бы противоположностью Бога.

— Значит?…

— Значит, Бог это зло обнаружил при себе, не желая, в виде темной части самого себя.

— Да ведь Бог совершеннейшее существо!

— Разумеется, Баудолино, Бог есть наисовершенное из существующего, только знал бы ты, до чего затруднительно быть совершенным! Теперь, Баудолино, я объясню тебе, что есть Бог, вернее, что не есть Бог.

Она действительно ничего не боялась. — Бог, это Уникум, и он до того совершенен, что не подобен ничему, что есть, и ничему, чего несть; невозможно описать Бога, используя человеческий интеллект, как будто бы это кто-то сердящийся, если ты плох, или заботящийся о

тебе из доброты. Кто-то имеющий рот, уши, лик, крылья, кто-то являющийся духом, отцом, сыном, или даже самим собой. Об Уникуме невозможно сказать, есть он, нет его, он всеобъемлющ, он ничто; можно именовать его только через неподобие, потому что бессмысленно звать его Добром, Красой, Умом, Любезностью, Мощью, Правотой, с таким же успехом можно было бы его звать Медведем, Пантерой, Змеем, Драконом или Грифоном, потому что как бы ты его ни величал, все равно его не выразишь. Бог не тело, не фигура, не форма, у него нет ни количества, ни качества, ни веса, ни легкости, он не видит, он не слышит, он не знает беспорядка и возмущения, он не душа, не разум, не воображение, не мнение, не мысль, не слово, не число, не порядок, не величина, он не равенство и не неравенство, он не время и он не вечность, он воля без цели; постарайся понять, Баудолино, Бог светильник без пламени, пламя без огня, огонь без тепла, темный свет, тихий гром, слепая вспышка, ясная дымка, луч собственных потемок, круг, распространяющийся к своему центру, одинокое множество, это… это… — Она поколебалась, подыскивая пример, который убедил бы обоих, ее, преподавательницу, и его, воспринимающего. — Это пространство,

которого нет, где мы с тобою что-то общее, вот как сегодня в этом времени, что не проходит.

И легкое пламя задрожало у нее на щеке. Она замолкла, испуганная несообразным примером, но как можно счесть несообразным одно из прибавлений к перечню несообразностей? Баудолино почувствовал, что тот же пламень пронизывает его грудь, но оробел из-за ее смущения, напрягся, не позволяя ни единому мускулу лица выдавать движения сердца, не позволяя голосу дрогнуть, и переспросил с богословской выдержанностью: — Так все-таки, творение? Злодеяние?

Лицо Гипатии вновь обрело розоватую бледность. — Так все-таки Уникум, по причине своего совершенства, из великодушия к себе самому склонен распространяться и расширяться на все более объемные сферы собственной всеохватности, подобно свечке, жертве распространяемого ею же света: чем больше светит, тем меньше ее остается. Бог расточается в тени себя самого и превращается в скопище посредственных божеств, Эонов, перенявших часть его могущества, но в более слабой форме. Это многочисленные боги, демоны, Архонты, Тираны, Силы, Искры, Светила, а также те, кого христиане именуют ангелами или архангелами… Но они не сотворены

Уникумом, а представляют собой его эманации.

— Эманации?

— Видишь ту птицу? Она порождает новых птиц из яйца, как гипатия порождает чад из своей утробы. Но когда порождено, создание, будь оно гипатия или птенец, самостоятельно живет и способно обходиться, если умрет его мать. А теперь представь себе огонь. Он не порождает жар, а эманирует. Жар — единое с огнем. Погаси огонь, жар прекратится. Жар огня сильнее там, где огонь производится, жар ослабевает постепенно там, где пламя переходит в дым. Так и Бог. Распространяясь вдаль от своего темного центра, он постепенно утрачивает силу, и в конце концов превращается в тусклую, липучую материю, похожую на потерявший форму воск, в который превращается свеча. И Уникум не хотел бы эманировать на такое отдаление от себя, но он не может противостоять растеканию в множественность, неупорядоченность.

— А не может этот твой Бог сделать так, чтоб растеклось все зло, которое… которое он вокруг себя образует?

— О да, это он мог бы. Уникум постоянно пытается поглотить это свое дохновение, которое может превратиться в отравленное, и в течение

семидесятикратно семи тысяч лет ему постоянно удавалось обращать в ничто эти собственные угары. Жизнь Бога состояла в регулярном дыхании, он пыхтел себе без усилий. Так, послушай. — Она втягивала воздух носом, ее нежные ноздри подрагивали, а потом он вырывался изо рта. — Но однажды он не сумел обуздать одну свою промежуточную потенцию, мы зовем ее Демиург, и она, быть может, является также Саваофом или Ильдабаотом, то есть лжегосподом христиан. Это воспроизведение Бога по ошибке, из гордости или по невежеству, создало время, притом что прежде существовала только вечность. Время — это вечность, у которой икота, понимаешь? Со временем был создан и огонь, который дает жар, однако и грозит сжечь все на свете, вода, которая утоляет жажду, однако и топит, земля, которая питает травы, но может превратиться в лавину и завалить все, воздух, позволяющий дышать, но способный стать ураганом… Он кругом ошибся, бедный Демиург. Демиург сотворил солнце, оно дает свет, но при этом выжигает луга; сотворил луну, которой удается владычествовать над ночью всего только несколько суток подряд, а потом луна тощает и исчезает; и иные небесные тела, которые великолепны, но могут

оказывать пагубное воздействие. Он создал существ, одаренных рассудком, но неспособных распознавать великие тайны, а также животных, которые то верны нам, то угрожают; растения, питающие нас, но недолговечные; минералы, безжизненные, бездушные, обреченные никогда не понять ничего. Демиург был как дитя, которое мнет глину, чтоб передать красоту единорога, но то, что вылепливается, напоминает мышь!

— Что ж, мир есть заболевание Бога?

— Если ты совершенен, ты не можешь не эманировать, но, эманируя, заболеваешь. К тому же попробуй уяснить, что Бог, в своей всеохватности, это еще и место, то есть не-место, где противоположности сливаются.

— Как это?

— Ну вот мы ощущаем и жар и холод, и свет и темноту, и каждое из чувств противоположно другому. Бывает, что неприятен холод, что он считается злом по отношению к теплу. А иногда нам неприятен жар, и мы хотим прохлады. Это мы сами, встречая противоположности, предполагаем, в зависимости от своей прихоти, от своей страсти, что одна часть пары это зло, вторая же часть благо. А в Боге противоположности сливаются и образуют гармонию. Однако, когда Бог начинает

эманировать, он уже не в состоянии поверять гармонию противоположностей, и они отскакивают друг от друга и друг с другом борются. Демиург не мог усмирить противоположности, у него вышел мир, в котором тишина и грохотанье, да и нет, одно добро против другого добра беспрестанно сражаются между собой. Это и есть то, что нами ощущается в виде зла.

Разгорячившись, она всплескивала руками как ребенок и все показывала: то мышь, будто бы лепя ее, то грозу, взвихривая руками воздух.

— Ты говоришь об ошибке творения, Гипатия, и говоришь о зле, однако вроде к тебе все это не относится. Ты обитаешь в лесу с таким видом, вроде все так же прекрасно, как прекрасна ты.

— Ну понимаешь, если зло от Бога, значит, что-то доброе есть и в зле. Послушал бы ты меня, Баудолино. Ты сам-то человек, а человеки не привыкли верно мыслить насчет всего того, что есть.

— Так я и знал: выясняется, что я мыслю худо.

— Да нет, ты просто мыслишь, и все. А мыслить — этого недостаточно. Попробуй вообразить родник, у которого нет начала, но он питает водой тысячу рек и никогда не пересыхает. Из родника исходят спокойствие, прозрачность и свежесть,

но реки ниже по течению то загрязняются, то засоряются песком, то бьются о скалы и кашляют, полузадушенные, а иногда теряют всю воду. Реки от этого очень сильно страдают, знаешь? Ведь и эти реки, и мелкие илистые речушки брали воду из того же родника, что питает вот это озеро. Озеро страдает меньше реки, потому что его прозрачность больше напоминает родник, из которого пришла вода; а стоячий, переполненный насекомыми пруд страдает больше, чем озеро, и больше, чем маленькая речушка. Хоть в разной мере, но страдают все они, поскольку хотели бы вернуться туда, откуда выходили, и все забыли, как это делается.

Гипатия взяла Баудолино за руку и повернула лицом к лесу. Голова ее при этом оказалась настолько близко, что он смог вдохнуть травяной запах ее волос. — Гляди на дерево. То, что течет в нем внутри, от корней до верхушечных листьев, это одна и та же жизнь. Только корни укрепляются в почве, ствол все крепчает и готовится переносить разные поры года, ну, а ветки потихоньку ломаются и сохнут, листья держатся только несколько месяцев, опадают, завязи живут не больше двух-трех недель. В кроне зла больше, чем в стволе. Дерево одно, но ему тяжко

разрастание, оно страдает, когда становится многими. Умножаясь, ослабевает.

— Кроны красивые, тебе так мила их тень…

— Видишь, что и ты можешь быть мудрым, Баудолино? Если б не кроны, мы не могли бы сесть и беседовать о Боге, если б не лес, мы никогда бы не познакомились, и это было бы наизлейшим из зол.

Она произнесла это как чистую, простую истину, но Баудолино ощутил, что у него опять колет грудь, притом не мог и не желал выказать свое содрогание.

— Ну а тогда объясни, как могут многие быть хорошими, по крайней мере в определенной степени, если они заболевание Уникума?

— Видишь, и ты можешь быть мудрым, Баудолино? Ты говоришь: в определенной степени. Невзирая на ошибку, определенная часть Уникума остается в каждом из нас, мыслящих созданий, и даже в каждом из других созданий, начиная с животных и кончая мертвыми телами. Все, что окружает нас, населено богами: растения, семена, цветы, корни, источники. Каждый из них, страдая оттого, что он — дурное подражание Божию помыслу, желал бы снова объединиться с ним. Мы должны восстановить гармонию проти-

воположностей, должны помочь богам, должны оживить эти искры, эти воспоминания об Уникуме, что покоятся, погребенные, на днище нашей души и во всех в мире вещах.

Целых два раза Гипатия проронила, что прекрасно ей быть рядом с ним. Баудолино расхрабрился, понял, что может приезжать еще.

Однажды Гипатия стала рассказывать, каким способом они оживляют искры Божий во всех вещах, дабы вещи симпатически соотносились с чем-то более совершенным, нежели они, не непосредственно с Богом, но с наименее распространившимися его эманациями. Она повела его на край озера, на берегу там росли подсолнухи, а на воде кувшинки.

— Видишь гелиотроп? Поворачивает голову за солнцем, его ищет, ему молится, и обидно, что ты пока не умеешь слышать, как шуршит раздвигаемый им воздух целый день, пока он описывает круг. Ты расслышал бы хвалебный гимн! Взгляни на кувшинку. Открывается при восходе солнца, вся себя подставляет зениту и захлопывается, когда солнце садится. Кувшинка восхваляет солнце, раздвигая венчик, как мы раздвигаем и сдвигаем губы во время молитвы. Эти цветы живут в симпатии со светилом и тем самым сохраняют

частицу его могущества. Действуя на цветок, воздействуешь на солнце, а умея воздействовать на солнце, получаешь возможность на него влиять, а через солнце ты сочетаешься с чем-то, что живет в симпатии с солнцем и еще совершеннее, чем оно. Но это происходит не только путем цветка, возможны другие пути, через камни или через животных. В любом из них обитает малый бог, который желает сочетаться, через более мощных, с праначалом. Мы обучаемся с детства применять мастерство, которое позволяет нам воздействовать на главных богов и восстанавливать утраченные узы.

— Как?

— Несложно. Научаемся переплетать все вместе: камни, травы, ароматы, совершенные и богоподобные, образовывая… ну как бы выразить… симпатические сосуды, где сосредоточена сила многих начал. Знаешь, цветок, камень и даже единорог, все имеют божественные черты, но поодиночке не могут взывать к главным богам. Наши смеси воспроизводят, благодаря мастерству, сущности, к которым желательно воззвать, умножают мощь каждого элемента.

— Ну а что потом, когда вы к главным богам воззвали?

— Погоди, мы в самом начале. Нас обучают быть посредницами между тем, что вверху, и тем, что снизу, мы доказываем, что возможно восходить обратно течению эманации Бога, хотя бы на немного; мы доказываем природе, что такая возможность есть. Верховная задача, это, однако, не сочетать подсолнух с солнцем, а сочетать нас самих с прананачалом. Тут начинается аскеза, то есть восхождение. Сначала мы научаемся вести себя достойно, не убиваем живых созданий, стараемся распространить гармонию на существа, окружающие нас, и, делая это, мы можем возбудить повсюду затаенный жар. Видишь эти стебли? Они пожелтели, опали. Я могу потрогать их, заставить снова колебаться, заставить чувствовать все то, что они забыли. Гляди, вот понемногу они опять обретают свежесть, как будто только проклюнулись из земли. Но и этого недостаточно. Чтоб оживлять эти стебли, достаточно усовершенствовать натуральные свойства, обострить зрение и слух, укрепить тело и память, достичь легкости в учении и тонкости обхождения путем частых омовений, очистительных церемоний, гимнов, молитв. Следующий шаг вперед — развивать мудрость, силу, умеренность и праведность, тем приобретаются освящающие свойства: пробуем

рассоединять душу и тело, учимся взывать к богам… не говорить о богах, как древние философы, а действовать на них, вызывать дожди волшебными шарами, ставить обереги против землетрясений, испытывать прорицательное великомочие треножников, оживлять статуи, преобразуя их в оракулов, заклинать Асклепия для исцеления больных. При этом очень важно стеречься, чтобы боги не овладевали нами, ибо это приведет к смущению и волнению, то есть к удалению от Бога. Учимся заклинать, сохраняя полное спокойствие.

Гипатия взяла Баудолино за руку, и он не шевелился, не тревожил струящуюся теплоту. — Баудолино, может, ты по моим словам подумал, будто я так же преуспела в аскезе, как мои старшие сестры… Знал бы ты, до чего я пока что несовершенна. До нынешних пор я сбиваюсь, приводя в соответствие розу с той вышнею силой, которая дружественна ей! Вдобавок, видишь, я пока еще много разговариваю. Знак, что я недостаточно умудрилась. Благовеличие достигается молчанием. Но я разговариваю так много, потому что здесь ты, а тебя следует вразумить, если я вразумляю подсолнухи, почему мне не вразумлять тебя? На следующей ступени совершенства мы

научимся обходиться без слов, хватит прикосновения, ты все поймешь. Как подсолнух. — Она смолкла и погладила подсолнух. Потом, так же молча, погладила по руке Баудолино и спросила после этого: — Чувствуешь?

Назавтра она рассказывала о молчании, насаждаемом гипатиями, с тою целью, поясняла она, чтобы и он перенял это качество. — Нужно создавать вокруг себя полное спокойствие. Так мы приходим к одиночеству, удаленному от всего прежде думанного, воображавшегося и ощущавшегося; так мы находим мир и покой. Мы не почувствуем ни гнева, ни желания, ни боли и ни счастья. Мы выникнем из нас самих, захваченные абсолютным одиночеством и глубокой тишью. Не поглядим ни на красивое, ни на доброе, оказавшись по ту сторону красоты, по ту сторону собрания добродетелей, как для введенного в святая святых остаются позади изваяния богов и он зрит уже не образы, но Бога. Нам не понадобится уже заклинать посредственные силы. Превзойдя их, мы превозмогли их недостаток; в том тайнике, в том сокровенном и заклятом месте мы превышаем все роды богов, иерархии Эонов, они в нас остаются только памятью об излеченном зле бытия. Это и будет конец пути,

освобождение, разрешение от уз, побег того, кто наконец одинок, к Одиночеству. В этом возврате к абсолютной простоте мы ничего уже не сможем видеть. Только славу мрака. Освобожденные от души и от рассудка, мы досягнем выше царства разума, в благоговении почием там, подобно восходящему солнцу, с замкнутыми зеницами станем созерцать солнце света, станем пламенем, темным пламенем той тьмы, и путем огня совершим восхождение. И вот именно тогда, оказавшись у истоков реки, доказав не только самим себе, но и богам и Богу, что против течения можно подниматься, мы излечим мир, уничтожим зло, умертвим смерть, развяжем узел, в котором запутались пальцы Демиурга. Мы, Баудолино, назначены вылечить Бога, именно нам было поручено его спасение; мы возвратим, через собственный экстаз, все сотворенное в самое сердце Уникума. Мы дадим Уникуму силу совершить тот великий вдох, который ему позволит вновь поглотить все зло, некогда им выдохнутое.

— Вы это умеете? Какой-нибудь из вас это удалось?

— Мы стараемся суметь, мы готовимся уже много веков, чтобы хоть одна смогла суметь. С детского возраста всем нам понятно, что не

требуется, чтобы все мы совершили подобное чудо. Достаточно, если однажды, может быть, и через тысячу лет, одна какая-нибудь из нас, одна благоизбранная, достигнет момента верховного совершенства, в котором почувствует себя единым целым с собственным праначалом, тогда чудо и совершится. Тогда, показав, что из множественности страждущего мира возможно возвращение в Уникума, мы возвратим Богу мир и упование, усилим его, дабы смог опять собраться в собственном центре, дадим ему энергию, чтобы наладил ритм собственного дыхания.

Глаза сверкали, кожа ее разгорячилась, руки почти дрожали, голос стал умоляющим: она просила Баудолино тоже поверить в откровение. Баудолино подумал, что хотя Демиург и натворил ошибок, но существование этого создания превращало мир в пьянящее место, блистающее всеми совершенствами.

Он не устоял, осмелился взять ее руку и коснуться поцелуем. Она содрогнулась от неизведанного ощущения. Сказала: — И в тебе обитает какой-то бог… — Закрыла лицо руками и Баудолино услышал удивленное: — Я утеряла… я утеряла апатию…

Не оборачиваясь, она бросилась в лес, не сказав

ему более ни слова.

— Сударь Никита, тогда я заметил, что влюблен, как я не был влюблен никогда, но что я снова влюблен в единственную женщину, которая моей быть не могла. Первая из-за высокопоставленного положения, вторая из-за безвременной смерти, и, наконец, эта последняя из-за того, что обрекла себя на спасение Бога. Я уехал оттуда, возвратился в город и гадал, стоит ли мне приезжать опять. И почти с облегчением узнал на следующий день от Праксея, что на взгляд жителей Пндапетцима я выглядел самым авторитетным Волхвоцарем, пользовался доверием диакона, и именно меня диакон назначает командующим над армией, которую до сих пор Поэт так усердно подготавливал. Я не мог уклониться, разброд в волхвовском стане создал бы невозможное положение перед горожанами, а горожане тем временем со страстью отдавались подготовке к войне, так что я вынужден был согласиться, в частности пред лицом исхиаподов, паноциев, блегмов и прочего народа, к которому я уже успел искренне привязаться. В частности, подумал я, занявшись новою обязанностью, я забуду, что оставил в лесу. Два дня были целиком посвящены всяким хлопотам. Но я мучился, голова была занята другим, я был

в ужасе от мысли, что Гипатия снова пришла на озеро, не нашла меня, сделала вывод, что ее побег меня раздражил и что я решил не видеться никогда с нею. Я отчаивался, полагая, что она отчаялась и сама решила не видеться со мной. В этом случае я ринулся бы по ее следам, верхом доскакал бы до того места, где жили гипатии, чего бы я только не сделал, я бы похитил ее, я бы нарушил мир всего сообщества, я бы смутил ее невинность и дал бы понять то, чего понимать ей не следовало, или же нет, я нашел бы ее в полном увлечении миссией, после отторжения того, что было мигом, инфинитезимальным мигом мирской, земной страсти? Да и миг, был ли он? Вновь и вновь переживал я каждое ее словечко, каждое движение. Дважды при описании Бога она употребила для сравнения нашу встречу, но, может быть, только из-за ребяческого, совершенно невинного желания подыскать понятный для меня пример? Два раза она трогала меня, но так же точно она тронула бы подсолнух. Мой рот, когда коснулся ее руки, побудил ее дрожать всем телом, это точно. Но это было естественно: ни одни мужские уста никогда ее не касались, и для нее это было как оступиться в лесу о корень и потерять на мгновение ту степенность, которой ее

обучали; момент прошел, она больше не думает обо мне… Я обсуждал со всеми военные вопросы, мне надлежало решить, куда же будем посылать нубийских солдат, а я не понимал, где нахожусь. Мне следовало избавиться от муки, мне следовало узнать… Для этого я решился вверить свою жизнь и ее жизнь кому-то, кто мог бы послужить связным. Я не раз имел уже случай убедиться в надежности Гавагая. Я тайно побеседовал с ним, заставив прежде многократно поклясться, и сообщил ему как можно меньше, но достаточно, чтоб он отправился к озеру и ждал. Славный исхиапод был действительно великодушным, умным и очень сдержанным. Спрашивал он мало, понял, вероятно, много, два дня возвращался на закате, докладывал, что не встретил никого, и удручался, видя, как кровь отливает от моих щек. На третий день он явился с одной из знаменитых улыбок, растягивавших лицо от уха до уха, и сказал, что, мирно возлежа, как под зонтиком, под своей знаменитой ступнею, он увидел то самое создание. Она сама подошла, доверительно и поспешно, будто бы кого-то ждала. Она с волнением приняла мое сообщение («Думаешь, она сильно хочешь видеть тебя», — присовокупил Гавагай, лукаво понизив голос) и попросила передать, что она

будет ходить на берег каждый день, каждый день («Повторяешь два раза»). Надо так понимать, пояснил Гавагай с неискренней наивностью, что она очень уж заждалась пришествия Волхвов. Мне пришлось задержаться в Пндапетциме на целый следующий день, но я выполнял полководческие обязанности с таким рвением, что ошеломил Поэта, который знал, до чего мне претит всякая война; мне удалось зажечь своим пылом всю армию. Казалось, я властелин мира, я был готов выйти, не дрогнув, навстречу сотне гуннов. На второй день я вернулся, трясясь от страха, в условленное место.

34
Баудолино встретил настоящую любовь

— В дни ожидания, сударь Никита, я ощущал противоречивые чувства. Сгорал от желания ее видеть, опасался, что больше не увижу, воображал ее жертвой тысячи опасностей, в общем, все переживания, свойственные любви, кроме ревности.

— А ты не думал, что Матерь может отправить ее к производителям?

— О, это меня не озаботило ни разу. Может, всецело ей принадлежа, я полагал, что и она принадлежит мне настолько, что не отдастся никому. Впоследствии я размышлял об этом и пришел к выводу: настоящая любовь не допускает ревность. При ревности подозрительность, страх и клевета становятся между любящим и любимой. А святой Иоанн сказал, что настоящая любовь изгоняет всякие страхи. Я не чувствовал ревность, только каждую минуту хотел вспомнить ее лицо, и у меня не получалось. Я помнил, каково было смотреть на ее лицо, но я не помнил лица. А ведь

все встречи я только и делал что глядел на нее, все глядел и глядел…

— Я читал, так бывает с тем, кто очень крепко влюблен, — ответил Никита в замешательстве, ему самому не привелось пережить такую всепоглощающую страсть. — А с Беатрисой, с Коландриной?

— Нет, так я не изводился. Думаю, что Беатриса воплощала для меня саму идею любви, не требовалось лица, и даже казалось кощунством воссоздавать телесные черты. Что же до Коландрины… Я понял, уже когда встретился с Гипатией, что раньше это была не страсть, а милота, и нежность, и очень сильная привязанность — все, что я бы мог чувствовать, боже мой, к дочери или же к младшей сестре. Думаю, со всеми влюбившимися происходит то же: в те дни я был уверен, что Гипатия первая женщина, которую я по-настоящему любил, и, безусловно, это было так, и так останется навсегда. Тогда я понял, что настоящая любовь обитает в тайном кабинете сердца и там живет в покое и почти никогда не возлегает на ложа воображения. По этой причине столь трудно воссоздать плотские формы отсутствующей возлюбленной. Только прелюбодейство, которому заказан путь в тайные помещения сердца,

чья пища — сладострастные фантазии, способно воссоздавать подобные образы. Никита молчал, с трудом справляясь со своей завистью.

Свидание их было робким и растроганным. Ее глаза сияли от счастья, но она целомудренно потупляла их. Они сели в мураву. Акакий спокойно пасся поодаль. Вокруг цветы пахли сильней, чем всегда, у Баудолино было чувство, будто он только что хватил бурка. Он не осмеливался говорить, но решил разорвать тишину, потому что мощь этого молчания грозила вынудить его к нескромным действиям.

Он только теперь понимал, отчего, как ему и предсказывали, настоящие влюбленные при первой любовной беседе бледнеют, трясутся и чувствуют немоту. Это происходит потому, что любовь, господствуя в двух царствах, природном и душевном, отвлекает на себя все силы, все, что двигается в них. И когда настоящие влюбленные сходятся, любовь настолько овладевает ими, что приводит в смущение и оцепенение все функции тела, как физические, так и душевные. Поэтому язык отказывается говорить, глаза отказываются видеть, уши не слышат, и каждая часть уклоняется от своего долга. Создается положение, при котором, если любовь чересчур долго

промешкает в глуби сердца, обессиленное тело угаснет. Однако сердце вдруг, не умея стерпеть внутреннего жара, все же выталкивает наружу страсть и дает возможность телу возобновить работу. Тем самым к влюбленному возвращается способность речи.

— Так значит, — молвил Баудолино, не стараясь передать ни что он чувствовал, ни до чего догадывался, — все жуткое и прекрасное, о чем ты мне поведала, вы унаследовали от Гипатии…

— О нет, — отвечала она. — Я ведь сказала, что наши прародительницы, когда бежали, позабыли все то, что им преподала Гипатия; все, кроме обязанности познавать. Лишь медитация постепенно и все глубже дает возможность разведывать истину. В течение тысяч и тысяч лет каждая из нас размышляет об окружающем мире, а также о том, что ощущает у себя в душе, и наша осведомленность день за днем обогащается, и труд до сих пор не окончен. Может быть, в том, что я тебе говорила, нашлось место вещам, которые мои подруги еще не осознали, а я осознавала по мере того, как объясняла тебе. Так каждая из нас обретает мудрость, обучая подруг тому, что чувствует сама: учится учительствуя. Наверное, не будь тебя со мной, я бы не смогла прояснить

сама для себя некие темы. Ты мой демон, мой благоприятный архонт, Баудолино.

— Да все ли твои подруги так ясны и красноречивы, как ты, моя нежная Гипатия?

— О, я последняя из всех. Нередко надо мной смеются за то, что я не умею выразить, что чувствую. Мне предстоит еще расти, кто спорит? Но в эти последние дни я ходила гордо, ведь я владела секретом, который они не знают, и даже почему-то предпочла секрет сохранить. Не понимаю, что со мной, похоже… похоже, мне легче говорить с тобою, чем с ними. Как думаешь, это дурно, нелояльно по отношению к ним?

— Лояльно по отношению ко мне.

— С тобой легко. Думаю, тебе я рассказала бы, чем полно сердце. Хотя я не вполне еще убеждена, что это правильно. Знаешь, что происходило со мной, Баудолино, в эти вот дни? Мне снились сны о тебе. Когда я просыпалась, я думала: день замечательный, из-за того, что где-то есть ты. Потом мне начинало казаться, что день отвратительный, из-за того, что я не вижу тебя. Странно. Смеяться хочется при удовольствии, плакать хочется при страдании, а мною владеют и слезы и смех одновременно. Может, я заболела? Но это прекрасная болезнь. Правильно ли любить свою

болезнь?

— Это ты здесь учительствуешь, моя нежная подруга, — улыбался Баудолино. — Не спрашивай меня, ибо я, кажется, заболел тем же.

Гипатия протянула руку и опять погладила его шрам. — Ты — это все хорошее, Баудолино, тебя приятно трогать, будто Акакия. Коснись и ты меня, может, оживится та искра, которая теплится во мне и мне неведома.

— О нет, любимая, я опасаюсь тебя поранить.

— Коснись тут, за ухом. Да, так, еще… Может, посредством тебя возможно вызвать Бога… У тебя где-то должен быть знак, связующий тебя с Вышним…

Она проникла руками под его платье, погладила грудь, прижалась и втянула его запах. — Ты пахнешь травой, вкусной травой, — сказала. Затем: — Какой же ты приятный и мягкий, как юное животное. Ты юн? Мне непонятно, какого возраста человеки. Юн ты?

— Юн, любимая, я только вот начинаю рождаться.

Теперь он почти неистово гладил ее волосы, она охватила руками его затылок, потом начала касаться языком его лица, ласкала языком, как коза ласкает козленка, смеялась, упершись

глазами в его глаза и приговаривая, что он весь соленый. Святым Баудолино никогда не был. Он сжал ее и нашел губами ее губы. Она испуганно и удивленно простонала, пытаясь вырваться, потом подалась. Рот ее был исполнен персикового, абрикосового вкуса. Язык толчками отвечал его языку, впервые пробуя его.

Баудолино отдалил ее, не от стыдливости, а чтоб сбросить все, чем был укрыт. Она увидела его мужское естество, потрогала, почувствовала его жаркую живость и сказала, что его хочет. Было понятно, что ей самой неведомо, каким образом хотеть; но лесные, родниковые силы подсказывали ей, как быть. Баудолино новыми поцелуями спустился от губ и шеи к плечам, тем временем тихо отводя ее платье и всем лицом лаская ее грудь, руками же продолжал сдвигать ее одежду по бедрам и узнавать маленький крепкий живот, нежный пупок, а затем он повстречал прежде, чем ожидал, то опушение, которым, видимо, укрывалась ее тихая тайность. Она лепетала: мой Эон, ты мой Тиран, моя Пропасть, Огдоада, Плерома…

Баудолино коснулся под платьем еще скрывавшегося тела и почувствовал, что шерстяная мягкость стекает с лонного холма и окутывает

собою, густея, основание ног, и ягодицы, все, всюду…

— Сударь Никита, я сорвал с нее платье и все увидел. От живота и до низу Гипатия имела козье тело, ноги оканчивались копытцами цвета слоновой кости. В тот миг я осознал, почему, завешенная юбкой, она ходила не так, как те, кто переставляет ступни, а проплывала, почти почвы не касаясь. И понял, кто же их производители. Это и были сатиры-никем-никогда-и-нигде-не-видимые, с мужскою рогатой головой, со смушковым телом, сатиры, веками служившие этим гипатиям, отдававшие им потомство женского пола, а к себе бравшие самцов, чтоб их выращивать сатирами, уродливоликих; фемины же вырастали наследницами египетской красоты, которая отличала Гипатию и первых ее воспитанниц.

— Ужасно! — произнес Никита.

— Ужасно? Нет, я так не подумал даже в первый момент. Удивительно, да. Но удивление прошло быстро. Потом я решил, то есть тело решило за мою душу, или душа решила за тело, что то, что я вижу и трогаю, прекрасно, потому что это Гипатия, и даже ее зверья природа являет собой часть ее грации. Кудрявая, мягонькая поросль была желаннее, нежели все, что я желал когда-

либо в жизни, и пахла она мхом, и ее прежде упрятанные части были очерчены настоящим художником, я любил и желал это создание, благоухавшее лесом, и я любил бы Гипатию, если бы даже она была на вид подобна химере, ихневмону или рогатой змее.

Вот так Гипатия с Баудолино соединились. Настал закат, и когда они, обессиленные, затихли, лежа бок о бок, лаская и обращая друг к другу нежнейшие клички, они не видели, не чувствовали всего, что их окружало.

Гипатия говорила: — Душа воспарила, будто жар от огня. Похоже, я стала частицей звездного неба… — И не переставая разглядывала любимого. — Как ты хорош, Баудолино. И все-таки вы, человеки, дикообразны, — подшучивала она. — Какие длинные, белые ноги! Без всякой шерсти! А стопы больше, чем у исхиаподов! Но ты все равно хорош, может, даже так лучше… — Он целовал ей глаза, не отвечая ни слова.

— А что, такие ноги и у человеческих фемин? — вдруг погрустнев, спрашивала она. — Ты… испытал экстаз с такими созданиями, с ногами вроде твоих?

— Ну я же не знал, что существуешь ты, моя радость.

— Я не хочу, чтобы ты смотрел на ноги человечьих фемин. — Он целовал ей копытца, ни слова не говоря.

Темнело, надо было прощаться. — Я думаю, — прошептала Гипатия, коснувшись опять его губ, — что не скажу ничего подругам. Они, наверно, не поймут, им неведомо, что есть и такой способ восходить на высоту. До завтра, моя радость. Видишь, я зову тебя, как ты меня. Буду ждать, приезжай.

— Прошло несколько месяцев, самых нежных и самых чистых в моей жизни. Я приезжал к Гипатии каждый день. Когда не мог, все тот же Гавагай был нашим поверенным. Я уповал, что белые гунны не появятся никогда и что их ожидание в Пндапетциме продлится всю мою жизнь и еще дольше. Хотя, мне казалось, я сумею пересилить смерть.

Так все шло вплоть до дня, когда, через много месяцев, пустив его к себе с обычным жаром, как только оба утихли, Гипатия сказала Баудолино: — Со мной происходит… Я знаю, что это, потому что слыхала, как беседовали подруги, вернувшиеся от производителей. Думаю, у меня дитя во чреве.

Сначала Баудолино был во власти лишь невы-

разимого счастья и лобызал ложесна, благословленные архонтами или Богом, значения не имело. Но потом забеспокоился: Гипатии не удастся долго скрывать свое положение. Что же делать?

— Исповедать истину Матери, — сказала она. — Та поймет. Кому-то, чему-то угодно, чтобы то, что иные исполняют с производителями, я исполнила с тобой. Все было правильно и соответствовало доброй стороне природы. Не станет укорять.

— Но тебя девять месяцев возьмутся охранять товарки, а потом я не увижу создание, которое родится на свет!

— Я еще долго буду приходить. Пройдет немало времени до тех пор, как чрево вырастет сильно и все заметят. Мы перестанем видеться только в последние месяцы, когда я все расскажу Матери. Что до создания, то если его пол мужской, ты его получишь, а если женский, к тебе оно не относится. Решает природа.

— Решает не природа, а этот полудурок Демиург и твои копытные бабы! — вскричал разъяренный Баудолино. — Создание это мое, какого бы пола ни было оно!

— Как ты хорош, Баудолино, когда рассердишься, хоть и не следовало бы, — ответила она и чмокнула его в нос.

— Да ты соображаешь, что после родов тебе не разрешат ни разу прийти ко мне! Твои сожительницы не возвращаются к оплодотворившим производителям! Что, это тоже, по-вашему, решает природа?

Она лишь тогда поняла. И тут же заплакала с негромкими всхлипываниями, похожими на ее вздохи в час любви, прижавшись к груди своего мужчины, сжимая его руки и трепеща всей притиснутой к нему грудью. Баудолино погладил ее, стал шептать нежности на ухо и потом выдвинул предложение, которое лишь одно казалось осмысленным. Гипатия убежит с ним. Увидев перепуганные глаза, он стал объяснять, что тем самым она не предает свое сообщество. Попросту ей выпадает иная прерогатива, иным становится ее долг. Она уедет с Баудолино в далекое царство и там создаст еще одну колонию гипатий, тем зарождая новое потомство их древней матери. Она понесет в иную страну свою важную новость. Всего-то с той разницей, что ему в той стране позволится жить с нею. Там сыщутся новые производители по подобию человеков, каков, вероятно, будет и плод их любви. Побегом ты не сотворишь зла, повторял он, а только распространишь добро…

— Я попрошу позволения у Матери.

— Нет, нет, погоди, вопрос еще, что за нрав имеет эта ваша Матерь. Дай мне подумать, я вместе с тобой пойду к ней, сумею убедить, дай только два-три дня, придумаю, как с ней разговаривать.

— О радость, я не хочу, чтоб не мочь увидеть тебя, — рыдала Гипатия. — Пускай же будет потвоему, прикинусь феминой человеков, поеду с тобой в тот новый город, что ты мне описывал, и буду во всем походить на христиан, и соглашусь, что у Бога был Сын, повешенный на кресте, я без тебя не хочу быть никакою гипатией!

— О милая, успокойся. Увидишь, найдем решение. Я вывел в святые Шарлеманя, я отыскал Волхвоцарей, сумею и сохранить супругу!

— Супругу? Что это?

— Потом я тебе объясню. Ступай, уже поздно. Завтра увидимся.

— Но никакого завтра не настало, сударь Никита. Я возвратился в Пндапетцим, все бежали навстречу, меня искали с рассвета. Сомнений не было. Белые гунны наступали, уже было видно на дальнем горизонте пыльное облако, подымаемое лошадьми на бегу. Они должны были доскакать до начала папоротниковой степи при первых лучах восхода. Оставалось несколько часов, чтоб

развернуть оборону. Я быстро пошел к диакону сказать ему, что принимаю команду над его подданными. Но с ним уже нельзя было говорить. От лихорадочного ожидания битвы, от попыток через силу встать и собраться на кампанию, а может, и от той новой лимфы, которую я впустил в его вены своими рассказами, всем этим его конец приблизился. Я без страха находился рядом, принимал его последний вздох, пожимал руку, когда он прощался со мной и желал военной удачи. Он сказал мне, что, победив, я, наверно, смогу добраться до царства его отца, и просил сослужить последнюю службу. Когда он отойдет, два приспешника приготовят его тело, как обычно поступают с телом отца: умастят теми маслами, которые потом закрепляются на льняной ткани, передавая изображение. Просьба отнести к отцу этот портрет, это бледное подобие, за счет которого он покажется, может, не такой развалиной, какой был при жизни. Потом он перестал дышать. Два прислужника под покрывалами выполнили все как следовало. Они сказали: теперь надо оставить все это на несколько часов, плащаница запечатлеет черты, они ее снимут, сложат и упакуют. Они робко посоветовали известить евнухов о смерти диакона. Но я решил

не извещать. Диакон передал команду мне, и только благодаря этому евнухи не посмели бы ослушиваться. Я нуждался и в них, они должны были прикрывать тыл, подготавливать город к подвозу раненых. Узнай они сразу же о смерти диакона, самое малое начали бы смущать боевой дух солдат этим зловещим известием и всякими траурными церемониями. А еще хуже, что эти вероломцы могли сразу захватить верховенство во власти и совсем начисто спутать оборонные планы Поэта. Что ж, значит, война, сказал я себе. Я прожил жизнь человеком мира, но теперь надо защищать то создание, которому скоро предстоит родиться.

35
Баудолино против белых гуннов

План готовился месяцы, был продуман в мельчайших деталях. Если Поэт проявил себя при обучении войска прекрасным капитаном, в Баудолино обнаружился стратег. На краю города возвышалась самая большая сопка, похожая на горку сбитых сливок, виденная ими в день приезда. Оттуда можно было наблюдать за всей равниной: на ту сторону вплоть до гор, а на эту — вплоть до кромки папоротниковой степи. Оттуда Баудолино и Поэту предстояло следить за движениями солдат. При них на горе будет отборная исхиаподская рота, подчиненная Гавагаю, для обеспечения полевой связи со всеми отрядами.

Понцев расставляли в дозоры по краям равнины. Они готовились своими чувствительными набрюшными щупами улавливать перемещения противника и передавать, как было договорено, сообщения посредством сигнальных дымов.

Впереди всех, на рубеже папоротниковой степи, расположились исхиаподы под началом Порчелли. Их задача была — внезапно выско-

чить наперерез коннице, пуская в ход фистулы и отравленные стрелы. Разбив ряды наступающего врага, исхиаподы должны были уступить очередь великанам, их вел Алерамо Скаккабароцци, носитель непристойного прозвища, он командовал налетом на гуннских коней. Однако, настоятельно повторял Поэт, вплоть до самого начала боя им следовало перемещаться короткими перебежками на четвереньках.

Если отдельным врагам все-таки удастся преодолеть заградительный кордон гигантов, по ним ударят с одной стороны пигмеи, ведомые Бойди, а с другой Куттика и его блегмы. Пятясь от пигмейских стрел, захватчики окажутся прямо над блегмами, невидимыми в травах, и те начнут подныривать под их коней.

Однако они не должны рисковать чересчур. Задание было — нанести всемерный урон рядам противника, сводя при этом к минимуму свои потери. Ибо настанет главная сцена в сражении: атака нубийцев, которые тем временем будут дожидаться, выстроившись посередине поля. Гунны, если и сумеют выйти из тех первых стычек, подойдут к нубийцам ослабленными, уже немногочисленными и в ранах, а лошади гуннов не сумеют быстро скакать в густой и высокой тра-

ве. Тем временем воинственные околокелейники уж будут наготове со своими смертоносными палицами и с легендарным презрением к опасности!

— О, это дело, рви, мечи и скачи, — цокал языком Бойди. — Сильны эти циркумкелионы, да и бесстрашны, что там ни говори.

— А вы, — наставлял Поэт, — когда пропустите гуннов, снова перегруппируетесь и расположитесь дугой в ширину не менее полумили. Потом, когда неприятель попробует повторить свою ребяческую уловку, прикинется убегающим, чтоб устроить западню преследователям, вы, которые тут как тут, возьмете врагов как следует в клещи, не дав им опомниться на бегу. Главное, ни одного не оставляйте в живых. Побежденный противник, если выживает, затаивает месть. Но случись, что все же какие-то недобитки, ускользнув и от вас и от нубийцев, повлекутся в город, там их будут поджидать паноции, навалятся на них сверху, от такого-то сюрприза ни один враг опомниться не сумеет.

Так, стратегия была надежно продумана; никто ни в чем не полагался на случайность; вот под покровом ночи когорты стали стягиваться в центр города. Под первыми звездами они поко-

лонно маршировали на поле, в возглавии колонн соответствующие священники, каждая выпевала отче наш на своем языке с таким пышным и полным звуком, что не слыхивался даже и в Риме в самых торжественных процессиях:

Mael nio, kui vai o les zeal, aepseno lezai tio mita. Veze lezai tio tsaeleda.

O fat obas, kel binol in süs, paisalidumöz nemola. Komömöd monargän ola.

Pat isel, ka bi ni sieloes. Nom al zi bi santed. Klol alzi komi.

O balderus noderus, ki du esso in seluma, fakdade sankadus hanominanda duus, adfenade ha rennanda duus.

Amy Pornio dan chin Orhnio viey, gnayjorhe sai lory, eyfodere sai bagalin, johre dai domion.

Hai coba ggia rild dad, ha babi io sgymta, ha salta io velca…

Последними, когда Баудолино и Поэт уже забеспокоились, с опозданием прошли блегмы. Они явились в таком виде: над плечами у каждого, закрепленные у подмышек, высились тростни-

ковые каркасы, венчаемые птичьей головой. С гордостью Ардзруни им сообщил, что это его последняя находка. Гунны увидят головы, на эти головы и нацелятся, а невредимые блегмы в тот же миг наскочат на них. Баудолино сказал, что идея ему в общем нравится, но пускай поторапливаются, у них остается пара часов, чтоб достичь обозначенных позиций. Блегмы вроде не смущались нисколько, что у них завелись головы, и горделиво поводили ими, как пернатыми шлемами.

Баудолино и Поэт с Ардзруни закарабкались на ту сопку, с которой собирались командовать войной, и начали ждать рассвета. Они отправили Гавагая на передовую и наказали оповещать их обо всем, что он увидит и что услышит. Исхиапод поскакал в дозор с залихватским кличем: «Виват Преосвященным Волхвам, виват Пндапетциму!»

Восточные горы уже окрашивались лучами восходящего солнца, когда дымовой сигнал, поступивший от бдительных понцев, известил всех о том, что гунны маячат на горизонте.

В самом деле, они наступали широким фронтальным строем, так что издалека казалось, будто они не приближаются вовсе, только колышутся и подрагивают, и это длилось бесконечно, по

крайней мере всем казалось, что дольше некуда. Те же, тем не менее, все-таки шли и ехали, потому что шаг за шагом постепенно исчезли в папоротниках по самое брюхо ноги их коней. Было ясно, что конница вот-вот доскачет до передовых засаженных в траву исхиаподов. Осталось ждать, что вскоре отважные одноноги вступят с ними в сражение. Однако время текло, гунны ехали, и стало понятно, что что-то не залаживается.

Когда уже гуннов можно было разглядывать в подробностях, а исхиаподы так и не поднялись их останавливать, дали себя знать великаны, увы, эти — раньше обещанного. Они вздымались во весь свой исполинский рост из гущи хвощей, но, не затрагивая противников, снова вныривали в высокие травы, всецело поглощенные побоищем с кем-то, кто был, судя по всему, исхиаподами. Баудолино с Поэтом издалека не могли разобрать, что же там делается, но имели возможность отслеживать происходящее по этапам благодаря неутомимому Гавагаю, который совершал молниеносные перебежки с одного конца поля битвы до другого. Атавистический инстинкт заставляет любого исхиапода в час, когда всходит утреннее солнце, разлечься и развесить ступню над головою. Это зов природы, и так повели себя бойцы

передового нападного отряда. Не отличаясь большой смекалкой, великаны все же сообразили, что срывается план, и взялись приводить исхиаподов в чувство, но по еретическому своему нраву обозвали их дерьмовыми подобносущ-ностниками и экскрементами Ария.

— Отважный, преданный исхиапод, — убивался Гавагай, пересказывая все это, — не боишься и желаешь сражаться, но не можешь переносить оскорбления еретических сыроедов, понимаешь? — Короче, после недолгой теологической перебранки перешли на кулаки, при этом великаны довольно быстро показали, кто тут сильнее. Алерамо Скаккабароцци, которого всю жизнь неприлично обзывали, пытался удержать своих одноглазых от бесчестного торжества, но те окончательно потеряли все понятия и отбились от него такими затрещинами, что отбросили на десять аршин в сторону. За всем тем они не заметили, что на них уже наезжают гунны, те наехали и последовало убийство. Пали исхиаподы, пали великаны, хотя последние и пытались драться всем, что попадало под руку, а под руку им попадали исхиаподы, которых они за единственную ногу хватали и безуспешно лупили туда и сюда, как булавами. Скаккабароцци и Порчелли

бросились в гущу, чтобы унять каждый своих, но вокруг орудовали гунны. Те двое неистово бились, разя вкруговую мечами, но вскоре были пронизаны сотнями стрел.

Теперь гунны мчались вперед, топча кустистые травы и прокладывая путь по телам жертв. Бойди и Куттика на двух флангах поля битвы не в силах были уяснить, что же стряслось, и к ним пришлось срочно послать Гавагая, чтобы безотлагательно были приведены в действие и блегмы, и пигмеи. Гунны увидели, что атакованы с двух сторон, но сумели ответить хитрой уловкой. Авангард гуннов ринулся вперед по трупам убитых исхиаподов и гигантов, арьергард в то же время отступил, и оказалось, что пигмеи и блегмы, не разбирая пути, летят друг на друга. Пигмеи увидели над ковылем птичьи головы, а так как они ничего не знали о задумке Ардзруни, то завопили: «Журавли, журавли!» И привыкнув истреблять своих тысячелетних ненавистников, так и на этот раз, забыв о гуннах, отправили тысячи стрел в тела бежавших на них. Те, видя нападение пигмеев, сочли их предателями и завопили: «Бейте еретиков!» На что пигмеи помыслили, будто предателями были блегмы, а на обвинения в ереси, считая себя хранителя-

ми настоящей веры, ответили: «Бей проклятых фантазиастов!» Гунны ринулись на эту свалку и пошли убивать одного за другим дерущихся, мутузивших друг друга. Гавагай видел, как Куттика пытается выступить против врагов в одиночку. Но сила противника превосходила, Куттику попросту затоптали конями.

Увидев, что друг погиб, Бойди, поскольку обе роты были потеряны, вскочил на лошадь и полетел предупреждать стоявших в заслоне нубийцев; ковыли замедляли бег коня, как и бег коней захватчиков. И все же Бойди добрался до чернокожих, построил их в шеренгу, повел на гуннов. Однако, увидев их перед собой во всей свирепости, проклятые околокелейники поддались своей прирожденной вековечной склонности к самопожертвованию. Они подумали, что наивысший миг мученичества настает, и возжаждали приблизить его. Поэтому бросились вереницей на колени, моля: «Убей меня, убей меня!» Гунны просто себе не поверили; выхватив острые коротенькие сабли, пошли снимать головы с плеч, а циркумкелионы толпились и напирали вокруг, протягивая шеи и умоляя омыть их кровью.

Бойди, вздымая кулаки к небу, пустился бежать и попал на холм примерно тогда же, когда вся

равнина заполыхала.

А дело было в том, что Борон и Гийот, когда дошли до города известия об опасном положении, надумали использовать ардзруниевских коз, подготовленных согласно плану, хотя и бесполезных в дневное время. Они заставили безъ-язычников вытолкать на равнину орды строптивых коз и поджечь у всех коз рога. Было самое лето и стояла сушь, луговина загорелась мгновенно. Ковыльное море превратилось в огненное. Борон с Гийотом, наверное, ждали, что огонь составит собой преграду, отбросит вражескую кавалерию, но не учли направления ветра. Огонь крепчал и ширился и шел на город. Все это было несомненно на руку гуннам, тем оставалось только выждать, пока ковыль выгорит, пока зола выстынет, а дальше — вольная дорога для финального галопа. Конечно, на несколько часов взятие города откладывалось; но гунны понимали, что торопиться незачем; они стояли у самой линии огня и, подымая луки к небу, выпускали бесчисленные стрелы, так, что на небе было темно, и стрелы падали по ту сторону огненной преграды, чтоб уязвлять возможных неприятелей без разбору.

Одна стрела, свистя, слетела прямо на горло Ардзруни. Тот рухнул с передавленным хрипом,

из губ его хлынула кровь. Хватаясь руками за шею, пытаясь вытянуть стрелу, он вдруг увидел, что руки покрыты белыми пятнами. Баудолино с Поэтом склонились и прошептали ему, что так же точно меняется цветом лицо. — Видишь, прав был Соломон, — нашептывал Поэт, — существовало средство! Наверное, стрелы гуннов смазаны средством, которое для тебя лекарственно! Ты избавился от действия черного камня! — Что мне за дело, черному или белому помирать, — прорычал Ардзруни и умер, так до конца не перелиняв. Но новые стрелы прибывали все чаще и чаще, с холма надо было уходить. Они поскакали в город, Поэт был будто камень и повторял: — Все кончено, я проспорил свое царство. Нельзя рассчитывать, что паноции продержатся. У нас ровно столько времени, сколько нам даст огонь. Соберем вещи, бежим. На западе дорога пока свободна.

Баудолино был занят одной-единственной мыслью. Гунны войдут в Пндапетцим, разорят, но их безумный бег не прекратится, они продвинутся и до озера, заполонят рощу гипатий. Их надо опередить. Но не бросать же друзей. Созвать всех, собрать вещи, захватить съестное, приготовиться к долгому бегству. — Гавагай, Гавагай! — кликнул

он, и сразу тот оказался под боком. — Беги на озеро, найди Гипатию, не знаю, как ее искать, но ты найди, скажи, чтоб собралась, я ее выручу!

— Я не знаешь, как искать, однако найдешь, — и исхиапода будто ветром с места сдуло.

Баудолино и Поэт въехали в город. О поражении там уже знали, и фемины любого племени с мелюзгой на руках бессмысленно метались по улицам. Перетревоженные паноции, мня, будто они обучены летать, порывались в пустоту. Но так как их обучили лишь плавно спускаться сверху, а не взмывать снизу вверх, они сразу плюхались на землю. Некоторые не сдавались и усердствовали, плеща ушами на воздухе, но это изматывало их силы и они разбивались о скалы. Навстречу попался Коландрино, подавленный жутким результатом всей своей работы, и Соломон, Борон и Гийот, спрашивавшие об остальных. — Погибли, Господь с ними, — яростно рявкнул Поэт. — Забегаем на квартиры, — выкрикнул Баудолино, — потом скорее на запад!

По квартирам они собрали все, что возможно. Сбегая по лестницам, увидели копошащихся у башни евнухов, те навьючивали тюки на мулов. Праксей ненавистно вгляделся в них. — Диакон умер, ты знал, — сказал он Баудолино.

— Будь он и жив, ты удирал бы точно так же.

— Мы выступаем в путь. С последнего перевала сбросим лавину, навеки отгородим пресвитера. Хотите с нами? Но только на наших условиях.

Баудолино не спрашивал даже, какие это условия. — На кой мне ляд твой распроклятый пресвитер! — взревел он. — Мне важно другое! За мною, друзья!

Друзья колебались. Однако Борон и Гийот признали, что истинной причиной похода для них был Зосима с Братиной, а Зосима в то царство пока не прошел и, значит, никогда не пройдет; Коландрино и Бойди сказали, что с Баудолино сюда пришли, с Баудолино и уйдут отсюда; Соломон прошепелявил, что его десять колен могут быть и по ту, и по сю сторону горной цепи, и поэтому для него хорош любой путь. Поэт не говорил; у него, похоже, иссякла всякая воля, и пришлось брать под уздцы и уводить в поводу его коня.

Выезжая, Баудолино встретил одного из послушников, состоявших при диаконе. Тот протянул ему сверток: — Здесь плащаница с отпечатком покойного, — сказал приспешник. — Он завещал дать тебе. Используй же это с толком.

— Вы тоже уйдете?

Тот отвечал: — И тут и там, если даже «там»

существует, наша судьба одна. Нас ждет участь повелителя. Мы останемся, заразим гуннов.

Выехав за город, Баудолино увидел ужасное. На верху синих гор танцевали языки пламени. Значит, отряд гуннов, не участвовавший в общем сражении, обошел поле по краю и уже достиг того озера.

— Быстро, — воззвал Баудолино. — Скорее, коней в галоп! — Все прочие недоумевали. — Да как же, ведь там вон эти? — переспрашивал Бойди. — В другую сторону надо, только на юге остаются проходы.

— Как хотите, я еду, — трепетал Баудолино, вне себя. — Он обезумел, едем за ним, нельзя отпускать его, — умолял товарищей Коландрино.

Но Баудолино уже успел далеко от них отскакать и с именем Гипатии на устах летел навстречу заведомой гибели.

Замедлил ход он лишь через полчаса сумасшедшей скачки, увидев, что навстречу торопится юркая фигурка Гавагая.

— Ты не тревожишься, — выпалил тот. — Я ее видел. Она спасаешься. — Но это хорошее известие тут же преобразилось в источник терзания, потому что на самом деле Гавагай имел рассказать следующее. Гипатий заблаговременно

предупредили о налете гуннов, причем те самые сатиры, для этого сбежавшие с холмов. Они собрали гипатий и когда появился Гавагай, как раз вели всех к себе в загорье, где только они ведали, что и как, и куда гунны никогда бы не добрались. Гипатия пережидала всех, подруги тянули ее за руки, она дожидалась весточки от Баудолино, узнать о его судьбе. Выслушав Гавагая, успокоилась, улыбнулась через слезы, просила передать привет, задрожала, велела сказать, чтобы тот бежал прочь, что его жизнь в опасности, заплакала и добавила последнее: известить, что любит, и что они никогда больше не увидятся.

Баудолино кинулся на него: да в уме ли тот, да какие к черту горы, он увозит ее с собой! Гавагай же отвечал, что слишком поздно, что когда он доедет к озеру, где уже сейчас вытворяют, что хотят, гунны, гипатии будут бог знает в какой оттуда дали. Потом, смущаясь от почтения к Волхвоцарю и пожимая ему рукой локоть, он повторил последние слова Гипатии: она, может, и задержалась бы, но всего превыше долг перед их общим отродием. — Она скажешь: и это отродие всегда мне напомнишь Баудолино. — И, заглядывая Баудолино в глаза снизу вверх: — Ты создашь отродие с этой феминой?

— Не твое дело, — неблагодарно отрезал Баудолино. Гавагай смолк.

Баудолино еще стоял в растерянности, когда доехали друзья. Он понимал, что ничего им не втолкует, они ничего не поймут. Тогда он стал как мог уговаривать себя. Все было резонно. Отныне лес — военная добыча. И счастье, что гипатии в безопасности. Гипатия совершенно правильно пожертвовала любовью к Баудолино во имя того создания, которое он ей дал. Все было так душераздирающе правильно, и не было никакого другого решения.

— Да я и предупрежден был, сударь Никита, что Демиург недоделывает все на свете.

36
Баудолино и птицы рухх

— Бездольный, несчастливый Баудолино, — причитал Никита, настолько растрогавшись, что почти позабыл о кабаньей голове, отваренной с солью, чесноком, луком, заботливо сохранявшейся у Феофила всю зиму в бочонке морской воды. — Снова, как всегда, стоило тебе влюбиться во что-то настоящее, как судьба тебя карала.

— С того вечера три дня и три ночи мы скакали без остановки, без еды, без питья. Как я потом узнал, друзья творили чудеса изворотливости, чтобы обойти гуннов, шнырявших повсюду на множестве миль. А я просто плелся. Плелся за ними, думал о Гипатии. Все получилось правильно, убеждал я себя. Мог ли я вправду забрать ее? Как прижилась бы она в неведомом мире, в отрыве от лесной простоты, привычной теплоты своих обрядов, от общества своих сестер? Как отказалась бы она от избранности, от главной миссии — возрождать Бога? Я бы лишил ее свободы и, верно, счастья. Я ведь ни разу не спросил ее возраст, но думаю, она мне двоекратно могла

быть дочерью. При расставании с Пндапетцимом мне исполнялось, вероятно, пятьдесят пять. Ей я казался юным и доблестным, но это потому, что я был первым, какого она видела, мужчиной. А на поверку я был почти стариком. Я мог бы дать ей крайне мало, отобрав все. Я убеждал себя, что жизнь пошла точно так, как мне полагалось. А полагалось мне остаться навеки несчастным. Прими я это, и можно было обрести мир.

— И не тянуло вернуться?

— Тянуло. Каждый божий миг, после первых трех бредовых суток. Но мы заблудились. Не стали возвращаться той, которой пришли, дорогой, и только и делали, что петляли, перевалили три раза через ту же гору, а может, горы были и разные, мы уже просто не соображали. Опознаваться по одному солнцу мы не умели, и с нами не было ни Ардзруни, ни его карты. Или, похоже, мы оплутали кругом горы, той, что в середине скинии, и оказались на втором боку земли. У нас не стало коней. Бедные твари, носившие нас с начала похода, состарились, как и мы. Мы как-то не думали про это, не видя в Пндапетциме других коней, ни с кем наших не сравнивали. Но эта трехдневная гонка их доконала. Наши лошади падали поочередно, это было как дар Божий,

так как в высшей степени благоразумно каждая лошадь дохла там, где уж совсем не было корма, и тогда мы спасались ее мясом, вернее, тощими клочками, налипшими на кости. Дальше мы шли пешком, сбивая в кровь ноги, все, кроме Гавагая, который в лошадях отроду не нуждался, а на подошве имел твердую мозоль толщиной в два пальца. Питались мы, как в Библии, акридами, то есть саранчою, только без меда, в отличие от святых отцов. Потом нас покинул Коландрино.

— Он, самый молодой…

— Самый неопытный. На скалах, ища съестное, засунул руку, не разобрав куда, и был укушен гадюкой. Он только и успел со мной попрощаться и прошептать, чтоб я был верен покойной сестре, любимой супруге, тогда хотя бы у меня в памяти она не перестанет существовать. А я забыл Коландрину. Поэтому опять предстал перед собой прелюбодеем и предателем, изменявшим и Коландрине, и Коландрино.

— А дальше?

— Дальше темнота. Сударь Никита, когда я выехал из Пндапетцима, по моему подсчету стояло лето Господне 1197– В Константинополе я с теперешнего января. А в середине — шесть с половиной пустых лет; провал в памяти, а может…

откуда мне знать… пустота в мире.

— Шесть лет проблуждал по пустыне?

— Год. Может быть, два, кто там считал? После гибели Коландрино, не знаю, сколько протекло месяцев, мы оказались у подножия гор, на которые не знали, как забраться. От первоначальных двенадцати нас оставалось всего шесть. Шесть людей и один исхиапод. Рваные, тощие, опаленные солнцем, сохранившие только оружие и ранцы. Нам померещилось, что это конец дороги и что наша судьба сгинуть там. Внезапно мы обнаружили, что навстречу скачет команда конных, препышно разодетых, с чищеным оружием, с человечьими телами и с песьими головами.

— Кинокефалы. Значит, они есть на свете.

— Есть, как бог есть. Они допросили нас, рыча и лая, но мы не понимали; тогда начальник усмехнулся… в общем, осклабился или оскалился, высунув страшные клыки, и дал приказ своим, и те нас повязали и построили гуськом. Они перевели нас через гору крутой тропою, им, видимо, хорошо известной; по окончании многих часов пути мы сошли в дол, окружавший другую неприступную гору, на ней торчала крепость, над крепостью вились горластые птицы, на расстоянии казавшиеся исполинскими. Я вспомнил

давний Абдулов рассказ и понял, что перед нами твердыня Алоадина.

И точно. Псиглавцы загнали их наверх по змеистым, кривым и уступчатым подъемам, выбитым в массе камня, до самого входа в укрепления, и завели в середину замка, огромного как город, где между вышками и башнями сквозили в воздухе висячие сады и променады, окруженные решетками. Их передали новым кинокефалам, новые были с бичами. Когда их гнали по коридорам, Баудолино разглядел в окно двор-колодец меж высоченными стенами, на дне которого, сгрудившись, лежали скованные юноши и мальчики, и вспомнил Абдуловы описания, как Алоадин рассылает подростков совершать злодейства, одурманив зеленым медом. Их ввели в разукрашенную залу, там на вышитых подушках восседал старец, чуть не столетний, седобородый, с черными бровями, с угрюмым взором. Живший на свете и облеченный властью еще в Абдуловы времена, тому назад полвека, Алоадин был и сейчас в силе и правил своими рабами.

Он глянул на них с презрением, явно подумал, что этих жалких людей не используешь, как молодых гашишинов. Не стал и обращаться к ним, скучливо отмахнул слугам, дескать, делайте, как

хотите. Заинтересовался только исхиаподом. Велел подвигаться, жестами заставил закинуть на голову ногу, потом засмеялся. Шестерых мужчин вывели, Гавагая задержали.

Так началась длительная отсидка Баудолино, Борона, Гийота, рабби Соломона, Бойди и Поэта, в бессменных кандалах на ногах, с прикованным каменным шаром, на низких работах: то отчищать выложенные плитками пол и стены, то двигать мельничный жернов, то подносить бараньи четверти для кормления птиц рухх.

— Это были, — пояснял Баудолино Никите, — громаднейшие зверюги размером с десять орлов, с крючкастыми ярыми клювами, которыми могли за пять минут разорвать буйвола. На лапах у них вострились когти, напоминавшие ростры пиратских кораблей. Они сновали по просторной клети, посаженной на башенный шпиль, и угрожали всем и всякому, за исключением одного только евнуха, который, похоже, знал их язык и сноровисто управлялся с ними, как в обычном курятнике. Он единственный рассылал их с поручениями от Алоадина. Сперва пристраивал какой-либо из птиц на холку и спину надежные супони, просовывая их под крыльями. Потом привязывал к супоням корзину или груз, командовал,

отодвигал дверку, и назначенная птица, и только эта, одна она, выскакивала в небеса и исчезала в далекой дали. Мы видели и возвращение гонцов. Евнух загонял их в клетку и принимал от них мешки или металлические трубки, содержавшие, вероятно, сообщения для местного князя.

Порою заключенные по многу дней сидели без дела. В другие дни их гоняли с евнухом распределять зеленый мед среди прикованных; ужасно было видеть лица юношей, пустые от изнурительных снов. Но и наши затворники изводились, пусть не от снов, так от скуки, и поэтому бесконечно пересказывали друг другу прошлое. Вспоминали Париж, Александрию, веселый каллиполисский рынок, славное житье у гимнософистов. Говорили о письме пресвитера. Поэт, день ото дня мрачневший, повел речи, так совпадавшие со словами диакона, как будто он их слышал: — Меня грызет сомнение: а существует ли это царство? Кто говорил о нем там, в Пндапетциме? Евнухи. К кому возвращались гонцы, посланные ими в царство пресвитера? К тем же евнухам. А отправлялись ли гонцы? А возвращались ли гонцы? Диакон никогда не видел своего отца. Все то, что мы узнали, мы узнали от евнухов. А если евнухи сговорились дурачить и

диакона, и нас, и самого распоследнего нубийца или исхиапода? Порой я не знаю даже, существовали ли белые гунны… — Баудолино напоминал ему о павших в битве товарищах, однако Поэт все качал головой. Чем признавать перед собой, что разбит в бою, предпочитал уж думать, будто стал жертвой морока.

Потом, снова разбирая день смерти Фридриха, они искали объяснений необъяснимого происшествия. Виноват был Зосима, все понятно. Да нет, Зосима украл Братину, но позднее. Кто-то, желая Братину украсть, действовал сам по себе. Ардзруни? А кто докажет? Один из их погибших товарищей? — Как, в нашем отъявленном несчастии, — говорил Баудолино, — мы еще должны друг друга истерзывать нехорошими подозрениями?

— Пока мы жили в воодушевлении, искали царство пресвитера, нам и в голову не приходило усомниться, и каждый по-дружески помогал другому. В неволе же мы начали собачиться. В глаза друг другу не глядели. Так годы протекали в ненависти. Я жил таясь. Думал о Гипатии, но ее лица вспомнить не мог, помнил только радость, которую она даровала. Среди ночей беспокойные руки тянулись в поросль, кустившуюся в промеж-

ности, и я представлял себе, будто пальцы гладят ее руно, благоухающее мохом. Тело возбуждалось, ибо, хотя в полубреду рассудок и гас, здоровье крепло после тягот паломничества, кормили нас неплохо, сколько угодно, два раза каждый день. Видимо, тем самым Алоадин, не допуская к таинствам зеленого меда, держал нас в незлобивости. Мы снова обрели силу, однако располнели, даже и будучи заняты на тяжких работах. Глядя на свой округлый живот, я повторял: «О, ты хорош, Баудолино. Так хороши вы все, вы, человеки?» затем хихикал, будто слабоумный.

Единственной отрадой были приходы Гавагая. Их преданный друг сделался шутом Алоадина. Он выплясывал коленца, скакал на побегушках по бесконечным замковым коридорам, он обучился языку сарацин и жил почти свободно. Мог приносить друзьям лакомства с господской поварни, осведомлял их обо всех событиях жизни гарнизона, о подковерной войне евнухов за милости господина, о душегубских заданиях, на которые посылали охмеленных малолеток.

Однажды он принес Баудолино зеленого меду, но малую толику, потому что опасался, как бы тот не уподобился озверелым ассассинам. Баудолино пережил ночь любви с Гипатией. Но под конец

объятия у нее переменились черты: завелись тонкие, белые, нежные ноги фемины человеков, а вот голова стала козья.

Гавагай донес им, что оружие вместе с ранцами, отобрав у них, бросили в чулан, и что он сумеет все добыть, когда они станут бежать. — Как, ты в самом деле, Гавагай, думаешь, мы убежим? — спросил Баудолино. — Я, конечно, думаешь! Думаешь, есть много способов убежать. Найдешь лучший способ. Но ты толстый, как евнух. Толстому бежать трудно. Пускай ты делаешь движения тела, как делаешь я. Загибаешь на голову ногу и станешь очень проворный.

Насчет загибаешь ногу, это он погорячился, но Баудолино решил, что надежда на побег, даже проманчивая, поможет вытерпеть плен и не лишиться рассудка, и начал готовиться, разводя в стороны руками, подгибая колени десятки раз, пока не падал, уморившись, на круглое пузо. Он посоветовал те же занятия друзьям, на пару с Поэтом воспроизводил боевые движения и целыми вечерами кидался на землю и быстро вскакивал с земли. С оковами на ногах валиться и вскакивать не просто, вдобавок и гибкости былой не стало, не потому, что тюрьма ее взяла, а потому, что возраст. Но все же польза от всего этого явно

наблюдалась.

Единственным, кто вовсе махнул рукой на себя, был рабби Соломон. Он ел настолько мало и был так слаб, что друзья за него отрабатывали. У него не было ни одного свитка: нечего было читать и не на чем писать. Долгими часами он повторял Господне имя, и всякий раз звуки были другие. Выпали зубы и с правой стороны. Теперь и слева и справа во рту были голые десны. Он чавкал при еде, шамкал в разговоре. Он был теперь уверен, что десять колен никак не остались в том царстве, где половину составляли несториане, — и это еще куда ни шло, поскольку и по мнению иудеев почтенная Мария отнюдь не могла породить никакого бога, — но и вдобавок вторую половину являли собой идолопоклонники, по капризу то урезавшие, то наращивавшие количество сущностей божества. Нет, говорил он безутешно, десять колен, возможно, и прошли через царство, но после этого продолжили странствие. Мы, иудеи, всегда в искании обетованной земли, которая невесть где. Вот они и сейчас невесть где, может быть, в паре шагов от того места, где я сейчас оканчиваю свои дни. Но я утратил всякую надежду на встречу с ними. Перенесем же испытания, которые благословенный Творец, Святой Он,

ниспосылает нам. Иову пришлось еще хуже.

— Он помешался, это знали все вокруг. И помешались Гийот с Вороном, постоянно разглагольствовавшие о Братине, которую собирались найти, даже более того, ожидали, что эта Братина сама вернется прямо к ним в руки, и чем больше толковали о ней, тем ее неописуемые достоинства делались еще неописуемее, и тем отчаяннее они желали ее раздобыть. Поэт повторял: дайте только мне Зосиму, и вся вселенная моя. Забудьте вы Зосиму, я говорил им на это: он не дошел и до Пндапетцима, он сгинул в пути, его кости рассыпаются в пыль в какой-то пыли, а Братину подобрали басурманы-кочевники и в нее мочатся. Ни слова, ни слова, прерывал меня, бледнея, Борон.

— Как вы выбрались из того ада? — перебил Никита.

— Так: Гавагай пришел сказать, что выдумал способ. Бедный Гавагай. Он старился, как и мы, мне всегда было невдомек, каков век исхиапода, но он уже не долетал прежде самого себя, как молния, а немножко запаздывал, как удар грома. А появившись, пыхтел.

План был таков: с оружием захватить евнуха,

ходившего за птицами рухх. Заставить его снарядить, как всегда, этих птиц, но вместо груза укрепить на стропах беглецов за пояса. Затем ему надлежало приказать, чтобы птицы держали путь на Константинополь. Гавагай, болтая с евнухом, выяснил, что тот часто отправляет птиц туда, к одному засланному от Алоадина, проживающему на холме возле Перы. Баудолино и Гавагай понимают по-сарацински и проверят, чтобы приказ был отдан правильно. Птицы долетят до цели и опустятся, как обучены. — Почему я раньше не подумаешь? — сокрушался Гавагай, потешно стукая себя по голове.

— Да, — рассуждал Баудолино. — Но как лететь в кандалах?

— Я сыщешь лезвия, — отвечал Гавагай.

Настала ночь. Гавагай принес оружие и ранцы. Мечи с кинжалами успели заржаветь, пришлось потратить несколько ночей на чистку и заточку о стены камеры. В качестве лезвий они годились худо, ушли недели на перепиливание ножных колец. Наконец все вышло, и под распиленными кольцами затворники пропустили веревки, приладили к ним свои цепи, так что казалось, они ходят по замку окованные, как обычно. Кто пригляделся бы, тот бы заметил хитрость, но они

прожили там столь долгие годы, что на них уже никто не смотрел. Псиглавцы относились к ним как к своим домашним животным.

В один прекрасный вечер стало известно, что на поварне протухло мясо, много мешков, и его скоро возьмут на корм птицам. По мнению Гавагая, ожидаемый момент настал.

Поутру они взяли с кухни мешки мяса и с недовольным видом, будто бы из-под палки, потащили по коридорам. По пути они успели забрать из камеры все оружие и рассовать в мешки. Гавагай дожидался уже в клети и потешал птичника-евнуха, кувыркаясь. Затем все пошло само: они открыли мешки, вытащили кинжалы и приставили шесть из них к глотке евнуха (Соломон наблюдал со стороны, как будто дело его не касалось). Баудолино объяснил евнуху, что тот сейчас сделает. Сначала вроде бы на всех не доставало постромок, но Поэт намекнул на открамсывание ушей, и евнух, с которого уже хватало открамсываний, дал им понять, что готов сотрудничать. На семь птиц намостили нужную сбрую, чтобы выдержали семь человек, то есть шесть человек и исхиапода. — Ты мне выбери самую сильную, — наказал Поэт, — потому что тебя, — это он обращался к евнуху, — к

сожалению, мы не можем оставить, неровен час подымешь тревогу или свистнешь своим птичкам, чтоб возвращались. Поэтому, гляди, у меня к поясу прицеплен ремень, мы тебя туда подвесим. Ты уж подбери мне такую птицу, чтобы могла вынести и двоих.

Баудолино перевел, евнух отвечал, что счастлив сопровождать своих поимщиков на край света, и задал вопрос, а что потом станет с ним. Его заверили, что в Константинополе отпустят куда глаза глядят. — Да поворачивайся, — рявкнул Поэт, — а то смердит в твоем курнике невыносимо.

И тем не менее они проканителились добрый час с ремнями и застежками. Каждый хорошо подвязался к хищному пернатому. У Поэта с пояса свисал еще один гуж, к нему прицепился евнух. Оставалось обработать Гавагая, бывшего начеку в коридоре и глядевшего за угол, не заявится ли кто в неподходящий момент.

Заявились. Стражникам стало непонятно, отчего эти заключенные, посланные с кормом на птичник, никак не возвращаются. В конце коридора показалась свора псиглавцев, беспокойно гавкавших. — Собачья голова бежишь! — прокричал Гавагай. — Вы летишь сей же час! — Сей же час черта с два, — буркнул Баудолино. — Беги,

мы тебя успеем примотать тесемками.

Это было неправдой, что понимал и сам Гавагай. Уйди он от угла, псиглавцы вмиг домчатся до клетки и евнух не успеет снять решетку и выпустить птиц в полет. В мешке с тухлым мясом лежала Гавагаева фистула. Он выхватил ее с тремя остававшимися стрелами. — Исхиапод гибнешь, но остаешься верен достопочтенным Волхвам! — сказал он. Он лег на землю, навесил ступню над головой, поднес ко рту трубочку. Он дунул раз, и первый кинокефал рухнул как срезанный. Потом Гавагай застрелил еще двоих. Теперь у него кончились стрелы. Чтоб отпугнуть нападающих, он сделал вид, что начинает стрелять опять. Те было поверили, потом пришли в себя, бросились на него и изрубили ятаганами.

Тем временем Поэт решительно щекотнул под горлом евнуха кинжалом; тот, увидев первую кровь, быстро сообразил, чего хотят от него, и хоть двигаться в обвязке было несподручно, все-таки выставил раму, запиравшую клеть. Видя гибель Гавагая, Поэт проорал: «Кончено, давай, давай!» Евнух отдал приказ птицам рухх, и те ринулись в отверстие и взмыли в небо. Собакоглавые вбежали в клеть в тот самый момент, тут на них кинулись прочие птицы, обозленные

суматохой, и пошли долбасить клювами.

Наши шестеро плыли в открытом небе. — Он и вправду дал команду на Константинополь? — громко спросил Поэт у Баудолино. Баудолино кивнул. — Тогда он не нужен, — произнес Поэт. Чиркнул по гужам, удерживавшим в воздухе евнуха, и тот сорвался в пропасть. — Легче будет лететь, — сказал Поэт. — Это им за Гавагая.

— Так мы парили, государь Никита, над скудными низменностями, через которые, как шрамы, пролегали рваные и пересохшие бог знает как давно реки, над возделанными полями, озерами, лесами, ухватившись за лапы своих птиц, поскольку боялись, что порвутся постромки. Сколько времени летели, я не в силах был подсчитать, и ладони покрылись язвами. Под ногами проплывали то песчанистые пустоши, то плодородные почвы, то луга, то горные отроги. Мы летели в близости солнца, затененные долгими крыльями, рассекавшими воздух над головой. Я не знаю, сколько это продлилось, днями и ночами, на высоте, куда ангелам путь заказан. Вдруг перед нами открылся уголок пустыни, а в нем десять отрядов, спешивших по своему делу, так казалось сверху (если только это были не муравьи). Рабби Соломон вдруг стал кричать,

что это десять отыскиваемых колен и ему надо к ним присоединиться. Он пытался погнать вниз свою рухх, направляя лапы, как переставляют парус за конец или руль за румпель. Но птица только злилась, выдергивала лапы из его рук и норовила цапнуть за голову. Соломон, кончай дурить, кричал ему Бойди, это не твои, это какие-то побродяги тащатся своей дорогой! Дохлое дело. Во власти мистического безумия Соломон вихлялся так отчаянно, что развязались его постромки, и он упал, нет, точнее сказать, улетел с распахнутыми объятиями, пронизывая небеса, точно ангел Творца благословенного, Его Святого, но только это был ангел, нисходящий на обетованную землю. Мы видели, как он уменьшается, пока его фигурка не слилась с тельцами муравьев вдалеке внизу.

Прошло еще сколько-то, и птицы рухх, исполняя полученный приказ, долетели до Константинополя, до сверкающих на солнце куполов. Спустились, как надо, путники отвязались от своих строп. Какой-то человек, видимо, сикофант Алоадина, приблизился к ним, удивляясь многочисленности гонцов. Поэт улыбнулся ему, вынул меч и нанес тому удар плашмя по голове. — Благословляю во имя Алоадина, — кротко сказал он,

пока тот валился, как мешок, им под ноги. — Кыш, вы все! — шуганул он птиц. Те, похоже, поняли по голосу, поднялись в воздух и пропали.

— Мы дома, — сказал счастливый Бойди, который был за тысячу миль от своего дома.

— Надеюсь, друзья-генуэзцы еще где-то тут, — сказал Баудолино. — Пошли искать.

— Увидите, как отлично пойдут здесь головы Крестителя, — сказал Поэт, внезапно молодея на глазах. — Тут мы среди христиан. Потеряли Пндапетцим, но можем завоевать Константинополь.

— Не знал он, — пояснил Никита с грустной улыбкой, — что некоторые христиане уже занимаются тем же.

37
Баудолино умножает сокровища Византии

— Только мы вознамерились перебраться через Суд в город, как поняли, что налицо самое поразительное, какое только может быть, положение. Город не был в осаде, потому что неприятели, хоть и стояли кораблями на рейде, сами были расквартированы в Пере и перемещались по городу. Город не был и захвачен, потому что о бок с крещатыми завоевателями ходили люди императора. В общем, крестоносцы были в Константинополе, но Константинополь не был их. Мы разыскали товарищей-генуэзцев, тех самых, у которых потом ты спасался, и те тоже не могли объяснить толком, ни что происходило, ни что собирается произойти.

— Да нам самим было не понять, — вставил Никита со вздохом. — А ведь мне когда-нибудь придется написать историю этого периода… После провала похода на отвоевание Иерусалима, затеянного твоим Фридрихом и королями Франции и Англии, через десять и больше лет

латиняне попробовали снова, на сей раз под предводительством великих князей Балдуина Фландрского и Бонифация Монферратского. Однако им нужен был флот, флот им построили по заказу венецианцы. Я слышал, ты поминал тут недобрым словом генуэзскую скаредность. Так вот, по сравнению с венецианцами, Генуя, уверяю тебя, — воплощенное хлебосольство. Латиняне получили корабли, но денег не было расквитаться, и венецианский дож Дандоло (он волею судьбы тоже был слеп, но среди многих слепцов в этой истории был самый дальновидный) потребовал, чтобы в уплату долга, чем им идти в Святую Землю, паломники подмяли бы по его заказу город Зару. Паломники согласились, и это было первым преступлением, поскольку крест люди принимают не для того, чтоб завоевывать города венецианцам. Тем временем Алексей, брат Исаака Ангела, свергшего Андроника, чтобы забрать его власть, сумел Исаака ослепить и выгнал его на морское побережье, а сам себя объявил василевсом.

— Об этом меня генуэзцы оповестили сразу. Положение было еще сложнее, потому что брат Исаака стал Алексеем Третьим, но имелся еще и Алексей — сын Исаака, он сумел убежать, он от-

правился в Зару, уже захваченную веницейцами, и попросил пилигримов-латинян посадить его на отцов трон, в награду суля подспорье в овладении Святой Землей.

— Легко сулить, что не твое. Алексей же Третий в то время смекнул, что империя в опасности. До тех пор, хотя зрение у него как раз было, он заливал глаза хуже слепца: тунеядствовал, окружал себя мздоимцами. Ты подумай, до того дошло, что, когда он хотел строить военные корабли, он не смог добиться от блюстителя царских запасников разрешения на рубку леса. А Михаил Стрифн, адмирал его армии, втихую продавал паруса и снасти, штурвалы и всякий такелаж с имевшихся кораблей, дабы пополнять собственные карманы. В Заре молодого Алексея разные народы приветствовали как императора, и к июню прошлого года латиняне появились тут у нас, прямо перед городом, сто десять галей и семьдесят военных кораблей, на их борту тысяча оружных дворян и тридцать тысяч солдат, щиты по бортам, штандарты по ветру, гонфалоны на ютах и полубаках, четким строем, как на парад, через весь пролив Святого Георгия и с командой трубить почти в сто пар бронзовых и медных труб и бить в барабаны и кимвалы, а наши стояли на стене и

глядели на это зрелище. Кинули в них несколько булыжников, но все больше для порядка, не на поражение. Только после того как латиняне причалили к берегу напротив Перы, этот малоумный Алексей выпустил на них имперскую армию, и вдобавок тоже, по примеру тех, парадом. Видать, наши константинопольские все никак не могли прочухаться. Ты, конечно, знаешь, что проход в Суд, он же Золотой Рог, перегораживается цепью от берега до берега. Так вот, эту цепь наши совершенно не охраняли. Те без труда разорвали ее, вошли в порт и высадили свою армию прямо под императорским Влахернским дворцом. Наша армия выступила ей навстречу из стен, возглавляемая императором, дамы взирали с эскарпов и отмечали, что наши воины совсем как ангелы и что их дивная броня очень ярко сияет на солнце. Все начали подозревать, что дела не так чудесны, лишь после того, как император, не подумавши сражаться, повернул назад в город. А еще через пару дней все уже совсем хорошо все поняли, когда венецианцы атаковали стены города с моря, вскарабкались на них и подожгли дома, стоявшие у стен. Горожане много поняли после первого пожара. Знаешь, что сделал тогда Алексей Третий? Он нагрузил ночью того дня десять

тысяч золотых на корабль и покинул город.

— И на трон снова сел Исаак.

— Да, но Исаак был стар и притом без глаз. Латиняне намекнули ему, что на одном с ним троне должен сидеть и сын, звавшийся теперь Алексеем Четвертым. С этим молодцом латиняне договорились о многом, что нам было неизвестно: что Византийская империя возвращалась в подчинение католической римской церкви, что василевс должен был выплатить пилигримам двести тысяч серебряных марок, продовольствовать их целый год, выставить десять тысяч конников для броска на Иерусалим и на свой счет организовать полутысячный гарнизон в одном из городов Палестины. Исаак заметил, что не хватало денег в имперской казне, что вряд ли было возможно принудить клир и прихожан с бухты-барахты вдруг возвратиться под руку римского папы… Так начался фарс, продолжавшийся месяцы. С одной стороны, Исаак и его сын, дабы разжиться деньгами, обирали православные церкви, вырубали топорами образа Спаса, выдрав ризы, швыряли иконы в огонь, а все серебряное и золотое переплавляли. С другой стороны, латиняне, засевшие в Пере, хозяйничали по ту и эту сторону гавани, садились за стол с Исааком, везде нахальничали

и никуда не собирались отчаливать. Прежде, говорили, пусть им положенное заплатят. Сильнее прочих настаивал на выплатах дож Дандоло с венецианцами, по сути же, я думаю, они здесь жили как в раю и роскошествовали на нашем иждивении. Не насытившись грабежом одних христиан и чтоб отдалить обвинения, зачем они медлят и не меряются силой с сарацинами в Иерусалиме, латиняне пошли очищать квартиры константинопольских сарацин, премирно себе обитавших, и от этих-то стычек занялся второй страшный пожар, в котором я потерял наилучшую из моих резиденций.

— А василевсы не пробовали усовестить своих союзников?

— Они теперь были заложниками в руках латинян, а Алексей Четвертый — так просто игрушкой: однажды, когда он находился у них в лагере и развлекался, как рядовой дворянин, они схватили у него с головы золотую шапку и стали надевать на себя. Когда еще византийского василевса так унижали! А Исаак терял остатки ума среди обжорливых монахов, бредил, что станет повелителем мира, вновь обретет глаза… Народ взъярился на него и выбрал василевсом Николая Канава. Тот был вполне приличный человек,

однако в оное время входил уже в силу Алексей Дука Мурцуфл, поддерживаемый военными. Он без труда захватил власть. Исаак умер от сердца, Канав был обезглавлен, Алексей Четвертый удавлен, Мурцуфл был коронован Алексеем Пятым. — Вот, мы как раз приехали в то время, когда уже никто не понимал, кто же начальник: Исаак, Алексей, Канав, Мурцуфл, или же пилигримы, вдобавок было непонятно, что всякий раз имеется в виду под «Алексей»: Алексей Третий, Четвертый, Пятый? Мы добрались до генуэзцев, нашли их на обычном месте, на том же самом, где ты впоследствии пожил у них, венецианский и пизанский же кварталы выгорели во втором пожаре, и их жители перебрались в Перу. В этом-то несчастливом городе Поэт нацелился наконец устраивать свое счастье.

Во время анархии, говорил Поэт, любой может стать царем. Но для начала надо найти деньги. Все пятеро были обтрепаны, грязны и нищи. Генуэзцы приняли их гостеприимно, но дали понять, что гость, как рыба, уже на третий день завоняется. Поэт обстоятельно помылся, подрезал волосы и бороду, одолжил у хозяев пристойное платье и с раннего утра отправился в город разузнавать, что к чему.

Он вернулся вечером, сказав: — С нынешнего дня Мурцуфл василевс, он слопал остальных, и, кажется, думает понравиться подданным, задираясь с латинянами. Те считают его узурпатором, потому что договаривались с бедолагой Алексеем Четвертым, земля пухом, такой молодой, но, видать, было написано на роду. Латиняне ждут, пока Мурцуфл на чем-то проступится. Пока что наливаются брагой по кабакам, но знают, что рано или поздно выставят его пинком под зад и разнесут этот город в щепу. Они знают уже, где и сколько можно набрать себе золота, знают, что везде по городу запрятаны святые мощи, но знают и что с мощами не разгуляешься, на них зарятся военачальники, чтоб развозить по своим городам. Но так как greculi их тоже не лучше, пилигримы с ними усиленно снюхиваются, дабы застолбить себе, за небольшие деньги, самые значительные реликвии. Мораль сей басни. Кто хочет заработать состояние немедленно, продает священные останки, кто хочет заработать состояние по возвращении, их покупает.

— Значит, настала минута выложить наши головы Иоанна! — с воодушевлением выпалил Бойди.

— Мы знаем, Бойди, что у тебя есть рот, — пре-

зрительно отрезал Поэт. — Прежде всего, голов Крестителя в одном городе можно пристроить только одну, потому что потом могут начаться слухи. Во-вторых, как мне сообщили, в Константинополе есть уже одна его голова, даже две. Вы представьте себе только, что две уже были проданы, а теперь мы явимся с третьей, это значит, нам перережут глотку. Следовательно, никаких голов Иоанна. Чтоб искать остальные останки, у нас нет времени. Предлагаю не искать их, а делать. Одинаковые с теми, что здесь обретались и были известны, только до сих пор не найдены. Я тут погулял, послушал: говорят о багрянице Христовой, о лозе, коей секли Христа, о столпе от бичевания, о губке, напоенной желчью и уксусом, поданной нашему Господу при смерти, хоть она теперь, конечно, высохла; о терновом венце; о ларчике, в котором лежит кус хлеба преломления, освященного на Тайной Вечери; о волосках бороды распятого и о нешвенном вретище Иисуса, которое стражники разыграли в кости у подножия лобного места; об одеянии Мадонны…

— Посмотрим, что из этого нетрудно изготовить, — задумчиво проговорил Баудолино.

— Вот, вот, — отозвался Поэт. — Лозу-то долго ли подобрать. А что касается столпа, я бы не стал

с ним связываться, тем более что это невозможно толкнуть из-под полы.

— Зачем нам рисковать с продажей дублетов, выплывут истинные реликвии, и с нас потребуют деньги обратно, — размышлял вслух Борон. — Вы лучше подумайте, сколько еще святых частиц может быть найдено. Подумайте. Целых двенадцать корзин от умножения хлебов и рыб. В корзинах я не вижу недостатка, возьмем, немножко подгрязним для придания древности. Подумайте: топор, которым Ной рубил бревна на ковчег! Как раз генуэзцы хотели выкинуть вон тот, что у них затупился.

— Идея недурна, — одобрил Бойди. — Пойти на кладбище, выкопать там челюсть святого Павла. Не голову, а так, к примеру, левый локоть святого Иоанна Крестителя. И так далее. Останки святой Агаты, святого Лазаря, пророков Даниила, Самуила и Исайи, череп святой Елены, частицу головы святого апостола Филиппа.

— Да уж тогда, — поддержал их Певере, начавший входить во вкус, — порыться в подполе, отыщется прекрасная частица вифлеемских яслей, небольшая такая, уж не упомню, откуда взялась у нас.

— Сотворим невиданные мощи, — согласился

Поэт. — Но воспроизведем и те, которые уже виданы, потому что именно о них поговаривают в городе и именно они каждый день растут в цене.

Квартира генуэзцев превратилась на неделю в артельную кузню. Бойди, споткнувшись на опилках, обрел гвоздь с честного креста. Бойямондо протерзался ночь жестокою болью, утром привязал гарусинку, дернул, гнилой зуб вынулся и стал зубом святой Агаты. Грилло сушил сухари на солнце и раскладывал по коробкам, которые Тарабурло мастерил из лежалых деревяшек. Певере убедил остальных бросить задумку о хлебных и рыбных корзинах. Надо думать, после подобного чуда толпа не оставила их там, где были, а растащила хлебы вместе с корзинами по домам, так что никакому Константину не удалось бы их собрать заново вместе. А если торговать корзинами по одной… корзина выглядит не слишком авантажно, вдобавок товар громоздкий… Коли Христос накормил такую прорву народу, значит, корзины были объемистые, втихую не перепродашь, не какие-то там туески, под плащами не видимые… Бог с корзинами, сказал Поэт, но, пожалуйста, Ноев топор я вас попрошу. Зачем просить, отвечал Певере, вот он, гляди: лезвие что твоя пила, а рукоять неведомо когда вся обгорела.

Затем наши друзья переоделись армянскими купцами (генуэзцы, раз такое дело, решились профинансировать начинание) и засновали из корчмы в корчму, из одного христианского лагеря в другой. То там, то здесь роняли по полсловечку, намекали: товары непростые, цена соразмерная, не сносить головы, ну и так далее, в подобном роде и духе.

Однажды вечером Бойди оповестил компанию, что вроде бы один рыцарь из Монферрато берет Ноев топор, но только с гарантией, что вещь настоящая. — Понятно, — отозвался Баудолино. — Пойдем к Ною, возьмем расписку.

— А Ной что, умел писать? — поинтересовался Борон.

— Ной только умел нализываться в доску, — ответил Бойди. — Видать, был совсем готов, когда нагружал свой ковчег, нагнал туда комаров без счета, а единорогов забыл пригласить, поэтому их теперь не видно на свете…

— Да видно их, еще как видно, — пробормотал Баудолино, у которого вдруг начисто испортилось настроение.

Певере заявил, что в одном путешествии его учили рисовать иудейские каракули и он может ножиком выцарапать на топоре что-нибудь. —

Ведь Ной же иудей, неужто нет? — Иудей, иудей, подтвердили товарищи… Бедолага Соломон, хорошо он не слышит этого, как бы ему привелось страдать. Но Бойди все-таки пристроил этот топор.

Иногда покупатели редели, это когда город приходил в брожение, пилигримов внезапно созывали в лагеря, объявлялась тревога. Например, вдруг распространились слухи, что Мурцуфл нацелился атаковать Филею, город, что был недалеко на морском берегу, и пилигримы сплотили ряды и ему ответили, и из этого вышла битва, или скорее потасовка, в общем, Мурцуфла отлупили и отобрали у него гонфалон с образом Пресвятой Девы, который у его армии был вместо палладиума. Мурцуфл вернулся в Константинополь, но не стал признаваться своим, чтоб не иметь нестерпимого срама. Латиняне узнали, что он всех обманывает, и вскоре поутру пустили мимо стен города свою галею, установив на ней тот гонфалон, сопровождая проезд глумливыми жестами, то показывая кукиши, то стукая левой ладонью по сгибу правого локтя. Мурцуфл здорово обделался, и ромеи распевали о нем на улицах куплеты.

Пока склепаешь путную реликвию, пока найдешь годящего клиента, так слово за слово январь

нечувствительно перешел в март, тем временем подбородки святого Эобана и бедра святой Кунигунды позволили им не только расплатиться с генуэзцами, но и самим зажить припеваючи.

— Вот тебе причина, сударь Никита, откуда взялось в твоем городе на недавних днях так много двойных мощей, и уж теперь одному Богу ведомо, которые из них неподдельные. Но ты попробуй стань и на нашу доску: хотели жить, приходилось поворачиваться между латинянами, готовыми разбойничать, и твоими родными greculi, то есть, извини, твоими родными римлянами, готовыми латинян обжуливать. Так что, по существу, мы обжуливали жулье.

— Ну ладно, — миролюбиво изрек Никита. — Надеюсь, этими частицами навеются святые помышления твоим обварварившимся латинянам в их суеварварских церквах. Святится помышление, святятся мощи. Преизобильны Божий пути.

На этом можно было бы удовлетвориться и разъезжаться кто куда. Гийот с Бороном ничего не замышляли, они забросили поиски Братины и Зосимы с нею. Бойди сказал, что с такими деньгами в Александрии он купит виноградники и

заживет синьором. Баудолино был еще скуднее мыслями. Без поисков пресвитера и без Гипатии ни жизнь, ни смерть для него ничего не значили. Поэт же, не в пример всем прочим, находился на новом взлете мечты о всемогуществе. Распространяя знамения Господа по крещеному миру, он собирался перейти от пилигримов мелкого разбора к высокопоставленным командирам и заработать их благосклонность.

Однажды он объявил, что в Константинополе находится Mandylion, эдесский Убрус, неизмеримой цены.

— А что такое убрус? — спросил Бойямондо.

— Такой небольшой платок, лицо утирать, — пояснил Поэт. — На нем отпечаталось лицо Господа. Не нарисовано, а самою природой отпечатано. Получился образ нерукотворный, по-здешнему acheiropoieton. Абгар Пятый, царь Эдессы, был прокаженный, он посылал своего бытописателя Ханнана за Иисусом, чтоб тот пришел исцелить его. Иисус прийти к царю не мог, а вместо этого взял платок, вытер лицо, и отпечатались черты его лика. Как вы уже догадываетесь, получив тот Убрус, царь излечился и обратился в истинную веру. В давние времена, когда персы осаждали Эдессу, горожане выста-

вили на стену Mandylion и тем спаслись. После этого Константин выкупил Убрус и перевез сюда. Его сперва возложили в церкви Влахерн, потом в Святой Софии, а потом в Фаросской часовне. Это истинный Mandylion, хоть молва и гласит, будто существуют иные: в каппадокийской Камулии, в египетском Мемфисе и в Анаблате подле Иерусалима. Что не противоречит логике, потому что Иисус в течение жизни мог вытираться полотенцами не один раз. Однако эдесский Убрус несомненно важнее всех прочих, потому что в Пасхальное Воскресенье лик преображается каждый час: на рассвете имеет вид новорожденного Иисуса, в третьем часу представляется отроком, и так далее до девятого часу, когда он являет облик Иисуса-мужа в пору Страстей.

— Как ты все это узнал?

— Рассказал один монах. Так вот, эти-то мощи честные, и имея вещь такого пошиба, тот, кто вернется в наши края, будет иметь и почести, и пребенды, только найти нужного епископа, вроде как Баудолино всунул Рейнальду своих трех Волхвов. До сих пор мы продавали мощи. Настал момент покупать. Но покупать надо с умом, чтобы нажить на этом состояние.

— У кого ж ты торгуешь святой Убрус? —

спросил Баудолино, которого уже тошнило от непрерывного святокупства.

— Его пока купил один сириец, мы пили с ним третьего дня, он на службе у герцога Афинского. Однако, по его словам, герцог отдаст и Убрус и с ним что еще только захотят, лишь бы заиметь Sydoine.

— Теперь остается узнать, что такое Sydoine.

— Судя по их рассказам, в церкви Святой Марии во Влахернах хранился святой Сударь, Sydoine, это плащаница, на которой отпечатано в полный рост туловище Иисуса. Об этом в городе известно, и вроде бы ту самую плащаницу видел Амальрих, царь Иерусалима, когда посещал Мануила Комнина. Еще мне говорили, что Sydoine, то есть Сударь, был передан на хранение в церковь Пресвятой Девы в Вуколеоне. Однако его никто на самом деле не видел, и если он и был, то уже давно исчез.

— Не знаю, куда ты клонишь, — сказал Баудолино. — Есть у кого-то этот Убрус, прекрасно. Он хочет менять Убрус на Сударь. Но Сударя у тебя нет, и я с трудом себе представляю, как это мы вдруг возьмемся рисовать образ Господа нашего Иисуса. Следовательно…

— Следовательно, у меня Сударя нет, — сказал

Поэт. — Сударь есть у тебя.

— У меня?

— Помнишь, я спросил, какой это сверток тебе дали приспешники диакона при бегстве из Пндапетцима? Ты отвечал, что портрет того несчастного, напечатленный на погребальную плащаницу. Ну, покажи ее.

— Ты обезумел, это заповедное, это завещано диаконом для передачи пресвитеру Иоанну!

— Баудолино, тебе уже шестьдесят, тебе даже больше, ты все еще веришь в пресвитера Иоанна? Мы же потрогали и пощупали. Пресвитера нет. Давай показывай.

Баудолино с тяжелым сердцем вынул из сумки сверток и раскатал, дав знак окружающим подвинуть столы и стулья, чтобы высвободить на полу место для широкой и длинной простыни.

На простыне была двоекратно оттиснута человеческая фигура спереди и сзади. Очень четко вырисовывалось лицо, рассыпанные по плечам волосы, усы, борода, закрытые глаза. Благодатная краса смерти изменила несчастного диакона, отразив на полотне безмятежное лицо и мощное тело, на котором лишь с трудом различались раны, кровоподтеки, язвы проказы, его сгубившей.

Баудолино созерцал, замерев и размышляя,

до чего шли этому мертвому стигматы горькой величественности. И наконец пробормотал: — Не продавать же портрет прокаженника, вдобавок несторианина, в качестве Господа Иисуса Христа.

— Во-первых, герцогу Афинскому ничего об этом не известно, — ответил Поэт, — а всучивать это мы будем ему, а не тебе. Во-вторых, не продавать, а выменивать, то есть к деньгам это не имеет отношения. Я пошел к сирийцу.

— Сириец спросит, почему ты меняешь Sydoine, предмет гораздо большей ценности, на какой-то там Mandylion.

— Меняю на то, что легче вывезти из Константинополя. Sydoine стоит слишком дорого, в покупатели годятся только короли, а святой Убрус можно предложить не таким важным цацам, пусть только платят на месте и наличными. Потому что предложить святой Сударь христианскому князю — значит признаться, что мы его выкрали отсюда, за это нас повесят, а Убрус эдесский может с таким же успехом сойти за камулийский, мемфисский или анаблатский. Сириец меня поймет, мы с ним родня по крови.

— Понятно, — отвечал Баудолино. — Ты вернешь плащаницу герцогу Афинскому, и мне

побоку, что он повезет к себе домой поддельный образ Христа. Но ты ведь знаешь, для меня-то этот образ куда дороже Христова, ты знаешь, о чем он мне напоминает, ты не можешь спекулировать этой памятью…

— Баудолино, — сказал тогда Поэт. — Мы не знаем, что нас ждет по приезде домой. С эдесским Убрусом прибьемся к какому-нибудь архиепископу, и будущее наше обеспечено. И вообще, Баудолино, если бы ты не вывез плащаницу из Пндапетцима, белые гунны пустили бы ее на подтирку. Тебе был дорог этот человек, ты рассказывал мне его историю во время странствий по пустыне, во время сидения в плену, ты оплакивал его гибель, бессмысленную, безвестную. Ну что ж: его посмертное изображение теперь будут почитать, как Христа. Можно ли лучше увековечить память дорогого покойника? Мы не принижаем память о его телесном облике, а… как бы это лучше сказать, Борон?

— Преображаем ее.

— Вот именно.

— Надо предположить, что в маразме тех недель я утерял представление о праведном и грешном. Надо предположить, что я слишком устал. Как бы то ни было, государь Никита, я дал

согласие. Поэт мгновенно рыскнул обменивать нашу плащаницу, то есть мою, то есть диаконову, на этот самый святой Убрус.

Баудолино давился смехом, Никита не понимал в чем дело.

— Смысл штуки дошел до нас только вечером. Поэт попал в нужную таверну, совершил свою бесчестную сделку. Желая подпоить сирийца, напился до изнеможения сам, а выйдя, был нагнан кем-то, очень хорошо осведомленным о его делах. Возможно, просто этим же сирийцем, не зря же говорил Поэт, что они родня по крови. Его нагнали в переулке, избили до полусмерти, и он вернулся домой пьянее Ноя, в крови, в ушибах, без Сударя и без Убруса. Я бы, клянусь, не оставил на нем живого места. Но он и так был конченый человек. Он во второй раз терял царство. Все следующие дни мы его кормили силком. Я говорил себе: счастье, что у меня не бывает таких амбиций. Утрата амбиций, оказывается, вот до чего может довести. Хотя, если подумать, я тоже был жертвой немалых упований. Я потерял возлюбленного отца, и не нашел ему то царство, которым отец грезил, и не остался с любимой женщиной… Но только мне уже достаточно четко разъяснили, что Демиург недоделывает все на

свете. Поэт же продолжал верить, что в жизни возможны победы.

В первые числа апреля всем друзьям стало ясно и понятно: дни Константинополя сочтены. Имели место серьезные раздоры между дожем Дандоло, который, будто проглотив палку, торчал, выпрямившись, на носу своей предводительской галеи, и Дукой Мурцуфлом, который осыпал его проклятиями с берега, требуя, чтоб латиняне навсегда убрались из его земель. Было понятно, что Мурцуфл спятил, что латиняне за это съедят его, не разжевывая. За Золотым Рогом все видели, как готовятся к набегу пилигримы, как суетятся солдаты и матросы на палубах судов, построенных на рейде.

Бойди и Баудолино сказали, что при тех деньгах, которые у них накопились, имеет смысл покидать Константинополь, ибо городов на милости победителя они уже перевидали достаточно. Борон с Гийотом были согласны, Поэт же попросил еще несколько дней. Оправившись от нового удара, он, без сомнения, решил использовать последние часы для какого-то своего решающего прорыва, какого — не знал он сам. В его глазах уже замечался сумасшедший блеск, а с сумасшедшими, ясно, не спорят. Просьбу Поэта

удовлетворили, утешая себя тем, что будет видно по кораблям, когда придет момент ударяться в бега в направлении суши.

Поэт отсутствовал целых два дня, для описанных обстоятельств слишком долго. В Страстную пятницу с утра его еще не было, а пилигримы уже высаживались на побережье от Влахерн до монастыря Христа Эвергета, «Благодетеля», в районе, называемом Петрион, севернее Константиновых стен.

Это значило, наши упустили время, из стен им было уже не выйти, война шла со всех сторон. Проклиная авантюриста, Баудолино и друзья засели, затаившись у генуэзцев, в квартале, где пока что было тихо. Им доносили, что происходило в Петрионе.

На кораблях атакующего войска было множество нападных машин. Мурцуфл стоял на взгорье за стеной с командирами и дворянами, с трубачами, со штандартами. Армия действовала без оглядки на тот парад, сражалась яростно; латиняне перепробовали все, но армия императора каждый раз их отпихивала, и greculi в восторге скакали на стенах и показывали штурмовикам голые зады, а Дука Мурцуфл радовался сильнее всех, как будто бил их сам, и дал приказание

трубачам дудеть победные песни.

Могло показаться, что Дандоло и его военачальники отказались от мысли завоевывать город. Суббота и воскресенье миновали тихо, хотя все были напряжены. Баудолино воспользовался перерывом, чтобы обегать вдоль и поперек город в поисках Поэта: безрезультатно.

Стояла уже воскресная ночь, когда Поэт пришел сам. Вид у него был еще более блажной. Он ничего не объяснял и пил в безмолвии до самого рассвета.

На ранней понедельниковой заре паломники снова пошли на приступ, он длился весь день. Трапы с венецианских кораблей докинулись до нескольких сторожевых башен, и крестоносцы вошли… нет, новая версия: вошел только один, но исполин, в высоком шлеме, он всех перепугал и разогнал защитников… Да ничего подобного, просто один из высадившихся нашел потайной выход из замка, стал бить киркой, проделал лаз! Это-то правда, но пролезавших в лаз поотбивали, а дело в том, что тем временем некоторые башни они сумели захватить…

Поэт метался в комнате, как пойманный зверь, похоже, ему требовалось, чтобы сражение закончилось, а как, неважно; он поглядывал на

Баудолино и порывался что-то сказать, потом передумывал и сверлил пасмурным взором лица других троих товарищей. Пришло известие, что убежал Мурцуфл и бросил на произвол судьбы армию, защитники утратили всю храбрость, паломники вломились, паломники взяли стены; дальше идти они не решались, поскольку начиналась ночь, и подожгли самые близкие к валу постройки, чтоб выкурить засевших там защитников. Третий пожар за несколько месяцев, негодовали генуэзцы, это уже не город, а куча назема какая-то, когда накапливается чересчур много — жгут!

— О, чтоб тебя болячка задавила, — отчитывал Бойди Поэта. — По твоей милости угодили в помойную яму! Из-за тебя не ушли! Что делать?

— Тебе-то молчать, сам знаешь почему, — загадочно шипел Поэт.

Всю ночь во тьме сверкали дальние сполохи. На зорьке Баудолино, который как будто спал, однако лежал открыв глаза, увидел, что Поэт подходит к Бойди, к Борону и к Гийоту и каждому шепчет на ухо. Потом он вышел. Через несколько минут Баудолино мог заметить: встают и совещаются Борон и Гийот, каждый вынимает из сумки что-то, выходят, стараясь его не разбудить.

Вскорости после этого поднялся Бойди и стал трясти его за плечо. Он был в тревоге. — Баудолино, — сказал Бойди, — не знаю отчего, но все как будто с ума посходили. Поэт подошел ко мне и сказал вот что, послушай. Он-де нашел Зосиму. Теперь он знает, где Братина. Чтоб я не увиливал, а с головой Иоанна немедленно шел бы в Катабату, где Зосима встречался с василевсом, он будет ждать пополудни, да без опозданий, дорогу я-де знаю, и чтоб без фокусов. Какая Катабата? И о каком он толкует василевсе? Тебе он что сказал?

— Мне ничего, — отвечал Баудолино. — И даже думаю, он предпочел бы, чтоб я об этом не узнал. Но он до того запутался, что не сообразил: Борон с Гийотом тогда были с нами, а тебя-то не было! Дай-ка я в этом разберусь.

Он стал искать Бойямондо. — Слушай, — сказал он. — Помнишь, как ты водил нас в крипту под старым монастырем Катабата? Мне опять туда надо.

— Вольному воля. Входи через павильон около храма Всех Святых Апостолов. Может, ты и дойдешь до него в обход пилигримов, они, я думаю, туда еще не добрались. Если воротишься живым, значит, я рассуждал правильно.

— Да, но постой, мне надо так войти, как будто я

не вхожу. То есть… я не могу все объяснить… мне надо проследить за теми, кто будет пробираться тем путем, но чтобы они меня не видели. Помню, из крипты начинались какие-то подземные ходы. В них, верно, попадают и с другого конца?

Бойямондо усмехнулся: — Ну, если не бояться мертвых… Можно войти через другой павильон, что подле Ипподрома, и до него тоже, я мыслю, путь пока чист. Потом довольно долго по катакомбам. Потом будет вход в усыпальницу монахов. О ней никто уже не помнит. Ее считают разрушенной, однако она еще вполне цела. Проходы из усыпальницы ведут прямо в крипту, и можно стать в конце коридора около входа.

— А ты проводишь меня?

— Баудолино, дружба дорога, но шкура еще дороже. Я тебе все хорошо объясню, ты парень сообразительный, найдешь дорогу. Годится?

Бойямондо все рассказал, как и что, и дал ему два смолистых бревешка. Баудолино вернулся к Бойди, спросил, боится ли тот мертвецов. — Какое там, — отвечал ему Бойди, — боюсь я только тех, кто живой. — Давай тогда так, — сказал Баудолино. — Возьми свою голову Крестителя, и я тебя отведу на их встречу. Сам постою в коридоре, посмотрим, что там задумал этот ненормаль-

ный. — Давай так давай, — отвечал на это Бойди.

В последний момент Баудолино о чем-то вспомнил, вернулся и взял свою собственную голову Иоанна, перемотал ее тряпкой, сунул за пазуху. Еще о чем-то вспомнил и засадил себе крепко за пояс те два арабских кинжала, которые были куплены на каллиполисском рынке.

38
Баудолино на разбирательстве

Баудолино с Бойди дошли до Ипподрома, когда туда подступали языки пламени; кругом перепуганные ромеи кидались в стороны, крича, что пилигримы то тут, то там. Нашли указанный павильон, толкнули дверку, сбили хлипкий засов, спустились в подземелье, нашарили ход, зажгли полученные от Бойямондо факелы.

Идти пришлось немало, так как коридор вел с Ипподрома за самую Константинову стену. Потом они поднялись на несколько ступеней, оскальзываясь на слизи, и ощутили смертный смрад. Смердело не так, как, бывает, от свежих трупов, а это был тяжкий запах старой падали, мозгопрелого мяса, прошедшего разложение и иссохшего.

Идя подземным ходом (направо и налево ответвлялись коридоры, куда наши путники не смотрели), они миновали нишу за нишей, где обитали подземные жители: мертвецы живого вида. Они были безусловно мертвы, эти полностью одетые тела, воздвигнутые каждый в

своем алькове, на железных, что ли, штырях, протыкающих тело со спины. Но время, похоже, не докончило разрушительную работу, потому что высохшие пергаментные лица, издырявленные пустыми глазами, искаженные беззубыми ухмылками, были будто не умершие. Тление не превратило покойников в скелеты, а всосало во внутренности тел высохшие, измельчившиеся кишки, сохранив не только остов, но и кожу, и даже некоторые мускулы.

— Сударь Никита, нас окружали знаменитые катакомбы, где катабатские монахи спокон веков сохраняли тела собратьев, не погребая: за счет чудотворной комбинации почвы, воздуха и какой-то сочившейся с туфовых стенок подземной жижи они консервировались в целости.

— А я думал, это больше не применяется. Я, представь себе, ничего не знал об этом катабатском могильнике. Это доказывает, сколь многие тайны даже и доднесь хранит славный город Константинополь, в частности от тех, кто его знает хорошо. Однако я встречал рассказы… знаю, что в старинных монастырях, пособничая природе, затворники оставляли трупы на восемь месяцев среди выделений туфа, потом выносили, купали мертвых братьев в уксусе и ставили на

свежий воздух на несколько дней, снова одевали, снова вносили в углубление и бальзамическим выдохом недр доводили до чаянного сушеного бессмертия.

Идя вдоль вереницы вяленых монахов, многие из которых были в служебных ризах, будто готовились отправить мессу и лобызать фиолетовыми губами искрящиеся золотом иконы, друзья засматривались на лица, на полумученические аскетские улыбки: кому-то милостью живых были возвращены и прикреплены клеем бороды с усами, тем самым придан былой торжественный облик; кому-то опустили веки, чтоб он казался не ослепшим, а спящим; а у других облезшие головы являли миру совершенно голые черепа с рваными копчеными шкурками, присохшими на скулах ниже подглазий. За много столетий некоторые тела покосились и походили на уродов, несчастливо рожденных из чрева; на перекорченных костяках с трудом удерживались расшитые стихари с выцветшими узорами и епитрахили, сказать бы о них — кружевные, если б то не были проедины от могильных червей. У некоторых мертвецов одежды совершенно истлели, и под оставшимися лоскутьями сквозили тощие торсы с ребрами напоказ под барабанной ороговевшей

оболочкой.

— Если был набожен расчет всей этой священной композиции, — говорил Баудолино Никите, — то мне жаль: по-моему, ничего набожного не осталось в страшном произведении живых, в этом наглядном показе покойников, полном обременительных угроз и ни в малой степени не способном мирить нас с идеей смерти. Как будешь молиться за упокой души такого, кто в это время пялится на тебя от стены и говорит: я тут и никуда отсюда не стронусь? Как можно верить в плотское возжитие, в преображение земных телес после Страшного Суда, если тела торчат перед нашим носом и каждый день все сильнее протухают? Мертвецов я, увы, в своей жизни перевидал немало, но я хотя бы мог уповать, что, рассеявшись в земле, они снова, когда наступит должный день, будут воскрешены, целенькие, цветущие, словно розы. Но ежели по скончании времян там, наверху, пойдут разгуливать такие вот красавцы, я говорил себе, то лучше уж ад, там жгут и рубят, и все выглядит приблизительно так же, как тут у нас на земле, в Константинополе. Бойди, не столь чувствительный, как я, к запредельным вопросам, все норовил задрать им полы, чтоб посмотреть, на что похожи неприличные

части. Но если кто-то выставляет напоказ такое, с чего удивляться, что другим приходит в голову этакое.

Почти в конце сплетения коридоров они вошли в круговой зал, где купол был пробит, в отверстии сияло небо. Видимо, сделанный колодец служил для пропуска воздуха. Они загасили факелы. Без пламени, при слабом естественном свете, едва доходившем до ниш, мертвецы еще хуже пугали. Казалось, при свете дня им самое время ожить. Бойди, взглянув на них, перекрестился.

Наконец стало видно, что оттуда, где они стоят, есть проход прямо за колонны, окружающие крипту, где они в тот давний день ловили Зосиму. Друзья приблизились на цыпочках, поскольку из крипты сочился свет. Крипта, как и тогда, была освещена двумя треножниками. Не хватало только круглого таза — подточильника, над коим Зосима изображал чернокнижество. Под иконостасом уже переминались и нервничали Борон с Гийотом. Баудолино велел Бойди пройти кругом и появиться из-за иконостаса, как будто прибыв тем же путем, что другие, а он сам, Баудолино, не станет показываться.

Бойди вошел, другие встретили его без удивления. — Значит, Поэт тебе тоже объяснил, как

дойти сюда, — произнес Борон. — Думаю, Баудолино не позван, в противном случае к чему конспирация? Ты знаешь, зачем нас сюда вызывают?

— Он поминал Братину и Зосиму и странно угрожал, — отвечал Бойди.

— Нам тоже, — отозвались Гийот с Бороном.

Послышался глас, будто бы шедший из уст Вседержителя на верхнем тябле иконостаса. Баудолино разглядел в глазницах Христа черные миндалевидные прорези: кто-то через икону глядел, что происходит в крипте. И искаженный голос все-таки узнавался, принадлежал Поэту. — Добро пожаловать, — сказал голос. — Вам я не виден, однако все вы мне видны. Я нацелил на вас лук и стрелы и могу пронзить каждого, кто захочет убежать.

— Да с чего это, Поэт? Что мы сделали? — спросил в испуге Борон.

— Вы знаете, что вы сделали. Знаете лучше меня. Сейчас мы разберемся. Входи, ничтожный. — Тут послышался полусдавленный стон, затем выступила из-за иконостаса шаткая фигура.

Хоть миновало немало лет и хоть пришедший тащился съежась, волочась, хоть борода и патлы

из черных сделались белыми, было очевидно, что перед ними Зосима.

— Да, Зосима! — пророкотал Поэт. — Вчера я натолкнулся на него неожиданно. Он попрошайничал в переулке. Он слеп, все члены его выворочены, но это Зосима. Расскажи же друзьям, что с тобой случилось, когда ты бежал из резиденции Ардзруни.

Зосима жалобно повел рассказ. Он выкрал голову, в которой была спрятана Братина, и ударился в бега, но так как не только не имел при себе, а даже и никогда не видел карту Космы, он не знал, куда идти. Он ехал куда попало. Издох мул. Пришлось идти пешком по самым негостеприимным в мире землям. Глаза, помраченные от солнца, не отличали запада от востока, севера от юга. Набрел на город, населенный христианами, и был привечен. Он им сказал, что являет собой последнего Волхва, все остальные уже опочили в мире с Богом и возлежат в одном соборе на дальнем Западе. Он добавил возвышенным голосом, что при нем есть реликварий, где хранится священная Братина для отдачи пресвитеру Иоанну. Принимающим хозяевам приводилось уже слышать и о первой и о втором, так что они пали ниц перед Зосимой, ввели его торжественным ходом

во храм, и там он воссел на епископское кресло, вслед за чем зажил, изрекая пророчества, давая советы о ведении дел. Еды и питья у него стало вдоволь, а общего уважения и того больше.

Короче, будучи последним из чтимых Царей, хранителем преосвященной Братины, он смог облечься высочайшей духовной властью в той дальней общине. Ежеутренне отправлял мессу, а перед перенесением Святых Даров переносил свой собственный реликварий, и паства становилась на колени и утверждала, будто обоняет струимые мироблаговония.

Прихожане вводили в храм также и падших женщин, дабы Зосима наставил их на путь. Он говорил, что милосердие Господне беспредельно, и принимал их в церкви на закате дня, готовый вечеровать и ночевать с ними, как пояснял он, в бесперемежных молитвах. Распространились слухи, что он обращает этих непотребниц в Магдалин и они затем отдают себя на его служение. Днем готовят ему изысканные кушанья, подносят тонкие вина, умащивают пахучими ароматами, а ночью бдеют с ним пред алтарем. И до того себя не щадил, рассказывал Зосима, что всякое утро выходил с кругами под глазами от такого старательства. Зосима наконец обрел себе долго-

жданный рай и решил никогда не оставлять эту божесвятную деятельность.

Он испустил глубокий вздох и полузакрыл ладонями лицо, как будто во мраке наблюдал какое-то горчайшее зрелище. — Друзья мои, — сказал он вслед за тем. — Любую посетившую вас мысль престрого вопрошайте: ты от добра или от лукавого? Я не упомнил этого непреложного правила, я обещал, что на пасхальную утреню открою свой реликварий и всенародно предъявлю, наконец-таки, святую Братину. В Страстную пятницу я, быв один, взломал печать. В футляре лежала одна из тех мерзких мертвых голов, которые засушил на продажу Ардзруни. Я убежден, что всунул чашу в левую голову и левую же забрал с собой, когда бежал из замка. Но кто-то, и конечно, это был один из вас, переставил реликварии, так что у меня оказался не тот, который с Братиной. Кующий железо да рассуждает загодя, что он намерен отковать, серп ли, меч ли, или секиру. Я порешил: молчать. Преподобный Агафон три года прожил с камнем во рту, пока не стал истым безмолвником. Я порешил: скажу, будто имел явление Господня ангела и он мне возвестил, что в городе еще немало грешников, так что община не достойна узреть святыню.

Вечер Страстной субботы я препровел, как личит честному постриженнику, в изнурении плоти, наверное, чрезмерном, поскольку на следующее утро ощущал немочь, вроде бы с вечера до утра творил, Господи спаси, блудодеяния и возлияния. Служил я мессу шатко и валко, и в тот торжественный момент, когда обычно реликварий возносился над молящимися, я споткнулся на ступеньке алтаря и рухнул. Реликварий выскочил из моих рук, от падения раскрылся, и все увидели, что в нем вовсе не Братина, а сухой череп. Нет большей несправедливости, нежели наказание праведного, ибо последнему грешнику, друзья, прощают последнее греходеяние, а праведному не прощают и первого. Эти причетные сочли, что я их морочил, я, который, Бог свидетель, прежде того дня был до крайности право душен! Кинулись на меня, сорвали одежды, били дубинками и навсегда свернули мне ноги, руки и спину, потом потащили на суд, там присудили вырвать мне глаза. Они выгнали меня за ворота города, будто шелудивую собаку. Вы не знаете, сколько я настрадался. Божьим человеком таскался долгие годы, слепой и увечный, покуда меня, несчастного, не подобрали сарацины, сарацинские купцы, купеческий караван, державший путь на Кон-

стантинополь. Единственную помощь я получил от неверных, да вознаградит их Господь, то есть да не будут они прокляты, как вообще-то они заслуживают. Так несколько лет назад я воротился в этот мой город и пробавлялся милостыней, и, к счастью, кто-то сжалился, добрая душа, отвел меня за руку в руины здешнего монастыря, где мне все знакомо на ощупь и есть где ночью укрыться от холода, жары и небесных ливней.

— Вы слышали историю Зосимы, — прорек голос Поэта. — Его состояние свидетельствует, хотя бы на нынешний случай, о правоте его слов. Итак, один из нас с вами, увидев, куда положил Зосима Братину, переменил порядок голов, чтоб тот отправился себя губить, да и принял на себя все подозрения. А между тем нужная голова досталась тому самому, кто убил императора Фридриха. И я знаю, кто это был.

— Поэт, — воскликнул Гийот. — Как ты можешь утверждать такое? Почему ты позвал нас троих, без Баудолино? Зачем вызвал сюда от генуэзцев?

— Я вас вызвал, так как не мог тащить через город убогого калеку и не хотел говорить при генуэзцах, а особенно при Баудолино. Баудолино отныне к нам с вами отношения не имеет. Тот, кто надо, отдаст мне Братину, а что потом, мое

личное дело.

— Ты уверен, что она не у Баудолино?

— Баудолино не убивал Фридриха. Он любил его. И ему не было смысла похищать Братину, потому что он единственный из нас в самом деле собирался преподнести ее пресвитеру от имени императора. Кроме того, вспомните, что сталось с каждой из шести голов после побега Зосимы. Все мы взяли по одной: я, Борон, Гийот, Бойди, Абдул и Баудолино. Я вчера, выслушав рассказ Зосимы, открыл свою голову. Там лежал сушеный череп. Что касается Абдуловой, все вы видели: Ардзруни отворил ее и вынул череп и положил ему в руки в качестве амулета, или чего-то вроде, в минуту смерти, и этот череп мы закопали с ним в могиле. Баудолино отдал свою Праксею, тот распечатал голову при нас, там лежал череп. Так что остаются только три заклеенные, и это ваши. Мне-то известно, кто из вас носит при себе Братину, и я знаю, что он это тоже знает. Мы оба знаем, что это вышло совершенно не случайно, а было задумано с той самой минуты, как этот человек убил Фридриха. Но я хочу, чтобы он нашел в себе смелость признаться перед всеми нами, что нас обманывал долгие годы. Когда он признается, я убью его. Так что решайтесь. Кто должен говорить, пусть

скажет. Наш путь оканчивается здесь.

— Дальше произошло нечто замечательное, сударь Никита. Я из своего укрытия все слышал и легко воображал себя на месте троих друзей. Так, предположим, что один из них, назовем его Эго, знает, что Братина у него и что он в чем-то повинен. Значит, он скажет: я рискую головой, надо хватать меч, кинжал, ударяться в бега, прорываться в водохранилище, выбираться из подземелья. Думаю, этого ждал Поэт. Может, он и не понимал окончательно, кто из троих прячет от него Братину, и выжидал, кто же бросится бежать. Но теперь вообразим, что этот Эго до конца не убежден, что у него Братина, что в свой реликварий он ни единого разу не заглядывал, и все же совесть у него неспокойна в отношении смерти Фридриха. Следовательно, Эго подождет, посмотрит, не двинется ли кто прежде него. Кто-нибудь, у кого Братина. Не побежит ли, выдавая свою тайну. Эго ждет, не шевелится. Но он видит, что и прочие не двигаются. А, понимает Эго, ни у того, ни у другого Братины нет и ни тот, ни другой не причисляют себя к возможным подозреваемым. А следовательно, делает вывод Эго, Поэт имеет в виду меня, надо бежать. В нерешительности он берется за рукоять меча или

кинжала и делает первый шаг. Однако видит, что и товарищи повторяют это движение. Тогда он снова останавливается, надеясь, что остальные двое чувствуют больше вины, чем он. Именно это случилось в крипте. Каждый из троих, каждый из них рассуждал в совершенности как тот, кого для примера я поименовал Эго. Сперва они стояли, потом ступили вперед по шагу, а потом замерли. Из этого я сделал вывод, что ни один из них не думал, что Братина у него, но каждый за что-то имел причину себя укорять. Поэт это понял преотлично и высказал то, что он о них понял, а я перескажу тебе.

Итак, Поэт сказал: — Все вы трое ничтожества. Каждый из вас виноват. Я знаю, я всегда знал, что все вы приложили руку к убийству императора Фридриха, так что он, можно сказать, был убит трижды. Тою ночью я вышел очень рано из комнаты охраны, а вернулся в нее последним. Мне не спалось, я, по-видимому, слишком много выпил, я мочился три раза на дворе и решил не идти в дом, чтобы не тревожить отдых товарищей. Я видел со двора, как выходил Борон и свернул с лестницы в первый этаж. Я пошел за ним. Он вошел в машинную залу и направился прямо к цилиндру, создающему пустоту, стал крутить рычаги маши-

ны. Я не сразу догадался, к чему все это, но наутро мне стало ясно. То ли Ардзруни проболтался, то ли Борон дошел своим умом, однако бесспорно, что та комната, в которой создавалась пустота, та, в которой был доведен до гибели петух, это та самая, куда устроили ночевать императора Фридриха, и ее-то Ардзруни использовал, чтоб избавляться от врагов, которых коварно заманивал в гости. Ты, Борон, стоял и крутил рычаг до тех пор, покуда в комнате императора не создалась пустота, или, по крайней мере, поскольку ты не веришь в существование пустоты, скажу иначе: тот тяжелый и плотный воздух, в котором гаснут свечи и дохнут звери. Фридрих заметил, что воздух кончается. Сначала он подумал, что это действие яда, и потянулся за Братиной, то есть за противоядием, в нее налитым. Но не достал и, бездыханный, рухнул. На следующее утро ты пошел воровать Братину, пользуясь смятением, но Зосима оказался проворней. Но все же ты за ним проследил и увидел, где он прячет предмет. Дальше, проще простого, ты переменил порядок голов и в момент дележа выбрал для себя ту, что с Братиной.

Борон слушал его в поту. — Поэт, — сказал он. — Ты правильно увидел, я подходил к насосу.

После спора о пустоте с Ардзруни мне и впрямь было невтерпеж рассмотреть машину. Я попробовал завести ее, но я не знал, клянусь, с какой там она соединяется комнатой. И, с другой стороны, я вообще был убежден, что насос работать не будет. Я просто забавлялся, соглашаюсь, но забавлялся, а не устраивал убийство. К тому же, будь по твоему рассказу, как объяснишь ты, что у Фридриха в комнате все дрова в печи прогорели? Если бы пустоту вправду можно было создать и тем самым убить императора, ведь огонь очага не мог бы гореть.

— Не волнуйся об очаге, — оборвал его Поэт. — Я и на очаг отвечу. Открывай лучше реликварий, если ты уверен, что Братины в нем нет.

Борон, пробормотав, что пусть Господь разразит его на месте, если он помышлял быть владетелем Братины, поддел кинжалом сургуч и из металлической головы на землю выкатился мертвый череп, меньшего размера, нежели остальные, видно, Ардзруни не гнушался осквернением и детских могил.

— Нет у тебя Братины, и прекрасно, — продолжал греметь голос, — но это тебя не извиняет. Возьмемся теперь за тебя, Гийот. Ты вышел сразу же, и с таким видом, будто тебе необходим

свежий воздух. Но, видно, воздуха тебе занадобилось много, если ты догулял до самых дальних эскарпов, до того места, где находились зеркала Архимеда. Я шел за тобой, я тебя видел. Ты их потрогал, покрутил то зеркало, что было рассчитано на близкую дистанцию, по объяснению Ардзруни, и повернул его под таким углом, который точно был не случаен, уж очень долго ты его вертел и прилаживал. Ты приспособил это зеркало так, чтобы первые лучи взошедшего солнца сошлись в острый пучок и отразились прямо в окно комнаты, где спал Фридрих. Так и произошло. Лучи зажгли в очаге дрова. В тот час пустота, нагнетенная Вороном, уже уступила место новому воздуху, поэтому пламя получило подпитку. Ты понимал, что Фридриха пробудит чад от очага и он подумает, что отравлен, и возьмется за чашу. Я знаю, что ты сам отпивал из чаши в тот вечер. Но никто не проследил за тобой, когда ты ставил чашу в ковчежец. Ты успел купить яду на базаре в Каллиполисе, ты подлил несколько капель в Братину. Фридрих выпил ядовитый раствор. Но он выпил до того, как пробудился от чада. Раньше. Когда Борон вытянул из комнаты воздух.

— Ты безумен, Поэт, — прокричал Гийот, бледный как смерть. — Ничего не знаю о твоей чаше,

погляди, я открываю свою голову… Видишь, тут только череп!

— Ну, ну, ну, череп, замечательно, — сказал Поэт. — Но ведь ты трогал зеркала…

— Я объяснил. Мне не спалось, хотелось подышать ночным воздухом. Я забавлялся зеркалами, но разрази меня Господь, ежели мог полагать, что запалю огонь в той самой комнате! Но ты не думай, что ни разу за эти годы я не раздумывал о неосторожной игре! Я сокрушался в сомнениях, не по моей ли вине зажегся тогда огонь и не имел ли тот огонь отношения к гибели императора. Годы, о, годы я так промучился. Ты меня спас сейчас, потому что объяснил, что Фридрих был уже мертв! А что до яда, как тебе приходит в голову такая подлая напраслина? Я ведь отпил тогда, принося себя в жертву…

— Так вы все тут невинные овечки, я вижу! Вы тут овечки, которые почти пятнадцать лет промаялись недоумением, не умертвили ли они случайно императора. Ведь так, Борон? Ну ладно, теперь наступила очередь Бойди. Остался только ты. Братина у тебя. В тот вечер ты не выходил. Как все, ты обнаружил бесчувственное тело императора наутро следующего дня. Ты не надеялся на эту удачу, но ее использовал. Ты был готов,

ты много лет готовился к этой минуте. Ведь ты единственный имел причины ненавидеть Фридриха. Под стенами Александрии он перебил твоих родных и друзей. В Каллиполисе ты сказал, что покупаешь перстень с лекарством под камнем. Никто не слышал, о чем ты шушукался с купцом-травником! Да точно ли лекарство было там? Ты загодя носил в перстне отраву! И понял, что нужный миг настает. Ты думал: может быть, Фридрих только лишился чувства. Ты бросил ему яд в рот, приговаривая, будто оживляешь, и после того, заметьте, лишь после того Соломон объявил, что находит императора мертвым.

— Поэт, — вскричал Бойди, кидаясь на колени. — Кто знал бы, сколько раз за эти годы я себя спрашивал, лекарство ли содержалось в кольце или, часом, отрава. Но ты доказал сейчас, что Фридрих погиб еще раньше, по вине то ли Гийота, то ли Борона, то ли обоих сразу, благодаренье Всевышнему!

— Брось ты об этом, — громко перебил Поэт. — Важно намерение. Но за намерения ответишь не мне, а Богу. Мне нужна Братина. Давай ее.

Бойди дрожащей рукой стал ковырять голову, три раза поддел сургуч, но тот залип прочно. Борон с Гийотом отошли подальше от Бойди, тот,

навалившись на заклятую мощехранительницу, колол кинжалом, как искупительную жертву. Нанес четвертый удар, голова открылась, там оказался очередной череп.

— О все распроклятущие святые, — прохрипел Поэт, выходя из-за алтаря.

— Он был воплощенная картина ненависти и помрачения, сударь Никита, и я не узнавал стародавнего знакомого. В то же время я лихорадочно восстанавливал в памяти тот день, ту самую минуту, когда вошел в комнату с реликвариями сразу после того, как Ардзруни предложил нам разобрать по голове и взять в странствие, и, естественно, вскоре после того, как Зосима подменил один из черепов Братиной. Я взял в руки одну голову, как мне припоминалось — самую левую, внимательно посмотрел на нее. И водворил на ларь обратно. Сейчас я тщился восстановить в памяти все те движения, которые совершил пятнадцатью годами раньше, и все четче видел, как я возвращаю голову на ларь, но ставлю справа, последней справа в ряду. О, следовательно, Зосима, когда пришел за головой перед побегом, поскольку помнил, что подмененная — самая первая в ряду, ее и взял, а это была вторая. Когда мы брали по очереди головы в момент отъезда, я

взял последним: самую правую. Бесспорно, это и была подмененная. А еще, помнишь, я сохранил, не сообщая никому, реликварий Абдула. Праксею требовалось отдать одну из двух имевшихся голов: я вынул ее не глядя. Но я уверен, что тогда вынулась Абдулова. Я понял это, потому что она у Праксея в руках отворилась легко, печать ведь успел перед тем разломать Ардзруни. Так я пятнадцать лет протаскал Братину в сумке, про то не зная? Я был так убежден в своем выводе, что не торопился и открывать голову. Но, поразмыслив, все же открыл ее, постаравшись не делать шуму. Даже в полутемном закутке я разглядел, как лежит в металлической голове Братина, обратив края к затылочной части и выпирая шаровидным днищем.

Поэт вцеплялся в платье всех троих по очереди и осыпал их проклятиями и требовал прекратить шуточки. Им овладел, похоже, бес. Баудолино тогда аккуратно поставил голову за колонной, вышел из темноты и сказал: — Вообще-то Братина у меня.

Поэт так и замер от удивления. Налившись багровой краской, он проорал: — Так ты всегда лгал нам! А я считал, что ты чище остальных!

— Я не лгал никому. Я и не знал до этой самой

минуты. Ты просто не все головы счел.

Поэт вытянул руки и рявкнул с пеной у губ: — Дай мне!

— Тебе? — перепросил Баудолино.

— Наш путь окончен здесь, — повторил Поэт. — Наш путь был неудачным. Вот мой последний шанс. Дай мне ее, не дашь, убью тебя.

Баудолино отступил на шаг и взялся за рукояти арабских кинжалов. — Да, ты способен убить и меня, как ты убил императора Фридриха.

— Ты глупости мелешь, — ответил Поэт. — Ты слышал, эти трое во всем сознались.

— Трое сознавшихся в одном убийстве — перебор, — сказал Баудолино. — Отвечу на это, что если даже каждый из них действительно сделал, в чем сознается, ведь ты-то дозволил эти злодейства! Ты, видя Борона, как он ворочал рычаг пустотного насоса, не попытался остановить его. Гийот крутил на твоих глазах поджигающее зеркало: так известил бы ты о том Фридриха, не дожидаясь восхода солнца! Но ты не шелохнул даже и пальцем. Ты дожидался, чтобы убили императора, а пользу извлечешь ты сам! И в довершение: я не верю, что хоть один из бедных троих моих друзей мог выступить причиной этой смерти. Когда ты давеча вещал из-за иконостаса,

мне вспомнилась голова Медузы, которая доводила в спальню императора Фридриха все, что произносилось в нижнем зале у лабиринта. Так вот, теперь дайте уж мне рассказать вам, как было дело. Еще до отправки в иерусалимский поход ты метал, и рвался, и вожделел идти сам в царство Иоанна с Братиной, идти без всякого императора. Мечтал лишь от императора избавиться. Ну, мы, конечно, сопровождали бы тебя, но нас ты не сильно принимал в расчет. А может, намеревался проделать то же, что позже проделал Зосима, опередив тебя. Это я не знаю. Знаю только, что давно мне следовало заметить, насколько ты себе на уме. Но дружба притупляла мою бдительность.

— Что дальше? — осклабился Поэт.

— А дальше то, что Соломон в Каллиполисе купил противоядие и, я прекрасно помню, купец ему предлагал такую другую колбочку, в которой, наоборот, был яд. Оставив его лоток, на некий час мы утеряли тебя из виду. Потом ты вынырнул, но оказался уже без денег и заявил, что деньги украдены. На самом деле, пока мы ходили по рынку, ты сговорился с торгашом и взял другую склянку, полную яда. Тебе нетрудно было подменить бутылочку Соломона во время странствия

по землям султана Икония. В тот вечер накануне Фридриховой смерти именно ты громче всех советовал императору принять противоядие. По твоему наитию Соломон поднес ему свою, вернее твою отраву. Ты, я думаю, перетрухнул, увидев, что Гийот готов отпить и отведать, но в то же время, думаю, догадывался, что малая толика зелья безвредна, а для смертельного исхода потребна целая порция. Полагаю, ночью Гийот так странно себя чувствовал и так желал воздуха именно потому, что от того глотка почти что занедужил… Но вот за это не ручаюсь.

— А за что ты ручаешься? — с тем же оскалом спросил Поэт.

— Ручаюсь, что еще до того, как на твоих глазах возился с насосом Борон и с зеркалами Гийот, еще до этого ты разыграл все по своему плану. Сошел в ту нижнюю залу, где на стене был лабиринт, похожий на ракушку, через отверстие в стенке звук доходил прямо до уха императора. Что эти игры тебе любезны, я понял, кстати, сейчас, когда ты точно то же устроил с иконостасом; вот тут-то я и догадался, как обстояли дела тогда. Ты подошел к Дионисиеву уху и позвал Фридриха. Думаю, ты выдал себя за меня, воспользовавшись тем, что по трубе через два этажа голос доходил смутно.

Ты прямо назвался мной, чтоб сработало вернее. И, притворившись мной, ты оповестил Фридриха, что нам-де известно, что вроде кто-то во время ужина подсыпал отраву в еду, ну, я не знаю… вроде будто один из нас почувствовал острейшие боли, Ардзруни натравил-таки убийц… Сказал ему открыть ковчег и выпить Соломоново снадобье. Бедный отец поверил. Он выпил и умер.

— Славно придумано, — сказал Поэт. — Ну, а очаг?

— Может, очаг и вправду зажегся от лучей зеркала. К этому времени Фридрих уже лежал мертвый. Очаг не входил в твои планы, но кто бы его ни зажег, очаг был на руку тебе. Ты — убийца Фридриха, но лишь сегодня и лишь с твоей помощью я догадался! Будь проклят! Как ты мог? Как ты мог убить отца? Убить благодетеля, из жажды славы? Ты снова захотел присвоить чужую славу, как ты присвоил мои стихи?

— Вот это да, — открыто засмеялся Бойди, уже оправившись от страха. — Великий поэт, а пользовался чужими стихами!

От этого унижения, после прочих неудач и от остервенелого желания забрать Братину Поэт решился на все. Он выхватил меч и бросился на Баудолино, выкрикивая: — Убью, убью!

— Я говорил, что я всегда был человек мира, сударь Никита. Однако это я льстил себе. Я просто слабак. Прав был Фридрих тогда. Теперь же я, хоть ненавидел Поэта всей душой, и хоть желал ему гибели, все же предпочитал не убивать его. Лишь только бы он не убил меня… Я отскочил в тень за колоннами и припустился бежать по коридору, которым пришел. Летел в темноте и слышал, как он осыпает меня ругательствами. Там света не было, бежать впотьмах значило натыкаться на трупы в стенных проемах. Нашарив слева поворот, я юркнул в него и побежал, как мог. Он следовал за моим топаньем. Вот наконец забрезжило впереди, я оказался в том зале, с отверстием наверху, где мы уже побывали по дороге туда. Смеркалось, каким-то чудом над головой у меня стояла луна, свет озарял помещение и серебрил лица усопших. Может, они передали мне убеждение, что нельзя обмануть смерть, когда она дышит тебе за воротник. И я остановился. Я видел, как налетает издали Поэт, прикрыв левой рукой себе глаза, дабы не видеть зловещих хозяев этой залы. Я уцепился за подол издырявленной червями ризы, дернул изо всех сил. Труп свалился между мною и Поэтом. Туча пыли и клочков облачения поднялась в воздух.

Голова покойника отскочила кувырком под ноги моему преследователю и попала ровно в полосу лунного света, весело выскалив злобные зубы. Поэт обомлел, но опомнился и наподдал ногой череп. Я запустил в него еще два трупа, стараясь угодить в лицо. — Ах, ты меня мертвяками заваливаешь, — рычал Поэт, — чешуи пересохшей кожи витали вихрями вокруг его головы. Моя затея не могла продолжаться, я пятился из полуосвещенного круга, вступал в полнейшую темноту. Тогда я застыл как вкопанный, напрягся и сжал в кулаках мои арабские кинжалы и выставил два лезвия, как ростры корабля. Поэт надвинулся на меня, занося меч над головой и вытягивая руки, чтоб развалить меня на половины, но оступился о второй скелет и повалился ничком всей тушей, подмял меня под себя, я тоже рухнул, но удержался на локтях, а меч при этом из его рук выскочил… Я только видел над своим его лицо, глаза, налитые свирепой злобой, напротив моих глаз, мои ноздри наполнились запахом его яри, это был жестокий дух хищника над добычей, ладони его замкнулись у меня на горле, я слышал скрипение зубов… Тут действовал не я, а мой инстинкт. Оторвав от земли оба локтя, я воткнул кинжалы с боков в его бока. Раздался

писк разодранной ткани, и мне показалось, что в глубине его кишок мои два лезвия стукнулись друг о друга. Потом он побелел, и ручеек крови выполз из угла рта. Лоб его упал на мой лоб, кровь изо рта потекла в мой рот. Не помню, как я вывернулся из объятия. Кинжалы остались у него в животе, я свалил с себя убитое тело. Оно грузно шмякнулось около меня, и глаза не закатились, а уставились на полную луну, и он был мертв.

— Первый убитый в твоей жизни.

— И ниспошли мне Бог, чтобы последний. Он был друг юности, товарищ в стольких приключениях, четыре десятка лет. Хотелось плакать, потом я вспомнил, в чем он повинен, и захотел убить его еще раз. Поднялся с трудом. Должен заметить, что я начал убивать, когда мои силы, увы, были уже вовсе не те, что в лучшие годы. Шатаясь, я дотащился до коридора и уж не знаю как довел себя до подземельной церкви, где остальные трое, дрожащие, побледневшие, меня дожидались. Пред их лицом я ощутил себя достойным министериалом — приемным сыном императора Фридриха. Мне не пристало выказывать слабость. Прямой походкой я вышел прямо на алтарь, спиной к иконам, как истинный архангел средь архангелов, и возвестил им: — Во

имя правосудия, мною казнен убийца святого римского императора.

Баудолино пошел взять свой реликварий за колонной, раскрыл его, вынул Братину, продемонстрировал собравшимся, как это делают с освященной гостией. Спросил: — Есть у кого-нибудь вопросы и претензии?

— Баудолино, — начал первым Борон, не в силах унять крупную дрожь в руках. — Сегодня я пережил больше, чем в те годы, которые мы провели вместе. Ты, безусловно, не виноват, но что-то разладилось между тобой и мной, мной и Гийотом, мной и Бойди. Недавно тут, пусть лишь на небольшое время, мы все желали, чтобы убийцей оказался другой из нас, спасая нас от кошмара. Такое — уже не дружба. После падения Пндапетцима взаимосвязь превратилась в вынужденную. Все, что удерживало нас вместе, — совместное искание предмета, который ты держишь. Ты слышишь, искание, даже не сам предмет. Мы выяснили, что он все время находился при нас. И невзирая на это, мы постоянно стремились куда-то на погибель себе. Сегодня я понял, что Братину мне иметь не нужно, не нужно никому ее нести, а лишь поддерживать и питать огнь своего искательства. Можешь оставить при себе эту

плошку, она увлекает людей лишь тогда, когда ее при них нет. Я ухожу. Если удастся покинуть этот город, а я намерен это сделать как можно скорее, я стану писать про Братину, и в моей повести вся власть будет принадлежать мне. Я напишу о рыцарях, светлейших, нежели мы, и кто будет читать, вообразит себе чистоту, а не все наше убожество. Прощайте, друзья. Сколько раз нам хорошо мечталось всем вместе. — И он исчез тем же путем, которым явился.

— Баудолино, — заговорил Гийот. — Думаю, Борон совершил лучший выбор. Я не настолько учен, как он, и не уверен, что сумею написать повесть о Братине, зовомой также Градалем, но, я надеюсь, найду, кому бы рассказать ее, чтобы тот записал за мной. Борон был прав. Сохраню верность многолетнему поиску, и да смогу наставить других на тот же путь, путь страстного стремления к Градалю. Я даже не упомяну про тот сосуд, который ты держишь в руках. Как я утверждал давно, так же стану говорить и снова: это камень, сошедший к нам с неба. Камень, сосуд, копье, неизвестно. Важнее всего, чтобы никто не смог найти эту вещь, ибо из-за него все другие перестанут искать. Ты послушал бы меня, спрятал ее. Пусть никто не убивает мечту, хапая

ее руками. Кстати, у меня тоже вряд ли выйдет жить теперь с вами вместе. Тяжкие воспоминания замучат. Ты, Баудолино, стал у нас ангелом мщения. Может, и следовало сделать то, что ты сделал. Но я не хочу тебя видеть. Прощай, — и он тоже повернулся и вышел из крипты.

Тут сказал свое Бойди, и он заговорил, через столько-то лет, на родном языке Фраскеты. — Баудолино, — сказал он. — Я не витаю в облаках, где витают те, и истории рассказывать не умею. Чтобы люди разыскивали то, чего нет, это, по-моему, идиотство. Важные вещи — те, которые есть, хоть налево и направо их лучше не показывать, потому что зависть — гадость. Эта Братина настоящая святыня, уж ты поверь, все святыни просты. Я не знаю, куда ты собрался упрятать ее, но любое место, кроме того, что мне пришло на ум, плохо годится. Так ты послушай, что я надумал. После кончины бедного твоего родителя Гальяудо, покойника, помнишь, все наши в Александрии порешили, что ему за спасение родины поставят памятник. Но ты знаешь, как обычно получается после таких слов. Говорят, говорят, а на деле выходит фук. Тем временем я нашел как-то, когда ездил торговать зерном, в одной церковке возле Вилла дель Форо, церковка все равно шла на снос,

хорошую статую. Статуя в виде старика, а на голове он держит мельничный жернов, или, может быть, плиту для постройки, если только не сырный круг. Кто его знает, что он там держит, весь в три погибели согнувшись от великой натуги. Так я подумал, что такая фигура сделана со смыслом, хоть и не мог угадать, с каким таким смыслом она сделана. Да, знаешь сам, была бы фигура, ну а смысл для нее кому надо, тот подберет. Вишь-ка вот, сказал я себе, найдя статую. Это ведь может выйти памятник Гальяудо. Примостить ее у дверей или же сбоку от собора, вроде колонны, а из сырного круга на голове получится капитель. Ну не отличишь, прямо две капли наш Гальяудо, геройски держит на своих плечах вражескую осаду. Я перевез статую на свой двор и поставил на сеннике. Говорил то с тем, то с этим, все согласны были: хорошая идея. Только сразу началась свистопляска, что-де каждый христианин должен по доброй воле двигать в Святую Землю, двинул с нашими и я, поначалу думали, дай бог что за поход… Ну, неважно, походили и пришли. Я вернусь домой, вот посмотришь, как они все там запрыгают, запразднуют, те из наших, кто еще на этом свете… Ну, а для молоди я буду дед-молодец, в свое время двигал с императором на Иерусалим,

вечерами стану им, стало быть, рассказывать, сидючи у печечки, и про пятое, и про десятое, милостив Бог, еще и не помру, как меня, неровен час, провозгласят консулом. Так я вернусь домой, ничего не говоря, пройду на свой сенник, там стоит наша статуя, пораскину мозгами и как-то выдолблю у нее внутри этой штуки, что навалена у нее на голове, выдолблю, значит, там ямку и всуну Братину. Замажу раствором, заложу камушками, чтоб даже щелки не было видно. Тогда пусть ставят ее при соборе. Пусть примуруют и пусть стоит она там per omnia saecula saeculorum, никто не станет шевелить ее, никому не удастся проведать, что там у твоего родителя на маковке. Городок мы молодой, без закидонов, но Господне благословение никогда и никому не мешает. Умру я, мои дети умрут, а Братина пусть себе заботится о нашем городе, хоть про то никому и неизвестно. Важно, что известно Всевышнему. Что скажешь, а?

— Государь Никита, мне предложено было правильное место для плошки, да вдобавок, хоть много лет я прикидывался, будто все забыл, но на самом деле одному мне ведомо было, откуда она вообще взялась. После того, что мне привелось перед тем сделать, я вообще не знал, зачем только

существую в этом мире, если ничего путного не достиг. С этой Братиной в руках я наделал бы новых дуростей. Прав был Бойди. Мне хотелось поехать вместе с ним, да ради чего? В Александрию, к тысячам воспоминаний о Коландрине, чтобы видеть во сне Гипатию каждой ночью? Я сказал спасибо Бойди за замечательную идею. Замотал Братину в тряпку, в которой принес ее в крипту, но без реликвария. По пути, случись разбойники, сказал я, реликварий позолоченный, его отберут не рассуждая, а вот такую миску никто не тронет. Иди же с Богом, Бойди, и дай тебе Господь удачи. Оставь меня, я должен немного поразмыслить. Так ушел Бойди. Я оглянулся, вспомнил о существовании Зосимы. Его нигде не было. Когда он улизнул, сказать было трудно. Услышал крики, что кто-то кого-то убивает, ну и… Жизнь его, что говорить, приучила избегать потасовок. На ощупь и на карачках он, знающий наизусть все выступы здешних стенок, удрал, пока нам было чем иным заниматься. Он натворил дел, но по делам был и наказан. Продолжит ли он христарадничать в городе? Да сжалятся над ним небесные силы. Так-то, государь Никита, я прошел вспять всю свою мертвую галерею, переступил через труп Поэта и вышел на свет по-

жаров поблизости от Ипподрома. Что произошло со мной потом, я рассказывал, а вскоре после того я встретил тебя.

39
Баудолино столпник

Никита молчал. И молчал Баудолино с недвижно разведенными руками на коленях, с выражением: «Это все».

— Есть кое-что в твоем рассказе, — сказал, поразмыслив, Никита, — не так чтоб уж убедительное. Сначала Поэт выдвигает надуманные обвинения против твоих товарищей, якобы убивших императора Фридриха, на что ты отвечаешь, что его обвинения — ложь. Затем ты сам восстанавливаешь всю цепь событий, как будто произошедших в ту ночь. Но, если ты мне рассказал все истинно, как было, Поэт на это не подтвердил, что ты восстановил правильно.

— Он попытался меня убить!

— Он обезумел, кто же спорит, он обезумел. Хотел отнять Братину любым путем и сам себя разжигал, что если кто обладает Братиной, тот виноват. Он думал о тебе лишь одно: что ты от него утаивал Братину, и лишь по одному тому он был готов переступить через твой труп, чтоб отобрать у тебя чашу. Но он не подтвердил, что

он и есть виновник гибели императора.

— Но кто же виновник?

— Пятнадцать лет вы считали, что это несчастный случай…

— Принудили себя считать, чтоб не подозревать друг друга. Да был еще Зосима… Ну нет, виновный у нас имелся…

— Допустим. Однако, поверь, в императорских палатах я наблюдал преступления… Хоть наши императоры всегда обожали показывать иностранцам чудодейственные машины и автоматы, я никогда не видел, чтобы их можно было употребить для убийства. Послушай. Помнишь, когда в самый первый раз ты помянул при мне имя Ардзруни, тогда я сказал тебе, что знавал его в Константинополе и что один из моих друзей, житель Силимврии, гостил у него в замке. Этот друг, Пафнутий, разбирается в хитроумных штуках Ардзруни, он сам сооружал такие для императорской потехи. Он знает, в частности, и чем кончаются такие хитроумия, ибо когда-то, во времена Андроника, он обещал императору построить автомат, который будет поворачиваться и выбрасывать флаг, как только император хлопнет в ладоши. Ну вот, Андроник показывал иностранным послам на торжественном обеде

эту машину, он хлопнул, автомат не повернулся, Пафнутию выкололи глаза. Думаю, он не откажется зайти к нам в гости. Он в ссылке здесь в Силимврии, наверное, скучает.

Пафнутий вошел с поводырем. Хоть и увечный, и уже на возрасте, однако он с виду был бодр и быстр. Сначала они поговорили с Никитой, с которым давно не виделись, а потом он спросил, чем может служить Баудолино.

Баудолино пересказал ему историю, сначала донельзя суммарно, по мере развития гораздо подробнее, начав с каллиполисского базара и кончив смертью императора. Нельзя было не упомянуть Ардзруни. А имя своего приемного отца он умышленно не назвал, намекнув только: один фламандский граф и близкий ему человек. В том, что касалось Градаля, он тоже описывал уклончиво, драгоценная чаша, отделанная ювелирными камнями, покойный дорожил ею, а многие прочие хотели бы ей завладеть. Пока Баудолино говорил, Пафнутий раз от разу прерывал его. «Ты франк, ведь правда?» — спросил он. И пояснил, что в греческом некоторые слова тот выговаривает так, как свойственно обитателям Прованса. Потом еще спросил: «Отчего ты все время трогаешь свой шрам на щеке?» Баудолино

чуть было не решил, что собеседник вовсе не слеп, а притворяется. Однако в ответ услышал, что при разговоре иногда его голос становится глуше, значит, он заслоняет рукой рот. Если бы он гладил, как делают многие, бороду, то рот бы не загораживался. Значит, он трогает щеку. А щеку привыкли теребить те, у кого болит зуб, или свербит бородавка, или имеется шрам. Поскольку Баудолино воин, гипотеза шрама представляется Пафнутию самой вероятной.

Баудолино дошел до конца, и Пафнутий спросил его: — Теперь тебя интересует, что же произошло на самом деле в закрытой комнате с императором Фридрихом?

— Откуда ты знаешь про Фридриха?

— Ну, брось, всем известно, что император утонул в Каликадносе напротив крепости Ардзруни, который после этого сбежал, поскольку князь его Лев намеревался отрубить ему голову, считая, что тот должен нести ответ за то, что не соблюл безопасность столь высокопоставленного посетителя. Меня с самого начала удивило, что твой император, с его привычкой купаться в горных реках, известной на весь свет, не сдюжил против какой-то жалкой струйки, Каликадноса. Ну, а теперь ты мне многое объяснил. Попробуем

же рассмотреть поподробнее. — Он выговорил это без иронии, будто и впрямь готовился разглядывать своими незрячими очами какую-то картину.

— Прежде всего мы исключаем подозрение, что Фридрих погиб от машины, производящей пустоту. Мне эта машина ведома. Начнем с того, что она соединялась с одной безоконной комнатой на верхнем этаже, а вовсе не с почивальней императора, где, кстати говоря, имелась каминная вытяжка и бог знает сколько еще разных щелей, куда мог входить и выходить воздух. Добавим, что и сама по себе машина совсем никуда не годилась. Я ее пробовал. Малый цилиндр недостаточно прилегал к большому, воздух просачивался отовсюду, как хотел. Гораздо более умелые механики, чем Ардзруни, пытались устроить это в течение множества веков, и опыты их не давали результата. Одно дело раскручивающийся шар или дверь, открывающаяся от жара, эти игры известны со времен Ктесибия и Герона. Но иное дело, дорогой друг, совершенно иное дело пустота. Ардзруни, тщеславный человек, хотел изумлять своих гостей, и никак не более. Теперь о зеркалах. Великому Архимеду удавалось поджигать древнеримские суда? Легенда о том говорит.

Но правда ли то, что гласит легенда, — неизвестно. Я осматривал ардзруниевские зеркала. Они были малы и грубо отшлифованы. Да будь они даже безукоризненны, сведенный в пучок солнечный луч имеет некоторую силу разве что в полдень, ни в коей мере не утром. Рассветный луч разрушительной силой не обладает. Добавь, что на пути лучей находилось окно с разноцветными стеклами. Как видишь, твой старый товарищ, даже нацель он зеркало на комнату императора, не смог бы достичь ничего. Понимаешь теперь?

— Ну, послушаем дальше.

— Противоядия, яды… Вы, латиняне, легковерны. Статочное ли дело, чтоб на каллиполисском рынке были в продаже столь мощные средства, которые сам василевс получает от лучших алхимиков мира и оплачивает по весу золотом? Все, что продается на базаре, сработано на фу-фу, для варваров, приезжающих из Икония или из болгарских лесов. В колбочках, которых вы накупили, содержалась крашеная вода, и выпил ли Фридрих жидкость, предложенную иудеем, или настой того приятеля, которого ты называешь Поэтом, результата дела не переменяет. То же можно сказать и о спасительном лекарстве. Существуй оно и впрямь на свете, за ним гонялись

бы знаменитые полководцы, чтоб воскрешать и отправлять вновь на битву своих раненых солдат. Ты сообщил мне, сколько вы заплатили за ваши изумительные покупки. Этого едва ли хватает в качестве платы за труд тому, кто берет воду из колодца и разливает по бутылкам. И наконец, позволь сказать про Дионисиево ухо. То, что имел Ардзруни, я в действии не наблюдал. Подобные забавы могут удаться лишь тогда, когда расстояние между щелью, в которую входит голос, и тем отверстием, из коего он выходит, совсем невелико, ну, вроде как вот когда подносишь руки рупором ко рту и звук от этого усиливается… Однако в замке проводка ведет с этажа на другой этаж, вдобавок она должна быть извилистой и протяженной, поэтому… Ардзруни вам показал, как действует звуковод?

— Нет, не показывал.

— А, видишь? Ограничился пустою похвальбой, и только. Значит, попробуй твой Поэт поговорить с императором, и не спи в это время император, он мог бы услыхать лишь нечленораздельный хрип, идущий изо рта Медузы. Может, когда-либо Ардзруни и развлекался, пугая тех, кого укладывал спать в своей гостевой комнате, тем мнилось, будто в замке привидения… Никак не более.

Знакомый твой Поэт не мог передать никакого сообщения императору.

— Но чаша, покатившаяся на пол, выгоревший очаг…

— Ты сам сказал, что в предсмертный вечер Фридриху неможилось. Он целый день скакал под убийственным солнцем тех земель, страдая от жары, как всякий, кто не привык там скакать. Многие дни перед тем он провел в постоянном движении, в сражениях. Трудно оспорить, что он устал, ослабел, наверно, его залихорадило. Как ты поступаешь, ощутив лихорадку среди ночи? Стараешься накрыться. Но если лихорадка одолевает, озноб продолжается и под одеялом. Император решил разжечь очаг. Потом ему внезапно сделалось еще хуже, ему взомнилось, будто он отравлен, и он принял бесполезное противоядие.

— С чего бы ему сделалось еще хуже?

— Тут что-то утверждать нелегко, но, поразмыслив, я вижу только одно объяснение. Опиши мне опять, как устроен был очаг, чтобы мне рассмотреть получше.

— Дрова лежали на сухом хворосте вперемешку с ветками, на которых росли пахучие ягоды, и там же находились куски темного материала,

по-видимому, угля, поверху политые каким-то маслянистым составом.

— А, это naphta, или bitumen, нефть, ее много в таких областях, как Палестина, ее много под Мертвым морем, где то, что поначалу кажется водой, так густо и плотно, что погружаясь в то море, не погружаешься целиком, а остаешься наверху воды, как лодка. У Плиния пишется, что это вещество имеет родство с огнем; когда они сочетаются, вспыхивает сильнейшее пламя. Что до углей, то все мы их себе представляем; опять же у Плиния рассказано, как добывается уголь: пережигая свежие дубовые поленья в обширной куче, уложенной в форме конуса, обмазанной мокрой глиной, а в глине проделываются дыры, чтоб через них выходила во время обжига вся влажность изнутри. Но иногда на уголь берут не только дубовое дерево. Так вот, что касается остальных видов древесины, не все их достоинства известны. И многие медики описывают, что бывает, когда человек вдыхает пар дурнокачественного угля, особенно опасного, если он перегорает в сочетании с некоторыми видами нефти. Высвобождаются нездоровые испарения, они пронзительнее и незаметней того обычного дыма, который всегда образуется горящим в

печи огнем. Когда дым виден, его обычно выгоняют в окошко. А эти испарения не видны, они заполоняют помещение и остаются в нем. Их обнаруживают так: соприкасаясь с ламповым огнем, они окрашиваются в лазурный цвет. Однако обычно, когда их обнаруживают, бывает, увы, чересчур поздно. Зловещему воздействию уже удается испоганить весь бывший в помещении полезный и добрый воздух. Несчастному, надышавшемуся той поганью, приключается кружение в голове, звон в ушах, спертое дыхание и затуманенный взгляд… Как не поверить тут, что тебя отравили? Император поверил. Однако с теми, кто при сказанных ощущениях не выйдет сразу из дурманного пространства, не будет выведен или вынесен, случается гораздо худшее. Наваливается глубокий сон и валит наземь; нашедшему покажется, что он нашел покойника, тот бездыханен, холоден, недвижен, и сердце не бьется, все члены оцепеневают, на челе последняя бледность… И опытным медикам случалось поверить, что смерть наступила. Известны люди, погребенные в подобном состоянии, в то время как достаточно было бы оказать им помощь, холодный компресс на голову, горячий к ногам, и растереть полностью туловище взбадривающи-

ми гуморы маслами…

— Ты, — задал тогда вопрос Баудолино, бледный, как будто лик Фридриха тем приснопамятным утром, — не хочешь ли сказать, что мы сочли императора мертвым, когда он был жив?

— Вот именно это я и хочу сказать, мой бедный друг. Он умер, попав в реку. Холод воды стал постепенно оживлять его, и это могло подействовать, но, не придя в сознание, он задышал, наглотался воды и умер. Когда вы вынимали тело на берег, вы не могли не видеть, что это утопленник…

— Да, он раздулся. Я знал, что он раздуться не может. И я решил, что это обман моих чувств, перед лицом несчастных останков, исцарапанных о камни…

— Мертвец не может раздуться под водой. Раздуты бывают живые, захлебывающиеся в водах.

— И Фридрих был лишь под действием неожиданного, неизвестного припадка, и Фридрих не был убит?

— Ну, жизнь его пресеклась, разумеется. Однако руками того, кто опустил его в воду.

— Но это же был я!

— Ох, как мне жаль. Я слышу, ты разволновался. Не мучайся. Ты сделал это во имя добра, конечно же, ты не желал его смерти.

— Но я пресек его жизнь!

— Я не назвал бы это убийством.

— А я назвал бы, — закричал Баудолино. — Я утопил любимого отца, а он был в это время жив! Я… — Баудолино побледнел еще сильнее, пробормотал какие-то несвязные слова и рухнул в обморок.

Очнулся он, когда Никита примащивал, на этот раз ему, холодные компрессы на голову. Пафнутий уже ушел, по видимости, сокрушаясь, зачем он возвестил Баудолино, желая показать свою прозорливость, ужасную истину.

— Старайся сохранять спокойствие, — говорил Никита. — Я понимаю, что ты потрясен, но это же фатальность. Ты слышал ведь Пафнутия. Любой бы счел усопшим такого человека. Я тоже много слышал рассказов о ложных смертях, вводивших всех медиков в заблуждение.

— Убил своего отца, — продолжал повторять Баудолино, трясясь в горячечном бреду. — Я, сам того не знав, его ненавидел, поскольку вожделел его супруги, своей приемной матери. Я был сперва прелюбодеем, затем отцеубийцей, нося в себе эту проказу, я осквернил своим кровосмесительным семенем чистейшую из девственниц, уверив ее, будто это и есть обещанный ей экстаз.

Я и убийца, потому что убил невиновного Поэта.

— Он не был невиновным, он был в безудержной алкоте. Он попытался убить тебя, ты защитился.

— Я обвинил облыжно его в убийстве, которое совершил сам. Я убил Поэта, чтобы не признаваться, что следовало бы наказать меня. Я прожил целую жизнь во лжи, теперь я желаю смерти, низринуться в ад и терпеть мучения целую вечность…

Бессмысленно было утешать его, нечем помочь. Никита велел Феофилакту подать настой снотворной травы. Баудолино выпил и через несколько минут уже забылся самым тревожным из мыслимых снов.

Когда он пробудился почти через сутки, не стал брать предложенную чашку бульона, вышел из дома, уселся под деревом и замер так, опустив голову на руки, так просидел весь день, всю ночь, так его увидели утром. Никита решил, что в подобном случае можно искать помощи в вине, и убедил его выпить большое количество, будто для поправки. Баудолино впал в оцепенение еще на три дня и три ночи.

Зарею четвертого дня Никита отправился к нему, но не обнаружил. Обшарили и дом, и сад,

Баудолино след простыл. Боясь, как бы не пришло ему на ум совершить необдуманное, Никита послал и Феофилакта и домочадцев искать его по Силимврии и по окрестным полям. Прошло два часа, те вернулись, крича, вызывая Никиту самому поглядеть. Они отвели его в поле у дальнего городского края, где возвышался виденный ими по дороге столп стародавних отшельников.

Орава любопытных уже грудилась у столпа, все пальцами показывали вверх. Столп был из белого камня и высотой с двухэтажный дом. На самой верхушке имелась балконная квадратная площадка с оградой в виде редких колонок, с каменным поручнем. Посередине была маленькая будка. И будка и галерейка были совсем крошечные. Чтоб сесть, человеку требовалось высунуть и свесить ноги, а в будку мог влезть только тот, кто сжался бы в ком и свернулся в три погибели. Там, вывесив ноги с балкона, восседал Баудолино, и было видно, что он голый, как червяк.

Никита окликал его, просил слезть, Никита пробовал открыть ту дверку, что вела внутрь колонны, где, как в любой подобной постройке, имелась винтовая лестница. Но дверь, хотя от времени и перекосилась, была накрепко загорожена изнутри.

— Сойди, Баудолино, зачем тебе туда? — Баудолино что-то отвечал, Никита не расслышал. Он попросил, чтоб принесли стремянку подлиннее. Подставили, Никита влез с трудом, его лицо оказалось на уровне ступней Баудолино. — Зачем тебе туда? — повторил он свой вопрос.

— Останусь тут. Вот началось мое искупление. Я буду молиться, молчать, уничтожаться в тишине. Попробую достичь одиночества, отрешенного от всякого мнения и воображения, попробую отрешиться от гнева и от желаний, а также от соображений и от мыслей, и разрешить все связи, и возвратиться в совершенную простоту, не видеть больше ничего, кроме славности бесславия. Опустошив и душу, и интеллект, я выйду за пределы царствования разума и в темноте осуществлю свой переход путями огня…

Никита начал понимать, что слышит повторение речей Гипатии. О, этот несчастный так желает убежать всякой страсти, сказал себе он, что в одиночестве там, наверху, пытается подражать той, которую любит. Но вслух Никита не отвечал ничего. Только спросил, чем тот намеревается существовать.

— Ты мне рассказывал, что затворники опускают корзинку на веревке, — сказал Баудолино. — В

корзинку им ради милостыни кладут объедки. Пусть лучше мне кладут объедки от скота. Немного воды… хотя, пожалуй, я предпочту переносить жажду и дожидаться небесных дождей.

Никита тяжко вздохнул, слез с лестницы, пошел искать корзинку и веревку. Все принесли, в корзинку положили хлеб, вареные овощи, оливы и несколько кусков мяса. Сын Феофилакта подбросил конец веревки, Баудолино поймал и потянул вверх. Забрал он только хлеб и оливы, все прочее вернул обратно. — Оставь меня, прошу, теперь, — прокричал он Никите. — Все, что мне требовалось понять, и то, зачем я рассказывал повесть тебе, я понял. Нам не о чем говорить. Спасибо, что помог мне попасть туда, где ныне я пребываю.

Никита приходил наведывать его каждый день. Баудолино кивал и молчал. Со временем Никита заметил, что незачем беспокоиться о пропитании: в Силимврии распространилась весть, что впервые за долгие века святой человек опять поселился на столпе, и многие паломничали туда, кладя в корзинку еду и питье. Баудолино тянул канат, брал то немногое, что требовалось на один день, а прочее размельчал и делился с птицами, повадившимися навещать его на высоте. Похоже,

его интересовали лишь они.

Баудолино просидел на столпе все лето, не сказав ни единого слова. Его пекло солнце и, несмотря на укрытие в будке, донимала жара. И испражнялся и мочился он, вероятно, по ночам через балкон, и у подножия накапливался его кал, сухой и мелкий, как от козы. Он весь оброс, имел длиннейшую бороду и усы и был так грязен, что можно было видеть и даже обонять с самой земли.

Никита дважды уезжал из Силимврии. В Константинополе тем временем произвели Балдуина Фландрского в василевсы, латиняне постепенно захватывали всю империю, Никите следовало позаботиться о своих имениях. В Никее формировался последний оплот Византийской империи, и Никите все чаще приходило в голову, что следует переселяться туда, где, надо полагать, советник с его опытом будет востребован. Поэтому следовало искать людей и подготавливать новое, весьма небезопасное передвижение.

От одного его прихода до другого толпа вокруг колонны возрастала. Кто-то решил, что затворник, очистившийся непрестанным и пристальным спасением, не может не обладать глубокой мудростью, и люди залезали на лестни-

цу за советами и утешениями. Они рассказывали о своих несчастьях, Баудолино что-то им отвечал, к примеру: «Кто горд, тот дьявол. А кто уныл, тот его сын. А кто радеет о тысяче дел, тот его неустанный прислужник».

Другой спросил его, как уладить раздор с соседом. Баудолино: «Будь как верблюд. Неси бремена грехов и ступай по стопам того, кто знает пути Предвечного».

Еще один жаловался на то, что его сноха не зачинает. Баудолино в ответ: «Все, что можно думать о том, что под небом и что над небом, бесполезно. Лишь тот, кто упорствует в памяти о Христе, тот в истине».

— Как же он мудр, — говорили приходившие и оставляли ему монеты, с утешением расходясь по своим домам.

Пришла зима, Баудолино почти все время проводил, скорчившись в будке. Чтоб не выслушивать бесконечные рассказы приходивших, он научился предварять их. — Ты любишь кого-то всем сердцем, но порой сомневаешься, любит ли она тебя с равным жаром, — говорил он. — Посетитель вскрикивал: — О, как верно! Ты прочел в моей душе, как будто в раскрытой книге! Что я должен делать? — Баудолино говорил: — Мол-

чать и не поверять самого себя.

Толстый человек, поднявшийся по лестнице с немалыми усилиями, услышал от него: — Ты просыпаешься по утрам с болью в шее и не можешь натянуть обувь. — Да, да, — в восхищении выпалил тот. — Так не обедай три дня, — сказал Баудолино. — Только не возгордись от поста. Чем возгордиться, лучше наешься. Лучше наешься, только не хвастайся. И принимай свои печалования как дань за собственные грехи.

Пришел отец и сказал, что сын его весь усыпан болезненными язвами. Он получил ответ: — Ты обмывай его три раза в день соленой водой. И всякий раз говори: «О, дева Гипатия, сохрани дитя твое». — Тот ушел, через неделю возвратился сообщить, что язвы затягиваются. Подарил деньги, голубя, флягу вина. Все кричали: чудеса, чудеса! Больные, посещая церковь, молились: «О, дева Гипатия, сохрани дитя твое».

На лестницу влез бедно одетый человек с мрачным лицом. Баудолино сказал: — Знаю, что тебя гложет. Это обида.

— Ты все знаешь, — сказал человек.

Баудолино произнес: — Кто желает воздать злом за зло, может ранить своего брата одним жестом. Приучись держать руки за спиной.

Посетитель с грустными, как предыдущий, глазами произнес: — Не знаю, что у меня за беда.

— Знаю я, — сказал Баудолино. — У тебя унылость.

— Можно ли излечиться?

— Унылость проявляется в первый раз, когда начинает казаться, что нестерпимо медленно двигается солнце.

— И что же делать?

— Никогда не смотреть на солнце.

— От него ничего не спрячешь, — говорили силимврийские люди.

— Как ты можешь быть настолько премудр? — спрашивали у него. Баудолино: — Потому что я закрываюсь.

— Как закрываешься?

Баудолино вытянул руку и показал тому ладонь: — Что ты перед собою видишь?

— Ладонь, — сказал тот.

— Видишь, как я хорошо закрылся, — сказал Баудолино.

Пришла новая весна. Баудолино все грязнел и волосател. Его не видно было из-за птиц, которые налетали стаями и клевали червей, начавших уже заводиться на его теле. Так как надо было кормить всех этих тварей, люди приходили по

нескольку раз в день наполнять его плетенку.

Как-то утром прискакал один конный, задыхаясь, покрытый пылью. Он сказал, что на господской охоте благородный синьор неудачно выпустил стрелу и попал в сына собственной сестры. Стрела прошла в глазницу и торчит из затылка. Мальчишка еще дышит. Этот синьор умолял Баудолино совершить что угодно возможное, что угодно, что доступно божьему человеку.

Баудолино сказал: — Задача столпника — видеть, как издалека приходят мысли. Я предполагал, что ты прискачешь, но тебе потребовалось слишком долгое время, и столь же долго ты будешь возвращаться. Вещи мира складываются, как им положено. Знай, что мальчик в эту минуту умирает, даже нет, постой, вот он умер. Милуй, Господи, душу его.

Всадник поскакал назад, мальчонка умер. Как разошлась эта новость, силимврийские люди стали кричать, что Баудолино ясновидящий, что ему ведомо, что происходит от него надалеке. Но в округе поблизости от столпа стояла церковь Святого Мардония, ее настоятель ненавидел Баудолино за то, что вот уже несколько месяцев ему отходили все подношения бывших верных прихожан. Он начал возмущаться, вот-де это Ба-

удолиново хорошенькое чудо, такие чуда умеют делать все. Пошел к колонне и стал орать снизу Баудолино, что если столпник неспособен вытащить даже стрелу из глаза, то это все равно как если бы он этого мальчика убил сам.

Баудолино ответил: — Забота об угождении людям уничтожает всякое нравственное процветание.

Священник запустил в него камнем, и тут же многие другие буйные люди к нему присоединились и стали метать камни и комья земли в будку и площадку. Весь день эти камни летали, а Баудолино, забившись, закрывал в будке свое лицо руками. Люди разошлись только по приближении ночи.

На следующее утро Никита пошел поглядеть, как там его друг, но друга не увидел. На столпе никого не было. Он возвратился, волнуясь, и увидел Баудолино в стойле у Феофилакта. Наполнив водой крупную бочку, тот соскребал с себя ножом всю грязь, что накопилась. Он аккуратно постриг свою бороду и волосы. Закаленное и загорелое тело не казалось чересчур худым, он только стоял нетвердо и знай потягивался руками и всей спиной, чтобы размять онемелые мышцы.

— Вот видишь. Раз в жизни я попытался про-

возгласить правду и был побит камнями.

— Так же и апостолы. Ты стал святым, а удручился из-за такой малости?

— Я, может, ждал знамения с небес. За эти месяцы я собрал немало денег. Уже послал сына Феофилакта купить одежду, мула и коня. Наверно, в доме где-то еще валяется мое вооружение.

— Так что, ты уезжаешь? — спросил Никита.

— Да, — тот ответил. — Пока я жил на столпе, я многое понял. Я понял, что я грешил, но никогда ради богатства и славы. Я понял, что если хочу быть прощен, мне надлежит расплатиться с тремя долгами. Долг первый: я снова обещаю восстановить гробницу над телом Абдула. Не для того ли я удержал первую голову Крестителя? Деньги пришли из другого источника. Так много лучше. Они поступили не от торговли святынями, а от пожертвований добрых христиан. Найду то место, где мы погребли Абдула, построю там часовню.

— Да ты не можешь вспомнить, где он погиб!

— Господь доведет меня, я помню всю карту Космы. Второй мой долг. Мной дадено обещание любимому отцу императору Фридриху, не говоря уж о епископе Оттоне, и я обещания не сдержал. Я должен дойти до царства пресвитера. Иначе вся

жизнь впустую.

— Да вы же потрогали и пощупали, что его нет!

— Потрогали мы и пощупали, что не дошли до него. Это иное.

— Но вы же догадались, что евнухи всем лгали.

— Что вероятней всего, они лгали… А может, и не лгали. Как бы то ни было, не лгал епископ Оттон. Не лгало предание, гласящее, что пресвитер где-то есть.

— Но ты гораздо старее, чем был, когда отправлялся в первый раз!

— Да, я гораздо разумнее. Третий долг: у меня растет сын или дочь. И есть Гипатия. Я их найду и стану защищать. Это мой долг.

— Прошло уже больше семи лет!

— Значит, ребенку больше шести. Что, разве ребенок шести лет — это не твой ребенок?

— Но мог ведь родиться и мальчик, то есть никогда-и-нигде-не-видимый сатир!

— А могла родиться маленькая гипатия. В любом из двух случаев я буду любить мое дитя.

— Да ты не знаешь, где те самые горы, куда они укрылись!

— Буду искать.

— Гипатия могла забыть тебя. Может, она не

захочет встречаться с тобой, из-за кого она утратила апатию.

— Не знаешь ты Гипатию. Она меня ждет.

— И ты был пожилой уже когда она тебя повстречала. Сейчас ты ей покажешься стариком!

— Она не видела молодых мужчин.

— Понадобятся долгие, долгие годы, чтобы дойти до той страны и двинуться дальше ее!

— У наших фраскетских, учти, лоб тверже, нежели хвост.

— Кто поручится, что ты доживешь до окончания пути?

— В путешествии молодеют.

Ничто не помогало. На следующий день Баудолино обнял Никиту и все Никитино семейство, а также хозяев дома. С кряхтеньем забрался в седло, таща за собой мула, груженного припасами, к седлу был привешен тяжкий меч.

Никита проводил его взглядом докуда было видно, как он все с ним прощается рукой, не оборачиваясь, устремленный в края пресвитера Иоанна.

40
Баудолино больше нет

Никита побывал у Пафнутия. Рассказал ему все от начала и до конца, до той минуты, как он увидел Баудолино в Святой Софии, все то, что Баудолино рассказывал ему.

— Что теперь делать? — спросил он.

— Ему? Пусть отправляется навстречу своей судьбе.

— Нет, мне. Я описатель Историй. Теперь я должен работать над хроникой последних дней Византии. Куда девать историю, рассказанную Баудолино?

— А никуда. Эта история его. Ты что, уверен, что она точно подлинная?

— Нет. Все, что мне известно, было рассказано им. И от него же мне известно, что он по природе лгун.

— Ну, видишь! — сказал мудрый Пафнутий. — Как может исторический дееписец принять на веру такое ненадежное свидетельство? Ты вычеркни Баудолино из своей повести.

— Но в самые-то последние дни у нас была об-

щая история. В доме у генуэзцев.

— Ты вычеркни и генуэзцев. Иначе придется сообщить, что ими подделывались реликвии, и твой читатель утратит чистую веру в преосвященные мощи. Подправь едва-едва, чтоб нечувствительно преобразовать события. Скажи, что выручили тебя из беды веницейцы. Да, знаю, это неискренне. Но большая История допускает неискренности по мелочам, если это на пользу великой Истине. Ты рассказываешь истинную Историю империи римлян, а не малозначительную историю, что началась в отдаленных болотах, среди дикарских земель и племен. К тому же, хотим ли мы провести в умы будущих читателей такую мысль, что где-то затеряна среди льдов и снегов Братина, называемая также Градаль, а среди жгучей пустыни находится царство пресвитера? Ведь многие люди потеряют покой и станут отыскивать их днями и ночами, год за годом и век за веком.

— Но ведь красивая история. Жаль, что никто ее не узнает.

— Ты не считай себя единственным писателем на земле. Настанет время, и кто-нибудь другой, не меньший лжец, чем Баудолино, ее расскажет.

От переводчика

Четвертый роман Эко — фактически пятый. В промежутке между «Островом накануне» (1995) и «Баудолино» (2000) был недописанный, и, соответственно, неопубликованный, «Нулевой номер», с сюжетом из современной жизни: герои романа организовывали новую газету. Оставив «Нулевой номер», Эко вернулся к своему извечному, любимому и обкатанному в знаменитом «Имени розы» позднему Средневековью. Как и в «Имени розы», Средние века и современность здесь перекликаются и взаимоотражаются. Как и «Имя розы», «Баудолино» — исторический роман с элементами детектива, восходящими к Конан-Дойлу (внимательный читатель без труда опознает рассказ Конан-Дойла, использованный в сюжете «Баудолино»), — и с триллерной двойной развязкой.

С 2000 года «Баудолино» остается всемирным бестселлером и уже переведен на десятки языков. Удивляться нечему: успех был почти гарантирован остросюжетному роману, историческим фоном которого выступают крестовые походы,

легенда о христианском царстве на Востоке, сказания о поисках Грааля.

«Нулевой номер» и переход к «Баудолино», от современных журналистов к крестоносцам… Кажется, некуда было уж дальше развести хронологические координаты, Эко сделал поворот на сто восемьдесят градусов. Однако тем, кто следит за творческой и общественной позицией Эко, наверное, нетрудно будет проложить мостки от одного повествования к другому. Эко постоянно думает и пишет примерно об одном и том же: о механизмах создания и о способах бытования информации, а также о том, как информация формирует так называемый реальный мир.

Журналисты написали сразу: Баудолино — это автопортрет Эко. Неутомимый рассказчик, книжник, знаменитость и гражданин мира и в то же время знаток, а временами — участник простонародного, плотоядного, полукрестьянского быта итальянской провинции, Эко и его герой — плоть от плоти родного городка Александрия в Пьемонте. Именно эта Александрия, город, рождающийся на глазах читателя, в романе Эко изображен, при всей своей сыроватой простоте, как почти священное место, юдоль земного рая, пристанище Грааля. «Баудолино — это я»: знакомой флоберов-

ской фразой озаглавлены некоторые статьи об авторе романа. Однако критикам, отозвавшимся на выход книги, потребовался для параллелей и другой прототип героя — Пиноккио.

Сравнение повествователя и автора с этим важнейшим персонажем итальянского культурного мифа может показаться парадоксальным. Но Пиноккио не эквивалентен застрявшему в русском сознании детсадовскому обобществителю, Буратино. Пиноккио в итальянском лексиконе — прежде всего синоним слова «лжец». Пиноккио у Карло Коллоди — это неживое и в этом смысле нетленное существо, жаждущее стать тленным, пройти трудный инициационный путь. Пиноккио Коллоди принес себя в жертву, умер, воскрес, всегда лгал, менял тело, воплощался в животное, затем наконец стал человеком — смертным человеком! — и в качестве награды получил возможность умереть. Баудолино — приемный сын Фридриха Барбароссы, инициатор Крестовых походов, основатель Александрии, вдохновитель поисков Грааля, первооткрыватель Туринской плащаницы, создатель мифа о Волхвоцарях, путешественник в царство пресвитера Иоанна — странствует и изменяется, всегда лжет, духовно умирает, духовно возрождается, чтобы

востребовать простого и скромного человеческого счастья, а затем наконец обрести право исчезнуть (название последней главы — «Баудолино больше нет»).

Грандиозной ложью всей своей жизни Баудолино доказал, что лжи исторической на свете в принципе не существует, потому что история — это не то, что было, а то, что рассказывается и тем самым создает для развития человеческого общества опору и прецедент.

В интервью журналу «Панорама» в день появления романа в книжных магазинах (23 ноября 2000 г.) Эко так обобщил свою идею: «Баудолино — один из великих лгунов истории, из тех, которые потом становятся утопистами, потому что они, подобно поэтам, возвещают ту ложь, которая необходима для всех. Это второй роман, в котором я вывел героев, изобретающих некую грандиозную околесицу. В «Маятнике Фуко» мировая история представала как конструкт, спроектированный нездоровым воображением. В «Баудолино» история предстает как продукт здорового и востребованного вымысла. Обнаруживается, что Баудолино практически фальсифицировал половину книжного наследия Запада и что это он — истинный автор переписки Абеляра

и Элоизы и он — создатель библиотеки Св. Виктора в романе Франсуа Рабле. Мир приспособился к фантазиям Баудолино…»

В «Маятнике Фуко» многочисленные diabolici (для русского перевода было выдумано слово «одержимцы»), любители выискивания тайных смыслов истории, конспирологи и конспироманы, толкователи священных книг, неспособные разглядеть за мелкими и часто бессмысленными сходствами, поражающими их воображение, те смыслы, которые по большей части просты и не требуют герменевтики, — все эти герои выступали «антигероями». Эко достаточно ясно развернул острие сюжета против орд «одержимцев». Готовя публикацию «Маятника» в 1995 г– на русском языке, можно было надеяться, что роман будет воспринят как весомое отрицание ненаучного, мистически-невежественного подхода к мировой истории, который процветал и процветает среди российских дилетантов. Однако случилось то же, что в свое время на Западе: Умберто Эко после выхода в свет «Маятника» получил сотни восторженных откликов от разных тамплиерских и сходных с ними сект. А в русском интернете ироничное слово «одержимцы» оказалось принято на вооружение (без всякой иронии) сатаниста-

ми на их сайтах. «Маятник Фуко» поклонники черной магии восприняли на ура. Видно, против извращенной логики «вечного фашизма» (этот феномен Эко разбирает в одноименном эссе, рус. перевод в кн. «Пять эссе на темы этики». СПб, 1998) нет просто-таки никакого приема.

От эзотерических легенд, пародируемых и высмеиваемых в «Баудолино», буквально лопается русскоязычный интернет, да и в печатной литературе тоже часто муссируются сюжеты, связанные с Граалем и с мифическим христианским царством пресвитера Иоанна. Муссируются они в основном не в игровом, а в суперсерьезном ключе, в русле мутной моды, возникшей после выхода книги Дэна Брауна, вслед за которой вошли в обиход читающих толп и такие источники «Кода да Винчи», как труд Бейджента и Ли. Книга Брауна написана (это не всегда учитывается) позднее «Маятника Фуко» и «Баудолино», она написана по их следам, многообразно спекулирует на их мотивной структуре и представляет собой мрачно-серьезный перепев тех мотивов, которые у Эко присутствовали в ироническом и игровом виде.

Еще до этой книжной истории, и в прошлом веке, в прошедшие времена псевдотрактовок и

мистически-эзотерических интерпретаций мифа о Граале было сколько угодно. Русский читатель черпал их из переводной «Мистерии Грааля», принадлежащей перу Юлиуса Эволы, «Последнего Кшатрия темного века, Вертикального Аристократа, Тамплиера Великой Стены», как обозначено на обложке публикации. Общепринятой в России ссылкой при обсуждении царства пресвитера Иоанна является одна из поздних книг Л. И. Гумилева «Поиски вымышленного царства: «Легенда о «государстве пресвитера Иоанна». Развивая темы Гумилева, иные авторы, не столь уважаемые и знаменитые, дают полную свободу своей фантазии: «Известно, что одна из жен Чингис-хана была дочерью пресвитера Иоанна… несториане-кераиты пользовались относительной самостоятельностью, имея во владении земли и леса на берегу Тобола, Туры, Ишима и Иртыша — страну «Сибирь»… Христиан в Сибири стало столько, что к титулам кераитских князей-первосвященников стал добавляться титул «мар» (святой, епископ), а после успешной победы над разорителем сибирской земли чингисидом Абаком еще и титул «ер» (богатырь, герой). И стали называться правители Сибири Ер-Марами — «героями-епископами» («Ермак или Хан Ер-Мар?»,

В. Мельников, Ассоциация Христианского вещания «Радиоцерковь» — www.radiotserkov.ru; то же перепечатано в евангельской газете «Мирт» № 2/39 [за] март-апрель 2003). Разумеется, самые «убойные» и в то же время наиболее растиражированные высказывания принадлежат основателю «новой хронологии» академику А. Т. Фоменко: тот вообще утверждает, что Константинополь (тот самый город, который в «Баудолино» выступает основным местом действия) — это Самарканд, «находящийся на Волге и известный под именем Самара» (Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко. Русская история. Хронология и общая концепция русской истории. Факты, статистика, гипотезы. М., 1995) — Пресвитера же Иоанна, разыскиваемого героями романа Эко, по теории Фоменко, и искать нечего: пресвитер Иоанн = Калиф Иван = Калифа Иван = Иван Калита (Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности. М., 1996).

В фокусе внимания Умберто Эко как раз и находится множественность интерпретаций истории, включающая в себя даже и столь безумные толкования, как те, что процитированы выше. Эко пояснял одному интервьюеру: «Гилберт Кийт Че-

стертон однажды сказал, что когда уходит вера в Бога, приходит вера во все на свете. В нашу эпоху пришельцы занимают место единорогов. Между тем половина прогрессивных новаторств случилась по ошибке или по чьему-то вранью: искали философский камень, выдумали порох. Пытались попасть в царство пресвитера Иоанна, а освоили неизведанную Африку. Не будем уж говорить о мифах, связанных с основанием государств. В романе присутствует и такой миф: канонизация Карла Великого усилиями Фридриха Барбароссы по подсказке Баудолино. Мой Баудолино — мифопорождающая машина».

Из этого ясно, с каким любопытством должны воспринять этот сюжет и любители мифостроительства, и рационально думающие читатели, и те, кого всерьез занимает роль и возможности единичной личности в истории. В образе Баудолино, якобы способного изменять ход мировой истории, олицетворена та логика, которая вдохновляла Ивана Грозного, когда он укорял князя Курбского: «Если бы не ваше злобесное претыкание было, то бы, за Божию помощию, едва не вся Германия была за православием».

* * *

При переводе «Баудолино» на русский язык сильно стилизовать слог не потребовалось. Двенадцатый век, думается, должен переводиться почти современным стилем с вкраплениями редкой лексики, как, скажем, переводятся на русский латинские и греческие классики, как переведена у М.А. Салье «Тысяча и одна ночь». Стилизация была необходимой при воссоздании эпохи барокко в «Острове накануне» Эко (рус. перевод 199^) — Архаизация (старославянизмы) была нужна для контраста между народным языком и латынью в «Имени розы». А в «Баудолино» Эко применил самое универсальное орудие — виртуозный, богатый, ироничный и почти современный итальянский язык, и это вообще-то самый трудный для воспроизведения стилистический план. Современный язык оказался нелегким материалом и при переводе «Маятника Фуко». Теперь пришлось искать столь же емкие эквиваленты для «Баудолино», с тем чтобы текст не выпирал из рамок привычного исторического романа и в то же время звучал иронично и свежо.

Эти соображения не касаются первой главы

романа, в которой Эко поставил любопытный лингвистический эксперимент. Баудолино в начале своей жизни не владеет письменным языком: это работа с магмой, с неструктурированным материалом. В начале отнюдь не было слово, — как будто шутит с нами автор. И слово не было Бог. Слово уполномочен был создавать подлинный бог, а именно — человек пишущий… О языке этой главы и о работе над ней разноязычных переводчиков уже прочитано немало докладов и написано немало статей. Тут многие решения, конечно, были в значительной степени интуитивными.

Зато работа над остальными тридцатью девятью главами, как и в случае предыдущих романов, напоминала дешифровку, поскольку текст, как и следовало ожидать, полон скрытых цитат. Некоторые использованные у Эко источники «лежат на поверхности». Прежде всего это «Хроника со времени царствования Иоанна Комнина» Никиты Хониата (Акониата). Никита — герой романа — тождествен реальному Никите Хониату, автору истории Константинополя от смерти Алексея I до взятия города крестоносцами (1118–1206). Мы обращались к единственному русскому переводу этого сочинения, выполнен-

ному в 1860–1862 гг. Полезен был и текст речи Хониата «Речь, составленная к прочтению перед киром Феодором Ласкарем, властвующим над восточными ромейскими городами, когда латиняне владели Константинополем» (нами использовался перевод П.И. Жаворонкова, 1991 г.), потому что из этого текста Эко явно перенял некоторые метафоры, использованные в монологах Никиты при описании падения Константинополя. Византийские реалии часто восходят к описаниям в «Алексиаде» Анны Комнины (перевод Я. Н. Любарского, 1965 г.). Кроме византийских, для этого романа важны и латиноязычные истории той эпохи, так что для русского перевода были приняты во внимание «Хроника, или История о двух царствах» Оттона из Фрайзинга и «Деяния Бога через франков» Гвиберта Ножанского (оба текста в переводе Т. И. Кузнецовой, 1970 г.).

Использованы, но не цитируются дословно (точнее, конкретные цитаты найдены не были) основные европейские куртуазные романы, в первую очередь произведения Кретьена Де Труа — «Эрик и Энида», «Клижес, или Мнимая смерть», «Ивейн, или Рыцарь со львом», роман о Тристане и Изольде, «Окассен и Николетта», «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, «Бедный Генрих» Гарт-

мана фон Ауэ и «Песнь о Гильоме Оранжском». Для перевода исторических и политических реалий понадобились основные хроники Третьего, Четвертого и Пятого крестовых походов: «Завоевание Константинополя» Жоффруа де Виллардуэна и «Завоевание Константинополя» Робера де Клари, поэтому были использованы их русские переводы, выполненные в 1884 г. С. Л. Клячко, в составе «Истории крестовых походов» Гильома Мишо.

Для проверки лексики была полезна «История крестовых походов» Ф. И. Успенского (1900–1901).

Для перевода отрывков, связанных с пресвитером Иоанном (в русской традиции он именовался также попом Иваном), был учтен русский материал — «Сказание об индийском царстве» и «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских» А. И. Пыпина (XIX в.). Подложный текст «письма пресвитера Иоанна» к византийскому императору Мануилу Комнину приводится во втором томе четырехтомника Рихарда Хеннига «Неведомые земли», перевод 1961 г.; впрочем, перевод для настоящего издания был выполнен наново по латинскому тексту.

Стихи Поэта были проверены по стихам Архипииты Кельнского (так как это, согласно логике,

реальный прототип вымышленного персонажа), по-русски они публиковались в переводах М. Л. Гаспарова и О. Б. Румера; а стихи Абдула часто совпадают со стихами Джауфре Рюделя (рус. перевод В. А. Дынник, А. Г. Наймана).

Среди менее очевидных источников некоторых пассажей текста, как обычно, присутствует традиционный для Эко Борхес: лестница с глазком из «Алефа», цитаты из «Богословов». Ощущаются в описаниях, определяя собой ритм фраз, кинематографические подтексты от «Кабаре» Боба Фосса до (по подсказке самого автора в одной журнальной публикации) вестерна «Дикая банда» («The Wild Bunch», 1969) — В этом фильме была разыграна одна из самых кровавых битв в истории мирового экрана, и ее динамика повлияла на ритм описания в романе битвы чудовищ под Пндапетцимом.

В страстных, но пронизанных умственностью монологах проповедницы гностицизма Гипатии — о познании Бога через акт любви — сквозят «богоявления» Джойса, Пруста и мотивы Томаса Манна («Смерть в Венеции»).

В том, что касается утопических языков, прежде всего учтен опыт перевода «Путешествий Гулливера» Джонатана Свифта, выполненных А.А.

Франковским. Несомненно, в тексте «Баудолино» немало отсылок и к другой утопии — Роберта Пэлтока «Жизнь и приключения Питера Уилкинса» (1751)» но это произведение, к сожалению, на русском языке нам не попадалось. Эко явно использовал также созданный в 1879 г. немецким пастором И. Шлейером «воляпюк», но вряд ли существует возможность отобразить этот факт средствами перевода. Для понимания языков, на которых положено выражаться чудовищам, полезным оказалось обращение к материалу книги самого Умберто Эко «Поиски совершенного языка в европейской культуре», 1993 г.

Одного из героев романа, быстроногого и услужливого исхиапода, зовут Гавагай. Gavagai — ключевое слово теории Уилларда ван Ормена Куайна о «неопределенности перевода» (indeterminacy of translation) («Слово и предмет», Word and Object, 1960): «Если кто-нибудь, увидев кролика, воскликнет на неведомом для нас языке «gavagai», мы не будем знать, имеет ли он в виду кролика, части кролика или «всё минус кролик». Какой-нибудь другой язык мог бы работать с совсем другой системой классификаций». Другой литературный контекст, необходимый для перевода уже не имени Гавагая, а его речей:

следует воображать неправильную речь сипаев (наемных индийских солдат в британских колониальных войсках), в том виде, в котором она воспроизводилась в любимых приключенческих книгах детства Эко.

Два неразлучных друга героя носят имена Борон и Гийот. Откуда они взялись, понять нетрудно. Известен «Роман-история о Святом Граале», написанный Робером де Бороном, клириком из Франш-Конте, между 1190 и 1199 гг. Легендарные Борон и Кийот (во Франции — Guyot de Provins) — основные авторы мифа о Граале. «Кийот» — общепринятая форма имени, но в данном случае предпочтительнее бытующая во французских текстах более редкая форма «Гийот», позволяющая избегнуть неуместных фонетических связей с «киотом» и «койотом». Провансалец Кийот (Гийот) — так звали рассказчика, со слов которого Вольфрам фон Эшенбах якобы узнал сюжет «Парцифаля».

Естественно, центральное место в этой истории занимает чаша Грааль, но, как явствует из сюжета, она не должна так называться. По латыни Gradalis означает «чаша», в романе Эко, написанном по-итальянски, священный предмет называется Gradale, «миска». Для перевода,

в частности по фонетическим причинам, было принято решение употребить слово «братина»: означая «чаша», оно содержит гласные и согласные итальянского Gradale и попутно вызывает в памяти «братство», братство Грааля.

Наряду со смысловыми и стилистическими сигналами, переводчики зачастую улавливают ритмический рисунок исходного текста и затем передают этот рисунок в прозе на своем языке. В масштабе такой объемистой формы, как большой роман, очень важно избегать ритмической монотонности. Переводчик стремится к разнообразию; но все, естественно, зависит от того, помогает ли избежать этой монотонности исходный текст. Эко, спасибо ему, спасает жизнь переводчику, бесконечно модулируя ритмическую и дискурсивную композицию каждой главы.

Во-первых, тексту «Баудолино» присуще постоянное перетекание от одного жанра к другому: от исторического романа к фантастическому, к философскому, к бытописательному, а по мере приближения к концовке текст все четче выстраивается как детективный триллер с разоблачениями и погонями.

Кроме того, Эко умело играет прямой и непрямой речью. Традиционно в литературе повест-

вование «от первого лица» не претендует на абсолютное читательское доверие; такое повествование принято в фантастике, в утопиях, в игре с читателем; Баудолино — лжец — входит в наше восприятие, рассказывая о себе сам. Авторское же повествование в третьем лице претендует на более высокую степень читательского доверия. Эко пользуется этими закономерностями. Внутри одной главы, одного пассажа он неоднократно переходит с одного дискурса на другой. Зная основательность исторической подготовки автора, читатель склонен верить Эко, когда он вываливает на страницы обильные дозы средневековой истории. Но стоит читателю расслабиться и во все поверить, как герой начинает крутить роман с женщиной-козой и попадает в плен к собакоголовым.

Роман «держится» за счет искусного переплетения исторического исследования с сочинением на вольную тему. При этом читатель чувствует, что между позицией Эко-ученого и позицией Эко-сочинителя есть обширный зазор, временами даже контраст, именно благодаря которому роман и наполняется иронией, свободой, в общем — радостью. «Пересматривая прошлое, поневоле поддаешься пессимизму: все повторяется. Про-

гресс имел место в гораздо меньшей степени, нежели нам хочется думать. Не думаю, что собеседования Рональда Рейгана с его референтами носили более цивилизованный характер, чем разговоры Фридриха Первого с придворными. Барбаросса не понимал психологии итальянских городов-коммун… а Джордж Буш-младший, как установлено, не знает, где находятся Балканы. Пессимизму истории я противопоставляю оптимизм рассказывания истории. Баудолино — это воплощенная радость рассказывания», — сказал однажды журналисту Эко.

Елена Костюкович